

Валерий Ганичев

РОСС
НЕПОБЕДИМЫЙ



Валерий Николаевич Ганичев

Росс непобедимый...

*Сканирование, распознавание и вычитка – Никольский О.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=156817
Росс непобедимый...: Современник; 1987*

Аннотация

Историческое повествование, были и легенды о «южном» окне России, создании Черноморского флота, о городах и селах, воздвигнутых трудом и разумом наших людей в Причерноморье в XVIII-м веке.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	7
ПОЛУДЕННОЕ ОКНО	14
ПОКРАСА ГОРОДА	22
ЩЕРБАНЕВА ЛЕВАДА	30
НАДЕЖДА БЛАГОПОЛУЧИЯ	39
ТРОЙНАЯ ОПЛАТА	48
БЕГЛЕЦ	53
КАЗАЦКАЯ ДУМА	59
НЕОТПРАВЛЕННЫЕ ПИСЬМА	73
«МЕЛЬНИК-КОЛДУН» В ТЕАТРЕ	82
МОЛЧАНИЕ	92
СОЛДАТСКИЙ СЫН АКАДЕМИИ	99
АКЦИДЕНЦИЯ	135
ХЕРСОНСКАЯ ЯРМАРКА	141
СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ	156
МИЛЕДИ КРАВЕН	161
КИНБУРН	169
РАНЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ	177
ГУБЕРНАТОР	185
ХРАМ БРАТСТВА	198
«ВСЕМ ДОВОЛЬНЫ...»	207
КЛЮЧ ОТ МОРЯ	214
ОЧАКОВСКАЯ ЗИМА	233

ЗРЮ ГОРОД...	249
ЧУМА	257
КАЗНА ПАШИ	262
ИСТИНА ДОРОЖЕ...	268
ДЕНЬ НЕВЕСТ	274
КОМИССИЯ	282
ЧЕРВОНА ХУСТЫНА	290
ВЕТЕР	295
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ	301
ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПОБЕДОЙ	312
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	325
У ВЕКА НА ВЕРШИНЕ	328
Пролог	329
ЗА КАРТОЧНЫМ СТОЛОМ	338
«ЭЙ, ГОДИ НАМ ЖУРЫТЫСЯ...»	343
КОНТРАКТЫ УТВЕРЖДАЮТСЯ	353
ШТОРМ ПРИБЛИЖАЕТСЯ	365
ЗНАХАРКА И КАЗАК	373
ГОРОД БУДЕТ	380
БАЛ	384
НОВОЕ НАМЕСТНИЧЕСТВО	396
МИГЕИ	403
ЖАЛОБЫ	409
СОЖЖЕНИЕ «ЗОЛОТОЙ КНИГИ»	419
Пролог второй	425
ПЕРЕД ДАЛЬНИМ ПОХОДОМ	428

ВЕЛИКИЙ ГОРОД	437
РЫЦАРИ УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ	442
«ЭСКАДРА ДВИЖЕТСЯ К ДАРДАНЕЛЛАМ...»	457
НА «ОРИОНЕ»	461
ВЕТЕР ПУСТЫНИ	470
ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОГОНЯ	476
НОВЫЙ СОЮЗ	483
ПИСЬМА С ДОРОГИ	494
ВЕРА В ИЗБАВЛЕНИЕ	498
ЧУЖЕЗЕМНЫЕ ЕДИНОВЕРЦЫ	503
ВО ДВОРЦЕ БЕЯ	510
РЕСКРИПТ ИЗ ПЕТЕРБУРГА	522
ЧАС НАСТАЛ	530
ШТУРМ КОРФУ	544
«АЗИЯ СЛЕВА...»	554
ПАСТУХИ, ТОРГОВЦЫ И АРИСТОКРАТЫ	560
В ГОРНОЙ ПЕЩЕРЕ	571
В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ	577
СОЛДАТЫ ОСТАЮТСЯ	588
ОНИ НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛИСЬ	592
ВЕЛИКИЙ АДМИРАЛ СЕРДИТСЯ...	598
ЗАГОВОР	608
ОРЛЫ ВНИЗУ	618
ПОВОРОТ	633
В ЧУЖОМ ПИРУ...	644

НА ВОЗНЕСЕНСКОЙ РАЗВИЛКЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ В НЕВЕДОМОЕ

652

661

Валерий Николаевич Ганичев Росс непобедимый...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

**Историческое повествование,
были и легенды о южном «окне»
в Европу, о земле, поднятой
трудом и разумом наших людей, и
о создании Черноморского флота**



ЕКАТЕРИНА II



ПАВЕЛ I



М.В.ЛОМОНОСОВ



Г.А. ПОТЕМКИН



Ф.Ф. УШАКОВ



Г. НЕЛЬСОН



А.В. СУВОРОВ



А. П. ГАННИБАЛ



Пою премудрого Российского героя,
Кто грады новые, полки и флоты строя,
От самых нежных лет со злобой вел войну,

Сквозь страхи проходя, вознес свою страну...

М. Ломоносов

ПОЛУДЕННОЕ ОКНО

7 июня 1764 года на Мойке показался выезд императрицы. Екатерина ехала в карете, покусывая губу. Много державных дел, доселе неведомых, обрушилось на ее голову, еще не привыкшую независимо и гордо держать императорский венец.

Не знаешь, что важнее: приемы вельмож во дворце, заседание Сената, рассмотрение донесений дипломатов, выход на драму, подписание указов или разбор прошений.

Как велика эта империя! Крошечное бывшее Ангалы-Цербтское княжество научило быть внимательным ко всем сословиям и соседям. Не учтешь чего-то, и нет княжества. На благо ее новой родины, империи, будет трудиться она не покладая рук. А ее подданные, слуги и друзья будут служить ей и преклоняться перед ее разумом и мудростью. Великое дело надо и вершить по-великому...

Со страхом вспомнила, как в запыленном платье привезли ее и под звон колоколов нарекли государыней. Все просто делается... А могли и не одолеть... Где была бы нынче, в какой крепости? Зло подумала: надо или погибнуть было с сумасшедшими, или спастись вместе с теми, кто хотел избавиться от него, ее мужа Карла-Петра-Ульриха. Если бы он вел себя благоразумнее, с ним ничего бы не случилось. А Карла-Петра-Ульриха, то бишь Петра Федоровича, вывезли в Ропщу,

немцем прозвали. А немка-то и она... Но глупым потомкам пруссаков потакать не собирается. В этой стране можно достичь цели, только когда уважаешь ее народ, ее дворян. А что сделать, чтобы поверили?.. Надо дорогу дать всем, кто империю прославить и возвеличить может воинской службой, наукой, торговлей, драмой, стройкой, музыкой всякой. Находить их и ласкать надо, пусть в России знают, что новая императрица русских людей блюдет и защищает. Чернь надо в узде держать. Европу успокоить и утвердить в божественной благодати Мудрости, Славы, Добродетели и Мира, опустившихся на русский престол.

Сопровождающая ее Дашкова неучтиво перебивала ход мысли.

Сия дама очень есть умная, признавала Екатерина. Но своенравна и непочтительна бывает. Заслуги переворота себе приписывает. Вот и недавно стала уговаривать ее при всех ехать к статскому советнику и профессору Михайле Ломоносову, хотя императрица и сама хотела любомудрие подчеркнуть, да и благосклонность показать к сему наиболее знаменитому мужу российской науки. Нрав, правда, у него, говорят, нелегкий, но в науках силен. Об этом ей сказал, отъезжая «на некоторое время в чужину», бывший ранее всесильным Иван Иванович Шувалов.

Она знала, что Петр Великий посещал не токмо знатные ученые общества, но и приватные дома людей, в науках и художествах искусных и рачительных. Отставать не хотела.

Проехали мимо деревянной пристани.

– Чьи дома? – спросила императрица у Дашковой.

– Князей Щербатовых, Путятина, Тараканова. А этот самый большой – Ломоносова.

Дом в два этажа с пятнадцатью окнами по фасаду выходил на Мойку. Узорные ворота были заперты, пришлось заехать в малые. На подворье было тихо, тонкие увитые плющом ворота открывали вид на крытые зеленые аллеи, бассейн, веселый фруктовый сад. У входа в дом засуетилась девка, подхватила подол, убежала. С изумлением уставились на знатных дам два русоволосых молодца с руками, до локтей заляпанными известью и глиной.

Выбежала растрепанная жена Ломоносова, закричала:

– Михайло, Михайло!

Екатерина властно подняла руку и, отстранив ее, вошла в дом, прошла прихожую и вступила в кабинет, в полутьме которого виден был беспорядок. Оный создавался поставленными вроде бы для выставки, а потому неуместными в квартире бирюзовыми чернильницами, ароматницами, табакерками, нюхательницами, диковинными графинами, кружками из цветного хрусталя.

Одно окно из цветного стекла обрамлено мозаикой, напоминало Ораниенбаумский «стеклярусный кабинет». На столе стояла колба, какие-то приборы и навалены книги. Сам почетный академик (избранный в прошлом году), накрывшись пледом, дремал и, когда двери открылись, не спеша

встал и с достоинством, как будто всю жизнь встречал дома коронованных особ, поприветствовал императрицу, поблагодарив за высокое посещение. Пригласил осмотреть дом. После лаборатории, где Екатерина задавала много вопросов, зашли в павильон мозаичных картин, где академик подвел к начертанному на стене проекту памятника Петру I.

Напомнил кому-то еще раз сурово:

– За то терплю, что стараюсь защитить труды Петра Великого, чтобы выучились россияне, чтобы показали свое достоинство pro aris (за алтари). Памятник сей надобно бы построить семи сажень в высоту и четырех в ширину из битой и кованой меди. А стоять он должен на пьедестале из черного российского мрамора, в окружении аллегорических скульптур и двадцати мозаичных картин. Все может быть отделано яшмой, лазурью и всеми драгоценными камнями, что в Российской империи имеются.

Екатерина покусывала губку, не хотела чужие проекты принимать, свои задумала. Но ничего не молвила, а в ответ на приглашение хозяйки весело сказала:

– Ну что, попотчuemся щами у академика.

Щи были, но была и копченая семга, и говядина, и треска, и палтус, и шанежки, и морошка, и клюква, и малина.

– Все из Холмогор, матушка, – приговаривал, оживясь, Михайло Васильевич, радуясь, что императрица пробует гостинцы его радушных земляков.

На стене висела большая карта Европейской России, юж-

ные границы которой расплывчато упирались в Причерноморье и Северный Кавказ.

– Великая страна, – молвила Екатерина.

– Да, сударыня, но она и взор алчущих соседей привлекает, и дальние державы ей завидуют. Прусский король, английская корона, да и французы с Цесарией не преминут земли наши урезать.

Императрица нахмурилась. Короны, хотя и соперничающих государей, трогать не стоило. Ломоносов продолжал:

– Да и не только сами, но и Порту османов натравить на нас хотят, и мы за их мыслями надзирать должны. А сколько народу православного погибает от набегов крымчаков и турок! И единовверные греки стонут под игом, и единокровные славяне: сербы, словене, болгары, черногорцы гибнут.

Екатерина внимательно посмотрела на карту и поразмышляла:

– Однако же тут и непонятно, где границы проходят. Рядом и Речь Посполита, и Австрийская империя, и османы, и валахи.

– А земли эти, сударыня, искони российскими были.

– Како же они, Михайло Васильевич, османам достались!

– Матушка, ранее весь Понт Эвксинский, то есть Черное море, Русским морем называлось. Святослав, наш древний князь, хаживал и под Царьград, Константинополь, а на Кавказе стоял древний город Тьмутаракань, и из-под него ходили на Персию и торговали с Востоком. А потом, после похода

да Батыева, осела орда в Крыму. Сельджуки на святую Софию полумесяц подняли, императоров византийских сокрушив, и стали султаны эти земли в крови топить. Посему они и запустили.

Императрица озадаченно и недоверчиво слушала. Историю этого края она не знала и, посмотрев на карту с ее южными пространствами, подумала: «Боже, какая необъятная страна. И я должна ею повелевать так, чтобы все видели мою заботу о могуществе и благе. Иначе гибель или забвение».

Резко повернулась и решительно сказала:

– Надо злодеяния пресечь, защитить невинных, а на оные пустые земли селить всех, кто их расцвету способствовать будет.

Согласно закивал академик:

– Да, матушка, России не пристало умаливать злодеев. А они обнаглели. Еще Великий Петр решил христианам Черное море возвратить. Но его славные победы на Балтике и под Полтавой, в Азове или на Пруте не повторялись. Остались под ярмом нехристей и земли и люди, и стон их слышен до Петербурга.

Блеснув державно очами, императрица, как бы утверждая указ, твердо сказала:

– Придет их черед, наступит день вызволения.

А про себя подумала: «Найдутся ли силы, средства и полководцы, чтобы одолеть столь же великую, как Россия, Порту?»

Академик разгорячился, виделись ему светоносные деяния Петра.

– Великая государыня. Предстоит России под твоей десницей столь же славный подвиг совершить, как при Петре. Оный «строитель, плаватель, в полях, в морях герой» возвел Санкт-Петербург – окно, через которое Россия смотрит в Европу, как о том говорил итальянец Альгаротти в «Письмах о России». Но негоже светлице с одним окном быть, а наши русские избы все с окном на полудень построены. И оное сотворить надобно, да уберечь от гибели южных россиян и малороссиян, да родственные нам души других стонущих. И не война надобна, а вольность народов этих.

Ломоносов резким жестом, как бы рубя топором, махнул наискосок черноморской полосы. И громко прочитал:

Весь свет чудовища страшится.
Един лишь смело устремиться
Российский может Геркулес.
Един сто острых жал притупит...
Един на сто голов наступит,
Восставит вольность многих стран!

Однако императрица к речениям поэта уже была невнимательна. Она не любила эти проявления возвышенных поэтических восторгов, чувствуя за ними время «Великой Елисавет», которой ей потихонечку тыкали в глаза. Решила прощаться, почти три часа побыла, а в ответ на заверения ака-

демика в усердном служении ей и России даже прослезилась, пропустила вызов в печальных и гордых его словах: «Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют». Пригласила к себе «откушать хлеба-соли».

– Щи у меня будут такие же горячие, какими потчевала нас ваша хозяйка.

Перекрестившись усердно, взглянула на портрет Петра и подумала: «Не забыть бы: полуденное окно в Европу...»

ПОКРАСА ГОРОДА

Сашенька Козодоев решил для себя твердо всю жизнь посвятить «архитектуре гражданской», формула которой: «польза, прочность и красота» постигалась им с жадностью и воодушевлением.

Начинал он учебу в «архитекторской команде» самого Саввы Чевакинского, зарекомендовав студентом «удобным к сией науке». Чевакинский дал возможность поучить теорию зодчества великих итальянцев, потребовал, чтобы прилежно относились к арифметике, геометрии и иноземным языкам. Из российского же письма велел штудировать труд князя Долгорукого «Архитектура гражданская выбрана ис Паладиуса славного архитекта и из иных многих архитекторов славных... писана в Венеции, лета 1699 году месяца сентября учением и тщением будучи господина князя Долгорукова, а по русскому календару 7206 году» и более новую «Должность архитектурной экспедиции», объединяющую архитектурный трактат со строительным кодексом. День и ночь просиживал Сашенька над книгами, любил перерисовывать с гравюры памятники и другие куншты, а потом обучался делать планы и фасады, ордеры чертить.

Однако учиться дальше не пришлось, заболела матушка, и три с лишним года не учился, а занимался делами хоть и небольшого, но хлопотливого имения.

Но слава богу! Маменьке стало легче, и он снова приехал за «умением» в этот славный Петербург, на этот раз в архитектурный класс Академии художеств.

В небольшой комнате, которую снимал на Васильевском острове, повесил он на стене «Наставление для студентов архитектуры», по которому в первом году обучался ранее. В оном значилось, что перед полуднем арифметике и геометрии теоретической и практической обучаться должен, а также упражняться в рисовании планов, профилей и фасадов. По полудни чертить по Виниоловым и другим правилам столбы. По вечерам вменялось читать то, что днем учили, и читать книги, до сих наук касающиеся. В некоторые дни добавлялось «рисовать с гипсу», моделировать у разных мастеров. А сверх того изучать французский и итальянский языки, читая по вечерам дома авторов на оных языках. Во все свободные часы рекомендовалось ходить в мастерские палаты к художникам всякого звания, а также где палаты строятся для познания всяких материалов.

На другой стенке так, что всегда свет из окна падал как и положено, на муаровой ленте лазоревого цвету в простой раме прикрепил Сашенька знаменитую «Панораму Петербурга» гравера Зубова. Подолгу стоял перед ней будущий архитектор, всматриваясь в диковинный, с многопрофильной крышей дом Голицыной, большой, с трехэтажным центром и боковыми одноэтажными крыльями дворец младшей сестры Петра Натальи Алексеевны, одноэтажный с мезонином,

высокий, с изломом крыши и высоким карнизом по центру дворец непутевого сына императора Алексея Петровича, и похожий на этот – дворец вдовствующей царицы Марфы Матвеевны, в котором позднее Растрелли учил своих учеников. Далее видна была часть Фонтанки с Летним садом, в самом центре пышная усадьба Меншикова, одевающаяся в камень Петропавловская крепость с колокольной, здание Сената, дома Гагарина и Шафирова. Да много еще любопытных домов, точных деталей вырезал сей искусный гравер Зубов. Многое уже перестроено, делалась гравюра в 1716 году, но величественный вид гармонии города будоражил Сашеньку, будил в нем высокие думы и воображение, посеянные еще в «архитектурной команде» Чевакинским.

На всю жизнь запомнилась ему короткая, но возвышенная речь сурового Чевакинского, сказанная перед учениками в первые дни занятия.

«Мои друзья по искусному ремеслу!

Вот вы, наклонные к учению в архитектуре и строительстве, решили стать зодчими России. Земля наша всегда была славна умельцами в градостроительстве, как отечественными, так и иноземными, соотносящимися с сутью нашей жизни и природы. Стародавний Киев-град, Новгород, Владимир, Тверь – чудо-дворцы, древние кремли, крепости, палаты и святые храмы имели, и кои бусурманы не порушили, до сих пор стоят. От оных строений вам в голову и душу планы и ордеры взять многие, ибо они величавы и благолеп-

ны. Особливо же наша архитектура цивильная при Великом Петре выросла. Первый русский архитектор Земцов, звание сие заслуживший в канцелярии от строений в Петербурге, его получил в 1724 году. С ним же петровские пенсионеры: Мичурин – московскую школу основавший, Коробов – свою команду создавший при Адмиралтейств-коллегии, а также Еропкин были. Все они и последующую школу российской архитектуры положили, вместе с замечательными итальянцами Растрелли и Трезини.

Зодчий-архитектор, во-первых, свою идею знать должен, ибо строительство он ведет во славу божью, государя, отечества и народа нашего.

Во-вторых, дело зодческое разуметь досконально должен, ибо в архитектуре законов точных немало, ордера свой принцип имеют и мерой обладают. Так, знак доброй архитектуры: ряд, симметрия, евритмия, размер. То есть все здание должно быть сделано по доброй пропорции. А если она будет разрушена, то все распадется.

В-третьих, он покрасе служить должен. И эта красота здания есть двоякая, одна окраса от места, то есть что такое здание есть сделано, на таком месте, на котором кажется хорошо, а другая окраса бывает от дела архитектуры, то есть что такое здание есть сделано по мере надлежащей».

Чевакинский задумался, тень пробежала по обличью, и продолжал тише:

«Тот, кто думает зодчеством высоких званий достигнуть,

или богатство великое накопить, тот зело ошибается. Ибо достойный архитектор за его великую любовь к отчизне нередко гонениям и хуле подвержен. Так, при Бироне, в конце царствования Анны Иоанновны замучили Еропкина, Бланк был сослан в Сибирь. Умер в 1743 году Земцев от тяжелой работы, а Коробов от «всесильного двора» уехал из Петербурга.

Вот каково тем отечественным архитекторам, кто идею петровскую в строительстве хотел продолжить, кто традиции российские продолжал и защищал, кто собственное достоинство соблюдал и мнение имел».

«Я – сторонник, – загремел дальше Чевакинский, – «архитектуру цивилис» с «архитектурой навалис», то есть корабельной, соединить, ибо и там и здесь все сотворение разума и мастерства, зодчего и строителя.

Россия – страна морская, и вам еще не раз придется строить корабли и города, верфи и причалы, набережные и пристани. А для сего изучайте архитектуру Петербургского порта, Кронштадта, а также основанный при Петре и разрушенный тогда же зело красивый город и порт на Таганьем Рогу.

Многие считают, что Отечество наше, помимо воли божьей и императорской власти, воином и землепашцем держится, а я бы к сему присовокупил: и зодчего-строителя. Вам же следует укрепить свой разум и сердце трудом, наукой и вечным бдением о благе Отечества нашего. А посему за дела, за дела каждодневно полезные для будущей работы. На

пользу всей нашей России».

Сашеньке та речь запомнилась. Вспоминалось, как медленно ходил Чевакинский перед ними и, когда заканчивал фразу, останавливался и рубил указкой для чертежей, как бы отсекая сказанное. С тех пор юный и часто краснеющий студент, за что его друзья и звали не Александром, а на женский манер Сашенькой, загорелся корабельным, портовым, морским строительством. В залах академической архитектурной библиотеки, где хранились чертежи, альбомы, книги, он искал все, что рассказывало о морских городах. И старый библиотекарь из не доучившихся из-за здоровья студентов, видя его интерес, повел его в дальний закуток и вынул какие-то начертанные на листах александрийских чертежи и пояснения.

Сашенька замер: «Исправный чертеж и размер нового города, что на Таган Роге на Азовском море строят, тут же пристанище корабельное, на котором великий государь царь 29 числа июня (1696) сам изволил указать и размерять и для того я далее первого числа сентября нынешнего году (1701) в пребывании при великом государе зачал с молебным пением тот же чертеж или размер».

Перед взором понятливого архитектора, видимо, вставала центральная часть города с генераловой площадью, ратушей – приказом, царским и воеводским дворами, дворами офицеров. Тут же недалеко торг, житный двор, и без кабака не обошлось. На соборной площади – церковь. За стенами кре-

пости отмечены посадские слободы пехотных полков и подворье для конницы. Обозначены места военных сооружений, порохового погреба, корпуса складов и дворы инженеров. В удалении отмечены каменоломни и места для печей, обжигающих известь.

– А я вам могу добавить, молодой человек, – удовлетворенно наблюдая за радостной искрой воображения в глазах студента, сказал библиотекарь, – что возглавлял магазинное строение и иные каменные дела Осип Старцев, мастер весьма изобретательный, к полудню и степи российскую архитектуру приспособивший, бесчисленное количество разных по виду и стилю изб поставивший и очень зорко к южной степи, Дону, морю приглядывающийся. Лесу он бездумно не употреблял, многие бревна заменял досками.

Тут, в городе и рядом в донских станицах, а мне довелось, там быть в 1705 году, многое объединилось: курени и мазанки с Украины малороссийской, изба с севера, а галерея с Кавказа, и брусчатые дома, и камышовые кровли. Поэтому Старцев и строил дома на столбах, срубах, а со всех сторон пускал сплошные крылечки с перилами, лестницы же пустил снаружи, на острых крышах петушки, флажки и солнышки пристроил.

А что касается вашей специальности, то на каждую слободу при строительстве составили чертежи и подробное описание строек и размеров и оные в Москву на утверждение посылали. Губернатор Толстой сам следил за благоустрой-

ством, твердую дорогу сделали, скважины били. Но особую красу дубовые рощи и сады, кои посадили, ему придавали.

Вокруг же города бахчи, виноградники и даже табак из Индии произрастал. Отменный город и порт получались. Но вот исчез, как древние Помпеи. В 1711 году все, по Прутскому миру туркам проиграв, стали рушить. Хотя Петр тайно приказал фундаменты оставить, турки, как донес адмирал-теец Апраксин, сию хитрость разгадали, и крепость, гавань и цитадель до основания рушили. Был город и нету...

Сашенька долго рассматривал чертежи, читал пояснения, и в его голове вырастали новые красивые города на Таганьем Рогу у теплого моря, где у причала стоят многочисленные корабли с развевающимися и хлопающими на ветру флагами, на набережной их приветствуют ликующие толпы, с крепостных стен салютуют канониры, а иноземные и отечественные гости ходят по улицам и спрашивают: кто же сие так мудро и красиво придумал, а он бы молча раскланивался и почти не краснел...

– Молодой человек, – тихо тронул за плечо служитель. – Уже все разошлись. Залу закрываю...

ЩЕРБАНЕВА ЛЕВАДА

Солнце садилось в бескрайние причерноморские степи, четко обозначив небольшие, насыпанные давними кочевниками холмы. Между ними мелькнула тень, она вытянулась на восток, как сдуваемое у свечи пламя, и осторожно поползла в степь. Тихий свист. Появился еще десяток силуэтов, и по тайному знаку тени они темно-серыми волками устремились вперед, оставив за собой скачущих всадников.

Аслан-ага давно не выходил на добычу, но этим летом за хорошую плату, полученную от османского посла и шляхтича из Речи Посполитой, вопреки ханскому запрету, решил на рискованную вылазку в прикрымские степи. Плата была немалая, но и разведать они должны были многое. Османец хотел знать: сколь далеко на юг продвинулись поселения казачков, прибывают ли в Новую Сербию еще сербские и славянские поселенцы, сколько русского войска держит императрица в Сечи. Немного оказалось желающих лезть под пули, но три десятка сорвиголов Аслан уговорил. Раньше здесь, в предкрымской степи, никто не рисковал селиться, а сейчас, пользуясь большим войском России и милостями запорожцев, по балкам, буеракам росли хутора и села, распахивались нетронутые земли.

Под копытами пискнула, не успев взлететь, пичуга, завещал и замолк затоптанный заяц, хлопнув крылами, взмыл

в небо с задранной лисицей не привыкшей делить добычу ястреб. Аслан резко натянул поводья, втянул воздух и развернул коня на север. Еще несколько минут, как бы убегая от последних лучей заходящего солнца, мчались зловещие тени, а затем растворились в вечерних сумерках, исчезли с горизонта, погружаясь одна за другой в заросший кустарником яр.

В яру конники спешили, надели мешки на морды лошадей, вытянулись бесшумной змеей по едва заметной среди густых кустарников и деревьев тропе. Глубокая промоина преградила путь темной стае.

Из задних рядов вышел высокий с длинными, изуродованными руками, бывалый воин Ахмат и, немного подумав, стал укладывать для броска аркан. С тонким сипеньем взметнулась волосяная веревка и судорожно зацепилась за белеющий в сумерках на той стороне дубовый пень...

Эх, кабы знал старый казак Щербань, что срубленный им вчера дуб поможет клятым врагам одолеть ров, не затронул бы его никогда!

Но не знал того казак, сидел он на завалинке своей хаты в конце укромной левады, затерявшейся в глубине степного леса, и отбивал косу. А когда отбиваешь косу, то можно вспомнить много добрых старых историй. Он посмотрел на своего меньшого внука и спросил:

– Ну будешь, Максиме, про Сирка слушать?

А про любимого кошевого Ивана Сирка мог он рассказы-

вать с утра и до вечера.

– Да, да, диду! – залепетал пятилетний Максимко, поудобнее усаживаясь возле деда.

– Було то на Старой Чертомлыцкой Сечи в зиму шестьсот семьдесят восьмого года, когда морозы замуровали днепровские глубины и речки полевые твердым льдом, а степи приодели снегами. Тогда сорок тысяч крымчаков и пятнадцать тысяч турок-янычар тайно снялись из Крыма и решили навсегда изничтожить казаков. На третью ночь Рождества Христова, в самую полночь, хан приблизился к Сечи и захватил сичевую стражу. Один испугался, изменил и сказал, что казаки все беспечно по куреням спят, и провел пехотных янычар вовнутрь Запорожской Сечи в «форточку», которая была не закрыта. И тихо-тихо янычары стали заходить в Сечь, заполняя ее улицы, как в темной церкви. Казаки спали, а янычары шли, крадучись, по улицам. И хотя захватили все гарматы¹ уже и наполнили всю Сечь, но стояли в нерешительности.

– А чего-то диду – они?

– А то, что, имея в руках оружие, они были помрачены всевидящим богом в их разуме... И от один казак Шевчик никак не заснет и подошел до окна подышать и доглядеть: чи не рано, чи не светает? И вдруг видит людей нехристианской одежды на улице. У Шевчика волосы дыбом, сказать и крикнуть не может. Но отступил он в глубь куреня, засве-

¹ Гарматы – пушки (укр.)

тил свечи и знаком позвал своих товарищей, что в углу куреня, закрывшись рядом, в карты играли. Когда они тех турок увидели, то тихо побудили товарищей, которых в курене полторы сотни было. Тогда стали самые меткие у форточки с рушницами, а другие им их заряжали. Помолившись богу, они открыли тут все окна и оконницы и густо беспрестанно стали стрелять в самое скопище янычар, сильно поражая их.

– А как же другие казаки, спали?

– Нет, они тоже спохватились и через куренные окна открыли мушкетный огонь, от которого падало по двое и трое янычар. И потом высыпали казаки с мушкетами, луками, копьями, саблями и дрекольем из куреня и добили врагов. А хан, что стоял возле Сечи, взвыл как волк и, пораженный страхом великим, убежал в степь. А казаки им отомстили. Сирко со своим войском летом скрытно переправился через Сиваш и на своих «ветроногих» конях наказал грабителей и насильников, взяв столицу продажного хана Бахчисарай.

И еще раз обманул их Сирко, он пошел на хитрость, подняв ордынские знамена; войска хана наших за своих приняли, а Сирко ударил с тылу, из Крыма, по охране, закрывающей выход. Многих тогда из полона вызволили. А свозили их нечестивые после грабежей и набегов в город Каффу, где продавали рабов во всю турецкую Порту. Особенно тяжело было женщинам, их как «белый ясыр» – то есть товар, продавали в услужение всем визирям, султанам и другим богатым туркам и арабам. Так их Сирко многих освободил и с

собой забрал. А потом сказал им: кто куда хочет, тот может и пойти. Четыре тысячи за ним пошло, а три тысячи в Крым решило вернуться, ответив, что у них там есть оседлость, а на Руси не имеют ничего. Сирко был удивлен и не верил, что они хотят возвратиться. Поднялся на курган и долго смотрел вослед, пока их не стало видно. А потом махнул рукой, и молодые казаки помчались за ушедшими и изрубили всех до единого.

– А ему не жалко их было?

– Жалко, жалко, внучек. Подъехал он на место сечи, заплакал и сказал: «Вот и еще погибшие от турецкого, басурманского коварства люди. Простите нас, братия, а сами спите тут до страшного суда господня, вместо того, чтобы размножаться вам в Крыму между басурманами на наши молодецкие головы и на свою великую без крещения погибель». И после того поехал тихо в Сечь, где его ждали все казаки. Сильно разгневался турецкий султан Магомет и написал письмо с требованием покориться ему. Этого запорожцы не стерпели и отвечали ему. А може, то и не тогда было. Но я трохи згадаю и расскажу.

...Чрык-чрык! – отбивает косу Щербань. И чудится ему пахучее сено лесных опушек. Чрык-чрык!.. И видит он копычки жита и ячменя, из которого его Олена напечет доброго хлеба, а он нагонит доброй и веселой браги. И много еще чего вспоминалось ему. Чрык-чрык!.. И на осеннем свадебном веселье сидит его красуня Мария рядом с добрым

хлопцем Андрием из соседней хаты. Кузнецом и чеканщиком, мастером на все руки. Чрык-чрык!..

Но не видел уже с тех пор старый Щербань никаких для себя радостных видений. Как будто вырвалась коса из его рук и острым лезвием вонзилась в тишину вечера. «Рятуйся. Рятуйся, Мария!» В один миг увидел он несущиеся с другой стороны левады темные тени на конских ногах, склонившуюся с ведерцем над речкой Марию и вдали, там, где копошилось злое наваждение, белую рубаху Андрея, и откуда неслся страшный, полный мольбы голос: «Рятуйся, Мария!»

Упала коса к ногам старого Щербаня, но не сгнула еще его казацкая сноровка. Уже через мгновение был он в хате, дернул со стены всегда заряженную рушницу и выскочил во двор. Уже другое увидел он там, на леваде: выпрямилась, как лоза, его родная Мария, повернули две тени в сторону белой рубахи, и вскочил перед речкой-невеличкой Арбузинкой низкий татарский конь. Выстрелил в него казак. Добрый был стрелок старый Щербань, да, видать, боялся он попасть в свою любимую дочку. Только покачнулся всадник и выбросил из-за головы свою страшную петлю.

А за спиной вбегали в боковые двери хаты из соседних домов дети и жинки, пронесли древнюю старуху Мотрю, и еще два казака стали рядом со Щербанем. Но и оттуда, с той стороны речки, раздались выстрелы, исчезла, пропала в темноте белая рубаха Андрея, а волосяной узел намертво захлестнул руку Марии, из которой скользнула в речку деревянная

цибарка.

Рванулся вперед Щербань, да схватили его крепкие руки сыновей: «Назад, батько, в хату!» Дали они еще один залп из своих рушниц и захлопнули дверь.

Метнулись через речку-невеличку всадники-тени, рассыпались по леваде, и уже горит хата, и лежит бездыханный пес Дымко, храбро бросившийся защищать двор своих хозяев.

Постояли в отдалении темные всадники, сняв ружья с плеч и приготовив арканы. Ждали, когда выскочат из пылающей хаты пленники, но не дождались, не услышали даже стонов и криков, погребла всех, видать, рухнувшая на них крыша.

Из остальных хат забрали нехитрую утварь казацких семей, килимы вязаные, рушники, чан для кулеша, седла и подпруги, покрывала полотняные, выцарапали и порубали деревянную икону из серебряного оклада, завязали в узлы, перекинули вместе с полонянкой через седло, привязали за руки на веревку раненого Андрея и скрылись обратно в темноту леса, увозя на спинах кровавые языки от догоравшей Щербаневой хаты.

Ночь спустилась на леваду. Тихо на ней. Не поют тут сегодня соловьи, не кричат ночные птахи, не лает на подкрадывающуюся опасность Дымко. Ушла беда, нет и верного сторожа.

Тихо и мертво на леваде. И лишь в утренних сумерках поднялась над Щербаневой хатой туча из пепла и искр, слов-

но не хотел оставаться здесь и дух Щербаней, уносился куда-то вдаль навстречу поднимающемуся солнцу.

Но из-за этой стены пепла выглянуло дуло рушницы, и негромкий голос спросил:

– Кто тут есть?

Тихо и мертво на леваде, никто не ответил Петру Щербаню, что был послан из внутреннего колодца с потаенным лазом в разведку. (Строили хаты казаки, чтобы всегда в безопасность укрыться можно было.)

– Стой тут и в случае чего стреляй, – шепнул Петро брату и вылез наверх.

Не было у них больше хаты, не было сестры Марии, не было доброго друга Андрея, их соседа и жениха сестры...

Неслышным стоном ответил старый Щербань на эту весть, когда возвратились лазом братья в пещеру-схорону, с другим выходом в плавни Буга. И хоть бывал Щербань в самых кровавых и жестоких сечах, духом никогда не падал, но тут и он про себя простонал: сколько же будет литься кровь человеческая? Сколько же раз отцы и матери будут терять своих сыновей и дочерей? Будь они прокляты, эти войны, в которых провел он почти всю свою жизнь и накопил богатство из ран, рубцов и шрамов. Смерти в честном бою он никогда не боялся, но хотел свои последние годы прожить в зимовнике, как вольный хлебороб. На поле, за сохой умереть, но не дают проклятые нехристи. Что же делать? Как вызволить Марию? Куда податься? То ли в Запорожье, кото-

рое несколько лет назад покинул, то ли в гайдамаки, которые и после разгрома Максима Зализняка как вихри налетают на польских панов, украинских старшин и русских полковников, то ли в Новую Сербию, под защиту российских войск, вместе с иноплеменными славянскими братьями поступить на службу к царю, или возвратиться на свою родную Полтавщину, где был у него – сына вольного казака в селе Комышня «батьковский маеток», то есть старая хата, да и ту, наверное, с землей прибрал давно к рукам старшина Апостол, что всех вольных казаков в крипаков превращает. А здесь жить без своей любимой красавицы Марии он уже не хотел и не мог от бессилия, оттого что не спас, не предостерег, не уберег, не погиб вместе с ней.

НАДЕЖДА БЛАГОПОЛУЧИЯ

Письмо от 15 августа 1764 года

Добрый день, славная Катерина Ивановна. Как мы и договорились с Вашей маменькой и Вашим папенькой, я Вам письма с моего далекого пути посылать буду.

А пишу я Вам о том, что плавание наше уже началось и вот уже пять дён длится. Сердце мое сжалось, когда исчезла из глаз крепость Петропавловская и черты уже далекого Кронштадта. Через сколько месяцев мы снова Россию-матушку увидим?

А до этого было на палубе действие учинено нашим капитаном Плещеевым. Построил он справа всю корабельную команду, а слева стали купцы, дохтур, иеромонах, толмач. Капитан в мундире, как птица белокрылая, руку вверх поднял и громкое слово сказал. О том, что мы в небывалый поход отправились, и что сама императрица Екатерина II на свое иждивение построила наш фрегат «Надежда благополучия», и плывем мы в море Средиземноморское, в страну Италию, куда морским путем ни один русский корабль не приходил. И идем мы в эти земли дальние не воевать, а торговать товарами из земли нашей. А посему мы для Отечества, его прославления поработать должны отменно.

И в честь этого поднять флаг должно и салют произвести.

И все это мне, Катерина Ивановна, сердце переполнило, и слезы подступили к очам. Но я сейчас моряк и искусству этому обучаюсь и плакать, конечно, не могу. Ибо моряки люди сильные, и сантименты свои держать должны. Я их и держу, но о Вас я все время думаю и уже сейчас жду не дождусь, когда мы встретимся. А письмо сие я отправлю из города Копенгагена, если будет оказия.

Всегда Ваш Егор Трубин.

Письмо от 15 сентября

Дорогая сердцу моему Екатерина Ивановна, добрый день.

Вот и исполнилось и мне осемнадцать лет в Балтийском море, почти месяц назад, и я, как старший, премного Вас поздравляю и желаю и дальше расцвета и благополучия.

Прошли мы город Копенгаген, в оном были недолго. Перед Петербургом он город небольшой, как наша Калуга, но зело чистый. А в день Вашего рождения налетел на нас в море Северном ветер силы необычайной, штормом по-морскому называется. Я вместе с матросами по реям лазил, паруса снимали; кои и сорвало. Страху не было, но один раз ноги у меня соскользнули, и я на руках повис, если бы не матрос Михайлов, то, может быть, наверное, плакали бы Вы сейчас о Вашем друге. Капитан Плещеев крепко по-морскому кричал и послал меня на корму ближе к

ахтерштевню паруса складывать.

А потом тихо стало, и мы через день в город Амстердам приехали. Что это за город, Вы и представить себе не можете, чистый Вавилон. Корабли со всего свету, люди всех цветов и одежек. И арапы, и хины, и индусы, и турки всякие, и христиане, и нехристи, и все ходят, торгуют, зазывают, пьют и по-своему говорят. А я на второй день с командой на берег хаживал. Строения здесь вельми хорошие, все каменные. Особо смотрели ратушу и кирху – знатные дома. В ратушу ту входят через семь ворот, в лице ее стоят три великие медные кумира, которые изображают юстицию, мочь и изобилие, под ними видна жена, которая держит герб города, Нептун, совы, единороги, а на самой вершине шар света. А отроду я не видел таких вещей, как слон, крокодил, павлин и птицу зеленую, вокруг глаз желтую, говорящую тремя языками, кита шести саженей, еще не рожденного и выпоротого из брюха, рыбу морскую, могущую летать и особливо обезьяны разные и всякие ост и вестиндийские диковинки. А с нашим главным купцом Владимировым на главное торжище, на биржу ходили, поелику и немецкие слова тоже знал. Но он не покупал там и не торговал, а все бумаги ему толмач читал, а потом сказывал, что железо и икру хорошо продал, а все остальное в Италию повезет.

А на улице ко мне подошла красивая женщина с зонтиком и говорила, говорила что-то, смеялась притом. А я как вспомнил вас, Екатерина Ивановна,

отвернулся, она и ушла. Выезжаем в Лондон, и оттуда я тоже напишу, а засим желаю Вам божьей радости и здоровья.

Письмо от 5 октября

Спешу Вам сообщить, прекрасная Екатерина Ивановна, что я жив и даже, после города Лондона, здоров. До оного мы по реке из моря ехали, а потом купцы меня взяли в карету, как второго толмача, ибо в английском языке я премудр. Однако же в первые часы я ничего не понимал и даже подумал, что оные обыватели нас обманывают и говорят по-другому.

Но потом ухо мое разбирать стало, и я слова стал говорить, кои лондонцы после повторения понимали. Тут все чудно! Господ много, или они и не господа, а одеваются так. Ходили мы к королевской башне, по всяким кунсткамерам, в которых всякие дивные и другие вещи и уборы, даже видели хоромы, где их главная власть заседает, по-ихнему – парламент. Но меня пуще всего их корабельное дело интересовало, ибо они сейчас лучшие в мире, говорят, судонавигаторы и мореплаватели. У них во все стороны света корабли ходят, а мы в Италию первый раз едем! О нас они ничего не знают, называют московитами, северными турками. Лапти называют «московского царя обувь». А один господин долго наши бумаги смотрел и спрашивал, не против ли мы их веры, не хотим ли свою монархию на весь мир распространить, зачем нам флот и не

думаем ли мы заморские их владения посещать. Далее он пытал, сколько и каких кораблей у императрицы и куда мы путь держим после Лондона. В газете, как я читал для Плещеева, о русских пишут плохо. Купил я своей матушке и Вашей человеческую кожу, коей здесь все болезни лечат.

И мы ночью из Англии уехали, и не сразу повернули на заход солнца. На улицах и здесь много красивых женщин. Одна мне глазом подмаргивала. А для чего это, дорогая Екатерина Ивановна, я не знал да и знать не хотелось. Вы мне дороже всех.

Желал бы о всем подлинно описать, только за временем скорым прекращаю.

Письмо писано 30 октября

Дрожайшая Екатерина Ивановна, посылаю Вам самый низкий морской поклон и сообщаю, что плыли мы дальше от Англии мимо Франции, Гишпании, Португалии, а сейчас снова вокруг Гишпании, ибо вошли мы в море Средиземное. Здесь был и конфуз, где нас салютом испанцы приветствовали, как англичан, ибо здесь в южной Испании русских кораблей никогда не видывали. У нас, слава богу, все здоровы, но после английской пищи долго животом мучились.

Очень мне понравился город Лиссабон, португальского королевства столица. День был теплый, как у нас в августе. Мы стояли на рейде и белым видом города любовались, а потом с капитаном спустились

на берег. Жители здесь стройные, а женщины такие гибкие, остроглазые и красивые, что если бы я Вас не знал, то на них бы смотрел долго.

По городу здесь столько черных арапов ходит, что как будто мы в доподлинно африканской стране, откуда они сих слуг и рабов вывозят. Видели мы, как их вели из порта цепями скованными.

Португалия страна морская, лежит она на краю океана Атлантического, и их навигатор Васко да Гама первым Африку объехал и в Индию морским путем прибыл, для Европы ее открыл. Наш капитан Плещеев сказал, что и мы для России итальянские земли по морю откроем.

А еще напишу Вам, Екатерина Ивановна, что время даром не теряю и учусь во всем морским премудростям, которыми португальцы зело искусно владеют. Говорят, что они еще со времен римской Лузитании искусно корабли водили, но за мыс Кадикс заходить боялись, думали, что там пучина морская и яма глубокая и там их бог-громовержец, бури и катастрофы покарают. Об этом писал их славный мореплаватель и поэт Камоэнс, которому они рядом с Васко да Гама памятник поставить хотят.

А потом мы вошли в Средиземное море через Гибралтаров пролив и были в большом городе Барселоне, королевства Гишпанского. У меня тут голова кругом пошла, все так громко говорят, кричат, а женщины танцуют, и на руках у них корбочки стучат и щелкают, чисто наши клесты. И похожи они на тех

дам, что из книги «Две любовницы – Гиншанская повесть». И если бы Вас не было, моя дорогая Екатерина Ивановна, то я бы здесь и остался. Но Вы есть, и я к Вам через Италию прибуду. А отсюда знаменитый Колумбус поехал на шхуне «Санта-Мария» и Америку открыл. И мы тут снова их корабельное дело смотрели, гипшанцы тоже великие мореходы, и их корабли и до Америки и до Китая доходили с другой стороны.

Эх, Екатерина Ивановна, если бы я землю открыл, то Вас бы там сделал царицей, потому что Вы для меня самая красивая и дорогая в мире.

Письмо от 24 ноября

Пишу я Вам, дорогая Екатерина Ивановна, и в очах слезы стоят, хотя морскому делу кто служит, тому и не положено это, но они сами от радости высвечиваются. От того, что 20 ноября мы пришли в Ливорно, город итальянский. И хотя у нас, наверное, в Калуге уже снег глубокий и лед на речке, тут тепло и деревья совсем зеленые с листьями стоят, и море теплое, бирюзовое и синее, не как у нас в Петербурге.

Нас снова всех капитан Плещеев на палубе выстроил и слово сказал:

«Сей день, – молвил громко он, – в российском флоте славен будет. В Средиземноморье первый ее императорского величества корабль прибыл. А засим не один и не только с Балтики, а даст бог и с Азовского да Черного ходить будут. А Вам же, – обратился он к купцу

Кожевникову, – добычливую желаем здесь торговлю учинить и память добрую оставить. Команду об этом прошу помнить и на берег выпускаю».

А потом мы на склад выгрузили и железо, и юфть, и парусное полотно, и табак, и икру, и воск, и канаты, что, говорят, местным жителям надобно.

А потом по улицам этого города ходили, все тут любовались, красное вино пили из глиняной стопы, танцевали с местными жителями, которые хоть и не по-нашему молятся, но зело дружески расположены и приветливы. Ах, а какие тут италийки, как смеются, веселятся. Нет, хотел бы я жить здесь, Екатерина Ивановна, с Вами, если бы язык разумел, да обычаи свои не терял.

А сегодня, дня двадцать четвертого, в Ваш, Катенька, Екатеринин день и день нашей императрицы отслужили здесь в греческой церкви службу, какой тут, сказывали, сроду не было. И проповедь там иеромонах читал по-русски в таких золотых одеждах, коих те, кто исповедует греческую веру, не видели. Все кресты золоченые, икона полномерная, ризы и одежды, утварь тут оставлены навсегда в память.

Бургомистр на том служении был, а потом на обеде в его честь. Долго народ не расходился, и вечером фейерверк был в честь славного события. Я там с италийскими моряками познакомился и тоже узнал дельное, и они дивились многому. Оказии у нас, Катенька, с портом ни разу не было. И посылаю Вам письма все сразу с казанским купцом Пономаревым,

кой в Калугу их переправит.

Ваш Егор.

ТРОЙНАЯ ОПЛАТА

«Нет, Шарль все докажет, что он умеет. Умеет зарабатывать и умеет копить деньги».

Во Франции Шарль Мовэ был комедиантом, в Англии цирюльником, в Голландии пытался ювелирничать. Однако больших денег не скопил и решил попытать счастья в далекой Московии. Планами своими он поделился с купцом, уже два раза побывавшим в Петербурге, Риге. Перед отъездом заглянул в известную торговым интересом контору и получил предложение: по приезде в Россию два-три раза в год составлять донесение о российском рынке, ходовых товарах, урожае, интересе в покупках у двора, купцов и армии, а также о российском флоте, о тех кораблях, которые есть и которые строятся для дел военных и торговых. Деньги должен был выплачивать тот, кто по показу одной половины карты, вторая половина была у Шарля, забирал донесение. Ни опасного, ни дурного в этом Шарль ничего не видел, а видел возможность получить неплохой заработок не за самые тяжелые труды.

Через два месяца, имея рекомендательное письмо от известных голландских купцов – партнеров российских, он прибыл в Петербург. Город его не испугал, он чем-то походил на Лондон и немного на Париж, да и на набережных выстроились дома как в Амстердаме. Зарегистрировавшись в

ведомстве обер-полицмейстера, оставил на постоялом дворе, адрес которого ему дали еще в Голландии, нехитрую утварь цирюльника и ювелира и чемоданы с одеждой. Не теряя время, поехал осматривать город с Софи, не то чтобы с женой, но и не просто любовницей, приглядываясь к местам, удобным для цирюльни. Однако взор его с неудовольствием останавливался на многочисленных сияющих чистой «парикмахерских», в которых расположились усердные немцы, толстые датчане и юркие курляндцы. «Однако же это племя пользуется здесь доверием, и клиентуру завоевать будет нелегко», – подумал он. Действительно, несколько дней поисков помещения ни к чему хорошему не привели, и Петербург уже не казался столь привлекательным.

Все, что сдавалось, было дорого или далеко, от дорогих домов и улиц. «А какие деньги заработаешь среди убогих, да и что там услышишь?» – думал вечером у себя в номерах Шарль. Постучали.

– Дозвольте, господин Мовэ, поговорить с вами, по-английски сказал вошедший и, не дожидаясь ответа, продолжал: – Я от английского посланника графа Бекингема. Мы вас знаем по Лондону, и нам известно, что для голландских купцов вы собираете всякую информацию. Представитель его величества короля Англии здесь, в Петербурге, хотел бы пользоваться вторым экземпляром вашего донесения за соответствующее вознаграждение.

Не отвечая на предложение, но обдумывая его, мешая

французские слова с английскими, Шарль стал сбивчиво объяснять свое незадачливое положение, неимение достойного помещения для начала работы, хороших рекомендаций, плохое знание языка, которого он взял всего десять уроков.

– Рекомендации вам даст вельможа Черкасский, помещение мы вам завтра укажем, а русский надо изучать. Плату буду приносить вам я. Сверх голландских сведений нас интересуют все морские планы, подготовка офицеров, мнения в обществе о союзе с Австрией, Пруссией, Швецией, Францией, кто хорошо отзывается об Англии. Завтра я вам занесу рекомендации, укажу адрес и внесу первый взнос. Спокойной ночи.

Ночь была не совсем спокойной, но уже к концу следующего дня Шарль остался ночевать с Софи в своем новом помещении, где у него будет мужская и женская зала.

Шарль еще раз стал подсчитывать неожиданную прибыль и еще раз нашел, что его обязанности не будут обременительными и непристойными. Первые месяцы все-таки особых сведений не принесли, да и на русском, хотя он усердно его штудировал, понималось немного. Умелые англичане и тут помогли, поставив денежных знающих клиентов из дворян-гвардейцев и фрейлин знатных особ.

Знакомство завязалось, тем более что для господ офицеров Шарль имел французские вина и английские крепкие напитки, а дамы листали диковинные книжки о дальних странах, рассматривали гравюры Пискатора, Зубова, Ростовцева,

Шмидта и других русских и иностранных художников и граверов. Софи боялась, что громкие возгласы офицеров и морских слушателей распугают дам. Но Шарль знал, что у всякого женского заведения рядом должно быть мужское присутствие, и мимолетный женский взгляд привлекал к его залам внимание мужчин не меньше, чем острая бритва или английский ром.

Дамы щебетали по-русски и по-французски. О, какое это серьезное дело несерьезный женский разговор в парикмахерской! Сколько можно узнать новостей, подробностей, совершенно секретной информации, закрытых для мужчин сведений.

Нет, тот, кто считает женские разговоры в парикмахерской безделушкой, никогда ничего не узнает, никогда не будет богат! Шарль не таков. Для него это милое щебетание настоящий концерт, симфония, с солирующей скрипкой, звучанием которой наслаждается мсье Мовэ.

У господ офицеров разговоры посдержаннее. Они молчаливо безразличны при стрижке и бритье. Но уже поузнал Шарль, чем развязать языки русских мужчин. Англичане при третьей рюмке мрачнеют и становятся все молчаливее. Русские же офицеры веселеют, наливают себе еще по рюмке и начинают ругать пруссаков, «англичанку», турок, потом переходят на соседние гвардейские полки, вельмож, правительственный Сенат, а если выпьют, то попадает и самому вице-канцлеру, и если выпьют еще, то и всем фаворитам до-

станется. С последней рюмкой уже можно и не слушать, это будет тост за госпожу императрицу, как бы ни был пьян бра-
вый офицер. В общем, работы вечером прибавилось, надо
было все записать в первый список. Хотя два раза уже при-
коснулись половинкой карты голландцы и три раза одарили
англичане, но денег на раскачивание офицеров требовалось
все больше. Они знали, что здесь угощают бесплатно.

Но недаром Шарль был изобретательным малым, и в один
из дней он оказался при французском поверенном в Петер-
бурге Беранже. Сам расхвалил благопристойную и признан-
ную многими «высокими» людьми цирюльню, и, пригласив
поверенного посетить ее, он рассказал о поручении голланд-
цев (об англичанах умолчал) и высказал согласие за пла-
ту, достойную французского короля, поработать на его свя-
тое дело. С легким презрением выслушал его поверенный,
сей подлинный рыцарь чести, и брезгливым жестом указал
на дверь. Несколько обескураженный, бывший французский
комедиант неизысканно высказался по поводу скупости и
скаредности своих земляков и отправился домой.

В дверях цирюльни, заслонив проход, стоял в тонкой ра-
боты камзоле, закрывающей глаза шляпе, высокий, худой
господин. «Вот первая плата. Будете давать сведения 15-го
числа. Нас интересуют сверх того все связи с Альбионом,
крымским ханом, Польшей, Австрией, отношение к Фран-
ции. Отсутствие этих материалов будет меньше оплачиваться.
Всего доброго, мсье, не забудьте – завтра пятнадцатое».

БЕГЛЕЦ

– Батя, а кто главнее на земле: помещик, поп, солдат или простой христианин?

Отец, не облизывая ложку, хряско припечатал ее ко лбу Николки. У того слезы закапали, краснота разлилась по лицу, а в голове загудел колокол отцовского голоса:

– Ты, паршивец, думай, как дома помочь со скотиной управиться, да корову вовремя выгоняй. А то все надумываешь закавыки, да в богохульство впадаешь. Чтоб я тебя больше у отца Феодосия не видел.

Отец не знал, можно ли что добавить про попа – святой отец все-таки, хотя и баламутный какой-то, задумчивый. Оттуда-то Николка и приносит всю путаницу, на которую никто, кроме господ бога да, может, царя, и не ответит.

«Отец, конечно, от бога, – думал он, – но и помещик от бога. А Феодосий говорит: все люди на земле равны, и русские, и поляки, и татарове, и немцы, и господа, и крестьяне – так Христос повелел. Ну а если так, то зачем они сейчас не равны? Отец всего боится. А то, что взращивает, – все не его. Недоимки накопились, платить надо. Где деньги возьмешь? А кому сдавать? Барину! Где тут правда?»

Феодосий уже грамоте научил, хотя и нешибко: Николка буквы знает и медленно слова составляет. Сам Феодосий был раньше где-то в дальних странах, то ли у литвинов, то ли

у поляков. Возвратился, и в их деревню пошто-то приехал. Николку заприметил, когда он два года назад при причастии помогал держать просвиру. «Приходи ко мне, отрок, душу укрепим перед господом богом и людьми», – сказал тогда. Приходил Николка и в церковь, и в дом его, где в горнице, кроме стола, лавок и иконы, ничего не было. Да на столе книга церковная с застежками, откуда он и читал непонятное.

До него Николка знал, что есть бог, царь и помещик. Есть батька с матерью, да сестры, да соседи, да за бугром Сосновка. А Феодосий рассказал такое, что вся голова болеть стала. Есть какие-то села большие – города, в них живут не нашего виду люди, по рекам бескрайным корабли плавают. Есть стольный град Москва и ее младший брат Петербург. В оных простых людей почти нет, только бояре, дворяне, торговцы, попы да господа всякие, а на золотом кресле сидит императрица из немцев.

Николка знал, как отец с матерью надрываются в поле. Их-то восемь душ, он старший, а девки с Митюнькой хоть и помогают, но малые еще, и их кормить надо. Помещик осенью хлеб забирает да еще тридцать копеек с души. Где взять? А тут еще приезжают приказные с солдатами, еще требуют по три копейки. Берут подводы и харчи бесплатно. Жить совсем худо стало. Феодосий говорит, что так господь не велел неволить.

Отчистив пол в коровьем закутке досуха, он слегка потру-

сил остатками соломенной трухи из ясель. Хорошо будет коровенке...

К вечеру Николка был сам не свой, тянуло за ограду, но не смел не сказать отцу. Тот сидел у порога и доделывал держак к граблям – скоро сенокос. Мать ладилась провеять остатки зерна – обвейки тоже в начале лета с лебедой идут в дело.

– Я до Феодосия пойду, просил образа протереть, – не поднимая глаз, негромко, ни к кому не обращаясь, сказал Никола.

– Святое дело, святое, – выскочила мать впереди батьки. Тот ничего не сказал, только хмуро взглянул на нее,

Феодосия в церкви не было. По обыкновению, как учил батюшка, зашел в стоящую у церковной ограды избенку и попятился. Из-за стола темной тенью – только сверкнули зубы – быстро поднялся заросший волосами незнакомый мужик.

– Кто таков?

– Сей отрок любознателен и правдолюбив. Сын Парамона, чья на горе изба, – отвечивал тихо Феодосий сложивший на животе руки. – Садись, Никола. Внимай. А ты, Гаврила, читай.

Волосатый холодным лезвием взора достал до Николкиного нутра, подержал трепыхнувшееся сердце и, успокоившись, сел.

Из-за пазухи достал тряпицу, из нее вынул бумагу, мед-

ленно развернул и подвинул ее к Феодосию:

– Читай ты, побойчее будет.

Феодосий не жег, как все в деревне, лучину, в деревянной плошке у него плавал фитилек догорающей свечи, который он поправил и, придвинув к Гавриле, показал, чтобы тот читал сам. Волосатый с паузами за каждым словом, как будто прислушивался, стал читать: «Время уже настало, чтобы лихоимство искоренить, что весьма желаю в покое пребывать, однако весьма наше дворянство пренебрегает божий закон и государственные нравы и в том чинят Российскому государству недобро... Когда любезный монарх Петр Великий царствовал, то весьма предпочитали закон божий, и государственные нравы крепко наблюдали. А ныне правду всю изринули, да из России вон выгнали, да слышать про нее не хотят, что российский народ осиротел, что дети малые без матери осиротели. – Гаврила просветлел, голос его стал густеть и уже заполнил всю избу. – Или оным дворянам не умирать, или им перед богом на суде не быть? Такой же им суд будет, его по мере мерите, возмерится и вам. – И с нажимом закончил, вытаращив глаза: – Екатерина».

– Покажи грамоту, – тихо сказал Феодосий. Повертел ее, поднес к очам, посмотрел на свет свечи и, вздохнув, вымолвил: – Бумага не гербовая, слова реченые не так пишутся...

Мужик снова налился темнотой.

– Веровать надобно императрице. Пошто не видишь гладу, мору, насилия? Пошто богом не коришь лихоимцев?

Батюшка подергал бороду, насупился, помолчал и спросил гостя:

– Что хочешь?

– В Польшу пусть бегут, там паны лихо меж собой дерутся. Мужуку легче. Тыщи уже там со всех губерний.

– А ведомо тебе, что за твои подговоры назначена триста рублей награда, что войско генерала Маслова пошло к границе Польши и Литвы для забираяния разбойников и беглых?

– То мне ведомо. Но зло растет, а я не токмо по собственному умыслу здесь, а просили меня многих селян отцы и деды, да божья воля, во сне явившаяся. Всех, кто хочет от лихоимства уйти, через два дня у Анисьиного креста жду, тайной тропой поведу к воле, свету.

От слов фитилек метался, ну а темный мужик Гаврила то увеличивался в простенке, то растворялся в сумерках избы.

– И ты, – обратился он к Николке, – ежели правду по-правдашнему любишь, с нами идем. А я к соседям пошел... Жду.

Феодосий молчал долго после его ухода, а потом молвил:

– Негоже это, Никола, но ты слова никому не говори. Твоя голова еще молодая, ей рано с плеч лететь. А я поведаю мужикам про него. Ступай.

Утром село собралось у церкви. Но не для того, о чем думал Николка. Приехал приказной да пятеро солдат.

– Пошто держите? – робко спросил не выступающий из толпы мужичок.

– В рекруты сегодня будем отбирать, – отвечал седой, с изрытым оспой лицом приказной.

Толпа шевельнулась с тихим шумом: «Как в рекруты?» Все знали, что уже отплакали плакальщицы, отрыдали матери, выпили браги отцы ранней весной, отправляя сыновей в пожизненную солдатчину, из которой никто почти и не возвращался домой.

– От вашей деревни, – громко сказал он, – идут Ивашка Алексеев, Николка Парамонов, Емелька Петров...

Николка увидел, как шагнул отец к крыльцу, что-то стал говорить, развернул тряпицу. На что приказной презрительно хмыкнул:

– Поговори, поговори – а то и самого забреем... Вещи собрать к полудню, выезжаем.

Толпа упорно молчала, большинство крестьян тихо радовались, что не с их двора, и медленно отделялись от горемык.

Мать встретила дома Николку рыданиями. Отец, опустив руки на колени, сказал:

– Погибель нам теперь дома, Николка, а тебе смерть. Послухай на этот раз твоего Феодосия, беги к ляхам, а мы уже тут погибать будем.

Темной тропой от Анисьиного креста уходило утром двадцать беглых селян со своих родных земель, от своих родных мест в те земли, где сулили им волю, радость и человеческую жизнь.

КАЗАЦКАЯ ДУМА

Зажурылись запорожцы, шо нема им
воли, ни на Днипри, ни на Роси,
ни в чистому поли...

Украинская народная песня

Двухколесная котыга – кош, обитая снаружи войлоком остановилась перед крепостными воротами Сечи. Медленно вылез из нее Щербань. Птицей слетал он раньше с коня. Показачьи лихо и красиво одевался и причепуривался, подъезжая обычно к славному центру войска запорожского. Сейчас он поглядел на свою пропитанную салом сорочку, потертые, хотя добрые еще шаровары из телячьей кожи, запыленные свинячьи постолы, поправил ременной пояс с кошельком – гаманом, перекинутым через плечи, передвинул набок швайку² и ложечник, махнул рукой и пошел к крепости. Та обнесена была заостренными сверху дубовыми палями и обмывалась двумя небольшими речками Павлюком и Подпольной.

У въезда, у городских ворот, в молчании сидели калеки, уроды, кривые, безногие, ожидая от доброхотов милостыню. Подле них остановился подвыпивший казак и раздавал та-

² Швайка – шило (укр.)

леры, серебряные монетки и все, что осталось у него после попойки. Нищие знали, что добрее и щедрее запорожских казаков никого в мире нет. Слава об этом распространилась по всей Украине и Польше, и многие шли и даже проползали сотни километров, чтобы приобщиться к щедрости славных воинов.

– Кончилась воля наша! – сказал казак, раздавая монетки и показывая на распухшее и обезображенное тело висевшего вора. – Так и с нами скоро будет!

Убогие смотрели на повешенного без сочувствия. Знали строгие запорожские порядки в отношении к ворам разбойникам, коих обезображивали в назидание живым: лучше просить, чем воровать и кончать жизнь на виселице.

Щербань вспомнил, что повесили тут на крепостной стене и атамана Стецька Безыменного за то, что брал от воров взятки, нарушая запорожскую справедливость и честь. И пошел задами к своему бывшему миргородскому куреню. Прошел он мимо полтавского, переяславского, батурина, ирклиевского, поповичского, донского, кушевского, деревянковского, кисляковского да почти мимо всех сорока куреней, и вот он, его родной миргородский. Здесь провел он тридцать лет. Пришел молодым парубком, сразу после возвращения казаков из проклятой Туреччины, куда загнало их предательство Мазепы. И здесь жил почти с самого основания Новой Подполненской Сечи. Знали казаки и другие Сечи: Хортицкую, Базавлукскую, Токмаковскую, Микитинскую, Чор-

томлыцкую, Каменскую, Алешкинскую. Правда, последние были у турок и существовали недолго. Грустно было на душе у старого Щербаня, когда подошел к своему куреню. Подошел. Постоял. Подумал. Сколько съел он здесь гречневой и ячменной каши, похлебал тетери из ржаной муки, выпил горилки, пива и венгерской мальвазии. Заглянул вовнутрь длинных сеней, где в изразцовой грубе таился жар. Посреди стоял пятиаршинный очаг – кабыця. Над кабыцей на железных цепях висело два казана, в которых казаки обычно варили кулеш да и другую пищу. Здесь огонь не горел. «Может, кто в курене есть?» – подумал Щербань. Но в самом курене на длинном столе, сбитом из одной доски и именуемом сырно, были разбросаны миски. Ложку казак не оставлял, всегда носил с собой. А на помосте, где помещалось до ста человек, было голо – ни рядна, ни кошмы. На покути горела неугасимая лампада, и тут же лежала копилка-карнавка с одной копейкой на дне. На крюках вдоль стены висело всего три рушницы и две сабли. Щербань задумался: куда же все подевались? Наверное, на главной площади. «Пойду туда», – решил он. Но по дороге заглянул в церковь. Тут раньше былолюдно. Любили сходиться запорожцы и снимать свои грехи, которых набиралось немало за время похода. Были тут два диакона, из которых одного ясновельможные и невельможные паны казаки почитали за голос, а второго за ученость. Про первого весельчаки говаривали, что, когда он читает в церкви Евангелие, туда ходить не следует, а слушать надо

в курене. А про другого, щуплого и небольшого, забавники говорили, что весь его рост ушел в риторику.

При дороге у куреней, раскинув руки, лежало несколько казаков. Один из них был в парадном своем платье, другой – в одном исподнем. Казак открыл глаза, увидел Щербаня, поднял палец и медленно сказал:

– Не пей, казак, трезвым будь.

– Сам бы исполнил сей наказ, – ответил Щербань.

Казак повернулся на бок и промолвил:

– Для того говорю, что моя тобой невидимая трезвость не так тебе полезна, как мой совет, если послушаешься.

Не знал что и ответить Щербань. Но тут подошел к нему шинкарь Рубель и шепнул:

– Петро блажит единственно для того, чтобы одним наружным пороком прикрыть внутренние свои добродетели.

Недоверчиво покачал головой казак и пошел дальше. Откуда-то вынырнули двое нищих и стали протягивать черного калибру просvirки:

– Купи, ясновельможный казаче!

Щербань отмахнулся, знал по прежним порядкам, что, выпросив у щедрых пономарей просvirки, эти «жебраки» таскаются по вельможным панам, по куреням, шинкам и продают сей святой товар хоть и недорого, но оставшись в прибыли.

Одноглавая церковь без ограды, крытая тесом, построенная во имя покрова пресвятой богородицы, снабжена была

богатейшей церковной утварью, ризами и убором, лучше которых, как говорили, ни в России, ни на Украине не сыскать. Недалеко высилась деревянная колокольня с четырьмя окнами для пушек, чтобы отстреливаться от врага и салютовать на крещение, пасху, рождество, покров.

Щербань зашел в церковь, осенил себя крестным знаменем и вышел. На сосновой стене колокольни было выписано красивой вязью давно выученное на память Щербанем послание запорожцев Махмуду IV. Мелкими буквами вверху было написано обращение Махмуда:

«Я, султан, сын Магомета, брат солнца и воды, внук и наместник божий, владелец царства Македонского, Вавилонского, Иерусалимского, Великого и Малого Египта, царь над царями, властелин над властелинами, необыкновенный рыцарь, никем непобедимый, неотступный хранитель гроба Иисуса Христа, попечитель самого бога, надежда и утешение мусульман, смущение и великий заступник христиан – повелеваю вам, запорожским казакам, сдаться мне добровольно и без всякого сопротивления и меня вашими нападениями не заставляйте беспокоить. Султан турецкий Махмуд IV». И дальше большими буквами – ответ:

«ЗАПОРОЖСКИЕ КАЗАКИ ТУРЕЦКОМУ СУЛТАНУ:

Ты, шайтан турецкий, проклятого черта брат и товарищ, и самого люцыпера секретарь. Який ты

в черта лыцарь? Черт с...е, а ты и твое вийско пожирае. Не будешь ты годен синив христианских под собой маты, твоего войска мы не боимся, землю и водою будем бытыся з тобою, вавилонский ты кухар, македонский колесник, иерусалимский броварник, александрийский козолуп, Великого и Малого Египта свинарь, армянска свиня, татарский сагайдак, камынецкий кат, подолянский злодиюка, самого гаспыда внук и всего свиту и подсвиту блазень, а нашего бога дурень, свиняча морда, ризницька собака, нехрищенный лоб, хай взяв тебя черт. Отак тоби казаки отказали плюгавче! Невыгоден еси матери вирных христиан. Числа не знаем, бо календаря не маем, мисяц у неби, год у книзи, а день такый у нас, як и у вас, поцилуй за те ось куда нас! Кошовый атаман Сирко со всем кошом запорожским».

Подивился еще раз Щербань, как ловко написано, но что рядом с церковью повесили, не одобрил, не для того святой дом...

На майдане, где собирались обычно казаки на Раду и выборы, знакомых не было. Может, они у полтавского куреня, и потянулся туда. Да, за куренем полтавчан лежало на кошмах и халатах, сидело сотни две казаков. То была красивая и родная для Щербаня картина. В центре товарищества на таганке стояла громадных размеров «обчиська» люлька, вся обсажена монистами, дорогими камнями, разными бляхами,

и по ней кривыми буквами была надпись: «Казачка люлька – добра думка». И точно, когда подходил казак к ней, брал двумя руками, сосредоточивался, делал две затяжки, успокаивался, вроде прояснялась его голова, суетливые думки укладывались рядком, чтоб их стало видно, и был готов он не кричать без разбору, а сказать свое весомое, нужное другим и разумное слово. А если слова не давали, отходил в сторону, доставал свою люлечку-носогрейку или нюхательный рожок и ждал, когда подойдет его очередь. Один казак отсел в сторону и точил саблю, другой ковырялся в пистолете, третий держал в руках концы поясов, на которые накручивались два дюжих его товарища. Пояс у одного был зеленый, и он крутился по нему, другой разглаживал каждую морщинку и хотя медленно, но приближался к другу. Щербань ступил в круг и молча поклонился. Сидевший у люльки, с бритой головой и чуприной-оселедцем, завязанной два раза за левое ухо, хмуро спросил:

– Кто таков?

Двое других привстали и, всмотревшись, радостно вскрикнули:

– Та то наш Толкач-Щербань с зимовника мабуть явился.

Толкачом Щербаня прозывали за то, что раньше он ходил, прямо и гордо поднявши голову.

– Согнуло твоего Толкача, однако же, – бросил бритый.

– Горе у него. Родных порезали и поубивали татары.

– Ну раз горе, то сидай, казак, с нами, у нас тоже не ра-

дось. А тебя мы знаем, добрый был казак, пока гречкосеем не заделался. Сидай. Да слово свое потом скажешь.

Щербань сел недалеко от своих старых знакомых миргородцев, достал кресало и ударил по зажатому меж пальцев кремню. Трут затлел после двух ударов, старый был добрый кресальщик. Достал из-за околыша шапки свою люлечку и, понюхав, прикурил, прислушиваясь к речам.

Речи на сей раз были не горлопанистые. Чуюло казацкое сердце: надвигаются суровые времена. По всему видно, заканчивались запорожские вольности. Старшина³ получала свои деревни и села, хоть бурчала в усы о славном прошлом, об исчезающих вольностях, но вступить в их защиту не собиралась. Тем более что поговаривали, родовитым да богатым будет учреждено дворянское звание. Ну а сейчас шла война с вечным врагом – турками, казаки думали и, об этом.

Храбро сражались запорожцы в русско-турецкой войне в первую кампанию, и встречала их после первого похода Сечь звучно и громко. Почти семь тысяч храбрых воинов боевого товарищества возвращались в Сечь, хотя выезжало больше. Многие положили головы в забугских степях. Впереди всех по традиции ехал атаман Кальнишевский и знаменитые на все войско старшины Павел Головатый, Андрей Лях, Лукьян Великий, Алексей и Софрон Черные, Иван Бурнос и Филипп Стягайло, семь полковников и множество других чинов.

Вспомнилось горькое начало кампании. Еще только объ-

³ Так называли богатую казачью верхушку

явили о начале войны, разворачивались армии Румянцева и Голицына, а орда Крым-Гирея перешла Днестр и через Очаковские степи бросилась на Буг, на запорожские и Новороссийские села по Синюхе, Ташлыку, Ингулу и Мертвоводью лежащие. Крым-Гирей был в немилости у султана за свою самостоятельность, но теперь знал, что его за ненависть к славянам, к русским и украинцам, за свирепость вернули из Родосской ссылки, а по приезде в Константинополь приветствовали отсечением головы у десятка черногорцев. Вместе с французом бароном де Тоттом, его военным советником, он прибыл в Крым, и оттуда черная лавина двинулась на Украину. Другой отряд татар, дождавшись ухода запорожцев из Сечи в Поле, подошел к сердцу запорожцев с востока и запалил села и зимовники по Волчьей Кильчене, Самаре и другим речкам. Все жители были там перерезаны или угнаны со скотом в плен. Кинулись преследовать их запорожцы, почти тысячу врагов уничтожили, но скрытно по балкам повернула орда на Новую Россию и Ново-Сербию (еще при Елизавете заселенную выходцами с Балкан и России), почти все села от Ингула до Польши уничтожила. Устояла одна крепость Святой Елисаветы, где генерал Исаков собрал не уничтоженных жителей, казаков и солдат и отбил все вражеские атаки. Храбро сражались в русских войсках сербы, получившие пристанище и новую родину здесь, в России. Особо отличился отряд героев Зорича, состоявший из сербских пикинеров и украинских казаков. Они организовали преследо-

вание крымского хана и разгромили его боевой отряд у реки Каменки, остатки гнали до Очакова, где у речки Янчокрак и добились. Захватили там знатную добычу: знамена, много пленных христиан и мусульман и большие стада овец, лошадей и рогатого скота.

По принятому обычаю разделили добычу на две части, и кош послал генералу Румянцеву «его» пленных и двух жеребцов с седлом. Много дней еще патрулировали в Забужье казаки между речками Чичиклея, Кодыма, Тилигула, Куяльник, нападая на обозы, отряды, беря в плен турок-янычар, валахов, крымчаков.

Тут и был убит куренной атаман Яков Воскобойник с пятью казаками.

Царица «премного была довольна» своими запорожцами и позволила объявить им благодарность, а атаману Кальнишевскому прислала свой портрет, усыпанный бриллиантами. Благодарность неслыханная.

Гулким салютом встретила Сечь возвращающееся войско. Гроыхнула первая гармата на Гасан-башне, а потом ударили куренные пушки. Особенно дымно было у Пашковского, Деревянковского и Кушевского куреней (из последнего происходил сам гетман).

Отшумели казаки, попрятали или пропилили добро. Шинков, где пропадали христианские души, в Сечи было немало, и задумались казаки. Собирались иногда у куреней, на майдане, ездили к своим друзьям на недалекие зимовники,

благо осень была теплая.

– Не казацкое то дило, голову ломать над тим, шо буде! – выскочил перед «обчиской» люлькой горячий, нестарый казак Игнаций Россолод. – У нас есть ворог, и тут все ясно. Чи у вас серденьки заболели, казаки, по мягким постелям, чи задрите вы баболюбам та гнездюкам, шо коло своих хатынок осели? А у меня, братия, одна ридна сестричка, ось вона! – И он стремительным движением выхватил из ножен саблю с витой ручкой, подбросил ее вверх, перехватил из руки в руку и лихо вонзил обратно в ножны.

– Бона, панночка наша саблюка, з басурманами не раз зустривалась, не два. Гадаю, об этом нам и надо думать, – закончил он свое слово.

Щербань посмотрел по сторонам. Казаки слушали внимательно, хотя каждый продолжал делать какое-то свое дело.

Один дергал себя за ус, другой укладывал оселедец через левое ухо на правое, третий пришивал на красную свою черкеску гудзык – пуговицу. Два дюжих запорожца с десятиаршинными поясами раскручивались в обратную сторону. Что-то им не понравилось в укладке.

– Игнат, видно, хоробра дытына. Он, як тот Хвесь, куда схоче, туды и скаче, и ништо за ним не заплаче. А нам по вольности запорожской плакать не хочется, – медленно, как бы откусывая слова, начал черноусый казак, одетый в простую полотняную сорочку, но в острой зеленой шапке со смушковым околышем, с серебряной кисточкой-китицей

наверху, которая согласно кивала своему хозяину Миколу Ижаку. – Бачилы вы когда-нибудь, казаки, чтобы старшины да и сам атаман заводили обширные имения, прибирали к рукам зимовники, стада, сады, рощи, обзаводились работниками? Этого раньше на Запорожье и не слыхивали. Торговлю завели среди казаков. Они уже талеры и карбованцы решетом меряют. А московские полковники прямо в центре Сечи растаскувались и все урезают границы Запорожья. Як кажут до булавы, треба и головы. А до шаблюки тоже, головы не мешае быть, – закончил он, ощупывая колючий якирец, висевший на поясе и бывший для многих казаков неизменным оружием.

Отошел, сел на свою бурку, но потом поднялся и со своего места крикнул:

– Якщо так и далее буде, вольность пропадет, уйду за Дунай, чи на Дон да на Яик. Может, там ще воля есть.

Сказали слово еще несколько человек. Все говорили по-разному, но беспокойно.

– Что скажешь ты, бывалый казаче? – обратились и к Щербаню.

– А то, шо старшину надо заставить уважать запорожские порядки, полковникам не верить, зброю – сабли да рушницы крепко держать в руках, ибо без них мы, як ти бараны. Не то тут говорили некоторые наши добрые казаки. Иль не сидели мы из-за измены проклятого Ивана Мазепы и сорвиголовы Костя Гордиенки на проклятой Туреччине? Мой бать-

ко тогда с ними не пошел, заделался на время гречкосием, оженился. Нет, хоть и нелегка служба царю православному, тяжка доля приграничная, и не всегда любя к нам хвартуна, запорожская слава ведома от моря и до моря. Татары перед нами как мгла исчезали, турки уходили восвояси без лошадей, оружия и башмаков. А поляки, подравшись многократно, звали казаков к себе в гости, кумоваться и пировати на ярмарках в Умани и в Черкассах. И без них не смели ходить с хлебом в Очаков и Хаджибей. Бывало, когда кошевой Сирко, – не приминул вспомнить своего любимца Щербань, – наденет свою серую бурку и взмахнет палашом, толпы врагов как не бывало. Нет, мы, запорожцы, здесь и умрем, с земли нашей не уйдем.

Послушали старого казака, помолчали, кто-то недоверчиво покачал головой:

– Но и вольности тоже терять не дило...

И долго еще – всю зиму шли по куреням такие разговоры. Да и не только разговоры, восстала серома казацкая против богатеев старшинских. Многих перебила, но разгромили и ее, а те, кто живы остались, когда ударил Довбыш в котлы и литавры, со всем куренем побежали под свои прапоры и вместе с тысячами своих товарищей с пиками и саблями, рушницами и гарматами были готовы под большой войсковою хоругвью с изображением черного двуглавого орла идти на брань и сразиться с басурманами, врагами Руси и всякого закона христианского. «А со старшиной потом посчита-

емся!» – хмуро сказал Микола Ижак. Выехал тогда впереди всего коша, как в молодости, старый Щербань и хриплым, но еще звонким голосом запел:

А атаман тилько свысне,
Вси козаки в луку дзвонять;
А як коня в ногах стысне,
То вси витры перегонять!

НЕОТПРАВЛЕННЫЕ ПИСЬМА

*В Каибов век была такая мода на чудеса, как
нынче
на аглинские шляпки, и тот дом, в котором не
случалось
в неделю по крайней мере два чуда, был так же
смешон,
как нынче дом, где не играют в карты.
Иван Крылов. «Каиб»*

Дорогая Екатерина Ивановна!

И вот снова я в Средиземном море, но уже не как торговый моряк, а как военный. Эскадра наша под началом адмирала Спиридова, преодолев многие бури и испытания, пробилась сюда вокруг Европы. Ведь война на суше идет. А с моря Порта нас и не ждет.

В конце января мы, произведя ремонт в кораблях, стали готовиться к десантированию. Где, вначале никто не знал. Я же на линейном корабле «Три иерарха» с фрегатами «Надежда» и «Почтальон» направлялся в милый моему сердцу город Ливорно. Там нас снова премило и радостно встречали, и мы приняли на борт главнокомандующего флотом графа Алексея Григорьевича Орлова. Корабли же наши подали к Морее, где в горах живет отважное племя греков – майноты, которое уже давно против турок восстало. В феврале уже эскадра подошла к портовому городку

Витуло, куда сразу пришли тысячи греков, чтобы под флагом нашего отечества выступить на борьбу.

Греческий фрегат «Николай» поднял русский морской флаг, потом к нему присоединился и другой греческий корабль «Генрих». Их славные капитаны Паликути и Алексанио своей храбростью и отвагой любимыми стали. Храбрые легионы из русских солдат и греков очистили от турок часть Мореи, прозванную еще в прошлом Аркадией. Хочу Вам сказать о замечательном и смелом капитане Боркове, с коим я в походе участвовал. Его отряд занял крепость Мизитру и наступал в глубь Мореи. Здесь у крепости Триполицы ему в тыл ударили турки. Греки ушли в горы, а пять русских офицеров и тридцать восемь солдат были окружены пятью тысячами турок. Борков крикнул солдатам: «Братцы, не сдаемся!» И пошел со шпагой и пистолетом вперед. Весь отряд выстроился как небольшой еж и стал пробивать дорогу штыками. Турки во сто крат превосходили русских, но отступили и стали стрелять из-за камней. Капитан Борков был ранен. Осталась половина бойцов. Но оставшиеся в живых несли с собой знамя и командира. Борков пришел в себя и увидел, что живых несколько человек. Капитан взял знамя у тяжело раненного, опоясал им себя и тут был вторично ранен. Из 43 человек в горы прорвалось четверо: дважды раненный Борков, два солдата и сержант Кексгольмского полка. Они и вышли к Каламате, к русским кораблям. Так же сражался отряд Ю. В. Долгорукова, и такой это

нагнало страх на турок, что они дрогнули, а греки везде, где можно, против поднимались. В Мокрее их 6 тысяч собралось, в Эпире и Албании 24 тысячи. Это нам рассказали, когда мы 14 апреля прибыли к крепости Корона, а оттуда к крепости Наварин, уже взятой десятого апреля. Здесь, в Наварине, и собрался весь наш флот. Здесь я познакомился с бригадиром морской артиллерии и воином Иваном Абрамовичем Ганнибалом, который командовал десантом и артиллерией, бомбардировавшей крепость. Модону так и не удалось взять, хотя весь полуостров пылал в огне восстания. Наш командующий Алексей Григорьевич Орлов сказал: «Хотя Морея и очищена от турок, кроме крепостей Триполицы, Коринфа, Потрола, но силы мои так слабы, что я не надеюсь не только завладеть всем, но и удержать завоеванное. Лучшее из всего, что можно будет сделать, – укрепившись на море, пресечь подвоз провианта в Царьград и делать нападение морской силою...»

За сим кончаю. Егор Трубин.

...После этого, как ни пытался Егор сесть за письмо, больше трех строк ему написать не удавалось. Хотел он написать своей Катеньке о Чесме, о сем великом сражении, когда весь флот турецкий был уничтожен. Но если говорить правду, то этой великой баталии он и не видел. Помнит только, что вошли они в бухту прямо на турецкие корабли, а дальше был такой пушечный гром и пламень, что упомнить весь ряд боя

он не мог, ибо послан был на вторую палубу помогать бомбардирам. А там только дым, пламя и горечь. Виктория была величайшая!

И после этого в каких только местах не побывал он, чего только не насмотрелся. Вроде и до этого повидал немало. Матушка все ахала, когда он про странствия свои пове­дывал. Не верила, что такие чудеса на свете бывают. Батюшка, по­воевавший в Семилетней войне, за границами бывал, но только на севере, в нищей Польше и разоренной боями Пруссии. Поэтому сыну, прибывшему на поправку, не пере­чил, но, когда тот сильно расхотелся, ехидно подмигивал, по­пыхивая трубочкой.

А Егор и сам бы не поверил в то, что с ним произошло. Но было же! Было! Разрубил его проклятый янычар, ко­гда штурмовали они бейрутскую крепость. Собственно, кре­пость-то уже тогда взяли. И он с небольшим отрядом моря­ков и солдат шел по улицам, к знаменитому рынку. Там надо было объявить, что торговля разрешается и может идти, как обычно, только без пошлины в турецкую казну. И вдруг у самого рынка невесть откуда выскочил на них обезумевший янычар. Конь под ним вздыбился, и янычар не глядя разря­дил в Трубина пистолет, а кривой саблей полоснул его по щеке и ударил по руке. Уже падая и не чувствуя руки, Егор увидел, как на штыках уплывал отчаянный янычар со своего коня. Помнит, как склонилось над ним женское лицо и что-то громко говорил мичман Скорупа.

Через несколько часов он понял, что лежит в глинобитной хижине, а пальцы на руке хотя и медленно, но разгибаются.

Тогда эта черная молодая женщина повела рукой, и ему стало легче и радостней, иголки закололи в пальцы. Кровь пошла быстрее, и он пытался встать. Она строго улыбнулась и жестом приказала лежать, потом кого-то поманила пальцем. В дверь тихо вошли матрос Никита Михайлов и мичман Скорупа. Егор опять захотел приподняться. Они замахали на него руками: «Лежи! Лежи!» Никита почти шепотом заговорил:

– Вот она тебя выходила. Айсоры, говорит, их народ зовется, а лечит не по-нашему, не шепчет, не заговаривает. Поит травой и руками все машет. – Мичман потрогал усы, махнув головой в сторону айсорки, весело подмигнул: – Я бы тоже у такого лекаря полечился.

Айсорка, казалось, поняла и помахала пальцем перед Скорупой, и он сразу подтянулся, стал серьезным и уже больше не шутил.

– Пришли тебя забирать, Егор. Завтра эскадра уходит в море.

Женщина опять поняла и показала ему рукой, два раза приподняв ладонь кверху, чтобы вставал. Егор боязливо посмотрел и потом решительно приподнялся, сначала на колени, а потом, опираясь на Никиту, выпрямился во весь рост. Он с горечью посмотрел на айсорку и понял, что больше не увидит ее никогда. А она, опрокинув на него взгляд своих

черных восточных глаз, подошла, поцеловала, навсегда оставив запах кедра, лаванды и роз, и легкими толчками направила его вперед.

Вечером на корабле Егор приготовил бумагу, взял перо и, написав «Дорогая Екатерина Ивановна!», отодвинул лист в сторону, надолго задумался. И лишь через несколько месяцев продолжил:

«Снова мы в Ливорно. Здесь я увидел женщину необыкновенной красоты. О ней рассказывают всякое. Она же себя считает то дочкой Елизаветы Петровны, то султаншей Селиной или Али-Эместе, то принцессой Владимирской, то госпожой Франк, Шелл, Тремуль. А в Венеции, сказывают, называлась графиней Пивнебрег. Сия таинственная особа то появлялась в Лондоне, то выныривала в Париже. При графе Орлове состоящий чиновник сказывал мне, что на самом деле она дочь пражского трактирщика или нюрнбергского булочника.

В Париже она часто бывала у польского посланника Огинского, который в нее влюбился. Князь Лимбургский просил ее руки. Она жила у него в Оберштейне, в его родовом замке, получала из разных стран деньги, вела переписку с разными высокопоставленными лицами. И тут кто-то, а нам неведомо кто, назвал ее наследницей российского престола. Может, то были приближенные французского короля, может, католические монахи, может, польские эмигранты.

Чиновник рассказывает, императрица встревожена, так как многие в России зарятся на престол. Нам тут известно, что в отечестве нашем сейчас великий бунт, что содрогаются помещики и купцы, а императрица молится богу и подумывает уехать в Курляндию от мятежного Пугачева, объявившего себя Петром Третьим. Говорят, есть и другие самозванцы. Они объявляются то в Черногории, то в Польше, даже здесь, в Италии.

...Свет мой, прерывал сие письмо, ибо имел особое и важное задание появиться в Рагузе, где объявилась сия Елизавета Вторая. Тот человек, к которому я ездил за пакетом для графа, просил меня передать графу, что это французское дело. Ибо она в Венеции жила в доме французского резидента, а в Рагузе – в доме французского консула, который оказывал ей почести как русской принцессе. Почему французы, я и не понял. Вот и польские конфедераты, сам Радзивилл ее сопровождают. Пишу Вам и не знаю, что со мной происходит. На балу в доме у знатного рагузского вельможи, куда я был неожиданно приглашен, она летала как бабочка краснокрылая, веселая и красивая. И вдруг, по чьему-то, наверное, наущению, остановилась возле меня, склонила голову и спросила по-французски: «Ну, а вы, молодой русский моряк, будете служить дочери Елизаветы?» Я ответил по-русски: «Я служу императрице и Отечеству». Она растерялась, оглянулась, и я понял, что надо перевести. Гордо и царственно посмотрела она на меня тогда и

сказала, что скоро поедет в Константинополь и оттуда завладеет короной.

...Милостивая государыня Екатерина Ивановна, долго не писал, закурило и унесло меня сейчас к Вам. Еду я на корабле контр-адмирала Грейга в Кронштадт. Случилось событие позорное и постыдное. Граф Орлов, вместо того чтобы все сделать честно и благородно, пригласил несчастную мнимую принцессу в гости, наделил ее деньгами для расплаты с кредиторами, прикинулся страстно влюбленным, заманил ее вначале во дворец в Пизе и на корабль, где продолжал прикидываться и ухаживать. А потом – стыд и позор! – арестовал ее.

Не принцесса русская она, не говорит по-русски. Говорит, что дочь гетмана Кирилла Григорьевича Разумовского, между тем как его брат был любим Елизаветой. Но разве можно любовь и честь заложить за сумнительную победу над дамой? Я все сие сказал графу, хоть и неровня дворянин дворянину, судьбою вознесенному. Он закричал на меня, потом пригласил в кабинет, вытащил бумагу и назвал: «Се ответ императрицы на мое послание ей о самозванке». Это послание я запомню на всю жизнь.

Императрица графу советовала, если возможно, приманить самозванку в такое место, где ловко посадить ее на наш корабль и отправить ее за караулом в Петербург. «Буде же она в Рагузе гнездиться, то я Вас уполномочиваю через сие послать туда корабль или несколько с требованием о выдаче сей твари, столь

дерзко на себя всклепавшей... – прочитал граф. – В случае непослушания дозволяю Вам употребить угрозы, а буде и нападение нужно, то бомб несколько в город метать можно, а буде без шума достать способ есть, то я на сие соглашаюсь. Екатерина».

Я не знал, что графу отвечать, сказал только, что под его началом не хочу служить более. Граф почему-то более не сердился и приказал отъезжать с кораблем Самуила Карловича Грейга в Кронштадт.

...Не знаю, допишу ли я свое письмо к Вам, дорогая Екатерина Ивановна, но встретил я еще раз на сием корабле эту принцессу Елизавет. Мне перед этим один моряк шепнул, что едет с нами тайно княжна Тараканова. И вот увидел я ее у каюты, и она быстро-быстро заговорила по-французски и просила помочь ей бежать. Я стоял молча, опустив голову, и она с горечью заметила: «Понимаю, вы тоже пленник...» Ее увели, а меня вызвал Самуил Карлович и сказал, что-де почитает меня за человека честного, блюдущего дворянское достоинство, но общаться с сией особой запрещено и знать о ее прибытии в Кронштадт никто не должен. И я понял, что письмо это я Вам, дорогая Екатерина Ивановна, не отправлю...

Егор».

«МЕЛЬНИК-КОЛДУН» В ТЕАТРЕ

Неожиданно для себя Сашенька превратился в завсегда-тая московских театров. Невиданное до сих пор зрелище полностью захватило его. Нельзя сказать, чтобы он раньше не видел всяких разных «машкаратов». Еще в Петербурге ходил он, будучи студентом, на бывшее карусельное место на игральница, где за пять копеек молодые мужчины-слуги представляли наиувеселительнейшим образом в разных одеяниях всякие комические и трагические деяния, басни, сказки, чудеса, кощунства. На этом всенародном позорище, так называли театр на пустыре (за Малою Морской), простой народ, с великой жадностью ежедневно собирался. И там же бывали и такие, что показывали свое искусство в скорости, равновесии, силе. Вороватые подьячие, всякие взяткины, хапкины, частобраловы, глуповатые чернецы и попы, глубокомысленные и ничего не смыслящие во врачевании людей лекари и аптекари попадали во всякие смешные истории, и тут уж публика отводила душу в смехе, не смея часто перечить реальным мздоимцам.

В российский же театр Сашенька сходил дважды, смотрел «Арлекин в любви вразуменной» господина Гольберха и «Тройную женитьбу» господина Детуша. Однако же ему казалось, что пьесы сии глуповатые, несвойственны российской жизни, пороки же зарубежных героев комедии как-то

его не трогали, а их речи были манерны и слуху противны.

Да Сашенька скоро и в Москву перебрался. В Москве же за хлопотами архитектурными было не до театра. Однако полученный им ранее заказ от знатного московского вельможи отобрали, ибо нашелся более именитый иноземец, которым на Руси уже доверяли больше, чем своим.

Раздосадованный Сашенька ударился в чтение. На глаза попали пьесы российских сочинителей Лукина, Фонвизина, Елчанинова. Особенно пришлись ему по сердцу, по его настроению сцены из комедии «Наказанная вертопрашка».

– Послушай, – обратился он к своему более преуспевающему другу архитектору Лощакову, – прямо про меня сказано. Ведь и в архитектуре толстосумы немцев да итальянцев предпочитают. Нет, ты послушай, что тут написано.

И он с выражением прочитал отрывок из «Вертопрашки», а друг его вел по тексту пальцем:

– **«Молодой граф (Пульхерии).** Я вам лучше расскажу, сударыня. За обедом сегодня у графа Глупозвякова не знаю какой-то педант сутенировал, что будто русский язык... что этот варварский язык более приятности французского имеет... Мы с Никандром помирали со смеху, однако не могли игноранта этого заставить молчать... И какой он вздор моллол! У нас-де начинают писать, называя великими людьми Ломоносова и... Феофана какого-то. Великими людьми двух русаков! Вообразите себе только эту глупость!.. Слушай, мой дружище, сказал я ему, что тебе кажется велико, то еще не

велико для других.

Пульхерия. Остро сказано.

Ераст. Но читал ли ты Ломоносова и Феофана?

Молодой граф. Я! Чтобы я читал вздор этот?

Никандр. Чтобы мы русские книги читали? Ну радоте, мон ами (вы говорите чепуху, мой друг).

Ераст. Вот так-то эти господчики всегда судят! Однако хула ваша столько же мало может вредить великим этим людям, сколь мало ваша похвала может принести кому чести.

Никандр. Тэ туа (ты молчи). Я ведь давно знал, что ты прямой русский человек.

Ераст. Послушайте, право, совета моего: поучитесь прежде грамоте и после осуждайте сочинителей. Поверьте, друзья мои, что очень легко можно узнать, для чего вы язык свой ненавидите.

Никандр (смеясь). А для чего бы, сударь?

Ераст. Для того, что вы в молодости его не доучили. Вы показываете теперь, что будто бы противен вам выговор природного вашего языка. Вы называете его варварским... Но так, как в известной басне, и львиная кожа не может сокрыть нескладного зверя уши, так и сие притворство ваше не сокрывает вашего невежества».

Сашенька порывался читать дальше, но Лощаков его остановил:

– Э, да полно тебе, брат, так переживать. Мы тебе, брат, найдем приличный заказ. Сейчас столько под Москвой уса-

деб строится, и каждый дворянин хочет сделать по законам ордерного устава, так что без нас им не обойтись. Лучше давай-ка махнем в московский театр, там сегодня твоя любимая опера!

– Да что ты, я и забыл!

Действительно, шла опера Аблесимова «Мельник-колдун, обманщик и сват». Сашенька захлопотал. Он уже на третье представление в театре пойдет. И не потому оно ему нравилось, что был он прост в чувствах и ограничен. А потому, что любил народное веселие, а сердце его откликалось на звонкую песню, пастушеский рожок, роговой призыв труб, тихий серебряный перезвон валдайских колокольцев.

В театр они опоздали и поэтому в залах не гуляли. В ложу прошли тогда, когда зрители, или спектатеры, уже сели на свои места. Рядом в соседней ложе, не поворачивая головы, сидел известный московский вельможа и театроман Викентий Рязский, вместе с ним возвышалась совершенно окаменевшая и неприступная дама с пышной прической и тщательно выложенным на плече локоном. А рядом два изумительных чудесных создания, сверкающих из-за веера глазами.

«Сестры!» – подумал Сашенька.

Весь зал трепетал крылышками вееров, и казалось, вот-вот кресла взлетят к куполу. В России входила мода на веера. И уж в театр-то московские и петербургские красавицы их не забывали.

Мягко подгоняли и рассекали воздух ветрогоны из шелка и пергамента, стальные и костяные. Оправленные золотом и черепашьей пластинкой, осыпанные сверкающими бриллиантами и алмазами, они игриво ходили в руках их хозяек.

Почти во всех ложах дамы упражнялись с веерами и говорили ими на том языке, который был понятен свету. Вот одна гневно собрала его в кулачок, показав свое неудовольствие и ревность, другая благосклонно махнула им два раза подряд, выражая согласие на свидание, третья – отгородила себя от ищущего взгляда. Ну а еще одна так изящно изогнулась, опустив веер за бортик, что мужчины из трех рядов партера и двух лож направили на нее зрительные трубки и лорнеты, восхищаясь мраморной белизной ручки хозяйки и ее умением не очень прикрывать себя одеждой.

– Ты знаешь, дружок, – склонился к Сашеньке Лощаков, – что сей язык веера называется «маханием», а «махаться» по-московски значит кокетничать!

Ничего этого Сашенька не знал и с удивлением выслушивал откровения друга, поведавшего, что красавицам известно, сколько раз можно махнуться веером так, чтобы от сего «косыночка, закрывающая их грудь, приняла то положение, при котором, вопреки булавкам, могла быть видима прелестная неизвестность».

Занавес разошелся. Полилась нечасто слышанная здесь музыка. Нехитра комедия, да любви в ней песни, шутки и выкрутасы хитрого мельника Фадея, сумевшего устроить

брак крестьянской девки Анюты с однодворцем Филимоном. Арии звучали по-русски, на мотив известных песен: «Как вечер у нас со полуночи», «Как ходил-гулял молодчик», «Кабы знала, кабы ведала, мой свет», которые он слушал в деревне у маменьки, на базаре, ярмарках русских городов и посадов.

Публика, и не только российская, но и иностранцы, любопытствовала, довольно живо реагировала на шутки, музыку и песни, на красивые декорации, что представляли мельницу, реку, лес и восходящий месяц. В начале третьего действия в зале иронически заулыбались; девки сидели, как на посиделках. Одна пряла, вторая шила, другие занимались своими делами, и вдруг затянули они свадебные, сладостные и грустные, ласковые и сердечные песни. Дама, сидевшая в соседней ложе, спокойно и уверенно окидывала зал холодными глазами. При звуках песни «Вчера-то мне косоньку матушка плела, матушка плела» она заволновалась. Ее снисходительность исчезла, кисти крупных жемчугов, обвивавших длинные локоны, и драгоценные камни, сиявшие на руках и запястьях, погасли, и крупная бабья слеза прорезала пудру на щеке. Небрежно усевшийся, скучающий Ряжский развернулся и, не обращая внимания на заминающийся камзол, широко и удивленно раскрыл глаза, потянулся рукой к накипи кружевного жабо, да так и застыл, склонив голову, прислушиваясь к рвущейся тоске песни «Что без бури, что без вихря». А когда актриса закончила выводить грустную мелодию, он донес руку до воротника и, покачивая головой,

хрипло сказал: «Можем же, можем не хуже итальянцев».

Но Сашенька чаще и, конечно, украдкой поглядывал на двух красавиц, прикрывающихся веерами. Вроде и похожи они, но так разнились одеждой, что нельзя было понять, сестры или просто схожи. Лицо одной светилось лукавством и задором, она упивалась собственной молодостью, веселостью. Другая с врожденной грациозностью была строга в облике и одежде, но и горда и уверена в себе. Над залом полилась песня «Тошнехонько мне, молодой, в девках быть». Любопытные глазки светлой затуманились, веер поник. Она вся наполнилась элегией и грустью, ее широко расставленные глаза распахнулись навстречу песне, и полные русские губы, приоткрывшись, шептали несвойственное французское: «Шарман, шарман». Ее сестра, наоборот, собралась, еще больше побледнела, с изумлением вслушиваясь в песню. Казалось, она не могла понять, каким образом эта мелодия, окружавшая ее в имении, как шелест листвы, журчание ручья, шум дождя и завывание ветра, вдруг впорхнула на сцену, где дотоле могли звучать только пасторали и арии незнакомых и далеких Италии и Франции.

Сашенька, уже не раз слушавший оперу с каким-то удовлетворением, тайно наблюдал за соседями; и в других ложах рукоплескали радостно и бурно.

Вышедший из зала разнополосый петиметр, как сейчас называли щеголей, помахивая надушенным платочком, жеманно цедил: «Ну и хамский же этот язык». Второй с со-

гласием отвечал ему по-французски: «Вытащить лошадь му-
жицкую на сцену – это безмерно вульгарно».

В центре фойе громко хохотала группа фрачных спекта-
теров.

– Нет, вы послушайте! Как он его ловко! А?

Мы всю твою узнали цену,
Как ты луну стащил на сцену
И лошадь на театр привел.
Ты посиделки нам представил,
Петь песни свадебны заставил
И слушать их ты нам велел.

– Однако же, господа, вы зря на господина Аблесимова
наговариваете, – с легким немецким акцентом сказал высо-
кий и седой человек, покручивая брелок. – Сей экзекутор
при полиции, хоть и писал на стуле о трех ножках, подогнув
под одной свои, но характер своего народа понимает и со-
действует его развитию.

Его поддержал сосед:

– Самородное русское произведение, прелестно свежее.

Однако эпиграммист не унимался; откинув руку в сторо-
ну, продекламировал, наверное, про сочинителя музыки гос-
подина Соколовского:

Наигрывает разны песни
С Бутырок, Балчуга и Пресни,

Что слышал там
По кабакам...

Сашенька не стал ввязываться в спор, отчего-то ему сегодня было хорошо. Он был еще в царстве музыки, песен, веселья простого. И необъяснимое чувство от сопереживания двух сестер возвышалось, и казалось ему, что веселое колдовство мельника коснулось его и двух еще незнакомых девушек.

Лощаков был человеком в московском свете известным. Его тесть часто давал балы и угощения, утверждая свое дворянское звание, полученное за крепкие деньги, выкачиваемые где-то на Урале из рудников. Он как будто почувствовал, что Сашеньке смерть как хочется познакомиться с сестрами, и подошел к Ряжскому.

– Я рад, что вижу вас здесь, – замурлыкал Лощаков. – Прекрасно, что вы вместе с чудесными созданиями. Правда, мы больше любовались вашими дочерьми, чем сценой, – отпустил он комплимент. – Знакомьтесь – мой друг, архитектор и человек больших способностей.

Ряжский скользнул холодным взглядом по Лощакову и внятно ответил:

– В театре надо на сцену смотреть, а не по сторонам. Вам-то это ни к чему.

Лощаков покачал головой. Хотел что-то сказать, но Ряжский уже повернулся к Сашеньке.

– А вы у кого учились? А, у Саввы Ивановича... Ну что же, самый достойный русский архитектор. Чем сейчас заняты? Ждете заказ?.. А нет ли у вас, голубчик, плана поехать ноне на юг со мной в новые земли? Я получил высочайшее указание осуществить надзор за строительством городов в Новороссии... Посмотреть проекты. Да и самим что-нибудь построить. Большие дела там, сударь, делаются. Возможности великие.

Саша зарделся, вспомнил свои вечерние бдения у таганрогских чертежей, заветы учителя о воссоединении архитектуры морской и городской, и, не зная еще, что будет в будущем, коротко сказал:

– Я готов послужить отечеству и делу.

Ряжскому ответ понравился, хотя Саша и не упомянул его имя. Он развел руками, потом хлопнул ими и уже домашним теплым голосом пригласил:

– А поедемте-ка, господа, к нам на чашку чая. Там и договоримся. Окончательно.

Предложение понравилось всем, но особенно почему-то обрадовались две сестры, внимательно и доброжелательно разглядывающие нового театрального знакомого. Когда сажались в карету, Лощаков ткнул локтем в бок, напоминая об утреннем разговоре: «Вот видишь. Без нас им не обойтись». А Сашенька подумал, что в театре при хорошей музыке, да на русской опере, становятся ближе и добрее.

МОЛЧАНИЕ

Мария молчала. Она молчит вот уже почти десять лет. Он, конечно, бы мог заставить ее заговорить, зарыдать, запричитывать. Он, Осман, по приказу великого визиря был послан сюда, в этот небольшой крымский город, чтобы негласно вести надзор за христианами, подданными крымского хана. Не ведут ли они подрывной работы против Порты, не собирают ли средства для ее врагов, не скрывают ли свои доходы от собирателей налогов? Сам он, конечно, слезкой не занимался, а нанял несколько шпионов, которым платил небольшие деньги. Потом, правда, и от них отказался – поручил это дело своим работникам. Те приносили кое-какие сведения, и он аккуратно пересылал их в Стамбул. За это время обзавелся хозяйством, в предгории паслось несколько отар овец, стадо лошадей. Здесь же, в городе, с помощью тех, за кем наблюдал, завел чеканную мастерскую, и чеканщики, купленные на невольничьем рынке, привезенные из других сторон, стучали с утра до вечера во славу верного слуги султана – Османа.

Марию он купил в Каффе. Ощупал ее красивые бедра, тугую грудь, а когда стал пробовать зубы, дикарка вцепилась ему в палец, на котором до сих пор виден белый шрам. Живость ее Осману понравилась, но она не подпустила его к себе тогда. А он, уверенный, что когда-нибудь она все равно

упадет на колени перед ним, обнимет его и обласкает, терпеливо ждал. Старость умеет ждать. Каждое утро он заходил в ее комнату, здоровался, ждал ответа и тихо уходил. Мария молчала. Она молчала день, два, пять, сто, двести дней. Год, два, пять, семь лет. И вот уже десятый год она молчит. Может быть, она вообще не говорит, может, она немая? Да нет же, он помнит, как кричала она на рынке, укусив его, призывая в помощь мать и отца. Но с тех пор никто не слышал ее голоса. Постарел Осман, и его полонянка нужна была ему как знак продолжающейся жизни, как утренняя роса, как легкий ветерок с моря, который он чувствовал вот уже семь десятков лет. Она была его первой дневной молитвой, он не признался бы, конечно, об этом всевышнему, но приход к ней придавал ему больше бодрости и силы, чем обращение в мыслях к аллаху. Он не хотел ее ломать и насиловать, она сама упадет к его ногам и заговорит.

Вот и сегодня он зашел утром к ней и ласково обратился со словами приветствия. Мария молчала... Осман тихо закрыл дверь и вышел во внутренний дворик. Сегодня он принимал здесь армянских купцов. Они давали основной денежный доход крымскому хану и султану, но последний год, год тяжелой и безуспешной войны с северным медведем, стали прижимистей и несговорчивей. А сейчас, когда Крым стал самостоятельным, даже его не очень-то расторопные наблюдатели доносили о их постоянных встречах с юрким генералом Суворовым, возглавившим русские гарнизоны здесь, на

полуострове, и на Кубани.

Осман уже несколько лет жил тихо, сам платил налоги хану, свои турецкие связи не выпячивал, чаще стал встречаться с греческими и армянскими купцами, вел неторопливые беседы о ценах, о плохих дорогах, о войнах, мешающих торговле. Вот и сегодня приехали двое из города. Он в прошлом месяце договорился с хитрым и плутоватым купцом Достяном, что продаст ему пятьдесят баранов, а взамен попросил привезти золотое ожерелье с драгоценными камнями. Осман хотел положить его к ногам своей любимой женщины.

Купцы удобно расположились на коврах, подложив под спины подушки, закулив кальян. Второго, молчаливого, молодого, он не знал, а Сурен Достян, похлопывая его по плечу, говорил:

– Вот мастер необыкновенный. Все умеет делать: сабли, ножи, шкатулки. Молчит, наверное, всю жизнь, – он хмыкнул, довольный тем, что ему это не грозит. – Поэтому все дела и переговоры за него веду я. Вот сделал он для тебя необыкновенное украшение и просит недорого.

Молодой, держась одной рукой за перекинутую через плечо сумку, молчал. Осман подумал, что цены Достян назначает сам и он-то не продешевит, поэтому решил сразу же, как только тот назовет стоимость, сбавить ее наполовину.

Поговорили еще о всяких делах, о погоде, о теплых иссушающих землю ветрах. Осман нетерпения не проявлял. Знал, что торопливость будет стоить ему новых денег. Нако-

нец Сурен, словно бы вспомнив что-то, сделал знак молодому. Тот расстегнул кожаную сумку, бережно вытащил оттуда какой-то сверток и медленно развернул полотно. Много видел красоты на свете старый Осман, но такого великолепия не видел он, ни когда в молодости бывал в Бейруте и Алжире, ни когда в почтенном возрасте посещал Мекку и другие святые места. На всем ожерелье висели маленькие сердечки с вычеканенным на них крошечным дубком. По лицу Османа пробежала волна радости, он подумал: «Ни одна красавица в мире не устоит перед таким украшением. Сегодня будет счастливый день в моей жизни».

– Нравится? – попытался определить по его глазам цену хитрый Достян.

– Сколько? – хриплым от волнения голосом спросил Осман.

Купец чувствовал, что надо не продешевить, взять побольше. Осман не торговался, только покачал головой и медленно отсчитал монеты. Вслед за этим не стал проявлять приличия, быстро встал, небрежно махнул рукой гостям и вышел на женскую половину.

Довольный Достян все хлопал молодого по спине и приговаривал:

– Удача! Это удача, мой дорогой! Хотя ты и сделал замечательную вещь, но я думал, что он не согласится на такую цену. Удача! Сегодня у нас удача! – Потом сразу замолчал, посуровел, зная по собственному опыту, что ничему не надо

на этом свете сильно радоваться – накличешь беду.

Они не спеша собрались и вышли во двор, где их ждали две оседланные лошади. Молодой мастер подтянул подпруги, помог взобраться в седло.

Дикий крик раздался в доме:

– Андрию! Ты чуешь меня?

Голуби, сидевшие на плоской крыше, взметнулись вверх, залаяла собака, захрапели взнузданные кони.

– Мария! Мария! Я йду до тэбэ! – кинулся к дверям дома молодой мастер.

– О господи! Он заговорил! Куда ты? Туда нельзя! – запричитал сидевший на коне Достян. Но его напарник уже исчез в дверях женской половины.

Сурен неловко сполз с коня и остолбенел: из дверей, пытаясь, вышел молодой мастер, он нес на руках молодую красавицу, а та, обнимая его, громко шептала:

– Андрий, Андрию! Я чекала тебя! Я знала, милый, коханный!

Дом, казалось, вымер, хотя еще десять минут назад в нем было много людей.

– Вот так штука, – пробормотал старый Сурен. – А ты не перепутал, сынок, это действительно твоя любимая? – сказал он, мешая русские и украинские слова и уже сердцем чувствуя большую радость и беду вместе.

– Да, это мой Андрий, – обнимая его, говорила соскользнувшая на землю красавица.

Красивыми женщинами старый Достян не увлекался – мешали торговле. Но цену им знал, понимал, толк в красоте. Эта могла затмить тех, кто услаждал богатейших и славнейших вельмож Порты. Правда, почему-то ее шея была склонена к плечу и она смотрела на него как бы сбоку, откуда-то из другого мира.

– Она моя невеста, – по-армянски быстро заговорил молодой. – Еще давно мы поклялись, что будем молчать, если нас разлучат беды и несчастья. И будем искать друг друга, пока не найдем. Горе пришло к нам десять лет назад. Нас захватили в плен и продали. Я искал ее десять лет. Я ездил по Крыму и Турции, Валахии и Кубани. Я делал украшения, где чеканил наш знак: сердце с дубом. И вот... вот... – Он обнял свою Марию и тревожно обернулся.

– Что с Османом?

– Я вырвал у него саблю, которой он хотел зарубить меня, и стукнул его плашмя по голове. Нам надо бежать...

Старый Достян вздохнул и забормотал слова какой-то молитвы, потом вздохнул еще раз и повернулся к Андрею.

– Сынок, мне уже не так много осталось на этом свете. Бери коней и скачи вверх по улице, до поворота на Каса-мечеть, там будет тропка, по которой вы через полчаса будете на плоскогорье. Там спросите дорогу у доброго старого пастуха – татарина Ахмета. Не бойтесь его, он хороший человек, он не любит крови. И дальше скачите на север до Гнилого моря. Перейдите его, и, может быть, вам повезет, вы

проберетесь к своим. Да возьми еще вот это, – и он положил в его карман недавно полученный из рук Османа кошелек. Андрей пытался отвести руку.

– Не надо. Вы и так спасли мою жизнь. Выкупили. Сделали членом семьи.

– Бери, бери! – Сурен знал, что этот металл поможет пройти по степям и городам, ущельям и даже непроходимым тропам.

Он перекрестил молодых. Завернутая в шаль, со щелками для глаз Мария и Андрей в обычной восточной одежде быстро поскакали со двора. Сурен искоса посмотрел им вслед и сделал шаг вперед, к дому. Дверь скрипнула, опершись одной рукой о притолоку, в ее проеме встал Осман, другая рука зажимала ожерелье. Он долго и невидяще смотрел на Сурена, а потом вздрогнул и закричал:

– Шайтан! Ублюдок! Ты украл у меня солнце! – И рухнул, звякнув золотыми сердечками с вычеканенными на них дубками.

Дом наполнился звуками и людьми.

СОЛДАТСКИЙ СЫН АКАДЕМИИ

Василий Зуев приложил согнутую ладонь ко лбу и долго вглядывался в даль, где уже едва различимо пылилась повозка его верного спутника – студента Кирьяка. Да, тысячи верст и сотни дней остались за их спиной. Уже больше года, не давая себе ни дня отдыха, колесит он по этим бескрайним просторам. Да где там колесит! На волах тащился почти месяц, а то и пешком. «А лучше в Сибири ездить на собаках, чем в Малороссии на волах, которые по великодушию своему что с плугом, что с тележкой равно ступают».

Академики словно издеваются, денег почти не присылают. Все-таки в России кто больше всего печется о благе своего народа, служит императрице и отечеству – меньше всего благодарности получает. Ну да бог с ними, с наградами, и признание позднее придет. Но как же карты чертить, чучела делать, минералы пересылать? Ведь на все денег надо!

Вон стрелок Денисов, хоть был дряхловат и нерадив, птиц плохо знал, но был свой человек и плату не требовал, умер от простуды. Лекарства ему не смог купить. Все нехитрое имущество его продал и послал двадцать пять рублей ассигнациями в Петербург для выдачи вдове покойного или «кто из родни если есть вживе».

Строитель и начальник Херсона Иван Абрамович Ганнибал даже крикнул, когда узнал, что Василий отослал эти

деньги в Петербург, сам не имея ни гроша. «Добрейшая душа Иван Абрамович. Возле него мне было очень хорошо. Это один из самых любезных вельмож, каких я видел во время путешествия. Были ведь и другие...»

А деньги Зуеву нужны позарез, чтобы описать, изучить этот пустой, слабо заселенный или совсем необжитой край.

Новая Российская губерния на бывших запорожских землях и дикой степи после заключения Кучук-Кайнарджийского мира стала оживать. Потянулись первые переселенцы. Зашевелились купцы. Уже в 1775 году открыты были первые таможенные пункты на Черном море. А в 1776 году первые торговые суда с товарами пересекли его с севера на юг. Но Россия не имела права по Кучук-Кайнарджийскому миру строить большие суда, и перевоз товаров осуществлялся на судах турецких подданных христиан, армян и греков. Зависеть от недружелюбной Порты было невыносимо. Стало ясно, что нужно строить большой флот. В 1778 году был основан Херсон и шел поиск новых бухт и стоянок для флота. Все больше осознавали в империи значение этих земель, все пристальнее привлекали они внимание коммерсантов, разного рода промышленников, архитекторов, мореплавателей и путешественников.

На территорию Новороссии шли свободные крестьяне, бывшие казаки, толпами тянулись рекруты из центра России, хлынули искатели приключений, иностранные колонисты, бегущие от турецкого ига подневольные греки, болгары,

сербы, армяне, албанцы.

Однако Европа все же смутно представляла себе этот край, да и Петербург нуждался в точных описаниях. Поэтому Херсон сразу привлек внимание путешественников и иностранцев. Здесь обосновались две французские фирмы, польская торговая комиссия, стали наведываться австрийские и прусские не то коммерсанты, не то разведчики. Сведения о крае собирали военные, чиновники, ученые и шпионы. От Петербургской академии сюда был послан ученый и путешественник Василий Зуев.

А исколесил землю российскую Василий, может быть, больше, чем какой-либо другой, на тот день, российский путешественник. Еще в 1768 году попал он вроде бы случайно в знаменитую экспедицию академика Палласа. В это время академия направила две экспедиции. Одну на Волгу, Кавказ и Украину во главе с доктором медицины из Риги Иоганном Антоном Гильденштедтом; другую во главе с академиком Петром Симоном Палласом на Волгу, Урал, в Сибирь.

Планы экспедиции Палласа были обширны и захватывающи. Столь же велики были трудности. И только энтузиазм и преданность долгу ученого помогли участникам пройти за несколько лет от Петербурга до Байкала и китайской границы, собрать ценнейший материал для науки, промышленности, торговли. Тут в экспедиции Палласа и обратил на себя внимание пятнадцатилетний солдатский сын Василий Зуев. В детстве способности его были необычайны, и потому он,

«хотя простого звания», был принят в академическую гимназию, по окончании которой премирован «книгой во французском переплете за доброе поведение и прилежание». И вот он взят в путешествие.

В 1768—1769 годах экспедиция проследовала из Петербурга через Москву, Владимир, Муром, Пензу, Симбирск, Самару, Сызрань, Оренбург, Уфу, Челябинск.

Паллас оценил бесстрашие, блестящую память, организаторскую хватку юного Зуева и, несмотря на то, что в экспедиции были более опытные люди, послал Василия в самостоятельный северный поход по Оби к Карской губе. Василий прошел Тобольск, сделал интересное описание города, добрался до глухого Березова, где было 150 дворов и впере­мешку жили русские, татары и остяки, промышлявшие охотой. По реке Сосьве добрался до Обдорска, где в 5 дворах зимовали 25 казаков. «Суровый край, – отметил Василий. – Только репа да редька и вызревали тут у Полярного круга». Не задерживаясь, он рвался вперед к неизведанному. Караван в сто оленей повез его к Карскому морю. Было лето. Сани еле тащились по мхам и камням. Олени падали от тяжести нарт. Самоеды пускали им кровь из хвостов, и экспедиция, преодолевая в день не более двадцати верст, медленно продвигалась вперед к Студеному морю. Зуев был первый русский путешественник, который пересек Полярный Урал и добрался со стороны Сибири до Карского моря. А потом обратный путь через Обдорск – Березово – Сургут – Нарым

– Томск, длившийся целый год.

Нелегко давалась юному путешественнику дорога по таежной России, но трофеи исследователя превзошли все ожидания. Живой белый медвежонок, десятки чучел птиц, кости и скелеты рыб и зверей, словарь народов Севера, 100 страниц описания быта и нравов остяков, вогулов, самоедов вызвали восторг у академика Палласа.

В 1772 году он посылает Зуева из Красноярска в Мангазею, которой Василий хотя и не достиг, но, пройдя почти весь Енисей, привез новые невиданные экспонаты. Затем Иркутск, китайская граница и долгое, почти трехлетнее возвращение в Петербург.

Все пережил солдатский сын Зуев во время похода: войну, чуму, холод, восстание Пугачева, длительные переходы верхом на лошадях, оленях и пешком. Палатка и экипаж – вот его ночные пристанища. Часто не хватало еды, а «вода уходила вглубь» и была недоступна. Нужна была помощь, но отчет и просьба об ее оказании часто приходили в Петербург тогда, когда экспедиция уже давно находилась в другом месте.

20 тысяч верст под руководством Далласа проехал Василий. Экспедиция стала для него университетом, здесь он родился как ученый и исследователь.

А доля эта нелегка. Приходилось бороться с недостатками, невежеством, засильем иностранцев.

Вот только вспомнить: Ловиц в свое время умер в плену у

казаков яицких. Гмелин скончался в застенках у лезгинского Али-Бей хана, Гильденштедт попался было горским племенам. «Но все сие по большей части вне государства, среди диких и непросвещенных народов и людей случилось, а я, — горько думал Зуев, — был схвачен внутри моего отечества, в Харькове, захвачен и обещен!»

Вспомнил, как с великой яростью вскочил из-за стола наместник губернаторства, кричал: «Под караул его, на гауптвахту!» Только за то, что он с достоинством и твердо просил лошадей у секунд-майора и не хотел платить самопроизвольный налог, придуманный то ли губернатором, то ли самим майором. Отсидев на гауптвахте, снова предстал перед наместником, и оный распекал, заставил перед ним вытянуться и снова кричал: «Ты, братец, неучтив. Конечно, вас вежливости в академии никогда не учат, так я много уже вашу братию учил и теперь тебя учить стану». Поставил тогда у порога, положил тогда одну руку в пазуху, другую вытянул, после велел смотреть на себя. И так-то вот надобно нагибаться, и так-то вот надобно говорить: знай, что я генерал-губернатор! «В доказательство же своей глупости и пустых привязок читал передо мной всякие артикулы об управлении. Мне же наперед от офицера сказано было, чтобы я ни малейше не прекословил, иначе сила его, говорит, велика и власть страшна, и для того должен я во всем повиноваться. Я сие и сделал, и сто двадцать верст скакал до Полтавы, не выходя из кареты и совершенно остолбенев. Господи, как это по-русски!»

Правда, тут же себя успокоил: «Терпи, брат, за науку. Никто за тебя ее не сделает, хоть ты на самого бога обидишься».

В письме же в Академию со злостью просил отозвать экспедицию.

«Не защищения от Вас требую, мои высокопочтенные господа, а только знать даю своим приключением, сколько спокойно, сколь безопасно можно путешествовать в России, в России – моем Отечестве, где и от чужих, и от своих, и от подданных, и от начальствующих должно опасаться насилия».

Академики же, как ему известно стало, не захотели даже слушать его письма, по-русски написанного, и приказали перевести его на немецкий язык для полной осведомленности тех господ академиков, которые не понимают ничего в этом языке.

Нет! Русский ученый не должен сидеть на одном месте и ждать! Ждать, когда немецкие ученые умы пришлют денег на оплату его проезда, на коллекции, на зарплату рисовальщикам и стрелку. «Я уже и так дал доказательства академии моих успехов и рачения, наибольшую часть моего жалованья истратил – в надежде, что она не потерпит, чтобы я, стараясь утруждать себя в ее удовольствие, не жалея ни здоровья, ничего другого, дошел наконец до крайности и невозможности. Ни путешествовать, ни жить впредь на одном месте не способен».

Академия же все потерпела и, более того, рассердилась

на столь беспокойного и ревностного служаку. Но Зуев и не ждал покровительства. Непокойная сила гнала его вперед и вперед. Каждое утро по какому-то неизвестному толчку он вскакивал, вынимал дневник, перелистывал, изучал то, что нашел с вечера, вытаскивал линейку, перемеривал минералы, листья, подправлял рисунки, будил свою немногочисленную команду и устремлялся к неясной и далекой цели своего путешествия.

Здесь, на юге, в Малороссии, все пришло в движение. По дорогам один за другим мчались кареты, неслись возки, двигались отряды всадников. Из северных губерний двигались караваны переселенцев. Да какие это переселенцы! Новый помещик, заполучив имение на богатых землях запорожцев или в дикой степи, перегонял туда закупленных крепостных. Нестройно и уныло шагали рекруты. С молодецким посвистом и песней шли лихие солдаты. Им все было нипочем. Побывали они в бедах и боях, штурмовали крепости, водил их в походы сам граф Румянцев-Задунайский и молодой, но любимый солдатам Александр, сын Василия, Суворов. «Но им-то только воевать, а поселянам жизнь строить и украшать», — думал Зуев.

Еще недавно о городе Кременчуге, в который въехал с харьковской обидой Зуев, никто и не слыхивал, а ныне по воле судьбы он стал временной столицей Новороссийской губернии, распростершейся по бывшим запорожским землям, херсонской степи, Прибужье и выскочившей на Кин-

бурнскую косу.

Зуев пробыл в нем недолго, но увидел, что жизнь здесь кипела бурно. В приемной губернатора толпились военные чины, российские помещики, малороссийские старшины, чиновники, бородатые купцы, бритые австрийские и польские коммерсанты. Все ждали или закупали благодеяния в виде земель, выпасов, угодий, разрешений на торговлю, заказов, да и чего только не ждут в приемных российских губернаторов. Канцеляристы, не уставая, выписывали владельческие бумаги, купчие, разрешения, не глядя смахивали в стол асигнации благодарных просителей...

На берегу Днепра возле хорошего, на плотах, моста сбились десятки повозок. Мост был занят переходившими колоннами рекрутов. Им предстояло там, на юге, возводить первые верфи, крепостные сооружения, дома, прокладывать дороги, высаживать сады, осваивать край. За ними кучками потянулись поселенцы. В небольшой бухте собрались плоты. Откуда лес? Из Брянска, Могилева, Чернигова... – нестройно отвечали перегонщики. Пахло селитрой. Здесь, в Кременчуге, готовили порох для армии.

Для губернского города Кременчуг был, конечно, мал и неблагоустроен, но жив и перспективен. В дневнике Василий записал: «Малое число дерев, кое-где около города растущих, недовольно от защищения от занесенного в город песку и потому бы не худо было бы засадить между оных бугров и городом лежащих болотин большими деревьями».

По западному берегу Днепра направились на Херсон. И тут уже Василий почти совсем не спал. Все наблюдал, заносил в толстую тетрадь, растения сушил и клал в папку, а минералы раскладывал в длинные ящички. Сам он, правда, свернул с дороги: не любил наезженных путей натуралист и путешественник Зуев. По главной же дороге, чтобы «все примечал», послал студента. Путешествие, хотя это было и неудобно, шло неспешно. Причина – «степные колесницы», как называли они арбы с волами. То ли Зуев не решался после Харькова просить коней, то ли нравилась ему временами такая неспешная езда. Правда, в дневнике он не без иронии записал:

«Сия-то езда была прямо для естествоиспытателя определенная, и только что темная и холодная ночь препятствовала ему в упражнениях. Легкая на нас одежда принуждала проводнику говорить, чтобы ехал сколько можно скорее, но сколько он не цобыл, волы нужды проезжих не разумели...»

Проезжал по землям запорожцев, видел, как из боевых казаков, кто не подался за Дунай и в охранную службу, делали селян. Как на ныне пустующие земли «приволокли» жителей с Полтавщины, Черниговщины, Брянщины. Поселенцев везли из-под Курска, Смоленска и даже Новгорода. Возвращали беглых из Польши.

Записал: «В Ингульском уезде вновь заселенных местечек 47, в коих во всех 45 домов и 2045 душ поселян... В Сак-Солонецком же уезде новопоселенцев 7514 душ». Понравился

ему оборудованный ниже порогов город Никополь, вокруг которого возведено 19 новых пунктов из новопереселенцев. «В прошлом году в городе всего семьдесят домов было, а в этом двести».

Широко раскрыв глаза и восхищаясь предприимчивостью своих новых земляков, слушал он недавно получившего землю отставного офицера, в имении которого заночевал. Тот сообщал: «Южнее, в Херсоне и Кизикерманском уезде, народу еще немного. Боятся. Турки не успокоились, да и татары-крымчаки непрочь пограбить». Хозяин в доме, вокруг которого цвели розы, почти не сидел. Ездил в поля, давал указания эконому, смотрел за строительством. Сам не отдыхал, но и никто у него не слонялся без дела. Василий был поражен, когда увидел женщин, которые заткнули за пояс прядильные гребни, сучили нитку, а ногами месили глину. Понимая, что труд сей тяжок и изнурителен, приукрасил его в дневнике.

«Когда их в одной кучке от пяти до шести с прялками и чулками соберется, то покажутся они теми баснотворными сиренами, кои, получа себе с плывущего корабля, что милое, на водах пляшут». Сирены к вечеру тихо и устало расходились в землянки, где готовили ужин для возвращавшихся с поля мужей. Настоящих плясок адъютант так и не увидел. Но зато у почты Кривой Рог, где он пересел на лошадей, занес на карту залежи железного шифера, который был «столь тверд, что к огниву давал из себя искры». Здесь, у впадения реки

Саксагани в Ингулец, что создавало излучиной мыс, именуемый рогом, обнаружил он несколько и других минералов и камней, высказав предположение о наличии больших земных богатств, которые потомки используют.

Красива южная земля и богата! По степи, особенно у криниц, видели много куропаток, дроф, тетеревов. Застрелили сайгака и зайца. Когда подъезжали к речке Висунь, удивились ее голубым берегам. Казалось, какой-то особый минерал осыпал побережье. И лишь когда приблизились совсем, увидели, что это ковер терна сиял своей голубизной около деревьев.

Каждый, лично свободный, мог получить здесь, в Новороссии, на Херсонщине, землю. Таких было пока немного, и чаще это бывшие запорожцы, знавшие земли и поселившиеся в долинах.

«...У них видел же, – писал Зуев, – презрядный способ, как беречь хлеб. К сему избирают они высокое и сухое место, в котором выкапывают круглую яму. Отверстие всегда стараются сделать не широкое, а только чтобы человеку или двум в оное пролезть было можно. Выкопав таким образом подземный погреб, вымазывают стены, полы и потолок глиною, чтобы было гладко, дают просохнуть, а после протапливают жарко. Когда скоро простынет, то и сваливают туда рожь или пшеницу, закладывают отверстие досками и заваливают землею. Так, что снаружи не видно. Сим образом сохраняется хлеб через множество лет без всякой порчи... Когда

сие понадобится открывать подземные магазейны, то имеют сию предосторожность, чтобы, открывши доски, близко не подходить, иначе спершимся в хлебе духом на том же месте ушибет до смерти. По отворении оставляет ее открытою на целую неделю, а потом уже хлеб выбирают».

Перед Херсоном степь выровнялась. Курганы остались севернее, и только на горизонте вставали плавни и вырисовывались верхушки домов. Земля вся была голая, какая-то серая, без пашни и трав. Неужели ничто здесь не родит? «Но, проехав несколько верст, причину его узнали. Под ногами лежали миллионы телец саранчи, побитой ранним морозом и все уничтожившей до горизонта». Неужели этот бич будет здесь препятствием земледелию?

И вот Херсон. Город был почти весь в землянках, дороги разбиты, повсюду груды строительного мусора. Генеральский дом был виден со всех сторон. Туда и проследовал Зуев. Его превосходительство генерал-цейхмейстер и кавалер Иван Абрамович Ганнибал принял быстро и, водрузив на носочки, громко прочитал послание академии:

«Милостивый государь Иван Абрамович! Представляющий с сим Академии наук адъютант Василий Федорович Зуев отправлен от академии для приращения сведений в натуральной истории, кого сим честь имею перепоручить в покровительство Вашего превосходительства, покорнейше прося об оказании ему в случаях нужной помощи. К поспешствованию возложенной на него комиссии, чем академия

чувствительно Вашему превосходительству обязана будет».

Смуглое лицо Ивана Абрамовича осветилось какой-то теплой улыбкой, и он, встав из-за стола, радушно распростер руки:

– Добро пожаловать, милостивый государь, в будущую столицу сего края! Наукой у нас тут еще мало кто занимается. Больше по военной части, да строительной, да коммерсанты начинают резво. Этому же краю без науки не обойтись: милости прошу!

Год промелькнул в трудах и заботах, в стремительной поездке в Константинополь, возвращении через Болгарию, Валахию и те же степи. Проехал Крым, еле спасся от мятежников татар и собрался возвращаться в Петербург. Почти месяц ушел на сборы, рассортировку коллекций, упаковку. Попросил в провожатые кого-нибудь, кто знает Прибужье и дорогу на Кременчуг. Ганнибал выделил уже немолодого запорожца Щербаня, из особого отряда охраны, что расположился выше Херсона и вел наблюдение за турками и татарами. Щербань возил припасы и провианты казакам, на службе вроде бы и не числился, но работал исправно.

Коллекция Зуева уже несколько раз пропадала, хотя и был при ней академический солдат Иуда Дув, «для препровождения и охранения при оной казенных вещей». Тетради, записи, карты, рисунки Василий берег пуще себя, ока не спускал с кожаного мешка. Чуть разума не лишился в Херсоне, после возвращения из лихой поездки в Константинополь, ко-

гда новый стрелок после смерти Иуды, прихватив лучшее его ружье и кожаный мешок, – думал, что деньги, – скрылся. Так те записи из Царьграда, Болгарии, Валахии и пропали. Хорошо, хоть другие остались в землянке, где он их обрабатывал, да часть в академию отослал. Но академики обходились с Василием сурово. Денег академия не присылала. И если б не добрая душа Иван Абрамович Ганнибал, давно бы погиб в этих жарких степях солдатский сын. А ведь вначале к экспедиции с вниманием отнеслись в академии, инструкцию на семьдесят пунктиков составили и «Наставление, по силе которого поступать надлежит...». В оном все, казалось, перечислено было: и об описании городов, местности, укреплений, откуда сало получают, о состоянии торговли, мануфактур и фабрик, о рыбной ловле и охоте, о строевом лесе, рудниках, плотинах, водоемах, количестве продукции и ее качестве на заводах, зарплате, транспорте, запасе руды, да всего столько, что не упомнишь, когда описывать начинаешь. А Паллас да Лепехин тогда еще добавили о качестве земель и вод, о пустых местах, годных для земледелия, и местных болезнях.

Многое сделал он в соответствии с «наставлением», но еще больше наметил для себя, отправляясь в обратный путь. Скорее, скорее туда, в Петербург, чтобы все показать, рассказать, доказать...

Уже почти тридцать верст отмахал он от Херсона и остановился у слияния Буга и Ингула. Разливист и широк здесь

Буг. Правая сторона вся в густых камышах, тайной покрыта для левобережника. Там была турецкая граница. Зафыркают вдруг неожиданно вынырнувшие низкие лошадки кочевников, переплывающие реку рядом со всадником. Стрелой промелькнет лодка.

Василий всегда интересовался рыбой, рекой, всей водной стихией, и тут, где впадает Ингул в Буг, остановился, пораженный раздольем, на котором в мощном борцовском объятии как бы зацепенели, притаптывая, два богатыря. Кажется, один одолел другого, и светло-голубая волна Ингула плещется сверху, загоняя вглубь темную воду Буга. Но вот за песчаной Стрелкой повернул могучим смуглым плечом Буг, и навсегда растворился в его глубинах голубоглазый Ингул. «Хорошо бы построить здесь красивый белый город, – подумал Василий. – Отсюда ведь путь водный на север в Новороссийскую губернию тянется, на запад по Бугу в Польшу, а на юг через Лиман в Днепр, на Очаков, в Черное море и Турцию... А места ведь пустынные, необжитые, никто здесь не был».

– Казаки здесь много раз основывались, – как будто поняв, о чем он думает, сказал Щербань. – Были тут и походные таборы, и посты наблюдения, и перевоз, за который гроши брали, а выше знаменитый Бугский гард, где ловилась рыба аж на всю Сечь и на продажу.

Как ни пытался Василий ускорить ход своего небольшого воловьего каравана, сделать это не удавалось.

– Та вы, пан-господин, не надрывайтесь. Вы же не по казачьей справе, не ворога вам преследовать. А коли так – то у степу можна ихать не швидко, но точно. Та и волю у скок не ходят, – урезонивал его приземистый казак Щербань. Его двухколесная котыга сопровождала вторые сутки от Херсона небольшой отряд Зуева. – Здесь недалеко знаменитый гард, где мне не раз доводилось добывать рыбу. Без войны казак табунщик, скотарь, но особенно рыбака.

– Разве же рыбу добывают, а не ловят? – перебил его Василий.

– Казаки, да! Рыбой кормились, торговали, оружие добывали через нее! Недаром в песне поется: «Днипровский, днестровский обидва лимана, из них добувались, справлялись жупаны». Ихала звидцы рыба до туркив, в Очакив, в Польшу до Варшавы, в Москву до России, в Киев, Полтаву и на саму Сечь. Та ось давайте завтра на Бутогордовскую паланку заглянемо и сами побачите, скільки там рыбы.

Но до славных рыбацких мест ехали еще двое суток.

По дороге их нагнал российский офицер, который вез почту. Путешественник его заинтересовал, почта была неспешная, горилка крепкая, а друзья-офицеры порядком поднадоели, хотелось новых впечатлений. С разрешения Василия он перебрался в арбу, пустив свой экипаж за экспедицией, к неудовольствию кучера и двух денщиков, тихим ходом.

Офицер попался из любопытных, расспрашивал, сам многое знал и даже поправил Зуева, когда тот перечислял дне-

провские пороги. Здесь же, в степи, на холме денщики развернули веселый стол, и он, подняв серебряную рюмку тминной, громко продекламирал:

Гремит музыка, слышны хоры
Вкруг лакомых твоих столов,
Сластей и ананасов горы,
И множество других плодов
Прельщают чувства и питают;
Младые девы угощают,
Подносят вина чередой;
И алиатико с шампанским,
И пиво русское с британским,
И мозель с зельцерской водой.

Зуев стихов не знал. Захотелось в Петербург, к уюту, радостям, музыке. Сколько уже лет он внимает то воинской трубе, то матросской дудке, то пастушескому рожку, то бубну туземца, а так поразившие его в Петербурге и Лейзене клавиесин со скрипкой услышал он только здесь, в доме у Ивана Абрамовича Ганнибала.

...Треск ломающейся телеги, истошный крик офицерского кучера и дикое, не слышанное раньше ржание прервали нахлынувшие воспоминания. Низкорослый пепелистый дикий жеребец в черных чулках подкрался к экипажу и, как заправский конокрад, яростно рвал упряжь, бешено хватал зубами постромки, ломая копытами оглобли.

– Бешеный, скаженный, – кричал, убегая почему-то к речке, ямщик.

Офицер хватался за мундир, но оружие осталось в возке. Низкорослый конь резко повел толстой головой, скосил огненный глаз и, поднявшись на задние ноги, со всего размаху ударил острыми передними копытами по оглобле, которая как былинка переломилась пополам, и ошалевшие от невиданной страсти две ездовые кобылы, выскакивая из остатков сбруи, стремительно последовали за своим диким освободителем, взлетевшим на холм и издавшим такой победный и торжествующий клич, который не оставлял сомнений в том, кто тут хозяин.

– Я тебе покажу, трус! – кричал офицер, потрясая кулаком в сторону спрятавшегося в камышах кучера. Щербань же, покачав головой, сказал:

– Вам же мабуть сказали, что у Ингула ходят табуны диких лошадей и что по этой дороге валяется немало возов, колес и ободьев – то все проделки диких жеребцов.

Зацепив поломанный возок, тащили его целый день до перегонной станции, где и оставили своего незадачливого спутника.

Дорога отодвинулась от Буга в степь, и обдаваемые полынным ветром путники размеренно, хотя и тихо, продвигались вперед. К вечеру послышался какой-то тревожный шум на безоблачном горизонте, встала дуга радуги.

– Что то за чудо?

– А то не чудо, там недалеко наша Бугогардовская паланка розташувалась. Возле тех порогов, что шумят, Буг разливается, и здесь запорожцы делают гард, то есть городят его. Он дивись – то урочище загатили, весной они большими и малыми камнями и дальше через всю ричку, останавливая ее со всех сторон, городили, перегораживали, опуская на дно тыны, плетни по-вашему. И каждый год, если не было войны, приезжали сюда выбранные из низового товариства господари, а также главные рыбаки – гардовничие. Собирались таких три-четыре односума, нанимали себе тафу: или пятнадцать-двадцать человек из бродячих, бездомных и безжених людей и с ранней весны до поздней осени занимались рыбальством. Хозяева здесь неплохо зарабатывали, лямчики и забродчики тоже, а работники только за харчи працюют.

Ныне на берегу стоял полуразрушенный рыбацкий курень и несколько запущенных шалашей.

– Война всех разогнала, мабуть... та ни. Ось там люды!

Действительно на той стороне на середину заплывала лодка, и сидящие на первой люди начинали выбирать невод, следующие за ними забродчики делали почему-то то же самое.

– То они другую, более мелкую сеть – «прорежь» – выбирают.

Через час на берегу билось живое самоцветное море рыб. Артельщики, по-местному табунщики, споро разбрасывали рыбу по сортам. В бочки с водой попадала белуга, севрюга, чечуга, пистрюга и красавец осетр. Двух сомов доби́ли до́вб-

нями и оттащили отдельно. Леща, тарань, чехонь, спицу и рыбец сгребали трезубцем в одну большую кучу, щук отбрасывали в сторону, а леща и судака выбирали поштучно.

Зуев захотел посмотреть засолку, запомнить и описать потом.

Казачи работали споро. Красную рыбу потрошили. Жир бросали в одну бочку, икру в другую, тушу тащили на палке в воду – мочить, другие же доставали из воды, распластывали, делали надрезы, насыпали соль и тащили на пригорок «на солнце и на росу». Жир из красной рыбы вырезали кусками, куски солили.

– Казачи едят ее как ветчину, – пояснил Щербань.

Несколько человек развешивали рыбу на длинных палках, другие надрезали ее, третьи солили, четвертые за бугром варили клей из костей и голов.

Самые опытные выбирали белужью и осетровую икру, очищали ее от перепонки и, протирая сквозь решето, слоями доверху складывали в бочку, на которую клали гнет.

– Потом еще побанят или повялят и повезут продавать в Очаков или во Львов. Икру нашу любят в Царьграде, Египте, Греции. Итальянские и алжирские, армянские купцы ее увозят отсюда.

Через несколько часов потроха были сгребены и выброшены в речку, доски, где разделывали рыбу, обмыли горячей водой из чана, и гардовничий дал команду: «Трохи видпочить», – то есть отдых!

Для казака сия команда означала отмену нестерпимого, но железного во время работы приказа гардовничего: «До горилки не торкаться!»

На вымытые и вытертые, застеленные душистым сеном столы, на чистую ряднину положили крупно нарезанные куски сала, длинные перья цыбули, миски черной икры, полосы вяленой желтой рыбы всех сортов, несколько пышных паляниц. Вытащили откуда-то из погреба сулею чистой, как слеза, горилки.

Гардовничий плеснул себе в глиняную чашку, медленно поднес к усам, вдохнул, быстро закинув голову, опрокинул ее одним махом и зажмурился. Все с напряженным вниманием и даже со страхом смотрели на выражение лица старшего.

Один глаз его приоткрылся, внимательно обошел всех сидящих, и он выдохнул: «Годится... добра...» Все шумно задвигались, закричали, подставляя черепки под бутылку.

– Вонзим копия в души своя! – крикнул один, каждый подбрасывал свою поговорку или словечко. Ох уж это умение запорожца сказать словцо! Как скажет, так вмажет! Вот протягивает самую большую кружку крепкий, с самым длинным оселедцем, закрученным за ухо, молодец и в ответ на укоризненный взгляд разливающего простодушно замечает:

– Человек не скотина, бильше ведра не выпьет!

Другой, тщедушный и квелый, может из бывших семинаристов или писцов, проявляя необычную живость, тонким

бабьим голосом почти пропел:

У нас в Сичи норов,
Хто Отче наш знае,
Той вранци встав,
Умнется тай горилки шукае.

Гардовничий перебил его и строго сказал:

– А тебе ведомо то, шо козак в походе не пье и всякого пьяного атаман немедля выкидывает за борт?

Квелый поперхнулся и закивал быстро-быстро, повторяя:

– Чую, чую и разумею.

– Ну и добре, шо и разумеешь. А хто не буде до ранку разумить, то рыбальство для того закинчеться.

Зуев встал из-за стола и спустился к спокойно несущему свои волны Бугу, еще долго наслаждался его величавой тишиной, раздольем. Из камышей с противоположной стороны тихо выехала маленькая лодка-подъездка и, немного проплыв, остановилась посреди реки. В лодке в длинной белой рубахе стоял человек и, слегка табаня веслом, всматривался в глубину. Вдруг из-под рубашки, из-за пазухи черной тенью что-то выскочило и нырнуло в воду. Василий не успел удивиться или испугаться злой чертовщине, как на борт лодки из воды выскочила та же темная тень, держа в зубах большую, бьющуюся о борт рыбину.

– О господи, да что же это такое? – невольно воскликнул он и обернулся, ища ответа. Как бы ожидая этого вопроса,

сверху подходил здоровый казак и, остановившись, опираясь на весло, медленно сказал:

– То Петро Непийпиво зи своею кицею рыбу ловить. А кошка, или что там за диковина, ныряла и ныряла в воду, вытаскивая большую серебристую рыбу.

Так Зуев увидел то, о чем уже ему не раз говорили, что казаки имеют прирученных выдр, которые и сидят у них под одеждой и благодарят своих хозяев, вытаскивая самую крупную рыбу...

Узнал Зуев, что многие из сих казаков работают почти даром, за еду, другие берут плату рыбой, а третьи – хозяева забирают почти весь улов и везут продавать его или в Польшу, или в Крым, или в Россию,

Выехали поздно, решили ехать ночью, чтобы попасть на Кривой Рог. Южное темное небо всегда удивляло северянина Зуева. При свете все казалось таинственным и необъяснимым. Из темноты вынырнул курган с тремя вершинами. Одна, боковая, была как бы срезана, разрыта. Он-то, возвращаясь из Херсона, пересев в котыгу Щербаня, еще раз хотел осмотреть, описать и зарисовать курганы и бабы, на них стоящие. «Оные здесь по ровности горизонта взмывали, как будто бы они стояли в воздухе и делали в красный день единое глазом украшение». Часть курганов, и один самый большой, Чертомлыцкий, он описал и вместе с рисунками болванов, на них расположенных, отослал описание в академию. «Что касается курганов... – писал он в донесении, – то сте-

пи Азова и Новороссии усеяны ими. Я видел курганы различных типов: большие, малые, конусообразные, невысокие, плоские, окруженные камышами, поставленные стоймя, как мы видели у Абакана».

Все время помнил и двадцать пятый пункт «Наставления», где предписывалось:

«Собрать сведения о развалинах и старых городишках, могилах, курганах, других древностях... Надо собирать сведения о древних могилах и находимых в них костях, орудиях и других предметах. Следует записывать предания».

Обернулся к дремавшему рядом казаку и спросил:

– Кто тут копался?

– Да тут один пан из Петербурга приехал, по-нашему не очень говорит.

– И что, много накопал?

– Почти пятьдесят кошелок выкопал, навалил на волов и посунул в губернию. Кожа на волах трещит, а он сунет и сунет. И как думаете, он сам идет? Ни, достает якусь стрелочку и на нее смотрит, а она уже ему показывает, где клады лежат, а где что другое. Она так и типается у него в руках. Он говорит: здесь клад. А она показывает: нет, неправда, вон тут.

– А что, правда тут богатство зарыто?

– Так у нас вси об этом говорят. Вначале сорока сороке, ворона вороне, и потом нам.

– Да кто же зарывал их?

– Ну, то все знают. Куцые черти да чубатые запорожцы.

– Как так? Что их вместе свело?

– А вы не знаете разве того, как старых людей переделывали в молодых? Ну так послушайте, как оно было.

Жил тогда между запорожцами один кузнец, да не такой кузнец, какие теперь повелись – пьянюги да мошенники, – а кузнец настоящий, честный, трезвый человек да еще старинного завету, и ковал он коней. Чуть ли не на всю Сечь. Чуть свет, а он уже в кузнице, уже чукает молотом. Только сколько он ни делал, ни годил казакам, а все бедняком был: ни на нем, ни под ним. Вот как-то приходит он к своей кузнице удосвита, а на дворе было еще так темно, что хоть в глаз коли, так ничего не видно. Отомкнул кузнец дверь, вошел в серединку. А там у него висело всегда две картины: на одной срисован был господь Иисус Христос, а на другой намалеван чертяка с рогами. Первая была прибита на стене, что прямо против дверей, а вторая на стене, что над дверьми. Так вот, как войдет кузнец в кузницу, тотчас же станет лицом к иконе и помолится богу, а потом обернется назад и плюет в черта, да плюнет как раз в самую рожу. Так он и делал каждый день. Так сделал и на этот раз: вошел в кузницу, перекрестился на икону, плюнул в самую харю черту, потом взял в руки молоток и начал чукать. Но только ударил раз, или два, или три, коли чульк, а перед ним стоит хлопчина здоровый, красовитый, с такими черными усами, что они так у него и выблискуют, а на вид несколько смугловатый.

– Здорово, дядьку!

– Здоров, хлопчина!

– Час добрый, ковать тебе – не перековать, брать деньги и не перебрать.

– Хорошо говоришь, да не ладно выходит.

– А что так?

– А то, что, сколько я ни работаю, нет ни на мне, ни подо мною.

– Жалко мне тебя, дядько, да что делать, коли у тебя такая скверная наука. Вот если бы ты знал ту науку, которую я знаю, тогда бы ты горем об землю покатил.

– А какая же твоя наука?

– Моя наука, что я по ней могу старых людей переделывать в молодых.

– Неужели можешь?

– Могу!

– Научи меня, спасибо тебе!

– Э, не хотелось мне, но жаль уж очень тебя. Так вот же что: пойдем вместе по свету, посмотришь ты, как я дело делаю, то себе научишься.

– Пойдем.

Вот и пошли они. Идут-идут, приходят в одну слободу и сейчас же спрашивают: «Это что, панская слобода?» – «Панская». – «А есть тут пан?» – «Есть!» – «А что, он старый или молодой?» – «Да лет до девяноста будет». – «Ну вот это и наш. Идем к нему». Пришли. Доложились о себе. Вот и выходит пан: старый-престарый, сморщенный, насилу ноги во-

лочит. «А что скажете?» – «А мы пришли, пане, называться вам работою». – «А какую же вы работу можете исполнять?» – «Мы можем, пане, старых людей переделывать на молодых». – «Неужели можете?» – «Можем». – «Сделайте милость, переделайте меня». – «А что дадите?» – «А что возьмете?» – «Да с вас тысячу рублей надо, потому что уж больно вы стары». – «Нельзя ли взять восемьсот?» – «Нет, пане, никак нельзя, струмент дорого стоит».

Туды-сюды, сторговались за тысячу.

Тогда тот молодой парубок взял долбню, ошелелешил ею пана по лбу, изрезал его на куски, покидал те куски в бочку, налил туда воды, насыпал золы, взял весилку да и давай все это мешать. Мешал-мешал, мешал-мешал, а потом дунул-плюнул да как крикнет: «Стань передо мною, как лист перед травой!» Тут по этому слову выскочил из бочки такой молодец, что аж любо на него посмотреть, молоденький, как будто лет семнадцать. Получил хлопчина тот деньги, часть дал кузнецу, а часть зарыл зачем-то в курган. Пошли дальше. Идут-идут. Приходят в другую слободу. И так несколько раз. Тут и подумал кузнец, что наука того парня не особо мудрая, и говорит себе: «Э, кат тебя бери. Я и сам теперь то же могу сделать!»

Положились они спать в третьей слободе, парняга заснул, а кузнец взял поднялся и ушел. Приходит в первую слободу и спрашивает: «А есть тут пан?» – «Есть». – «А стар он?» – «Да годов семьдесят будет». – «Вот это и мой». Приходит,

доложился о себе. Выходит пан хилый-прехилый, да еще и сторбленный. «А что скажешь?» – «Да пришел работою называться, пане». – «А какую работу можешь делать?» – «Могу из старых людей молодых делать». – «Можешь?» – «Могу». – «А что ты возьмешь, чтобы переделать меня?» – «Тысячу рублей». – «О, как дорого. Возьми восемьсот». – «Никак нельзя, пане, струмент дорого стоит». Так-сяк, за тысячу согласились. Вот кузнец взял свою долбню, убил ею пана, изрезал на кусочки, побросал те кусочки в бочку, налил воды, насыпал золы, взял весилку и давай мешать. Мешал-мешал, мешал-мешал, а потом как свистнет, как крикнет: «Стань передо мною, как лист перед травою!» А оно ничего не выходит. Он вновь мешал-мешал, мешал-мешал, пот беднягу прошиб. Снова как свистнет, как крикнет: «Стань передо мною, как лист перед травою!» И снова ничего не выходит. Что тут делать? А дети убитого пана пристают, чтоб кузнец воротил им отца, а то убьют. «Погодите, – говорит кузнец, – стар он, не выкипел». И снова мешать. Вот уже и ночь обняла его, устал бедный кузнец, сел, задумался: «Эх, побила бы меня лихая година! И на что я ушел от этого парня? И где он теперь есть?»

Только сказал он эти слова, кто-то торк его за руку. Оглянулся, а то тот хлопчина с блескучими глазами и черными усами.

– Что это ты, дядьку, зажурился?

– Э, голубчик мой сивый, выручай из беды. Покарала ме-

ня нечистая година; думал я, что уже научился твоей науке, взял да отошел от тебя и давай переделывать старых людей на молодых, а вот оно вышло так, что я ничего не умею. Убил человека, а теперь и не воскрешу. Сделай милость, помоги в беде! До веку не забуду!

Задумался парень, а кузнец все просит да молит его.

– Ну вот что, я тебе помогу, только дай мне один зарок.

– Какой твоей душе угодно зарок, такой и дам.

– Да что. Не будешь ты плевать на ту картину, которая висит у тебя в кузнице над дверьми!

– Да это та, что черт на ней намалеван?

– Та самая.

Понял тогда кузнец, что у него за товарищ и какая наука...

Но что же было делать!

– Не буду... До вику не буду.

С тех пор перестал кузнец плевать черту в рожу, с тех пор запорожцы и пословицу сложили: «Бога не забывай, да и черта не обижай».

– Хороша притча, – задумчиво сказал Зуев. – Но так я и не пойму, зачем же черт зарывал заработанные деньги в курганы?

– А затем, что то христианские деньги. Они бы его спалили.

Дальше ехали молча, но разговорившийся казак прервал думу Зуева:

– Ну а слышали вы, пане добродзею, как можно достать те

деньги, которые зарывали черт с запорожским кузнецом?

– Нет, не слышал.

– Зубом из мертвеца!

– Как так?

– А так, что нужно вырвать изо рта мертвеца кутный зуб, так с тем зубом можно находить клады, отпирать замки, обретать себе дивчат.

– Да что ты говоришь? Опять байка какая-нибудь?

– Да нет, пане. И то и то правда. Вот послушайте, как то было.

Когда-то в очень давнюю давнину тут у нас в Запорожье жил неимущий безродный казак-сирота. Только и богатства у него было – конь, кресало да люлька. И такой он был бесстрашный человек, что везде, бывало, бродит: то по степи, то по балкам, то по лесу; день или ночь, лето или зима – ему все равно. Вот так-то в зимнее время выехал он из Запорожья в гетманщину на города. Выехал, погода была хорошая, а потом была такая хуртеча, что боже сохрани! И света божьего не видно. Одно курит, откурит и все дальше – больше, дальше – больше. А казак все едет. Ехал-ехал, наконец сбился с пути: сюды-туды, сюды-туды, нет дороги; пришлось так, хоть богу душу отдавать.

Ну что же теперь делать? Пущу коня, пусть он сам едет, куды знает. Пустил. Конь едет-едет, вдруг тыць – и стал. Что такое? Смотрит казак: ограда, а за оградой церковь. «А, слава богу! Вероятно, тут же где-то и слобода». Привязал ко-

ня до ограды, а сам пошел искать слободы. Искал-искал, нет слободы, да и только! Хотел было вернуться обратно, но и тут беда: след потерял. «Вот теперь уж так смерть! Что делать-то буду? А дай позову коня». Позвал коня, конь заржал где-то. Казак пошел на голос и наконец-то добрался до него. «Нет, теперь я вот что сделаю: коня заведу под колокольню, сам сяду под дверь церкви, закурю люльку и буду сидеть до утра. Хоть грех курить под церковью, а все же пусть бог простит: не буду курить – засну, а засну – замерзну». Так он и сделал. Сидит себе и сидит, из люлечки попыхивает. Вдруг слышит из церкви, как будто что-то сорвалось со стены и шарахнулось об пол: так по всей церкви и раздался гул. Послушал-послушал казак и подумал: «Это, вероятно, мне вздремнулось да в дремоте и пригрезилось». Поправил казак на голове шапку, пощупал чупрынку, наложил табачка, придавил его пальцем, накрыл крышечкой и опять сидит попыхивает люлечку. Но вдруг чудится ему, что кто-то ходит по церкви. «Шам-шам...» Что же это такое? Нет, это не во сне... Казак вскочил с места и стал осматривать церковную дверь. Видит, во двери торчит ключ. «Эге, тут что-то неладно!» Тотчас выкресал огню. Зажег трут, вошел в церковь, нащупал там свечу, зажег и стал осматривать церковь. Видит, среди церкви стоит гроб, а около гроба на полу лежит крышка. Казак подошел ко гробу, заглянул в него, лежит мертвец, лежит так, как и следует ему лежать. «Значит, это не он стучит. Кто же бы это мог?» Пошел казак по церкви, заглянул во все углы,

никого нет. На клиросе нет, пошел на алтарь, заглянул под жертвенник – никого нет, поднял одеяние на престоле, а там под престолом женщина.

– Чего ты сюда забралась? А вылазь да скажи, кто ты такая и чего ты вобралась ночью в церковь?

А та женщина бух в ноги казаку.

– Не губи меня, все расскажу. Пришла сюда, чтобы вырвать кутный зуб, бо такими зубами можно отмыкать замки, доставать из земли клады, привертать девчат. Так вот я укра-ла у попа ключ и наладилась вырвать зуб, а тут ты... Теперь, если хочешь, я достану для тебя зуб, и будешь ты богачом на весь мир; чего хочешь – того и попросишь.

– Бог с тобой и с твоим зубом. Был я сиротой-голяком и умру таким же, а ты выходи, я тебе покажу, как заниматься таким ремеслом! – Тут казак выволок женщину из церкви, изрубил ее на мелкие куски, бросил кости в снег, запер церкву, сам сел на коня и, так как было к свету, скоро нашел слободу, где и рассказал людям, от которых мы знаем.

Вот чем добываются клады из земли. Не захотел казак пользоваться, а был бы богат и счастлив. А отчего не попользоваться? Боялся, вероятно, заклятия; как закапывали люди клады, то клали на них огонь, а на огонь барана, связанного по ногам железным дротом; жарили того баранчика да приговаривали: «Вот как этому баранцю, связанному дротом, тяжело да нудно лежать на огне, так пусть будет тяжело и нудно тому, кто осмелится взять из-под него закопанные гроши».

– Да, напугал ты меня, добрый молодец, – промолвил Василий. – Курганы, конечно, надо на земле беречь, но и знать, что в них зарыто, надо тоже. – Захолонуло сердце у него, представляя, как погружается он в глубь земли и видит чужую жизнь, не благом приобретенные богатства, свидетельство трагедий и алчности.

– Да, страшная эта и мудрая сказка, – сказал Зуев, задумчиво глядя на дорогу, уже освещенную месяцем.

Дорога, дорога! Сотнями, тысячами километров ложишься ты под колеса путешественника. То тянешься ровной накатанной гладью, то забугришься и запетляешь, станешь волнистой и неровной. А то вдруг затеряешься и почти исчезнешь в разнотравье степи, разлившись тропинками и дорожками по оврагам и буеракам.

Сколько прошел ты, российский путешественник, сколько людей встречал, зла видел и горя! Но не отчаивался, не падал духом. «Мир на добрых людях держится», – говорил замуштрованный, изувеченный и израненный твой отец. Действительно, вот рядом едет его провожатый, мудрый, тихий и смелый запорожский казак Щербань, потерявший дочь, жену и сына, сохранивший доброту, интерес к жизни и светлый разум. А сколько талантливого и ученого люду видел ты на Руси, в Сибири, здесь на Украине, в Новых землях.

В Харькове Василий видел, о том описал Эйлеру, механика Захаржевского, привязанного к своему искусству и сумевшего изготовить астрономические телескопы с крупны-

ми стеклами и пневматические машины. А в Курске полуопальный губернатор Свистунов составил карту смертей во всей губернии, записав болезни и года рождения умерших. Другую запись о рождении, браках и смертях всех поселян составил он по уездам, где отметил, что число смертей от пятилетия к пятилетию возрастает. Это же целая система действий! Свистунов собирал коллекции, делал записи и все это готов был отдать академии или Медицинской коллегии. Но те в столичной гордыне внимания не проявили. Просвещенному человеку опасен как невежда, так и невежа. Оные как среди простого люда, так и среди людей высшего света бывают. Многие из академиков, своим званием прикрываясь, к истинным заботам науки раченья не проявляют, больше о своих собственных нуждах пекутся. А Зуев хотел вызвать к открытиям и поискам на местах интерес. Во время посещения Ненасытецкого порога он видел, как местный предприниматель Фалеев первым стал расчищать Днепровские пороги. В малую воду в камнях пробивали солдаты стальным буром отверстия, и в эти отверстия закладывались патроны в виде жестяных трубок, начиненных порохом. Трубки взрывались при помощи фитилей...

«Труднейшая работа бурить камни под водою, и потому не без ужасу смотреть должно, как солдаты и работники по два человека на плотике, зацепись за камень, посреди той сильной быстрины и шума держатся, сидят как чайки и долбят в оной». Фалеев же организовал рытье обводного канала,

где было занято 300 человек. Все открывало широкие горизонты отечеству.

Сколько же увидел он, Василий Зуев, солдатский сын, посланец академии, сколько он узнал, сколько может рассказать! Какую сослужить службу российской науке?

Но и трудности, лишения на его долю свалились немалые. Возблагодарят ли? Поймут ли? Займет ли он достойное место в академии?

Василий не мог на все это ответить с уверенностью. А его ведь уже здесь, в Херсоне, приглашали служить во французскую фирму, просили передать материалы. Деньги, наверное, немалые бы заплатили.

Нет, он будет работать не покладая рук, днем и ночью, но свою задачу выполнит. Он откроет для России, для отечества эти южные земли, опишет их, расскажет об их богатствах.

И когда заколосятся тут хлеба, станут заводы, пойдут корабли – не раз вспомнят зоркий глаз Василия Зуева, преодолевшего на своем пути великие трудности, важное примечившего, описавшего земли Новороссийские и полнокровно утвердившего на карте российской науки сей край.

АКЦИДЕНЦИЯ

*Надобно остановить грабительство или, чтоб
сказать яснее, беспрестанное
взяточничество, которое почти совершенно
истощает людей... Сколько я мог
приметить, это лихоимство производит в
жителях наиболее ропота,
потому что всякий, кто имеет с ним малейшее
дело, гробит их.*
Г. Д е р ж а в и н. Из письма казанскому губернатору
Бранту

4 июля 1774 года

Писарь взял монету, повертел между пальцами, посмотрел на нее с презрением, аккуратно положил в стоящий на лавке мешочек, обмакнул гусиное перо, снял с него чернильную дрянь и строго сказал: «За изложение плата особая». Бородатый горожанин понятливо закачал головой:

– Нешто мы не понимаем, господин хороший, что мы просто за согласие ваше благодарили.

...Шарль Мовэ заканчивал разговор с заместителем коменданта, распределителем квартир, описывая блестящую картину открываемого с его помощью в центре города салона мод, причесок и обучения прекрасным манерам.

– В Петербурге без этого не мыслят ваш город.

Квартирмейстер недоверчиво морщился:

– Какие уж тут манеры! Турки за сто верст, флот надо строить, война неизбежна.

Шарль занервничал, задуманное внедрение в южный форпост русских срывалось. Город был грязный, неустроенный, хорошие здания сосредоточены, по сути, только в центре, здесь были офицеры, их жены, иногда наезжал Потемкин и его болтливая свита. Только здесь, в этом месте, и можно было узнать и увидеть все, что требовалось кредиторам. Он положил на стол изящный золотой крестик, усыпанный бриллиантами:

– Такие вещицы, ваше превосходительство, очень к лицу вашей супруге. Мы преподносим ей от имени... от имени нашего салона «Красота полудня».

Заместитель коменданта был храбрый человек, врагу не уступал на поле боя. Но здесь-то не враг, а коммерсант и деловой человек! Чувствуя, что делает что-то не то, потянул бумагу и наискосок ее размашисто вывел: «Передать здание земельной канцелярии под салон красоты». Вздохнул: «Вот и Настя тоже любит красивое, надо заботиться и об этом».

...Седой генерал-губернатор молча и холодно смотрел на поставщика полотна, меха, мяса и что там еще поставляют ко двору ее императорского величества. Знал, что поставщик особа влиятельная, десять лет назад был пожалован дворянским званием, хотя происхождение его отнюдь не благород-

ное: то ли из касимовских оборотистых татар, то ли из вездесущих армянских купцов.

– Закон нарушать не дам! – неуступчиво и твердо бросил губернатор в ответ на просьбу продать на откуп рощи вдоль тихих степных рек. – Рощи в степи здесь запрещено вырубать. Иначе земли в пустыни обратим, засоление будет.

– Нэт, ваше сиятельство, закон мы с вами нэ нарушим. Те деревья, что в степь выходят, нэ тронем. А рощи у Ивановки сапсем не строим и там летнюю резиденцию для вас построим, сразу оформим как ваш лэтний дом. Чертеж сами выберете! – не давал опомниться поставщик. – На слэдующий год радоваться будэте, жить будэте там!

Деток у губернатора было шестеро, и все дочки, которых надо было одевать, кормить, выгодно выдавать замуж. Казенных денег, доходов от имений не хватало. Чиновный петербургский люд, ревизоров и наблюдателей надо было задабривать, давать балы, вручать подарки, а иначе наговорят при дворе и у высоких особ, не расплатишься. Пусть и этот скупщик раскошелится.

Он медленно поднял колокольчик и так же медленно сказал вошедшему адъютанту:

– Подготовьте бумагу с господином... – сделал вид, что забыл фамилию, чтобы хоть этим досадить нахальному откупщику. – Да, не забудьте приносить мне на подпись новое подтверждение через каждые три месяца... – дав понять, что он собирается контролировать строительство своего за-

городного дворца.

...У Екатерины после долгого полночного сидения за карточным столиком и недолгой ночной встречи с очередным фаворитом с утра болела голова. Храповицкого она слушала невнимательно, рассматривала ногти, прикладывала руки к вискам и даже один раз, прикрываясь ладошкой, зевнула. Гофмейстер Безбородко, находившийся здесь, тоже был в полусонном состоянии, бросая вроде бы безразличные взгляды на императрицу и то ли подключаясь к игре, зевнул: погода сонная, то ли действительно засиделся вчера за картами, тянет ко сну.

– Что-то вы, батенька, мне такие дела докладываете, все о злоключениях, и только о злонамеренных акциденциях рассказываете. Неужели это явление столь распространенное стало по всей России?

– Да, матушка, все жалуются. Обыватель просто стонет. Просители говорят, что без оной ни одну просьбу не разрешишь. Не только в провинции, но и у нас в столице. Чем серьезнее дело, тем больше подношение.

– Я понимаю: безродные чиновники от невоспитанности, но честь дворянскую как можно марать?

Безбородко снял с себя сонливость, глазки его прояснились, и он хитренько подмигнул невозмутимому Храповицкому:

– За честь, матушка, еще дороже надо, чем безродному.

Вот намердны, рассказывают, граф Долбилин у помещицы Потиевской за доклад ее дела вам тридцать душ крепостных взял. Никакой он не вельможа, а хапуга, матушка!

Императрица всплеснула руками.

– Ну это же страшно, господа. Ведь так всю Россию распродать могут наши слуги отечества!

Безбородко постукал кольцом по корешку дела и тяжело вздохнул:

– Все думают, что Россия велика, всю не растащишь сразу. Да и вы зря считаете, матушка, что явление это чисто русское. Вон один писака правильно пишет: «По древнему названию посуды, по-нынешнему взятки, а по-иностранным акциденция, когда начало свое восприняла, в том все ученые между собой не согласны, да и в гражданской истории эпоху нескоро сыскать возможно; а потому и нельзя достоверно утвердить, какой народ преимущество в том изобретении взять должен». Везде берут, сказывают: к японскому императору без подарка не входи, у турок все на взятке построено; персы и восточные люди не могут себе представить, как это без подношения дела решать можно. Они вон по петербургским и московским подворьям снуют, и все с подарками да с презентами. Глядишь, бездну дел у нас тут и сделают. И у англичан берут и у французов. Да и на вашей родине бывшей не гнушаются.

Екатерина поморщилась, напоминаний не любила: «Чего там брать-то. Немцы все используют и экономят». Вот она

даже не понимала долго русскую поговорку: «взять, что плохо лежит». В германских землях ничего плохо не лежало – все прибрано. Но как же все-таки с акциденцией бороться? Может, у Петра Великого или в других землях есть что позаимствовать?

Она с вопросом взглянула на Храповицкого. Тот как будто ждал этого. Вытащил снизу бумагу и, прежде чем читать, сказал:

– Вы правы, матушка, взятка может разрушить любую державу быстрее, чем армия. У купца деньги позавелись, многие бессовестными стали, инородцы с мехами и каменьями норвят привилегии получить, иноземцы деньгами сорят, наши секреты и богатства закупают.

Потом поправил очки и стал читать.

Екатерина выслушала не перебивая. Посмотрела за окошко дворца, потеряла платочек и, не глядя на Храповицкого, обратилась к Безбородко:

– Что там Порты нынче затевает?

Безбородко окончательно проснулся, с неожиданной для его грузной фигуры быстротой пересел ближе к императрице и раскрыл папку. Храповицкий тихо удалился...

ХЕРСОНСКАЯ ЯРМАРКА

Иван Абрамович Ганнибал сегодня был не в духе. Дерево из Кременчуга опять задерживалось, железа на корабельное оборудование не хватало, кузницы едва дымились. Из низин потянуло гнилым и сыростью – быть снова болезням. Кажется, все сделаешь: отдашь распоряжения, пошлешь гонцов, найдешь людей, согласишь планы – работать бы! Но снова затор, задержка, волокита. Руки иногда опускаются, а тут еще пришлют фертика петербургского то с проверкой, то для устройства. Дела не знают, привыкли по салонам сшиваться да сплетничать многозначительно. Кликнул денщика. Попросил подогнать выезд, запрячь небольшие дрожки, чтобы проехать по улицам и набережной – так делал всегда, когда хотел успокоиться. А потом заглянуть на быстро ставшую знаменитой херсонскую ярмарку. Сколько сил вложено, чтобы все это обустроить, упорядочить, сделать согласно инженерным замыслам.

Инженерство его, от отца усвоенное, включало в себя все: составление планов города и возведение фортификационных сооружений, строительство верфи и соблюдение дорог, «чищение Днепра» – расчистку, укрепление его берегов и заведование всем строительством Херсона, расчет на строение всех коммуникаций, даже устройство прудов и фонтанов. Прирос он к этому нездоровому месту, к этому еще

только вырисовывающемся новому городу его отчизны, без которого уже себя и не мыслил.

Отец-то его проделал путь из далекой Африки в Константинополь, а потом в Петербург, где и стал крестником самого Великого Петра, его арапом. Знания инженерные приобрел царский арап во Франции и считался тогда одним из лучших фортификаторов и строителей России. Однако после смерти Петра судьба гнала его все дальше и дальше от Петербурга. Сначала в Казань, а потом уже в настоящую ссылку – в Тобольск, Нерчинск, Кяхту.

Из опалы Ибрагим, или, как чаще звали его, Абрам, возвратился, не утратив знаний и хватки. Елизавета сделала его комендантом Ревеля. А потом был он и Выборгским губернатором, новым директором Ладожского канала, строителем Кронштадтского порта и, уйдя в отставку, долго жил в своем имении Суйда, чертил проекты, которые посылал даже Екатерине. И вот недавно его не стало, умер в 1781 году.

«Пора, пора его заменить в Суйде», – мрачно подумал генерал-цейхмейстер. С Потемкиным не заладилось. Иван Абрамович его за великие планы, размах, энергию уважал, но за сумасбродство, бешенство, а также за вялость и леность, наступающие часто тогда, когда надо действовать, светлейшего не любил.

Потомок эфиопских князей, сын духовно родственного Петру Великому фортификатора и гидротехника, участник славной Чесменской битвы, сподвижник самого Спиридова,

он ни перед кем не хотел склонять головы. Пусть знатные вельможи кичатся своим прошлым, оно у него тоже есть. Но он сам делает свою жизнь, служит Отечеству так, что потомкам не будет стыдно.

Хотел уезжать, но доложили: «Пришел французский negociant Антуан, просит принять». Этого купца он любил за веселый нрав, деятельность, умение завязывать знакомства, серьезное отношение к торговле с Россией через южные порты. В Херсон Антуан прибыл при содействии Потемкина с большой партией французских товаров, пройдя турецкие рогатки.

Войдя в комнату, Антуан обворожительно заулыбался, распространяя какой-то немужской приятный аромат и, по видимому, заметив, что генерал был не в духе, остановился, развел руками и сказал по-русски:

– Иван Абрамович, не нато сердиться. Много хорошо. Будем торговля. Будем дружба. Спасибо. Бардзо дзенькую. Дякую! – И, довольный собой, громко засмеялся.

Иван Абрамович улыбнулся, подал руку, задержал свой взгляд на одежде и громко пророкотал:

– Молодец, Антуан! Успехи есть. Язык учишь! Как там, в Польше?

Антуан, уже по-французски, поведал, что был принят польским королем, встретился с банкирами, которые готовы организовать в Варшаве торговый дом для коммерции через черноморские порты. Сам он закупил большую партию това-

ров в южной Польше и собирается вывезти ее через Херсон под русским флагом.

– Это право, ваше превосходительство, надо предоставить нашим кораблям, ибо турки только русских пускают в Черное море и выпускают отсюда.

– Пока ты ездил, Антуан, такой указ уже издан.

Иван Абрамович возвратился за стол, просмотрел несколько папок и, вытащив длинный список, прочитал:

«Сим предоставляется право, от имени ее императорского величества, поднять русский флаг на торговом корабле французского негоцианта Луи Антуана и получить пашпорт для пропуска. Оный же товары разные, незапрещенные, из портов российских черноморских должен перевозить во Францию и другие страны и сим быть полезен. На подлинном подписано:

Гр. Потемкин-Таврический».

Антуан даже слезу смахнул от столь высокого понимания его желания быть полезным и стал благодарить Ивана Абрамовича, восхищаясь той созидательной деятельностью, которую Россия на южных землях проводит.

– Ведь тут десять лет назад пустыня была, – указал он на карту за спиной генерала.

Иван Абрамович обернулся и провел рукой по русско-турецкой границе, проходившей до 1774 года между Южным

Бугом и Днепром по открытой степи. Дальше, по небольшой речке Ташлык, пересекая реки Арбузинку, Мертвые Воды, Еланец, Громоклею, Висунь, Ингулец, граница подходила к Днепру около устья Каменки, к северу от Казикерменя, и дальше по рекам Конские Воды и Берда до Миуса и Дона.

Сейчас после Кучук-Кайнарджийского мира граница сдвинулась к Южному Бугу до польских рубежей.

Почти все побережье Таганрогского залива стало свободным. Там были восстановлены Таганрог и Азов. Стала строиться Днепровская и Южнобугская укрепленные линии. Россия получила право иметь свой флот на Черном море. Во время войны приступили к созданию Донской флотилии, способствовавшей завоеванию Крыма.

А до войны в 1764 году из Ново-Сербии, казацкой Новосоветской, Славяно-Сербии и Украинской линии части бывшей гетманщины была образована Новороссийская губерния, с 31 марта 1774 года ее губернатором был назначен Потемкин. Потом была образована отдельная Азовская губерния. А вот сейчас говорят, что их снова объединят в одно Екатеринославское наместничество. Сюда, на эти пустые доселе земли, приглашали семьи государственных крестьян, которые платили сбор, но и комплектовали гусарские и пикинерские полки. На заселение приглашали всех, даже беглых селян и запорожцев, украинских посполитых, военных нижних чинов. Беглым объявлялось «прощение», личная свобода и временное освобождение от податей. Помещи-

чьи крепостные центральных и малороссийских губерний, прослышав о земле, стали бежать от своих хозяев. В ответ на жалобы помещиков Потемкин давал согласие разобраться и обещал бороться с крестьянскими побегам, но сам исподтишка поощрял переселенцев и беглецов и заявлял, «что являющимся разного звания помещикам с прошениями о возврате бежавших в бывшую Сечь Запорожскую крестьян объявить, что как все живущие в пределах того войска вступили... в военное правление и общество, то и не может ни один из оных возвращен быть». Землю тут раздавали щедро. Особенно если дворяне, бывшая запорожская старшина, военные чины, купцы, архивариусы, регистраторы и прочие зажиточные люди приводили с собой поселян. За вербовку награждали лиц всякого звания воинскими чинами. Кременчугский купец Фалеев за это вначале большие земли получил, а в 1779 году званье «пример майора», а еще позднее и дворянское званье.

«Ох уж эти русские купцы! – подумал Ганнибал. – Они ни армянским, ни еврейским, ни французским, ни греческим не уступают в хватке, но французы и греки обходительнее, а еврейские пронырливее, пожалуй, будут!» – И он продолжил рассказ о том, как за семь лет тут, в Причерноморье, построено десять городов. А ведь южнее Запорожья тут и был-то один городок – крепость Святого Дмитрия Ростовского, или просто город Ростов. А сейчас эвонна! В Таганроге строят верфи, восстановили Петровскую Гавань, постро-

или Адмиралтейство. Купцы спроворили канатную фабрику, проводили знатные ярмарки, куда приезжали из Воронежа и с Волги и Полтавы, заглядывали торговцы даже из Речи Посполитой. Рос и Ростов, где тоже построили верфь. Керчь была забита купцами: из греков, армян, грузин, евреев и албанцев. У устья Берды построили бердянскую Петровскую крепость. Всем памятна была операция генерала Суворова по вывозу христиан из Крыма. Тогда, в 1778 году, чтобы лишить крымского хана денежных доходов, вот сюда, в устье Кальмиуса, вывезли греков – торговцев, ремесленников и построили город Мариуполь. А крымские армяне в низовьях Дона построили город Нахичевань. В нем уже сейчас больше трехсот каменных домов купцов, ремесленников и мещан и, что дивно, сто восемьдесят каменных лавок, крытых черепицей. Хорошо спланированы и построены города Никополь, Павлоград. Славна своими ярмарками и Луганская слобода, задумали строить в Ахтиярской бухте город и порт Севастополь. Ну а наш город растет не по дням, а по часам. И порт выстроили, и верфь, и сам город принимает все больше жителей и гостей.

– Я тут, – с гордостью сказал Иван Абрамович, – все знаю, все при мне строилось, много добились, много успели. Много и потеряли, – с горечью закончил он.

Антуан понятливо кивал головой, достал бумагу, делал какие-то пометки, рассматривал карту.

Иван Абрамович позвал денщика, приказал говорить, что

больше принимать не будет и, спустившись вниз, велел ехать вдоль набережной на ярмарку, а потом к верфям и Адмиралтейству. По дороге опять помрачнел: всюду мусор, хлам строительный, нищие бродят, какие-то цыгане табор разбили на площади. «Город-то, он, конечно, город, но сколько ему еще не хватает до Тулы, Могилева и даже до Полтавы. Дороги разбиты, многие дома не достроены, грязь, болезни. Да вот и женщин не хватает...» Коляска внезапно остановилась – середину улицы загородили волы. В них уперлись две телеги, груженные кирпичом с казенного завода. «Вот и Ненасытецкий порог вроде пробили, сплав ведем, а от волон не откажешься». Волы же свой нрав имели, генерала не остерегались: стали и стоят. Крепкий невысокий малороссиянин кричал на них, цобыл, понукал, затем снял брыль соломенный и развел руками перед Ганнибалом. Тот хмурился, кряхтел и, увидев вдали команду солдат-пехотинцев, приказал занести задок телеги с бревнами в сторону, чтобы можно было проехать. Волы как будто этого и ждали. Не успела генерал-цейхмейстерская бричка сдвинуться с места, как они тоже тронулись вперед своим размеренным шагом. «Вот ведь порода», – пробурчал Иван Абрамович.

Чем ближе к ярмарке, тем оживленнее. Вокруг большой площади высятся дома и лавки купцов из разных мест России, а также из-за границы. Им бесплатно отводили земли на территории города и даже предоставили казенных мастеров для постройки домов и лавок. «Вот это дом купца Нещадо-

ва, вон Карантониса, вот Лещинского, вон Терещенко. Умелые негоцианты, все со своим подходом и товаром. Дома красивые и богатые. А вот каменные палаты с пристройками и складами купца Фалеева. Ну и оборотистый мужик! За все берется, все пробует. В двух его селах, в Вольном и Варваровке, было десять ярмарок в году. Доходы-то от торговых мест ему в карман. Правда, не все в карман, а в новые стройки, в новые дома, на закупку новых товаров. И в Херсоне фабрику поставил. Вон дом Антуана и его аккуратные лавки с цветами и птицами в клетках.

«Красиво живут французы, – по-доброму подумал Ганнибал. – А это дом еще одного француза. Правда, прибыл он не то из Петербурга, не то из Москвы. Шарль Мовэ. У него тут и цирюльня, и салон для пошива одежды, и класс для обучения манерам, и маленькая лавка, и кабак или питейное заведение для господ. Тут все время толпятся иностранцы, наши офицеры, купцы. Чем-то еще завлекает... Надо проследить», – подумал Ганнибал.

Решил вылезти из коляски, посмотреть, чем торгуют купцы. Щупал шелковую ткань, сермяжное простое, суздальское сукно, ситец и китайку, полотно московское и пестрядь. Дивился золотым, серебряным и алмазным вещам, медной, хрустальной и черепянной посуде. Провел рукой по теплым крымским и решетиловским смушкам.

Радовался – откуда только не было товаров: из Петербурга, Москвы, Тулы, Польши, Цесарии, Валахии, с италий-

ских берегов, из Лейпцига и Парижа даже! Вот тебе и Херсон! Знал, конечно, что и другая слава у него была – крепко тут надували простака и мужика. Так не зевай же! Видел, как по торговым рядам сновали скупщики, договаривались о скупке скота, рыбы, соли таврической, чтобы продать потом втридорога в других местах. Угрюмо стояли в отдалении артели мужиков, пришедших из центральных губерний и Малороссии наниматься на работу в поместья и на государственные земли.

В хлебном ряду стояли мешки с пшеницей и ячменем, повлажневший овес был высыпан на полотно и просыхал. И опять Иван Абрамович порадовался: будут семена у переселенцев. Мужики запрашивали цену, перегружали мешки на арбы, телеги, повозки.

На ярмарке узнавалось многое, результаты были налицо. Хочешь иметь урожай, покупай малороссийский плуг. Он, конечно, был тяжел, требовал трех-четыре пар волов, но северная соха тут пользы не приносила, скользила по сухой и твердой земле. Мужики держались за ручки, поднимали, кряхтели, отходили и снова возвращались. Косари толпились у кузнечного ряда, пробовали пальцем острие лезвия и, заполучив косу, отходили, бережно заворачивали ее в тряпицу. Держаки брали не все, многие делали их сами. «Да здесь серпом не нажнешь, вон какие поля вокруг Херсона. Да и ветер полуденный, как подует – надо в две недели все убрать, иначе даже солома пожухнет». Тут же продавали телеги, ко-

леса, спицы, ярма, сбрую, вожжи из пеньки, мазь колесную, потому так пахло дегтем.

Антуан забежал вперед Ганнибала к сундукам и «скриням», защелкал языком, стал открывать и закрывать крышки, любовался расписными донышками, пробовал щеколды и замки.

– Разрешите вот этот преподнести, господин генерал, за ваше содействие в дружбе с Францией! – И он показал на зеленый кованный крест-накрест железной полосой, удобный и милый сундучок.

Иван Абрамович подношений не принимал, но тут, потеплев, решил: «Пусть на службе стоит, для бумаг, карт и книг».

Площадь уже вся заполнилась людьми, торговые ряды все были заняты. Турецкие и греческие купцы весело улыбались, приманивали, приглашали отведать и купить орехи, каштаны, сыпали из руки в руку сорочинское пшено. Покупатели толпились вокруг больших куч лимонов, апельсинов, оливков, фиников, маслин, изюма, торговались, дивились диковинным фруктам. Мужики и бабы из северных районов долго не решались потрогать невиданные доселе желтые и оранжевые плоды. А Иван Абрамович, благодаря бога за то, что чума в прошлом году отступила, вспомнил, как лимоны, простые и маринованные, закупленные у купцов, каждый день солдатам давали и тем самым от смерти многих спасли.

Золотой ряд на ярмарке был небольшой, но народу всяко-

го вокруг него толпилось немало. Прибыли сюда ремесленники черниговского золотого цеха. Не таясь, прямо на виду у всех, показывали они свое мастерство и товары. У входа в лавку был поднят флажок – «значик», сделанный из серебра с позолотой. На двух его языках висели кисточки-колокольчики, а в центре большой накладной медальон с изображением Святого Луки, который сидел возле мольберта и левой рукой держал весы. Нежинские золотых дел мастера были известны по всей Малороссии, и Ганнибал был обрадован, что они посетили ярмарку. «Значит, дела идут тут у них неплохо». Знал, что о прибыли лучше не спрашивать – все равно не скажут, но не удержался, обратился:

– С пользой ли для себя приехали, господа мастера?

Мастер отложил в сторону молоточек, степенно встал и поклонился, почувствовав, что гость важный.

– Как же, ваше превосходительство, с пользой. Проездом многое увидели. Может, тут и постоянно кто останется.

Поблагодарил за внимание, но о доходах промолчал, лишь предложил купить для жен дукачи,⁴ кои носили как украшение и ясновельможные панночки, и мещанки, и даже жены простых казаков, которые тут же просили продать им медальоны с «царицей» или «благовещеньем». Ганнибал указал на медаль с портретом Екатерины, где была надпись «Сея спасение веры и Отечества» и попросил выбить на обороте

⁴ Дукачи – дукаты, большие серебряные монеты, выпускавшиеся в герцогстве Венеция (дукатус-герцогство)

«19 октября 1778 года – основан Херсон». Мастер пообещал к вечеру все исполнить. Антуан же порхал от одного прилавка к другому, восхищался, пробовал дукачи на зуб и, сбавляя цену, купил уже десять медальонов с цепочками и бантами.

У свертков материи было тоже многолюдно. Офицерские жены, купчихи, разукрашенные и разодетые казачки, робкие поселянки и бойкие мещанки, молчаливые и гордые иноземки разворачивали и примеряли ткани, просили отрезать или с сомнением отходили от кусков парчовой и шелковой материи, ситцев, китайки, пестряди московской, камлота зеленого, голубого штофа, льняного полотна, разнотравья белых и цветных бумажных платков.

...Старый Достян в Херсоне бывал уже не раз. Сегодня он привез турецкий сафьяновый товар, туфли, трубки, кофе, лимонный сок, вино красное и араку, водку синейскую, мыльную глину – кил для мытья головы, нефть из Керчи для освещения. И мало ли чего привезет армянский купец из Крыма в Херсон, из Нахичевани в Екатеринославль. Слава богу, дороги спокойные, под доглядом солдат, разбоев на них вроде бы не случается.

Подшли три госпожи, выбрали красивые турецкие туфельки, посмеялись, пощebetали и ушли. Одна, самая красивая, была более молчалива и только один раз улыбнулась, когда он сказал: «Сапсем даром отдаю». Что-то знакомое промелькнуло на ее лице, но старый Достян не смог, не

успел вспомнить, к его ряду подошел сам генерал-цейхмейстер Ганнибал... Кипит, шумит херсонская ярмарка... Ходят по рядам перекупщики и наниматели – хитрят, обманывают, уговаривают продать, купить, поехать сеять и жать к помещику. А сельский люд, приехав из дальних сел и поселений Полтавщины и Прибужья, из Черниговской и Курской губерний, не знает, что тут правда, а что привирает бисов торговец. И продают вроде бы не за плохие гроши свое зерно, и лен, и сало, и мед, и масло, и шерсть, а потом понимают, что за бесценок. А кто нанимается, тот и вообще не ведает, что просить: слава богу, от своего помещика вырвался. А, да черт с ним, с этим торговцем! И идет мужик вон в этот кабак, где стоит бочка с пивом, где продается крепкая горилка, где ведется добрый мужской разговор о земле, о славных наших баталиях с турками, о далеких странах и красных молодлицах...

...Иван Абрамович, устав от ярмарки, но отойдя душой, решил поехать на верфь. Антуана оставил, хотелось побыть одному. Верфь сегодня была немногочленной – сказывалась ярмарка. Но главный строитель Афанасьев был тут. Повел к кораблям, по дороге вспоминал, как в мае 1779 года был заложен первый шестидесятипушечник. И как в 1783 году был спущен первый черноморский линейный корабль «Слава Екатерины». Сейчас спуск идет регулярно, корабли пополняют южный флот.

Сколько сделано! Сколько строено! Иван Абрамович остановился на берегу, посмотрел в трубу на уходящий на камелях в Глубокую Пристань для дооборудования корабль, увидел два одномачтовых купеческих суденышка, идущих, наверное, из Таганрога, и с грустью вздохнул...

Да, он покидает Херсон, но город уже живет и будет жить многие годы. Забудутся обиды и горечи. Но надо будет воздать должное всем его созидателям, всем этим офицерам и солдатам, архитекторам и строителям, плотникам и каменщикам, морякам и рекрутам, крестьянам и запорожцам, купцам и лекарям – всем, кто пришел сюда в первые дни и остался здесь в домах, палатках, землянках, в сырой земле и в волнах седого Днепра... Не забыли бы потомки... не забыли бы...

СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ

То был первый радостный день у Марии после многих лет горя и страдания. Молодой и застенчивый господин, что часто сопровождал дочек Рязского, подошел к ней, когда она вышла на берег Днепра, и сказал:

– Вы всегда такая печальная. Можно вам подарить это солнце, чтобы оно согрело ваше сердце?

Не привыкнув слушать такие речи, она тем не менее улыбнулась и тихо сказала:

– Солнце дарить нельзя. Оно всем надобно.

Больше ничего и не было сказано, потому что позвали ее на завтрак, но весь день был какой-то радостный и светлый.

Жила Мария в семье Викентия Павловича Рязского с того давнего летнего утра, когда на нее наткнулся казачий разъезд. Как сквозь сон помнит, пропал тогда Андрий, сгинул, а она, закаменевшая в своем горе, перебралась неведомо как на правый берег Днепра. В Гнилом море, когда шли они с Андрием по пояс в воде, ее забила лихоманка да так и не отпустила. Рязский же ехал в то время в Херсон из Екатеринослава в сопровождении казаков и по дороге осматривал все удобные бухты и балки для расположения поселений и хуторов. Выехав на утренней зорьке, увидели они на берегу Днепра, у небольшого холмика, исхудавшую молодую женщину замечательной красоты. Она посмотрела почти безум-

ным взором на невесту откуда взявшихся казаков и сказала:

– Поставьте крест... В память...

Больше она ничего не промолвила и безропотно дала подвезти себя до Херсона, где Рязский и оставил ее на попечении двух дочерей.

Держалась она скромно и достойно, чем покорила всю семью Рязских. Дочери ее уже не отпускали от себя, одевали, украшали и даже водили два раза в салон Шарля Мовэ учиться хорошим манерам. Мария же вела себя так непринужденно и естественно, что манеры суетливого Шарля ей были почти не нужны. Русский язык она освоила быстро. Еще отец ее научил грамоте, и она читала церковно-славянские книги. Слышала и понимала она раньше и польскую и молдавскую речь.

– Поразительные способности! Как она степенна и благородна. Никогда не поверю, что она из простого сословия, – говаривал по вечерам за чашкой кофе Викентий.

Рязский был истинный российский вельможа. Он был богат и поэтому был независим. Образован, а посему был неглуп. Имел крепостных и поэтому был властолюбив и деспотичен. Однако о вольностях говорил благожелательно. Правда, сие вольнодумие касалось больше французов, мысли коих при императрице широко распространились.

– Послушай, сударь, что пишет сей Руссо! – И Викентий, легко поднявшись с кресла, ходил и, возбуждаясь, читал Сашеньке Руссо.

А Сашенька был в другом мире. Все эти три года он, плененный красотой и добрым нравом Марии, пытался скрывать свои чувства. Была тут и юношеская робость, и нежелание услышать что-нибудь оскорбительное о женщине-недворянке. Он участвовал в играх и праздниках дочерей Викентия, сопровождал их на балы и прогулки, читал по вечерам с ними вслух Горация и Плутарха, играл в карты, слушал музыку и все время думал о Марии. Она виделась ему и по вечерам, когда он оставался один. Высокий выпуклый лоб, черные, как воронье крыло, волосы, ровно расчесанные на две стороны и туго перевязанные внизу. Прямой, с небольшой горбинкой нос делал Марию похожей на древнюю гречанку. Высоко вырезанные ноздри слегка дрожали, трепетали от степных ветров и запахов цветов. Смотрела на собеседника она строго и печально, и лишь иногда редкая улыбка появлялась в уголках ее губ и звездочкой тихо исчезала потом в ее темных и грустных глазах. Ее пальцы были столь длинны, что сестры Ряжские надевали на них семь-восемь колец, а она снисходительно одаривала их своей простотой и податливостью. Когда она поднимала ладони вверх, хотелось встать и идти им навстречу, что-то притягивало к ним, становилось тепло и радостно. Сашенька, чтобы не выдать своих чувств, нагружал себя работой: чертил, рисовал, читал кряду все, что было в библиотеке Ряжских, а то выскакивал во двор, просил оседлать коня и уносился в херсонские степи, разгоряченный, бросался в Днепр, плавал долго

и, успокоенный, приезжал. Но каждый день пред ним вставал глубокий, даже бездонный, печальный и таинственный взор Марии, ее смотрящие как бы из другого мира глаза.

Сестры Ряжские щебетали, смеялись, говорили милые глупости, замечали, что он похудел, осунулся. А Сашенька видел; видел на куске ватмана, в зеленых зарослях камыша, в лучах заходящего солнца, в играющей волне Днепра ее лицо, ее глаза, руки, волосы. Ему грезилась несравненная, сжигающая красота Марии. Он не мог больше терпеть, ждать! Не знал, к кому и обратиться, чтобы просить ее руки. Ведь родителей-то не было. Ее семья вся была вырезана во время набега крымчаков.

– Викентий Павлович, – торжественно начал он, – мне нужно сказать вам важные слова.

– Ну-ну, сударик, не стесняйся. Я знаю, о чем ты меня попросишь. Пусть будет следующий город твой. Я уже об этом думал.

– Да нет же, – досадливо перебил Сашенька. – Я не об этом.

– Так о чем же, голубчик? – с удивлением переспросил Ряжский. – О чем?

– Папа! Отец! – в один голос, перебивая друг друга, закричали, вбегая в зал, дочери Викентия. – А ты знаешь? Он любит Марию.

– Ну и что? И я люблю это чудесное божье создание, – помедлив, ответил Ряжский.

– Нет! Нет! Он предложил ей руку и сердце. – И дочери требовательно и растерянно посмотрели на отца, способного разрешить эту непонятную для них загадку.

– Зачем же и руку и сердце сразу? – попытался отшутиться тот, хотя хмурая туча поползла снизу вверх по его лицу. – Руки-то вам еще понадобятся, милостивый государь. А что до сердца, то его можно не занимать столь незначительной особой. Ведь она здесь для забав.

Сашенька покраснел, встал и в тишине произнес:

– Я люблю Марию, хочу, чтобы она была моей супругой.

Викентий хотел что-то спросить, но, увидев расстроенных и взволнованных своих дочерей, промолчал. Затем подошел к буфету, налил рюмку анисовой водки, выпил и громко сказал:

– На сие разрешение, мой друг, никакие указы не годятся. – Налил еще одну и уже неприступно и величественно добавил: – Но вам, милостивый государь, в этом случае придется оставить мой дом.

МИЛЕДИ КРАВЕН

Ах, как она ненавидела всех врагов Британии! Эту потаскуху Францию, ожиревшую Голландию, вислобрюхую Испанию, петушиную Швецию, напыжившуюся Австрию.

Как она презирала не умеющих ничего делать с размахом немцев, базарных итальянцев и греков. Диких турок и индусов считала ничтожеством. Она знала, что недостойны внимания просвещенной державы притаившиеся где-то за морями Китай и Япония. Но две страны внушали ей беспокойство. Маркграфиня миледи Кравен сатанела, получая вести из-за бурного Атлантического океана, где требовали независимости их неблагодарные родственники – американцы. И подлинный страх им, истинным правителям Англии, стала внушать в восемнадцатом веке Россия. Эта неизвестно откуда появившаяся на границах Европы страна уже давно тревожила дальновидных британцев.

Еще в мае 1719 года посол Англии в России предложил отозвать английских корабельных мастеров с русских верфей. «Если же не принять этой иль соответствующей меры против развития царского флота, нам придется раскаяться, хотя, быть может, уже и поздно. Еще недавно царь открыто хвастался в обществе, что его флот и флот Великобритании – два лучших флота в мире. Если он теперь уже ставит свой флот выше флотов Франции и Голландии, отчего не предпо-

ложить, что лет через десять он не признает свой флот равный нашему или даже лучше, чем наш? Короче – строятся корабли здесь не хуже, чем где бы то ни было в Европе, и царь принимает все возможные меры к тому, чтобы приучить своих подданных к морю, чтобы создать из них моряков». Эти слова из донесения посла она помнила. Слава богу, Петр вскоре умер, наследники порастеряли его морское богатство. Но последние годы морская Россия снова дает о себе знать. Блестящая победа при Чесме удивила всю Европу. Торговые и военные корабли русских шныряют вокруг Англии: то в Италию, то в архипелаг, то в Турцию. Они всерьез думают торговать с югом Франции, лишая английских купцов прибыли по перепродаже железа, полотна, леса, прибывающих в Англию из северных портов России. Британцы чувствовали, что юг Европы может ускользнуть от них, приобрести независимость, усилиться. «Видеть, знать, предотвращать!» – таков был принцип дальновзорких властителей империи.

Миледи получила широкие полномочия, да ее пылкая и цельная натура не нуждалась в подпорках – она до мельчайшей своей частички была предана Великой Британии, короне и могущественному флоту. Оставив дитя, взяв с собой только арфу и золотистого скакуна сюффольдской породы, бесстрашно пустилась она в путешествие по Франции, Италии, Австрии, Польше, России и Порте.

Везде изучала в первую очередь верфи, порты, побережье.

Правда, неучтивые французы не пустили ее на верфи в Тулоне, «приказав ни одному англичанину их не показывать». Записывая все тщательно в дневник и отсылая почту в Лондон, миледи с горечью отметила, что там «видела одну только наружность» строящихся кораблей. Что касается Тулона, то она записала: «Это самая лучшая гавань в свете и что корабли хотя достойны, чтобы управляли ими наши адмиралы, однако они не будут иметь никогда или по крайней мере не скоро хороших французских мореходов». В общем, она спокойной уехала из Франции, написав в письме, что «офицеры французского флота хорошие мореплаватели в теории», а когда дело дойдет до практики, то «происшествие всегда докажет незабвенность нашу в Океане, как едином защищающем оплот наш остров и нашу вольность и что мы были и всегда должны быть по происхождению жестокими и всему противоборствующими матросами».

Италия, вдоль побережья которой она проехала на яхте, вызвала еще большую улыбку и снисходительность. Дамы одеты как служанки или деревенские девушки, мужчины крикливы и нахальноваты, города неопрятны. А Венеция со своим множеством гондол, похожих на гробы, была просто гнусна. И опять, слава богу, здесь не будет долго хорошего военного флота.

Миледи, пользуясь своей красотой и арфой, проникла во все порты, верфи и высокопоставленные дома – все увидела, все узнала. Эти дикари почитали ее полубогиней и открыва-

ли двери всех салонов и тайн, когда она касалась струн.

Затем скучная Вена, со вздорными и неучтивыми женщинами, нечистые и отвратительные польские предместья, гнусные пустынные российские дороги. В дневнике она заметила: «Для меня нет ничего скучнее, чем путешествовать по такой земле, где идет гладкая равнина». Петербург же ее поразила неслыханным богатством, она с душевным беспокойством написала: «Я думала, что Россия из всех государств на свете есть одно, в котором всякому можно жить без нужды, а особенно если не покупать французских вин, модных вещей и английских товаров».

Пышные балы, грациозные ухаживания, встреча с Екатериной. Казалось, все ясно. Громадная, богатая, но нерасторопная страна. Ее надо опасаться, но не бояться. Но миледи рвалась туда, на юг, где строился новый флот, где, как ей казалось, росла новая угроза английскому могуществу. Быстро промчались ее сани и возок по России, и вот Херсон... Миледи Кравен верила в перевоплощения, и она знала, что когда-нибудь займет главное место в империи. Нет, не место королевы, та пусть себе тихо правит своим королем, место истинного правителя, вершащего всем миром и Британией. А сегодня она нанесет смертельные удары врагам британской империи. Она разведает! Она предупредит опасность! Она не даст успокоиться Европе, пока здесь, на южных землях, сидят эти дикари в европейских одеждах. Европа должна знать, что здесь обитают варвары, они хотят поглотить

все европейское христианство, уничтожить храмы, изнасиловать всех принцесс, ограбить всех ростовщиков!

– И вы, Шарль, должны нам помочь! Вы должны дать, найти, продумать и придумать, наконец, такие факты, случаи, события. Вы должны заставить Европу ужаснуться от кровавых планов нашествия на Вену, высадки морского десанта в Италии, наступления на Париж!

Ее глаза сверкали, румянец покрыл белое северное лицо, она с ужасом смотрела туда вдаль, где шло великое нашествие России на Европу. Да, да, Европа должна бояться России, и тогда Британия будет продолжать править миром.

– А вы, – она холодно посмотрела на своего соотечественника, купца и судового мастера Джона, – должны перестать помогать им. В лучшем случае, за хорошие деньги строите им такие корабли, которые разваливались бы от волн и пролетающих пушечных ядер.

Мастер сидел в кресле, развалиясь и попыхивая трубкой с крепким и вонючим турецким табаком.

– Миледи! – пустил он одно кольцо турецкой дряни в потолок. – Здешний император Петр Великий почитал торговлю сильнейшей опорой в империи. И поэтому я, английский купец, одобряю этой же лестной надеждой. И наш остров, который так мал по сравнению с другими государствами, есть доказательство, какая нация от торговли могущество иметь может. В то время как новые приобретенные владения, кроме попечений и беспокойства, ничего не дают,

если их не оживлять торговлей!

Он пустил еще несколько колец и вроде бы с гордостью сказал:

– Мой дед строил корабли с императором Петром... Я же помогаю здесь мастерам, которые строят очень хорошие корабли. И черт возьми! – Он нисколько не церемонился, этот мужлан и, по-видимому, хам. – Мы, англичане, можем быть полезны миру, если будем уметь делать свое дело. Если вам угодно заказать себе здесь яхту, я буду способствовать этому, в другом же случае я вам бесполезен!

Он встал, заполнив почти до потолка кабинет, и, повернувшись к Шарлю, пахнул в лицо тому табаком:

– Сэр, рассказывают, у местных казаков тут был обычай рубить ухо и язык доносчикам! – Он густо захохотал. И, уже закрывая дверь, чубуком трубки показал на голову: – Мне мои уши нравятся... Ха-ха-ха... – Его хохот доносился с нижнего этажа.

Вечер был испорчен. Шарль боялся, что деньги, которые привезла миледи, могут быть востребованы. Он защебетал, попросил не обращать внимания на неучтивого земляка миледи. Побежал в комнату, принес старые кормовые списки, с которых снял копию, пока в его номерах развлекался веселый кременчугский интендант. Миледи, не глядя, забрала их.

– Мало. Надо знать все. Какие корабли строят? Как строят? Откуда лес, железо? Кто строит? Откуда такое мастер-

ство в пушках? Сколько русских морских офицеров?

Тонкие губы миледи превратились в красную язвительную змейку, которая извивалась, завораживая и гипнотизируя его.

– Потом, вы не должны сидеть без дела! Не должны ждать! – Она вспомнила, как пышно принимал ее в невиданном дворце Потемкин. И, тяжело вздохнув, продолжала: – Надо знать, кто в фаворе. Кого оговаривать? На кого бросить подозрение? Особенно на действия князя Потемкина. Надо пускать слухи, пугать, говорить об ужасе и разбое, взяточничестве и разврате. Только не опускайтесь до самого низа, до простолюдинов, до этих хамов, которых везде надо держать в узде. Надо напугать Европу. Напугать Турцию, напугать Россию. Остановить ее движение на юг!

Ее красивые серые глаза то леденели, то покрывались туманом печали. Многое здесь, в этой необычной стране, ей уже нравилось, многое она хотела бы иметь там, у себя под Лондоном.

Еще в Петербурге она записала, что там в великой моде итальянская музыка, а «сочинения наших славных английских стихотворцев они хорошо понимают». Арфу свою она после этого забросила. Сердясь на себя, миледи продолжала писать, что женщины Петербурга и Москвы имеют черты древних гречанок, мужчины кажутся афинянами с проницательным и тонким разумом, весьма способными к перенятию языков; они скоро перенимают то, что выдумали науки и

художества. Нравились ей и высокие русские мужики, милосердные сельские женщины с белыми жемчужными зубами, девушки в пестрых красивых платках, которых она встречала на сельских праздниках.

Нет! Нет! Не надо поддаваться чарам. Это ее привилегия – нравиться. Вот здесь смогла же вчера обворожить Корсакова и Мордвинова, которые водили ее по верфи, все показывали, без утайки, как будто ничего не боялись.

Нет! Нет! Она должна освободиться от волшебства этой страны, от ее великодушия, от успокаивающего состояния ее просторов. «А вот Джон, пожалуй, уже и не освободится», – с горькой завистью подумала маркграфиня.

КИНБУРН

Узким сабельным серпом рассекла Кинбурнская коса морскую ширь перед Очаковым. Слева остался Днепровский лиман, справа волны моря смешивались со спокойным потоком бугского полноводья.

По Кучук-Кайнарджийскому миру вылилась на косу русская пехота, замаячили там, в виду Очакова, пики бугских казаков, прикрытых широкой спиной Григория Потемкина, или, как называли его бывшие запорожцы, Грицько Нечоса.

Напротив Очакова возвели Кинбурнскую крепость. Правда, крепость была хилая. Крепкого ядра хватило бы, чтобы разрушить стену, а ров большой глубины вырыть не удавалось – проступала вода и размывала сделанное.

Но фортеция сия была важной и необходимой для России, ибо держала на замке вход в Днепр, где в Херсоне рос и накапливался русский флот. Приглядывались в это время и к Бугу, глубоководье которого позволяло флотостроителям и там возвести базы для построения кораблей. Здесь, у Очакова, Турция сходилась с Россией лицом к лицу. Без прокладок, рыскающих отрядов крымского хана, на которых можно было свалить вину за разбойные разведки и набеги на южные поселения Новороссии.

Кинбурн был бельмом на очаковском глазу турок. И ровно через месяц после начала новой войны, 3 сентября 1887 года,

несколько турецких канонерок и линейных кораблей, выйдя из Очакова, ударили изо всех пушек по кинбурнским укреплениям. Крепость шаталась от турецких ядер, но и русские артиллеристы били отменно. Несколько пушек, расположенных на насыпном валу крепости, раскалились от непрерывной пальбы, посылая одну за другой бомбы в турок. Ядра ломали мачты и реи у грозного линейного корабля. Тот, казалось, должен был стереть своими 54 орудиями дерзкие пушечки, но они продолжали отвечать гиганту. И вот одно ядро проломило палубу, другое моментально нырнуло вслед за ним, и уже кипящая раскаленная бомба добралась до порохового погреба. Взрыв поднял вверх все, что недавно было грозной и устрашающей силой. На догорающие обломки, взывающих о спасении раненых и уже безмолвно плывущих мертвых солдат, моряков и янычар медленно и тихо, как бы накрывая саваном, падал сорванный с мачты турецкий флаг.

– Прегордый паша оказался в облаках, поклонился Кинбурну и упал стремглав назад, – бросил на другой такой же жаркий день жестокую шутку генерал-аншеф Александр Васильевич Суворов.

В этот день он сам был на крепостных стенах и валах, у солдат и казаков, на редутах и складах. Двум фрегатам и четырем галерам, конечно же, снова дали отпор. Но генерал-аншеф видел, что пушки на этот раз расположены невыгодно, кавалерия при тяжелом всаднике увязнет в песке, а тот не дает сильно укрепиться, зарыться вглубь. При-

нимал меры... Требовал. Добивался исполнения. Чванство и трусость сдавались не везде. Особо же возмущал его бездействующий флот. Вельможный и боязливый вице-адмирал Мордвинов, командующий Херсонской эскадрой, команды на выступление и поддержку Кинбурна не давал. «Что скажет фельдмаршал Потемкин? Ведь недавно разметало штормом Севастопольскую эскадру Войновича. Потемкин был в отчаянии и остервенении. Два фрегата погибло! А тут можно тоже все потерять. Зачем предпринимать действия, если нет указания? Нет, нет. Надо дослужиться до пенсии. Спокойно. Чепуха, что победителей не судят. Победителей и сражающихся за победу судят чаще и строже, чем побежденных! Подожду указания», – нервно думал вице-адмирал. И вдруг на глазах всей эскадры галера двадцатипятилетнего мальтийца Джулиано де Ломбарди кинулась в бой.

«Да постойте! Это же та галера «Десна», которую избрали для путешествия по Днепру венценосной императрицы! Может быть, на это покровительство рассчитывал мальтиец, верно служивший русской короне?»

Сигнал о возвращении не был дан, и галера ворвалась в ряды турецких кораблей. Турки панически боялись брандеров – кораблей-поджигателей, а находчивый мичман придал своему кораблю вид брандера. Турецкие корабли ретировались. Закрыв рукой окровавленное ухо, возбужденный и радостный, возвращался Ломбарди к эскадре. Мордвинов, успевший навести справки о том, что мальтиец никакими

связями не обладает, обрушился на непослушного, упрекая его в ненужном риске и неподчинении.

– Арестовать! – шумел он. – Отдать под суд! Корсар он, а не воин!

Суворов узнал об очередном наказании смелого человека и тут же направил реляцию Потемкину, назвав его героем. Потемкин отреагировал быстро. «Оказывается, флот тоже может воевать. Наградить!» Да! Позавчера мальтиец был героем, вчера – преступником, а сегодня мичману Джулиано де Ломбарди по указанию Потемкина присвоили лейтенантский чин. Неисповедимы пути господни. А человеческие?

Наблюдатели доложили генерал-аншефу и начальнику обороны крепости генерал-майору Ивану Реку, что турки в Очакове и пригородных садах суетятся, ведут какие-то учения, роют землю и учатся возводить ретраншементы под руководством французских консультантов. Из Стамбула прибыла отборная пехота янычар. Суворов крякнул и сказал вроде бы не о том: «Французов надо учить, а то зарвутся!»

С утра тридцатого сентября подул свежий ветерок, легкая волна была с одной стороны в косу, с другой было спокойно. И из этого спокойствия выходили один за одним турецкие корабли, разворачивались и били изо всех бортовых орудий. Крепость дрожала, осыпались стены, летели камни и песок. Левая стена дала продольную трещину. Ядра врывались и за крепостную стену, разбивая окна и мостовую. По приказу основная часть пехоты отошла от крепости на север. Туда

почему-то стал высаживаться первого октября десант с пяти турецких судов. Десантники высаживались как-то неохотно, казалось, их выталкивают с кораблей. Они несмело постреляли и трусцой побежали в атаку на редуты Муромского полка. Русские солдаты дали залп и с громовым «ура!» кинулись вперед, сбоку ударили бугские казаки. Схватка была короткой. Большинство атакующих редут побросало оружие, другие подняли руки вверх, а возглавлявшие колонны янычары кинулись в воду и поплыли к кораблям, которые поспешно поднимали паруса, не дождавшись отчаянно зывавших к ним, отошли к Очакову.

– Отряд отвлекающий. Собрали разных... – хмуро сказал вестовому, прибывшему от Суворова, командир Муромцев. – Султанскую гвардию приберегают.

Русские солдаты и казаки с любопытством смотрели на пленных. А те сразу разделились на три группы. Одни говорили понятные слова и показывали на себя: «Болгарин! Черногорец! Не хочу быть мухамеданином! Приму снова нашу веру!» И срывали с себя чалму, бросая ее под ноги. Вторая группа почти вся упала на колени и молилась пророку, покорно ждала свиста сабли над головой. Молящиеся были черны от земли и солнца. Еще недавно они пасли овец и пахали землю. Воевать не умели и не хотели. Помилует ли их враг? Наверяд ли. Они-то знали, что в Турции невольников не милуют. В лучшем случае галеры или рудники. Может, аллах и пошлет их туда?..

Всех повели на север к Херсону, где ждала их работа и пища...

Третья группа стояла понуро и обреченно молчала. Лишь тяжелые вздохи вырывались из груди крепких мужей. К ним медленно подъехал казачий атаман и старшина, подковылял и старый Щербань, что был сегодня здесь у казаков.

Атаман покусал ус, потрогал плеткой шею коня, быстро поднял ее верх над головой впереди стоящего молодца и тихо опустил.

– Ну, шо им зробыть, батько? – обернулся он к Щербаню.

Тот обошел его, прошкандыбал перед угрюмо застывшей толпой и обратился вроде бы ко всем:

– Ну шо? Помогли вам чертовы нехристи! Получили вы вольность запорожскую обратно?

Казачи молчали. Лишь днепровский ветер, что прилетел из давно не виданной и милой Сечи, трепал их чубы и оселедцы, может быть, последний раз.

– Я ось шо скажу, ясновельможные паны! – обернулся он к сидящим на конях казакам. – Як шо осталась у них совесть казацкая и вера православная, то пусть падут они на колени и попросят в бой против нехристей! И пойдут в бой, в самое пекло, и искупят свою вину перед верой и батькивщиной. А бой там будет сегодня великий и кровавый!

Из-под Кинбурна шел какой-то тревожный и грозный гул, слышались отдельные выстрелы пушек и раскаты залпов и дикие завывания, захлебывающиеся в криках «ура!».

Запорожцы попадали один за одним на колени и глухо, сдавленными голосами запричитали:

– Простите, братья! Бес попутал! Кровью искупим!..

Не мешкая, крикнул им атаман:

– Так становитесь, бисовы дети, в ряд, берите зброю и бегом все к Кинбурну!

И лишь один не упал на колени, не склонил голову, а отошел в сторону и яростно и твердо крикнул:

– А я вашей Катьке служить не буду. Нехай вольность запорожскую вернет! Турки не помогли, то, может, ляхи або австрияки помогут! А скоріше всего новий Пугач прийде. – Он бросил об землю свою шапку-бырку, рванул рубаху на груди: – Рубайте!

– Ты, хлопче, до сих пор горячий, та неразумный. Вольности не вернешь, а батькивщину загубишь. Запроданцем станешь... – тихо и грозно ответил ему старый Щербань.

Не окончив говорить, выскочил из-за его спины высокий старшина, что уже и дворянское звание успел получить, ударил со всего маху турецкой саблей, и покатила на Кинбурнскую косу буйная и непокорная казацкая голова. А казаки и старшина уже гнали коней во всю мочь к Кинбурну, где уже несколько часов шел тяжелый бой. И лишь старый Щербань остался здесь, у зарослей ивняка, он копал неглубокую могилу, чтоб похоронить бывшего запорожца. «Эх, Микола, Микола, казав я тобі, не найдешь воли в чужих краях! Тут надо шукать».

И если бы мог еще думать казак, то порадовался бы своей последней удаче: схоронили его на родной земле родные руки. Положил у невысокой ивы на вечный покой своего бывшего побратима и земляка Миколу Ижака старый Щербань, и только налетающий из степи ветер будет петь ему украинские песни и медленно засыпать его могилу песком, пока не исчезнет, не сровняется она с низкой приземистой косой.

РАНЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

...И в низшем звании бывают герои.

А. Суворов

Из трюмов и с палуб турецких кораблей сыпались воины. То была отборная пехота. Перед отправкой в Очаков они прошли улицами примолкшего Стамбула и склонили головы на очах грозного султана. Сейчас же их очи сверкали ненавистью к неверным, нахально и нагло расположившимся напротив острых минаретов Очакова. Отважный и смелый Эюб-ага, что вел их в бой, пообещал большие награды и подарки из подвалов и складов Кинбурна и Херсона, который они намеревались взять одним броском. Да и не из-за подарков воюют они, а чтобы отомстить за оскорбление султана. Неистовы и безжалостны османские янычары. Их отвага беспредельна, вера безмерна, они беспощадны к неверным червям, к этим еще не плененным рабам. Но, покидая корабли, следует опасаться – эти гяуры имеют неплохие ружья и артиллерию. А тут еще подпочвенная вода не дает возможности скрыть благородное тело в вырытых ложементях. Пришлось бросать на бруствер мешки с песком, ставить рогадины, привезенные с собой.

Совершив высокую молитву во славу всевышнего, янычары трусцой побежали на стены Кинбурна, неся в одной руке

лестницу, в другой – оружие.

Те, кто держал лестницу в левой руке, правой сцепил рукоятку сабли. Те, у кого была занята общей ношей правая рука, в левой несли ружье или пистолет.

Молча бежали вперед смелые воины, под ногами шуршала пожухлая трава, скрипел песок, и лишь хриплое дыхание, вырывавшееся из бегущей толпы, отлетало в сторону моря.

А генерал-аншеф Суворов заканчивал богослужение в Кинбурнской церкви. Уже два раза подходил к нему адъютант, сообщал, что турки продолжают беспрепятственно высаживаться на берег. Генерал-аншеф оба раза турнул беспокойного посланца офицеров, стоящих у выхода, показывая всем видом, что он истово молится и просит ему не мешать. И только, когда уж совсем взволнованный Иван Михайлович Рек, командир кинбурнского гарнизона, подошел и вполголоса, без воинского этикета и с тревогой сказал:

– Александро Васильевич! Турки укрепились, продолжают десантироваться и пошли на крепость! – Суворов склонился к нему и, хитро прищурившись, прошептал крестясь:

– Да это же хорошо, батюшка, хорошо! Я об этом бога молю, чтобы все высадились. Тут-то мы их и прихлопнем!

...Янычары двигались молча. Крепость холодно и мрачно смотрела на них зрачками пушек с высокой каменной стены. Генерал-аншеф три часа назад приказал стащить их все сюда, на западную сторону, откуда бежит эта молчаливая орда. Через пять минут все сто пушек точно наведут свой смерто-

носный взор на тех, кто еще через мгновение остановит свой бег навсегда.

– Вот теперь, батюшка, пора! – махнул Суворов командиру артиллеристов, в напряжении ожидавшему сигнала. Гром и дым хлынули с зубчатой стены навстречу атаке. За дымами, из-за крепости, помчались казаки и гусары, врезавшись во всю молчавшую толпу. Эюб-ага, конечно, смел, но неосторожен и первым был пронзен казацкой пикой. Вот уже штыки пехотинцев Ивана Река сверкнули впереди конницы, и, бросая длинные лестницы, янычары освобождали свои руки. Кто для того, чтобы перехватить оружие, кто для того, чтобы, резко размахивая ими, помочь в быстром беге к оставленным недавно ложементам.

Теперь заговорили турецкие корабли, окутавшись артиллерийскими дымами. Полуголые пушкари вели яростный и довольно точный огонь по русской наступающей пехоте. Да и трудно было не попасть в плотные ряды солдат, медленно продвигающихся по сужившейся косе, за рассеянными, но все уплотняющимися в ошетилившееся ядро турками. А к берегу подходили все новые и новые лодки. Из них выскакивали разгоряченные дервишами, которые призывали к уничтожению неверных, рвущиеся в бой янычары. Русские дрогнули. Турецкое белое оружие, которым они искусно владели, засверкало над головами опрокинутых конников и пехотинцев. Ядра неслись в тех, кто шел на смену. Одно из них свистнуло перед Суворовым, скрыв его в вихре вздыб-

ленного песка. Когда пыль рассеялась, стало видно, что лошадь с раздробленной головой лежит, подмяв под себя Суворова. Мгновение, и генерал-аншеф выдернул ногу из стремени, вскочил и, выхватив шпагу, закричал солдатам Шлиссельбургского полка:

– Вперед, ребята! За мной!

Те, только что пятившиеся назад, остановились и медленно потрусили вперед. Несколько турок, оказавшихся вблизи, глазам не поверили: впереди цепи русских солдат бежит с золотой нашивкой генерал. «Уж не сам ли это главный русский паша?» Оставив захваченных у спешенной русской кавалерии лошадей, они кинулись к генерал-аншефу. Но и солдаты увидели, что генерал в опасности, и по вязкому песку бросились на выручку. Быстрый и цепкий янычар слегка, как бы пробуя, ударил саблей по шпаге Суворова. Второй раскрутил веревку, привязанную у пояса: велик соблазн притащить за собой русского пашу. Третий заходил генералу сзади. Выстрел поразил занесшего саблю – гренадер Степан Новиков был меткий стрелок. Его штыковой прием был смертельным для другого, а удар прикладом перехваченного за дуло ружья размозил голову третьему. «Богатырь!» – лишь бросил ему Суворов, глядя, как шлиссельбуржцы вновь очищали ложементы.

Турецкие пушки с кораблей неистовствовали. Они уже не вели прицельный огонь, не жалели своих. Важно было поразить русских солдат. Картечь снесла с ног Суворова. Его

уложили на плащ и понесли, но он вскочил и снова ринулся вперед. Однако силы оставляли генерала. Нелегко было и русской пехоте. Остатки ее отступали в крепость.

Юсуф-паше, коменданту Очаковской крепости, доложили: «Русские разбиты!»

– Еще один нажим, мсье паша, и султан снова утвердятся на этих землях, – торопливо говорил толстый французский инструктор, непохожий на француза. – Я советую вам отвести флот от берега. Тогда доблестные воины султана не будут помышлять об отступлении.

– Они и так не помышляют об этом! – гордо и с достоинством ответил паша, зная, чем грозит поражение его войнам и ему. Но через несколько минут турецкие корабли получили сигнал к отходу.

А турецкую пехоту словно прорвало: возможно, она хотела возместить свое долго длившееся молчание и страшно кричала, визжала, выла, подступая к крепости. Казалось, пришел конец. Суворов очнулся от этого шума и, собрав в единый кулак остатки гарнизона, пехотинцев Муромского батальона, кавалеристов Мариупольского и Павлоградского полков, перед закатом солнца бросил их в атаку. Янычары не выдержали и побежали. Русская артиллерия снова была без промаха, загоняя турок на тонкое окончание косы. Генерал-аншеф забыл о ранах и был вездесущ: только что он подбадривал муромцев, отдавал приказ командиру артиллеристов, отчитывал робковатого офицера, хвалил ка-

заков полковника Иловайского, прорвавшихся по мелководью в тыл туркам. И вот он снова ведет в атаку павлоградцев, и снова рана. Кровь хлещет, генерал, зажимая ее рукой, кричит: «Вперед, ребята! Гоните их в море!» – а сам с гренатером Огневым полощет рану в морской воде и просит перетянуть плечо рубахой есаула Кутейникова, приговаривая: «Вот, брат, загоним их в море – все заживет».

А море поглощало отходивших от косы воинов султана. Некоторые уходили в смерть молча, другие останавливались по пояс в воде и молили о пощаде.

– Храбро сражались! Молодцы! – глядя на них, сказал Суворов и в обмороке свалился с коня. А рядом на песке косы лежали закончившие свою суровую солдатскую жизнь смоленские, вологодские, рязанские парни, отданные много лет назад в рекруты. Тяжко было, голодно, холодно. Но вот появился рядом с ними генерал, который в них, низших чинах, видел людей, соратников. И отдали они здесь, на этой зыбкой кинбурнской косе, все, что имели, свою жизнь, во имя того, чтобы возвратилась на эти издревле русские земли Россия. А там, на Смоленщине, уже и не ждут их невесты и друзья, только старая мать всматривается в калеку солдата, бредущего по дороге: не ее ли Ваня возвращается, отслужив царице и еще кому-то.

...Утром Юсуф-паше было плохо. Болела голова, жар застилал глаза. Он уже чувствовал прикосновение к шее султ-

танской сабли и вглядывался в орошенные кровью пески Кинбурнской косы. Там, видел он сквозь подзорную трубу, выстроились в парадное каре перед крепостью русские солдаты. Золото хоругвей и шелк знамен обрамляли войска. Четырнадцать турецких знамен были свалены у палатки Суворова, казалось уже забывшего о ранах и восседавшего на небольшом стульчике перед своими солдатами. Воистину – раны у победителей заживают быстрее. А солдаты хриплыми голосами не то пели, не то кричали сегодня кем-то впопыхах сочиненные слова:

С предводителем таким
Воевать всегда хотим.
За его храбрые дела
Закричим ему «ура!».

Потом этот куплет обрстет словами и станет песней сопровождающих Суворова чудо-богатырей. «Ура-а-а!» – неслось далеко, спугивая чаек и заставляя рыбу уходить вглубь. Генерал-аншеф, помахивая ручкой, додиктовывал реляцию Потемкину о проведенном сражении. Он хотя и не резко, но утвердительно тыкал пальцем перед адъютантом: «Пиши: Победа совершенная! Поздравляю Вашу светлость. Флот неприятельский умолк... В покорности моей 14 их знамен перед Вашу светлость представлю». Развернувшись на стуле, как бы с укором к стоявшим рядом чинам, додиктовал: «И в низшем звании бывают герои», предлагая наградить всех

солдат, офицеров и казаков, захвативших турецкие знамена, проявивших мужество.

...Ветер, который сегодня дул от Днепра, доносил Юсуф-паше слова торжественной и победной молитвы русско-му богу. Паша злобно скосил глаз и сказал французскому советнику:

– Ваши шпионы бездарны и тупы. Они ни в чем не разобрались. – Устало добавил: – Впрочем, и мы тоже.

И ему представилась его голова, торчащая на пике перед султанским дворцом, провожающая потускневшим взглядом уходящих в очередной поход янычар.

ГУБЕРНАТОР

Турецкое ядро с воем и уханьем пронеслось над головой пригнувшегося светлейшего князя Потемкина. Уже за спиной он услышал глухой удар и резкий вскрик.

Обернулся, увидел белое лицо и лужу крови, из которой безуспешно пытался встать всегда аккуратный и четкий Иван Михайлович Синельников, генерал-губернатор Екатеринославского наместничества. Два подбежавших гренадера под руки, почти бегом потащили враз поникшего губернатора в сторону русского лагеря.

Свита боязливо переминалась вокруг светлейшего князя, тот в ярости помахал кулаком в сторону крепости и поскакал обратно. Рекогносцировка не состоялась.

Губернатор сражался за жизнь стойко, терял сознание и снова приходил в себя. Вот опять поплыло... Из глубин памяти вспыхивали лица, донесения, встречи. Кто это?

Да, да. Правитель канцелярии князя Потемкина Василий Степанович Попов, который всегда внимательно читал все его письма и давал ход многим просьбам... А посему Иван Михайлович старался знакомить правителя со всеми нуждами края, писал подробно, надеясь на помощь при светлейшем.

Вот и сейчас он сообщает ему о своих заботах: о пикинерах, несших обязанность пограничной новороссийской стра-

жи, о привлечении к пограничной службе казаков, раскольников, о вызове из-за Дуная в пределы России запорожских казаков, о покупке в Польше леса для построек в разных городах и селах края, о сохранении драгоценных сосудов и украшений закрытой после упразднения Сечи Покровской церкви и о борьбе с «заразительной болезнью» – чумой, поразившей Елисаветград, Кременчуг, Крылов и другие места.

«Я теперь выписываю к себе, – извещал он ранее Попова, – Самойловича, дабы он всмотрелся в здешние кременчугские болезни, которые хотя много неусыпным старанием пресекаются, однако же, не видя конца, должен опасаться наступающей осени и сырых погод...»

«...Теперь, благодаря бога, все жители и на Остров Днепровский вывезены здоровые и болезнь не оказывалась пять дней, а только управляюсь с колодниками, которые обыкновенно чищивали дома от мертвых... и потому, как видно, залезло к ним сие зло, несмотря на все чинимые и крепкие предосторожности из давних времен. Кажется мне, хотя бы чертова была чума, то с такою яростью, с какой гоняемся за нею, зарежем без ножа. Воров из острога, где было ея гнездо, вывел в поле, корсиканцев, притащенных из Херсона и таскающихся по городу, перевел на Днепровский остров, а гарнизонных и мастеровые роты, со всей их рухлядью, выветриваю и питаю».

В забыты видел, как людом наполнились южные земли, росли города, сельские поселения. Прокладывались дороги,

задымили первые фабрики, сошли со стапелей Херсона первые русские корабли, построенные для Черного моря здесь, в Таврии, а не на Дону. Повезло еще, что полюбил этот край Потемкин. В злобе на негрубое, но твердое отстранение от ложа императрицы переключил бешеную энергию свою на земли эти. Убедить решил царицу, доказать делом, что вернее у нее друга нет. Друга не бездельного, а пекущегося о ее благе, расцвете отечества. Она ему земли и крепостных жалует, но и он ей этот цветущий край преподнесет. Затраты были большие, много денег уплывало невесть куда, поговаривали в Петербурге, что Новороссия – плод фантазии и химера Потемкина.

Попов рассказывал, как упорно боролся светлейший с этими слухами, написал императрице: «Я, матушка, прошу воззреть на здешнее место, как на такое, где слава твоя оригинальная и где ты не делишься ею с твоими предшественниками; тут ты не следуешь по стези другого». Знал, как завидовала Екатерина делам Петра; что ни начинала – все, оказывается, при нем делалось.

«Здесь же Великий не успел, – руки на Балтике были двадцать один год связаны».

Всем было ясно, что показать бы надобно вертопрахам весь товар лицом, отстоять перед петербургскими наушниками край. Но как дело покажешь? Все только начинается, строится, в лесах стоит. Умело надо показать. Убедить царствующую, разжалобить, растопить в любви и преданности.

Наговорить комплиментов, здравниц. Сказать, что только ее воля, сила, мудрость, предвиденье и разум позволили осуществить столь великое дело. А затем все делать по-своему. Тогда и приехал он, Синельников, в Петербург по вызову светлейшего. Получил тут тщательную установку, где устроить дороги, поставить каменные мосты, насадить плантации, открыть кирпичные и черепичные заводы, вырыть колодцы, заготовить материалы, соорудить временные дворцы и триумфальные ворота, где будет проезжать по заранее составленному маршруту государыня. Во все губернии полетели гонцы.

– Шлите рекрутов, выделяйте мастеровых.

Давались разрешения на переезд и заселение земель раскольникам, даже беглым мужикам, выдворенным из Польши. Этим обещали не возвращать бывшим хозяевам... Хотя и новые были не лучше.

Россияне, малороссы, лифляндцы и поляки, хорваты и греки, немцы и славяне – всем находилось место на сих обширных землях. Вспоминал, как еще раньше, в 1781 году, по просьбе светлейшего переселил полторы тысячи корсиканцев, наводивших страх на херсонских и екатеринославских рынках разбойным видом. А Шведскую колонию он организовал возле города Казыкерменя, на Днепре, привезя с острова Даго тысячу человек шведов. На строительство определили двенадцать полков, а для фабрик выписывались с Урала, Подмосковья, Олонца, Петербурга мастеровые люди. По-

темкин, конечно, помогал, хотя и мешал здорово. То обучает его великое желание кунсткамеру построить, то дворец в восточном стиле. А то пропадет у него ко всему интерес, впадет в меланхолию и держит планы и проекты строительства. И все желающие строители ждут долго, когда им место отведется, да и казенные строения стоят тогда без движения, а то субсидии задержит. Все-таки это все проходило, удавалось преодолеть и меланхолию. Но не хватало рабочих рук, строителей, мастеров. Хоть и присылали рекрутов из Орловской, Курской, Калужской губерний, хоть выселяли полтавских и черниговских мужиков и закрепляли запорожцев, но этого было мало. Не хватало мужиков. Да и чума, плохой провиант, недогляд косили людей и без того в негусто заселенном наместничестве.

А Потемкин требовал от него широкого размаха во всем. Особенно внимательно следил он за строительством Екатеринослава. Город начинал строиться на речке Кильчени непуतेво. Место было низменное, ежегодно заливалось весенней водой: уносило строительные материалы, жители страдали от гнилостных испарений и вони. Понадобился высочайший указ, чтобы перенести его на правый берег Днепра, на место бывшего селения запорожских казаков Половицы. По замыслу князя, Екатеринослав должен был превзойти со временем Северную Пальмиру. От Синельникова требовал: «В Екатеринославе должен быть университет, музыкальная академия, академия художеств, ботаниче-

ский сад, двенадцать различных казенных фабрик, гостинный двор. Надо, чтобы в центре были городские Пропилеи с биржей и театром посередине, городские палаты во вкусе греческих и римских, дома инвалидов, губернаторский, вице-губернаторский, дворянский дворцы. Архиепископия, колодцы, фонтаны и плотины. Несколько православных и неправославных церквей. А над всем этим возвышаться должен собор Преображения Господня на один аршин длиннее, чем собор Петра в Риме». Правда, и средства были отпущены немалые. Только единовременно двести тысяч рублей пришло в губернскую кассу. Для возведения городских зданий была установлена из особых чиновников «экспедиция построения города». Не ожидая завершения академий и училищ, были вызваны с высочайшей оплатой историограф де Гюень, профессора Ливанов и Прокопович, художники Неретин, Захарченко и Бухаров.

Особенно заботился губернатор, зная интерес императрицы, о музыкальной академии, куда выписали самого знаменитого Сарти. С указанием «отвести высокую квартиру» и исполнить «все его распоряжения касательно музыки». Тот за это обязывался учить музыке и сочинять музыкальные пьесы, так надобные в этом крае для утверждения победного духа.

В этом полузабытьи генерал-губернатор вдруг понял, что его заботам, замыслам и стараниям по организации, устройству и заселению края приходит конец...

А как хорошо начиналось! Как хотелось ему добиться, чтобы сей край расцветал! Всем казалось неожиданным его назначение вместо Тимофея Ивановича Тутолмина, которому было поручено волею императрицы в 1784 году соединить две обширные губернии, Новороссийскую и Азовскую, в одно громадное наместничество с Екатеринославом во главе. В оное входили сверх того и Екатеринославская, Херсонская и Полтавская губернии, пятнадцать отдельных и один особый уезд, Мариупольский-Таврический. Наместничество же фактически организовал в то время бригадир Синельников. Кем только он не был за это время, какие только обязанности не исполнял! Называли его и охранителем края, колонизатором степей, начальником комиссии по продовольствию переселенцев из разных стран в Новороссию, начальником заготовления провианта для русской армии, главным управителем всех соляных и литейных сборов и, наконец, строителем городов, в особенности самого города Екатеринослава.

Скрип телег, крики строителей, шум повозок, суета приемных отодвинулись куда-то в уголок сознания. Он открыл глаза и увидел склонившегося над ним личного врача Потемкина Массота: «Надо оперировать. Коленный облом».

– Попросите Александра Васильевича.

У изголовья раненого сразу встал его шурин Стрехов.

– Отчет денежный запиши. (Губернатор губернатором, а и у самого долги немалые.)

В завещании и начал с этого: «Расплатиться», потом для души: «Построить церковь в собственном селе Николаевке». И о будущем: «Воспитать детей, не жалея денег, племянницу выдать замуж за хорошего человека».

Потемкин, который заходил через каждые пять минут, не глядя подписал завещание, рядом поставил свою подпись игумен Моисей.

Почти десять минут диктовал отчет о суммах, израсходованных на продовольствие армии, переселение колонистов, устройство Екатеринослава. Все суммы держал в голове. Сердился, когда Александр не понимал их происхождение.

Устало откинулся, и снова пригрезилась та встреча...

...Светлейший ежедневно присылал письменные наставления, требуя от усердного и деятельного слуги отечества решительных мер к украшению встречи Екатерины. Видел себя тогда: как несется он по наместничеству, заслушивает, поддерживает, рассматривает проекты. И шлет князю жалобы на нехватку рук, промедление с утверждением планов, задержку денег, на которые он мог закупить и перевести материалы через длинные степные пространства к местам построек. В Новороссию тянулись рекруты, шли солдатские полки, ехали живописцы и архитекторы.

Императрицу надо встретить достойно. Светлейший в последнем письме пригрозил: «Не сумеешь показать – все потеряешь». И, видимо, уже с грустью и доверием дописал: «Да

и я тоже». И уже строже закончил: «Отечество потеряет. Замедлят рост Новороссии. На танцы деньги уйдут».

А Екатерина не ждала окончания приготовлений. После зимних балов в Киеве, ранней весной, со свитой, послами на восьмидесяти галерах, разукрашенных амурами и наполненных музыкантами и певцами, отправилась вниз по Днепру на шхуне «Десна». Синельников встретил ее у местечка Крылов и последовал за ней в Кременчуг. Оттуда и началось шествие по Новороссии.

Обрывалось сердце, перехватывало дыхание, когда не успевали докрасить заборы, перевезти с места на место хор крестьянский, разбегалось согнанное из разных деревень стадо. Да и с придворными отучился говорить, все сдерживал себя, внутреннюю боль усиливал. Раньше на просторах наместничества не стеснялся: говорил крепко, уверенно, любил и прикрикнуть. Здесь даже на денщика только глазами метал – не давал воли. Особая мука началась, когда в тридцати верстах от Нового Кодака императрица встретила графа Фалькенштейна с небольшой свитой. Посвященные знали, что то был австрийский император Иосиф II. Они сели вдвоем в один экипаж и направились обратно к Новому Кодаку. О чем шел разговор двух вершителей великих империй, Синельников не знал, но встречу закатил отменную, со смыслом. Императрица уже подъезжала к Новому Кодаку, а солдаты бегом, на спине, на носилках, уносили от сверкающих деревянной желтизной дворцов остатки досок, бревен

и извести.

Екатерина весело махала рукой, показывая Иосифу на украшенную гирляндами всевозможных цветов и золотых колосьев Триумфальную арку. Из золотых букв на ней было выложено: «Твоя от твоих тебе приносящих». Чего-то стесняясь, надпись не перевела.

У арки на коленях уже стоял князь Потемкин, протягивая императрице хлеб-соль. Отсюда, из Нового Кодака, проследовали в село Половицу, где воздвигался город, долженствовавший прославить имя ее, – Екатеринослав.

Вся Половица представляла громадный склад строительного материала: известь, алебастр, множество камней, кирпич. Все громоздилось вокруг домов, сараев, заводов, а берега Днепра были покрыты плотами леса.

Там, где Днепр поворачивал с востока на юг, на широком и возвышенном полуострове среди майской зелени и цветов была устроена царская палата с походной полковой церковью. Здесь после литургии поцеловала крест и, неудобно держа камень, почти уронила его в будущее основание храма Преображения. Поправила ногой и попросила сделать то же Иосифа II, Потемкина и Синельникова. Архиепископ Амвросий святой водой покропил всех. Императрице преподнесли дары Новороссийской земли. Она восхищалась гончарными тарелками, серебряной чеканкой, тонкой вышивкой, чучелом чайки и особенно чулками, тонкими до того, что их можно было вложить в скорлупу грецкого ореха. Адъ-

ютант князя стоял, опустив глаза. Он-то знал, что за сими чулками светлейший посылал в Париж.

Гром пушек, грохот ружей сопровождали кортеж до Нена-сытецкого порога, где был назначен царский обед. Тут в своем имении под Днепром Синельников, хотя немало уделял внимания столу, поразил всех великолепием цветов. Императрица просила рассказать, как удалось создать такой разноцветный ковер, как растут столь пышные розы. Синельников красок не жалел, все выводил из новороссийской природы и земли. Потемкин удовлетворенно постукивал указательным пальцем: «Умен, тонок губернатор».

Отобедав и расположившись на крытой веранде, императрица стала смотреть на спуск галер через порог. Сначала пустили рыбачью лодку-дуб и особое судно полковника Фалеева. В дуб село пять рыбаков-запорожцев с кормчим Беляем. Рыбаки перекрестились и бесстрашно ринулись вперед, пройдя благополучно одиннадцать уступов. В двенадцатом лодка качнулась и исчезла в море брызг. Императрица с испугом взглянула на Потемкина: как, разве они погибли?

Князь встревожился: жертв здесь не хотелось. Но он, Синельников, уже показывал на плывущих вдали рыбаков. Был позван Беляй. Высокий, сильный, он с вызовом взглянул на императрицу, остальных, делал вид, что не видит. Пожалован был пятьюдесятью рублями и с облегчением выпровожен. Показалось, что через порог пройти не столь трудно. Потемкин и принц Де-Линь решили спуститься на судне Фа-

леева. Императрица призвала к благоразумию. Царские галеры провели каменский лоцман Моисей Полторацкий и его помощник Непокрытенко. Полторацкий тут же стал дворянином и пожалован землей.

Караван императрицы проследовал на юг. Промелькнул калейдоскоп: слобода Хортица, станица Томаковка, город Никополь, станица Базавлук, слобода Еланская Грушевка, слобода Носковка, река Каменка, город Бериславль, село Никольское и Херсон. Следование обратно было более скромное, но не менее обременительное для губернии. Императрица осталась довольна, можно было продолжать начатые дела, шептуны на время отступили...

Вспомнил свои последние заботы: письма Попову, чтобы похлопотал об ассигнованиях на поиск различных руд, о посылке учеников четырех местных казенных училищ в Петербург для обучения скульптуре, помощи в ликвидации большого весеннего наводнения на Днепре, об отпуске двухсот пудов соли в Белоруссии, о повышении прибыли от почт, мостов и извозов. Тогда же он просил Попова о награде Быстрицкого за перевод с латыни, о результатах умных записей секретаря Якимова, которому поручен был князем Потемкиным перевод «Илиады». Благодарил за спасение Акимова от отрезания ушей и наказания кнутом. «Нужно здесь учить многих, но от погубления спаси нас господь бог. Губить людей прилично безумным боярам и богачам, а нам не соответственно». Тяжела ноша губернатора, пытающегося выпол-

нить указы императрицы, законы державы, волю светлейшего, пожелания его помощников. Надобно же соблюдать интересы дворянства, не погубить другие сословия, заботиться о войске, науке, искусстве, земледелии, корабельном деле. Честь дворянина блюсти, взятку изживать и лихоимство. То тут, то там обнаруживалась глупость, воровство и подкуп. «Пресекая сие, другое порождает», – уже без надежды исправить думал Синельников.

...После операции губернатор, обозвав врачей жидами-мучителями, шутя просил отрезанную ногу в спирту отослать жене, понюхал табаку и скончался.

В церкви крепости Кинбурн у лимана, в виду Очакова, погребли губернатора нового наместничества.

Потемкин закрыл глаз. Слезы лились одна за другой. Черная повязка и та стала мокрой.

– Лишился правой руки, потерял лучшего друга, а отечество – героя-воина и честного слугу.

ХРАМ БРАТСТВА

Связуйся крепче, узел братства,
Мы счастливы, нам нет препятства...

Масонская песня «Мира»

Письмо от 10 мая 1782 года

Милая Екатерина Ивановна!

Сие письмо прошу держать втайне, ибо я не имею права о том, что пишу Вам, говорить никому. Однако же, если меня не будет, сохраните его для потомков и для понимания, во имя чего я жил...

Сообщаю Вам в великой тайности, что вот уже несколько лет я состою в Кронштадтской масонской ложе Нептуна.

Некоторых из господ, с коими я там состою, ты знаешь по встречам в офицерском собрании, на балах и у нас дома в Петербурге.

Моим наставником и командиром на этом пути был адмирал Самуил Грейг. Человек смелый и твердый. Я тебе о нем писал после Чесменского боя.

Поистине это бесстрашные рыцари, думающие о пользе всех людей... Оказалось, что в последние годы меня долго испытывали, убеждаясь в моей храбрости и честности. И вот сейчас я готовлюсь подняться на новую ступень этого нашего Храма братства... Был

учеником (сие первая ступень), совершенствовал свое сердце; ныне готовлюсь стать товарищем (сие другая ступень), где обязан совершенствовать ум.

Сердце мое всегда Вам принадлежало, но разум свой я подчинил прекрасному братству. На всю жизнь мне запомнился обряд, коим я был приведен в лоно сих великих людей. Долго я сидел в темноте, а затем ввели в светлый зал, где стены были расписаны садом и воздухом. Свод потолка – звездное небо. Толстая, голубая, шерстяная завеса отделяла ложу от сада. Широкий золотой шнур обвивал все колонны и образовывал на востоке большой узел. Там же, на востоке, на возвышении стояло кресло мастера стула. И над ним ореолом золотые лучи искусно сделанного солнца. Перед креслом ромбический стол и на нем развернуто Евангелие. Посреди ложи наш масонский, писанный красками ковер. Кругом по установленному обряду братья.

Слева от мастера вице-адмирал Барш и врач Цуберт. У них через плечо красные струйчатые ленты с зеленой каймой, на которых сверкали золотые шестиугольные звезды, на шее кресты из финифти. Белые запоны подбиты красным бархатом. На адмирале Спиридове лента с серебряной мертвой головой. Говорят, они представлены еще в более высших ложах. На столах и скамьях для братьев завесы из мягкой шерстяной ткани голубого цвета. На алтаре и кресле мастера ценный бархат. Все завесы и все покрывала окаймлены золотой бахромой. Ложа освещена. В ней сверкает огромное

хрустальное солнце и стеклянные звезды, освещенные изнутри. По краям вокруг алтаря горят свечи. Золотом сверкает вышитый наш знак ложи Нептуна.

В моей душе до сих пор звучит торжественная песня:

О радость, о любовь, о свет!
О мудрость кроткая благая,
О дух, зри тройственный завет.
Престол, ковчег, святых святая,
Расторгнув мудрости покров,
Зри связь и сущность всех миров!

Дорогая Екатерина Ивановна!

Поистине меня озарил великий свет, когда я держал в руках небольшую, переплетенную в бархат книжечку-обрядник, повторяя высокие слова о служении ближним. Я был позван к тому, к чему давно стремился, – на тяжелый и славный подвиг любви ко всему человеческому, на подвиг забвения собственного «я», на подвиг жизни для и ради других.

Я понял, что все человеческое выше государства, что звание гражданина мира достойнее звания гражданина государства, что для подвига и любви нет различия между эллином и иудеем, что равно достойны позора и тунеядец, пьющий в раззолоченных чертогах из хрустальных стаканов, и мелкий сутяга-крючок, взявший взятку два рубля ассигнациями.

Отныне я возвышен Духом и ухожу от рабства

страстей.

Еще раз прошу Вас не показывать это письмо никому, ибо одной тебе доверяю я сию великую тайну. Летом обещаю приехать в отпуск к тебе в имение.

Егор.

Письмо от 20 июня 1785 года

Дорогая Екатерина Ивановна!

Умоляю Вас, не пишите мне больше ничего хулительного о моих увлечениях и служениях масонам. Не уговаривайте меня и не увещевайте. Я и так нарушил наш Устав, посвятив Вас в мои тайны. Делать этого я не мог под страхом смерти. Но и не посвятить Вас в свою жизнь не мог. Для кого же все это? Для кого же я живу на этом свете? Смею уверить, что во имя нашей любви! Но во имя этих наших чувств я и Вас прошу молчать, не писать ни слова об моем служении братству. Будем с Вами говорить об этом только при встрече, как в прошлом году.

А выгоды житейские от сего я вдруг решительно стал чувствовать. Кто-то вдруг представил мое дело к дальнейшему повышению по службе, хотя и срок не вышел. У нас это принято. Уже все члены ложи имеют награды, хотя мне кажется, что не для этого в оную ложу вступали.

Взошел и я на новую ступень – стал товарищем. Прием был не столь торжественный, как раньше. Было больше темноты и песен. Я переоделся в

орденскую одежду, побывал в черной хранине, такой комнате, где стоял гроб и лежал череп, и потом в обрядовой комнате принесено было пятисвечное паникадило и товарищеский ковер. За пятисвечием шествовал с обнаженной шпагой обрядоначальник, а за ним четыре брата несли ковер. Я принес присягу, получил лопаточку, ключ, запоны, и после этого сам Мастер пригласил воззреть на ковер и внимать иносказательным изображениям, на нем начертанным. А внутри рамы ковра, окаймленного бахромой, были и блестящая звезда, и солнце, и луна, и звезды. И орудия, необходимые для строителей Храма Соломона: прямоугольник, отвес, перпендикуляр, циркуль. Молоток Великого Мастера, лопатка, чертежная доска, столб и три окна на восток, запад и полдень.

Я уперся глазами в Дикий камень, и Мастер, увидя это, сказал: «Да, да! Сей камень – символ чувственного человека в первой степени, и Хаос, из которого все произошло во второй! Он может быть очищен, обсечен, приготовлен и сглажен. Поступайте и Вы равномерно со своими склонностями, взглядывая на него!»

Я кивнул, хотя, скажу честно, не очень мне хорошо стало. Как бы почувствовал, что от меня отсекают куски и сглаживают. И так ведь могут потребовать и мои братья, чтобы я и Вас не любил?

Ну этого никогда не будет! Екатерина Ивановна! Не бойтесь и не думайте об этом. А в остальном все идет как прежде. Ходим в море, стережем Санкт-Петербург,

сопровожаем императрицу в прогулках по заливу. И говорят, скоро будем воевать со шведами.

Целуй всех деток. Даст бог, скоро свидимся. Письмо спрячь.

Егор.

Письмо 21 января 1789 года

Дорогая Екатерина Ивановна!

Долго не писал. Идет война. Были морские бои со шведами. Сейчас, слава богу, затишье. Много полегло наших моряков и офицеров, да скончался и мой бывший покровитель, царство ему небесное, адмирал Самуил Карлович Грейг. Сие было 15 октября еще прошлого года на корабле «Ростислав». А погребли его в соборе на Вышгороде в городе Ревеле. Над могилой воздвигли великолепный мавзолей и устроили траурную масонскую ложу. У его гроба один из членов ложи говорил, что к нему мирное любвеобильное масонство обращалось с любовью и радостью. Он был слишком велик и чист, – вещал член ложи, – чтобы заниматься лентами и безделушками, он выбирал истинную цель – добродетель и совершенство! «Мирное масонство, неподвижное и немое от горести, проливает слезу благодарности на прах адмирала!»

А я же не мог пролить слезу. Потому что за несколько дней до этого поссорился с адмиралом и подал прошение о переводе на южный флот. Самуилу Карловичу наедине я сказал, что не для того вступил

в сию ложу, чтобы получать награды и почести, а для того, чтобы служить людям и Отечеству. В нашем же братстве, сдается, мы печемся больше о благе друг друга!

Так, по его реляции, из числа капитанов отряда Спиридова, отличившихся при Гогландском сражении, награждено было более половины членов ложи Нептуна: Адинцов, Муковский, Денисов, Брейер, а другие столь же храбрые капитаны и низшие чины наград не получили. А история с донесением Павла Ивановича Голенищева-Кутузова, генерал-адъютанта, члена ложи. Самуил Карлович послал его с донесением к Екатерине II о победе в Гогландском сражении, а патент о его храбрости в этом сражении подписал второй масон Астафий Адинцов. Ведомо, что вестнику победы дают награду, а герою – двойную!

Знаю я и благороднейших и честных масонов, из коих один ныне в Шлиссельбургской крепости сидит. Но те, с кем я имею дело, – орудие чужой воли. Мне уже не раз бросалось в глаза, что некоторые наши масоны связаны деловыми отношениями с иностранцами и нередко оказывают им существенные, хотя по виду и невинные услуги, а вступив в общение интересов, становятся покорными орудиями инспираторов в самых разнообразных комбинациях. Вследствие этого я стал замечать, что продвижение по службе, новое назначение зависит только от принадлежности к секте. Некоторых же недалеких командиров выдвигают, чтобы ими заслонить место, предназначенное для способных,

но не масонов. Я увидел, как преобразуются у нас целые подразделения с целью дать ход нужным течениям, хотя выставляются иные, часто высокие мотивы. Я видел, как некоторые командиры делают крупные ошибки и совершают обидные для подчиненных действия безнаказанно, ибо они масоны. А морские чины, честные и благородные, храбрые и мужественные, в своем продвижении задерживаются. Грейг и Спиридов отстраняют их под разным предлогом. Я понял, что под покровом песнопений и пиршеств, некоторых благородных дел более скрытно и глубоко проводили внушения, исходившие от отдаленных руководителей. В то же время искатели выгод благодаря масонским связям устраивали свои дела, делали карьеру, служа попутно целям иноземной политики.

Особо меня поразила и открыла глаза тайная переписка адмирала Грейга с нашим врагом – шведским герцогом Карлом Зюдерманландским, которую я, как доверенное лицо, должен был перевозить.

Я сказал ему, что изменять Отечеству не желаю, но и вере масонской присягу дал, и посему пусть он меня отпустит на южный флот, где начинается война с турками, и я там буду честно воевать, свое морское дело делать.

Самуил Карлович кричал, что я изменил Храму братства, что я не знаю, что Карл Зюдерманландский тоже масон. А в некоторых государствах делать дело невозможно, не будучи масоном. И переписку он вел с ним, чтобы уменьшить «свирепость войны».

Но почему же свирепость войны только их двоих должна касаться? Мне сие отступление от евангельских заветов любви к ближнему казалось нарушением всякой нравственности и порядочности.

Самуил Карлович кричал, что я буду наказан. А я знал, что масон может быть сильно наказан за отступление от правил, и ответил ему, что смерти не боюсь, выдавать его не буду, но клятву, императрице данную, не нарушу и Отечеству хочу служить честно, без сговора с врагом! А затем повернулся и вышел. Сказывали, что к вечеру адмиралу стало плохо и на следующий день он умер. Не смею приписать себе столь серьезную утрату, ибо Самуил Карлович был Мастером Стула и собой мог владеть как хотел. А я, может, во всем этом ошибаюсь, напустил туману под влиянием всех этих гробов и черепов.

Рапорт свой я все же через сорок дней повторил. А ныне получил направление на южный флот, в город Херсон, где недалеко в бухте на речке Ингул для нас строят новый корабль, куда я определен как капитан-лейтенант.

Заехать к Вам в имение, наверное, не удастся, и я буду Вас ждать по весне уже на новом месте.

С низким поклоном и добрым чувством к человеку, вылечившему меня от слепого верования к тем, кто пытался овладеть моим умом. Сердце же мое всегда Отечеству и Вам, Катенька, принадлежало, что и спасло меня от гибели.

Егор.

«ВСЕМ ДОВОЛЬНЫ...»

Звери алчные, пиявицы ненасытные,
что крестьянину мы оставляем?
То, чего отнять не можем, – воздух.
Да, один воздух.

Александр Радищев

Здесь, под Очаковым, Николе Парамонову жилось не так уж плохо. Не сыпались поминутно палочные удары, пинки, тычки, как при перегоне из Польши и на стройке всяческих украшательств по дороге царицы Екатерины.

Из Польши, где они так-сяк, но жили, русских поселян увезли силой, как нарушивших закон беглецов. Обрато их повезли не к «своим» помещикам, а погнали под конвоем на далекие южные земли, где рабочих рук не хватало. Когда кто-то попытался бежать, привязали всех попарно к длинным жердям и гнали так баб и мужиков до самой Малороссии. Унтер ругательских слов не жалел, да и плеть у него в дороге не отдыхала. Так многие на обочине и остались лежать навсегда – не выдержали. Остались лежать под Гомелем жена Николы и ребеночек. Надорвались и враз за сутки стогрели.

Под городом Екатеринославом их расселили в рабочей слободке, объявив, что отныне они будут казенными кре-

стьянами, а не помещичьими и неустанно обязаны трудиться во благо госпожи императрицы.

Весь усохший от усталости Никола мог бы этому и порадоваться – помещичьих издевательств он натерпелся и в России и в Польше, да не с кем было словом перебраться. Хотя и другим думалось, что тут вздохнут спокойнее...

Но вздыхать им не дали. С раннего утра до первых звезд рыли рвы, копали канавы, мостили дороги. Сказывали, сама императрица собирается сюда ехать. А куда ехать-то? Голая степь да недостроенные поселки. И все-таки думали: пусть едет, матушка, может, их голос услышит, им легче будет.

А те дни поездки Екатерины врезались в память. Два раза видел ее тогда Никола, правда, издали. Поразился богатству и пышности тех, кто ее сопровождал. Откуда все это?

– Из мужицкого пота накапано, – прохрипел ему тогда Ефим Никонов, сосед по койке. Волос на лице и голове у него почти не было, ходил он опустив глаза и только иногда зыркал, как бичом опоясывал, своими темными глазами. – Загребают все, дерут с нас три шкуры и жиреют с этого. А тут портки еле держатся... – И он захрипел, заухал, заходясь в скрипучем кашле. В передыхе выхаркнул: – Отшибли все изнутри, сволочи!

Никола не понял, кто отшиб. Лишь позднее, отхаживая лежащего на груди Ефима, увидел на спине багровые рубцы и синие полосы, рваную истерзанную кожу и с состраданием спросил:

– Кто же тебя так?

– Дворянские сынки да офицеры. Они нашего брата не жалеют. Порют насмерть. – И Ефим замолчал надолго.

Никола вспоминал часто суматошный день встречи царицы. Перед этим они в спешке на дальних пригорках раскрашивали, подбеливали избы, или, как тут они говорят, хаты. Когда посыпали желтым песком дорожки у пристани, подивились, как за три дня село изменилось, даже выросли новые деревья. Потом поняли. Хаты подновили здесь, у воды, а те задние, ютящиеся по холмам, только разрисовали, деревья же из соседнего яра вырыли да посадили. Забор по берегу за одну ночь поставили и покрасили.

– Балакают, шо тут машкарат будут показывать! – поделился новостью бойкий чернявый малороссиянин, что везде успевал, да еще при этом распевал веселые и грустные украинские песни.

– Да они по всей России ряженных царице показывают, украшают нашу голь, а у мужика задница вся в рубцах, испорота. Вот бы ее царице-то и показать! – захохотал Ефим.

Все от него опасливо отодвинулись: «Услышат ведь, услышат царские уши!»

От соседнего дома бежал унтер и махал кулаком... «Уже знает?» Подбежал, запыхавшийся:

– Чего ржете?! Вон еще сколько дел! Императрица приезжает завтра. Бегом тащите камень – цветы обкладывать!..

А на следующий день они все помылись у колодца, полу-

чили белую полотняную одежду. И стояли в отдалении от пристани, где должны были, как только царица сойдет на берег, кланяться и кричать: «Спасибо тебе, матушка! Всем довольны!» Ближе к воде стоял хор, собранный из всех соседних церквей, а совсем рядом с Днепром красивой стайкой стояли малороссийские девчата в своих цветастых одеждах и в венках.

За цепью солдат на пристани толпились высокие военные чины, купцы, священники и несколько разодетых дам, махавших складными дощечками. На холмах спокойно паслись стада коров и овец.

Когда показались корабли, из-за холмов ударили пушки. Никола оглох от грохота и из-за голов, шляп, солдатских шапок почти ничего не видел и не понимал где кто. Только слышал крики «ура!» да величальную молитву-песню, которую затянул хор.

Толстая барыня сошла с корабля, и тотчас рухнули перед ней купцы и управители, староста и даже священники. Никола понял, что это и есть царица, но смотреть было некогда – унтер, сдерживая голос, шипел: «Ниже, ниже кланяйтесь, болваны. Да кричите громче!»

Толпа мужиков разноголосо зашумела: «Всем довольны, матушка!..» Но царица уже садилась снова в корабль. Черный малороссиянин подмигнул сбоку: «На зеленом рогу обедает...»

Черета судов еще не скрылась с глаз поселян, а офицеры

бегом погна́ли солдат, рекрутов и мужиков к другой стороне излу́чины Днепра, откуда, отобеда́в, часа́ через два должна́ была́ показаться императрица. Людей обгоняли ошалевшие от шума лошади, реву́щие недоенные коровы, тревожно блею́щие овцы: скоту́ на луг надо́ было́ прийти́ еще́ раньше. Перед взором императрицы́ все должно́ было́ дышать споко́йствием и благополу́чием. Мужики́ и дышали, но со зло́стью, люто́ поглядывали на унтеров и офицеров, сгоня́вших людей и скотину́ в кучи.

Здесь, на этой стороне излу́чины, деревня́ тоже была́ украшена. «Як писанка», – бросил вездесу́щий украинец.

Через час поря́док устано́вился, но флотилия́ вышла́ из-за мыса́ лишь к вечеру, когда́ стоявшие на солнцепеке люди́ со́всем падали́ от усталости. Несколь́ко раз пробовали́ садиться́, но унтер поднимал девок окриком, а мужиков кулаками́ и палкой.

Галера притормозила, и царица́ вышла́ на палубу, пома́хала платком посе́лянам. Показывала́ стоящему́ рядом с ней госпо́дину стада, новую́ красивую́ деревню́ – дивя́сь, верно́, богатству́ и изобилию́ в крае.

– Пошто́ царицу́-то обманыва́ют? – с недоумением спра́сил Никола́й. – Ведь и так есть́ что́ показать. Вона́ сколько́ навороти́ли...

Мужики́ молчали, а Ефим хмыкну́л только́. Вечером, когда́ оста́лись одни́, он как-то́ странно́ посмотре́л на Николу́ и сказа́л:

– А я тебя, парень, сразу узнал. Не вывела тебя судьба к добру от Анисьиного креста...

Николу как молния ударила: вспомнил Феодосия, его избу и заросшего волосами мужика, что читал тайное письмо от царицы мужикам, а потом повел беглецов в Польшу. Сказал Ефиму, что похож он на того самого мужика Гаврилу.

– Похож-то похож. Да не тот, – с печалью ответил Ефим. – Я вот тоже, как ты, думал, что царица нас защищает. А она сама мужиков боится да помещиков блюдет. Ты слышал, чтобы мужика от пана да господина спасли царским именем? Нет. И я тоже. А вот это, – он еще раз повернулся к Николе изуродованной спиной, – нашему брату перепадает, да все по высочайшему указу. – Ефим помолчал, подбросил в костер кизяка и задумчиво продолжил: – Ты думаешь, Пугачев – царь? Да нет. Он наш мужик, казак. Здесь у запорожцев был, на Дону, на Яике свой человек. Хотел мужицкое царство сделать. Военачальник царский Суворов – другие-то не смогли – изловил и привез в Москву...

Ефим долго молчал, потом осмотрелся по сторонам и хрипло зашептал:

– Доподлинно известно, сбежал Пугачев в Сибирь и там готовит новую силу из мужиков. Так что махнем, Никола, за Волгу, воля оттуда придет!

Но не махнули они никуда. Запороли Ефима вскоре, когда стал он кричать, что кормят их тухлой солониной, а деньги на провиант офицеры проигрывают в карты. Николу же по-

слали в Херсон на верфи корабельным мастерам помогать, а когда война с турками началась, то снарядили команду Кинбурнскую крепость укреплять и достраивать... Здесь он и в атаку ходил, с турками рубился, хотя нравилось ему больше с топором да деревом возиться.

КЛЮЧ ОТ МОРЯ

От зоркости турецких янычар в Очакове зависело спокойствие Стамбула. Каждый вечер, поворачиваясь в сторону столицы Блистательной Порты, крепостные караулы приносили клятву беречь спокойствие ночного великого города.

Правда, не раз в прошлом летели головы у начальников охраны, когда запорожские «чайки» выныривали из темно-синих глубин Черного моря у стен Трапезунда, Синопа и самого Стамбула. Но тут не всегда были виноваты караульные. Они честно и преданно служили своему султану. Казаки были удачливее и хитрее. Это была земля их предков, щедро политая кровью. И она берегла их, скрывала белыми густыми ковылями, высокими днепровскими и бугскими камышами, выводила балками и ярами далеко за зоркие дозоры турок.

Помнится очаковским стенам, и не раз, штурм быстрых чубатых казаков и склоненные османские знамена перед армией фельдмаршала Миниха в 1739 году. Однако через два года по Белградскому договору развалины крепости вновь отошли к туркам.

...1788 год. Идет вторая при Екатерине русско-турецкая война. Очаков возвышается неприступной крепостью. У его стен безуспешно топчется армия Потемкина. Порта не оставит этот город, янычары не поднимут руки. Ключ от Черного моря должен быть в руках у султана.

Скоро долгожданный штурм. Его давно ждут здесь – в армии, на флоте. О нем уже распускают шуточки там, в Петербурге. Светлейший не любил подказок, знал, что, когда Суворов почти ворвался с гренадерами-фанагорийцами на крепостные стены, можно было ударить и взять крепость. Но он не собирался делить славу. Вот сейчас, кажется, все готово. Потемкин нахмурился и отогнал докучавшую мысль о жертвах, потерях и раненых, коих могло и не быть. Нет, Очаков должен быть взят по его плану. Князь любил все делать, подчеркивая первородство, или историческую обоснованность своих идей или идей Екатерины, принадлежащих ему. С этой целью и выписывал он историков, специалистов по странам, которые могли прозревать века, да и запись вести его благодеяний и исторических свершений. Ермил Глебов, который прибыл из Москвы после окончания Университета, нравился князю. Он умело увязывал дела светлейшего с высшей волей и провидением, а также кропотливо изыскивал исторические факты о землях, завоеванных и предназначенных к заселению.

Вечером Потемкин позвал его. Он не хотел больше заниматься рассмотрением диспозиции. Все ясно. Фортуна покажет. А сегодня пусть сама история возьмет его под сень своих крыльев.

– Ермил! Ждем твой сказ о море. Но прежде еще раз прочти из херасковского «Чесмесского боя».

Херасков, бывший попечитель альма-матер Ермила, о

своей поэме говорил, что в сем сочинении «все написанное есть живая истина, исключая стихотворных украшений».

Глебов обошел князя и стал с правой стороны, дождался, пока тот не вытащил бархатную тряпочку, бриллианты и начал их чистить. Знал, что это успокаивает князя. Четко продекламировал:

Как пламенна гора, всходяще солнце блещет,
Кровавые лучи в Средземны волны мечет
И понту бурному как будто говорит,
Что вскоре в воду кровь сраженье претворит.

Князь перестал чистить украшения, постучал пальцами по столу. Глебов продолжал:

О россы, россы! Вам казалось в сей час,
Что в море двигнулась вся Азия на вас...

Ермил читал долго, громко и с ударениями. Потемкин хмурился. Он дивился героизму чесменцев, но подвиг графа Орлова ему казался преувеличенным, не стоящим поэмы. Заключительные слова:

Не жаждешь крови ты злодея своего,
Спокойства жаждешь ты отечества всего;
Через победы нам драгого ищешь мира,
Дождись его и пой, моя усердна лира! —

заставили задуматься о своей миссии, о будущих днях, штурме, победе. Он стряхнул думу и приказал Ермилу:

– Сказывай о море.

– Сие море, ваше сиятельство, известно в древние времена как море Русское, еще в девятом и одиннадцатом столетиях его так арабы и персы именовали. А предки наши из Киевской Руси считались искусными мореходами и воинами. Здесь с греками не только воевали, но торговлю вели, рыбачили, о чем в древних договорах с Византией сказано: «Русы да не творят зла херсонитам (грекам то есть), ловящим рыбу в устьях Борисфена – Днепра».

Ермил держал в руках указку и протянул ее на карте вниз, южнее от Очакова.

– Вот сей остров, ныне называемый Тендрой, ранее звали Белобережье, а сей остров Березань – святого Елеферия. Восемь веков назад здесь, у древнего Борисфена, в устье было основано славянское поселенье, знаменитое Олешье, важный форпост Руси и первого нашего флота на сем море колыбель. Здесь, в Олешье, строили русы караваны легких и прочных судов и уходили с товарами на Дунай, в Царьград, Корсунь, Корчев (нынешняя Керчь). Отсюда ходили через Азов в Хвалынское, ныне Каспийское море, до персов. Сюда приходили за хлебом из италийских земель, из Генуи и Венеции. А у сего лимана, который запирается Очаковской крепостью, море и степь в один узел собираются. И кто им владеет, тот на Черном море и в Причерноморье хозяин. На-

ши предки сей лиман от слияния Буга и Днепра недаром Великим называли. Еще Аскольд и Дир, древние киевские князья, собрав войско и посадив его в Киеве на суда, спустились вниз по Днепру, вышли в Черное море и, к ужасу и изумлению греков, явились под Константинополь. Буря помогла грекам спасти город. Но не раз еще древние славяне, собирая до двухсот судов, спускались к греческим землям. Олег уже в 907 году собрал две тысячи судов и достиг Босфора. Вход в Босфор был загражден цепью, но это не остановило смелого князя. Он вытащил свои суда на берег, поставил на колеса, поднял паруса и, благоприятствуемый попутным ветром, пошел в обход цепи, к стенам Царьграда, как звали русские Константинополь. Греки предложили мир, и в знак примирения Олег прибил щит на воротах града.

В 935 году русские суда ходили с греческим флотом в Италию. Потом все снова перемежалось войнами и миром. Князь Игорь спускался по Днепру, подходил к Босфору и Боспору Киммерийскому. Число его судов доходило, может, и до 10 тысяч. Преемник его Святослав сделал шестой поход русских в Черное море и даже в Преславле на Дунае свою столицу обосновать хотел, как середину его государства! Воцарившийся в то время в Греции император Иоанн Цимисхий выступил против Святослава и окружил его в крепости Доростол. После двухмесячной осады Святослав решил: пробиться силою или погибнуть сражаясь. При этом он сказал малочисленной своей дружине те замечательные слова,

кои, вот уже восемь веков передаваясь из одного поколения к другому, сделались драгоценным достоянием нашей истории, словами, переданными древней летописью: «Не посрамям земли русских, но ляжем костями, мертвые бо срама не имут». Жестокое сражение завершилось миром. Русские обязались не воевать с Восточной империей и не входить в Болгарию, а Цимисхий, пропуская их к себе в Киев, обещал всех русских, которые будут приезжать в Царьград для торговли, считать друзьями.

На Днепровских порогах печенеги напали на истомленную голодом дружину Святослава, и здесь, на Днепре, он и погиб.

Ермил опустил указку и, постукивая ею по столу, как бы привлекая увлекшегося блеском бриллианта князя, продолжил:

– Сей великий муж хотел соединить в одно целое великий род Славян, и тогда бы они ныне не страдали под пятой турок и немцев.

После смерти Святослава русские не ходили в морские походы десятки лет. В 988 году великий князь Владимир Святославович пошел с войском на судах из Киева к Корсуню, или Греческому Херсонесу, к богатому торговому городу в южной части Тавриды, недалеко от бухты Ахтияр, где наш флот ныне стоит. Перекопав водоводы, овладел Корсунем, затем отправил послов к императорам византийским Василию и Константину, требуя руки их сестры Анны. Императо-

ры недолго сопротивлялись, а Владимир к ногам Анны сложил свое язычество, и в стенах Херсонеса, в церкви святого Василия, совершилось это великое для Руси событие. Так что Таврия – сия древняя земля была колыбелью российского христианства. И тогда же возвратился Владимир на судах в Киев и крестил народ свой. Союз с греками укрепился, и русские корабли плавали через Босфор и Дарданеллы в Архипелаг до острова Лемноса. Хотя были еще и другие походы, где обе стороны немало истребили друг друга и кораблей... Зато развивалась и торговля. Знание шло и просвещение греческое. Русские суда приходили в Константинополь для торговли из Новгорода, Смоленска, Любеча, Чернигова, Вышгорода, кривичи и лужане рубили однодеревные суда и по вскрытии Днепра приводили их в Киев. В апреле месяце весь русский флот собирался у Витичева, пятьдесят верст ниже Киева, а оттуда шел до порогов, коих раньше было меньше. У первого порога, Ессупи, чрезвычайно узкого и весьма опасного, по причине сильного падения воды часть русских выходила из судов, отыскивала босыми ногами на дне те места, где меньше находилось камней. Оставшиеся в судах брались за шесты и, упираясь ими со всех сторон, следовали по направлению, указываемому передовыми вожатыми. По переправе все садились в суда и следовали далее. Так преодолевали пороги Островун и Ульвари, Гелондры и у самого большого – Неясытя, названного от гнездившихся на нем птиц – пеликанов, или неясытей, предстояли наиболь-

шие труды и опасности. Тут часть русских выходила на берег в виде охранного войска от печенегов, а другая выгружала товары и отдавала их нести скованным невольникам. Опо-роженные суда посуху волокли или несли на плечах тысячи шагов и спускали в воду. А вслед за ним были еще пятый и шестой пороги – Баруфорс, или Вулнипрох, и Леанти и Ватури, и заключительный, наименьший, Ополный.

Русские суда доплывали до Карийского перевоза, где обыкновенно переезжали через Днепр корсунские купцы, возвращавшиеся в Русь, и печенеги, ехавшие в Корсунь. Перевоз этот, находившийся за мысом Кичкасом, был небезопасный от печенегов. И поэтому русские, приближаясь к нему, изготовлялись на всякий случай к бою. Так плыли они до острова Святого Георгия (нынешней Хортицы) и далее до острова Святого Айферия, или Ельферия (нынешней Березани), лежащего за Днепровским лиманом, несколько далее того места, где ныне стоит Очаков. На Хортице и других островах русские останавливались для приношения жертв, бросали жребии, гадали, а у Березани уже в открытом море чинили и оснащали свои суда. На это они не решались ни в Днепре, ни в разливе его дельты, или лимане, из опасения печенегов. Окончив работы, они шли вдоль берега до Дуная, болгарских рек и первого греческого города Мессемврия, и до самого Дуная сопровождалась дикими печенегами.

И такая торговля была столь выгодна для наших предков и столь сильно процветала на этом море, что оно долго было

называемо Русским, подобно тому как Балтийское от разъезжавших по нему варягов называлось Варяжским. Корабли русов были прочны. Кстати, до сего времени неясно, происходит ли сие название от греческого карабия, карабос или от русского слова «кора», «короб».

Ибо еще и у Аскольда, Олега, Игоря сплетались корабли из ветвей и обшивались кожей. Но позднее они делались из нарубленного леса, их подводная часть выдалбливалась из одного дерева, а потом уже набиралась из досок. Это и нынче делают на Волге, и запорожцы на Днестре. Греки называли приезжавших в Черное море русских по виду их судов «дромиты», а это происходит от слова «дромон», означавшего продолговатую ладью, какие и нынче у запорожцев были. В пятнадцатом веке на Волге, да и сейчас на Днестре и Буге, берега были покрыты лесами, в которых росли липы такого объема, что, по словам путешественников-очевидцев, из одного дерева можно было выдолбить лодку для помещения восьми или десяти человек. Так что однодеревные были и в прямом смысле. Ладьи, набойные лодки, струги и челны были открытые, без палуб, а изобрели крытые суда при великом князе Изъяславе Мстиславовиче. В 1151 году при нападении на Киев князя Андрея Боголюбского он на ладьях сделал палубы, которые скрывали под собой гребцов и были помостом для вооруженных воинов, бросавших в неприятеля стрелы. Суда эти, удивлявшие и современников, имели по большому веслу у кормы и у носа так, что могли двигаться

вперед и назад не поворачиваясь.

С татарским нашествием известия о торговле и тесно связанных с нею плаваньях русских на Черном море совсем исчезают. Татары приходят в Крым. Турки занимают Константинополь. И даже когда пало ордынское иго на Руси, продолжали свирепствовать на ее южных границах турки и крымчаки. Грабили города, палили села, уводили в полон русских, малороссиян, ляхов, волохов да всех, кто попадал под копыта сим разбойникам. Оттесненная ляхами, литовцами и татарами, Русь до сего времени со времен стародавних лишь один поход морской совершила, когда крымский хан Девлет Гирей в 1558 году Москву пожечь собирался. Царь Иван князю Вишневецкому и окольникъему Адашеву приказал наказывать хана.

Адашев же с тысячами детей боярских, казаков и стрельцов построил на Днепре близ Кременчуга суда, поплыл в устье, где взял два турецких корабля. Один у Очакова, другой у Кинбурнской косы. Затем высадился он на косе Джарыглач и две недели делал поход по Крыму, освобождая пленных христиан, забирая стада и награбленную татарами добычу. Он беспрепятственно возвратился в Днепр, остановившись на острове Березань. Через пятьсот лет после похода Владимира Ярославовича к Царьграду это был первый поиск русских на Черном, некогда Русском море, поход, увенчанный успехом и наказанием грабителей. Но более двух веков еще будут страдать на его берегах подневольные народы, бу-

дет литься христианская кровь, будет торжествовать захватчик и разбойник!

Ермил перевел дух, огляделся. Сегодня светлейший иностранцев не приглашал. В палатке сидело несколько высших офицеров из свиты князя, его денщик и запорожский сотник со старым казаком Щербанем, перекинувшим кобзу через плечо и внимательно слушающим Глебова. Тот взглянул на запорожцев и продолжил:

– Уже освободилась Русь от ордынского ига, а Украину непрерывно терзали крымские набеги. 1516, 1537, 1575, 1589, 1593, 1640, 1666, 1667, 1671-й – в эти годы совершались страшные набеги. Каждый раз забирали в плен крымчаки пять, восемь, десять, пятнадцать и даже пятьдесят тысяч невольников-славян. Пленные давали богатство владельцу и десять копеек в ханскую казну. У каждого крымчака было по несколько пленников, которых употребляли для залога, подарков, обмена. Все восточные рынки снабжались из христиан. Особенно усилились набеги, когда Крым попал под влияние Оттоманской Порты. Пленных продавали в Бахчисарае и Гезлеве. До тридцати тысяч невольников в год продавалось в Кафе. Этот город был ненасытным и незаконным торжищем. Пленников отсюда везли в Грецию, Египет, Палестину, Сирию, Анатолию. Русских продавали дешевле. Они были ненадежны: часто бежали. Разводили их по рудникам, каменоломням и галерам. На галеры, или, как их называли здесь, каторги, садили только русских и казаков. Пять-шесть

гребцов держали одно весло. Их хлестал злой надсмотрщик, омывали волны, но они не могли встать со своего места, прикованные к нему до смерти. Ни сна, ни отдыха, вечная гребля и смерть. Отселе каторга ныне звучит как самое изнурительное и безвыходное наказание. Сотни славян, как писал французский путешественник, побывавший в Марокко, убивали для забавы.

Потемкин, слушавший до этого не перебивая, потемнел лицом, стукнул кулаком по столу: «До каких пор!» Бриллианты отлетели в сторону, денщик кинулся поднимать их и тихо положил на стол.

– А ты что скажешь, казак? – повернул свое око к Щербаню Потемкин.

– А то молвлю, ясновельможный пан Грыцько, что пороги те по-нашему не так назывались. А Кодацкий и Сурский, Лоханский, Звонецкий, Княжин, Ненасытец или Дедпорог Вольнинский, Будиловский, Тавложанский, Литний и Останний Вольный. А здесь у Голты до Ингула пролегал старый Чумацкий шлях в Крым. У Станислава переправу держали раньше турки да татары. Но потом запорожцы его опановали и уже не упускали из своих рук.

Но то была и жестокая переправа. Раньше шли по ней со скрученными руками наши деды и прадеды. Вели тысячи полонянок. То был «белый ясыр». В белых платках шли на продажу невесты и жены украинских селян, матери казаков. Мой дед бежал из неволи и рассказывал, как вели их,

связав сыромятными ремнями, в полон. Под руки продевали деревянные шесты, на шеях были веревки, концы которых держали в руках конные хозяева. Дед казал, как окружили всех полоненных цепью и хлестали нагаями и бичами и гнали по нашей сухой, черной, выжженной степи. Тут же убили его ослабевшего от раны брата. Таких всех, кто был без сил, убивали. Гнали их почти бегом, и за Кызыкерманом у реки Конских Вод, в урочище Кара-мечеть, поделили бандюги ясыр между собой. Но перед этим всем им поставили каленую железную печатку. Кричали жинки, на виду женихов и мужей насильовали их. Тут мабуть и родилась ця сумна писня. – Щербань тихо тронул струну:

Под явором зелененьким
С татариним молоденьким...

А потом гнали их в Кафу, других в Кинбурн и Очаков.

Вы не поверите, паны, що з ними робили. На площади их ставили друг за другом. Потом подходил покупатель, осматривал зубы, руки, ноги, чтобы не было рубцов, бородавок, шишек. Девушек и мальчиков кормили и, набелив, нарумянив, продавали для султанских гаремов. Других мальчиков туречили, то есть обрезали, обучали языку и обращали в мусульманскую веру. Из них и робыли самых злых наших ворогив – янычар. Старых продавали на десяток для развлечения молодым шыбеникам. Те учились на них стрелять, уби-

вали их камнями, вырывая якирцами икры, подрезали подколенки, заживо бросая в море.

Диду поставили тавро на лбу и продали в каменоломни, где робыв вин с утра и до поздней ночи. На ночь его с другими опускали на веревочной лестнице в темный колодец. Кормили редко мясом дохлых животных с червями. Рубаха была и кафтаном, и постелью, и штанами. Дед веру не оставил, но видел уже и знал, что если они клянут господа бога – молчи. А если сдумаешь вслух своего бога возблагодарить, то сразу же обрежут. А если против их бога противное что скажешь, то немедленно изрубят. Дед убил надсмотрщика и бежал... Бежал он ночами по всей Туреччине, скрываясь от пастухов, военных отрядов и людей. Тащил он с собой топор и веревки. Тяжко было ему, схудав до костей, но знал, что будет море. И когда вышел к его волнам, заплакал. Заплакал и зажурився. Далеко еще. Но высушив слезы витер з Украины. Срубил он плот, затянул его веревкой, сделал из рубахи парус. Звездной ночью оттолкнулся он от проклятого берега. И бог ему помог. Плыл на попутном ветре, не умер – попалась рыбка чилик. И через пять дней доплыл до степи. Но и тут таился, пока не дошел до Буга, где у меня был зимовник, та погубили все бусурманы.

Грустно стало в палатке. Снял Щербань с плеча выдуманную богом и святыми людьми кобзу и, вроде бы и не было никого рядом, затянул с тугой, доверяя только ей думу.

Зажурилась Украина, що ниде прожиты,
Вытоптали орда киньми маленькие диты,
Ой маленьких вытоптала, великих забрала,
Назад руки постягала, пид хана погнала...

Все слушали, не перебивали простую речь казака: «Не оскорбил ли чем князя?» Но Потемкин приблизил к себе запорожцев не даром. Переименовал, правда, их, чтобы не вызывать возбуждения царского двора, в бугских и черноморских казаков. Знал, что то были верные и добрые воины, и слушал он их песни, присказки, думы всегда с интересом и вниманием.

– Спасибо, казаче. А ты про море закончи!

– А я скажу, светлейший, с поры татарского нашествия русское мореплавание стало уменьшаться и перекатилось на север в Новгород, на Балтику, в Белоозеро, в Мурманское море (мурманы – так норвегов там называли), в Белое и Студеное моря. И было оно стеснено. После уничтожения ига ордынского Россия как монархия становилась могущественной державой, но в сравнении с обширностью ее пределов и средств она была бедна мореходством и несравненно беднее, нежели в первые века своего существования. Лишь после покорения Казани и Астрахани Россия получила выход в Каспийское море. Но устья Днепра и Дона сторожились крепостями турков. Азов и Очаков находились под властью султанов, и стал недоступным проход для русских судов в Черное и Азовское моря. Но особенно страшно то, что здесь, на

этих землях, страдали, исходили кровью наши братья, Малороссии сыны и другие славяне.

Ведомо, что Петр Великий впервые увидел море в 1693 году. Ступив на палубу настоящего морского корабля, он заболел мореходством, а морская стихия уже не отпускала его сердце и разум. После второго путешествия по Белому морю Петра никто не мог остановить. Он решил приступить к построению русского флота.

В России тогда было два морских берега: Беломорский и Каспийский. Понятно, что Петр устремился к Белому, ибо оттуда можно было плыть в Англию, Голландию и другие державы. В Москве не все это понимали...

Потемкин приподнял голову и, зыркнув одним глазом вдаль, буркнул:

– А для чего понимать? Лучше зады греть да девок щупать... Продолжай.

Ермила кивнул:

– Петр не мог посягать тогда и на Балтику. Там была первостатейная морская и военная держава. А первый поход на Азов показал, что надо строить флот военный. Петр написал в октябре 1696 года Боярской думе, что «воевать морем зело близко есть и удобно многократ паче нежели сухим путем». 20 октября Боярская дума приняла «статьи удобные», которые начинались словами: «Морским судам быть». И сию дату можно считать началом, от которого сей большой и боевой флот пошел строиться. А уж Петр ни денег, ни сил для

флота не жалел.

На верфях в Преображенском, Воронеже, Козлове, Добром и Сокольском закипела работа, строили галеры и струги. Выстроенные в Преображенском галеры перевозились в Воронеж в разобранном виде и здесь собирались и отправлялись к устью Дона. Весною года 1696-го в Воронеже были спущены на воду два корабля, двадцать три галеры, четыре брандера, много стругов. Гребцы были вольные, были и каторжные. Флот принес викторию. Надо было утвердиться на всем Азовском море. А для этого следовало создать на нем флот и построить гавань, ибо говорил Петр I: «Гавань – это начало и конец флота, без нее, есть ли флот или нет его, все равно».

Двадцать седьмого июля, после взятия Азова, Петр стал на лодках объезжать побережье. Как гласит легенда, на одном из мысов, или, как их здесь называли, рогов, вечером горели костры, то пастухи на таганах варили пищу. И здесь, на Таганьем Рогу, и решили соорудить гавань для первого в России регулярного военно-морского флота.

12 сентября 1698 года Пушкарский приказ постановил: «Пристани морского каравана судам по осмотру и чертежу, каков прислан за рукою итальянской земли капитана Матвея Симунта, быть у Таганрога... а для бережения той пристани на берегу сделать шанец, чтоб в том шанце ратным людям зимовать было можно». Так возник Троецк на Таган-Роге, будущий Таганрог.

Блестящая виктория над Швецией одержана была после многих поражений благодаря созданному русскому флоту, шведы до Полтавы на Неве, Ладоге в море бежали от русских. Однако же в Европе сие отклика не вызвало. Все помнили Нарву. Одни англичане опасаться стали, и их посол просил отозвать корабельных мастеров.

После двадцать седьмого июня 1709 года, после блестящей Полтавской битвы, все державы европейские проснулись от спячки и вдруг узрели на востоке Европы великое государство с первоклассным флотом, который свою мощь подтвердил в победах у Гангута, в Каспийском походе и в действиях на дальневосточных морях.

Прутский поход Петра закончился неудачей. Цена была заплачена дорогая. Пришлось отказаться от Азова, отступить от Крыма. А планы были обширные. Уже тогда французский посол Лави говорил о чрезвычайной выгоде торговли через Черное и Средиземное моря, ибо англичане и голландцы всю торговлю из Архангельска захватили в свои руки и товары переправляли в Марсель втридорога. Но сию миссию осуществить в начале века не удалось.

Усилия Петра I и позднее полководца Миниха нам возвращали Азов и Очаков, но по враждебной фортуне они снова переходили под руку султанов. И вам, ваше высочество, надлежит сию миссию истории вновь взять на себя, народы славянские от уничтожения спасти, а к ногам императрицы сей ключ от моря русского положить...

...Может, не так и не то говорили ученый муж и простой казак, но тогда ветер с теплого южного моря уносил вдаль на север слова, растворял их в протяжной песне русских солдат и бугских казаков, а серая черноморская волна окутывала их брызгами и тащила за собой, уходя от берега в ночную тьму.

ОЧАКОВСКАЯ ЗИМА

Огонь, в волнах неугасимый.
Очаковские стены жрет.
Пред ними росс непобедимый
И в мраз зелены лавры жнет;
Седые бури презирает.
На льды, на рвы, на гром летит.
В водах и в пламе помышляет:
Или умрет, иль победит.

Гавриил Державин

Березань высилась над Лиманом. Пушки этой небольшой крепости на острове доставали до Кинбурнской косы и не давали ни выйти в море русским галерам, ни высадиться егерям у стен Очакова.

Если Очаков – ключ к дверям в Черное море, то Березань – защелка от этих дверей.

Много лет укрепляли ее османы. Возвели крепостные стены, вырыли глубокие ямы, заполнив их водой из колодцев Очакова. Пленные невольники вырубали в каменистой почве пороховые и провиантские склады, на крепостные укрепления вытащили пушки. И ошетинился неприступно остров в сторону Буга и Кинбурна.

Несколько раз пытались после разгрома янычар на Кин-

бурнской косе овладеть Березанью русские моряки и солдаты, и все безуспешно.

Потемкин выходил из себя, свирепел, когда говорили о зорких наблюдателях Березани, о невозможности взятия «сией ничтожной фортеции». Свирепел и понимал, что, не возьми он Березань, Очаков тоже не сдастся.

Заладили дожди, говорят, будет холодная зима. Не превратится ли он, светлейший, тут, под Очаковым, в снежную бабу – посмешище для императорского двора? Настроение его ухудшалось, он малодушничал и даже плакал. Но дни шли. Дожди прекратились. Князь оживился, стал встречаться с окружающими. В его землянке снова затолпились иностранцы. Особенно любил предаваться утехам вместе с Потемкиным принц де Линь – австрийский представитель при главнокомандующем. Сын известного полководца, он немало поездил по Европе: был австрийским посланником в Париже, Петербурге. Коронованные особы ценили принца за остроумие, легкость характера, начитанность. Иосиф II давал ему важные поручения, Фридрих Прусский консультировался, а Екатерина взяла его с собой в знаменитую поездку по Новороссии. Но принца тянуло сюда, к этому «гордому сатрапу Востока». Он испросил назначения быть комиссаром при осаде Очакова и делал «всяческие наблюдения» за поведением князя.

Поклонившись при входе в землянку, принц внимательно посмотрел на светлейшего и, выразив на лице участие, спро-

сил:

– Почему вы так грустны, князь?

– А то, батюшка, грустно, когда бог бьет, а не турки.

Принц решил похвалить Потемкина, вызвать на откровенность.

– Вы, князь, на моих глазах исполнили десятки дел, подписали ордера, отдали распоряжения, отчитали виновных. Простите за откровенность, я вижу главнокомандующего армией, ленивого по наружности, однако трудящегося беспрестанно. Этим вы отличаетесь от многих русских командиров. Но мне кажется, что вы недолюбливаете иностранцев... Многих офицеров иноземных попросили оставить службу.

Князь настроился на разговор не сразу. Он, по обыкновению, раскладывал на бархате драгоценные камни разными фигурами, любуясь их игрою и блеском. Затем внимательно посмотрел на парик принца и не спеша ответил:

– Верными чести и делу иностранцами дорожу. Не люблю вредных щеголей и педантов на службе военной. Им кажется, что регулярство состоит в косах, шляпах, клапанах, обшлагах, в ружейных приемах. Занимая себя и солдат такую дрянью, они не знают самых великих вещей. Завиваться, пудриться, иметь косы – солдатское ли сие дело? У солдат камердинеров нет. Туалет солдатский должен быть таков, что встал – и готов!

– Вы правы, князь. Солдаты от ваших изменений много облегчений получили. Хотя вы заставляете быть все время

начеку свое войско. Правда, сегодня я видел в лагере марки-танток и бочки с вином, молдавских скрипачей и малорос-сийских кобзарей. Не решили ли вы дать отдых солдатам?

Потемкин лениво потянулся, поежился – принца прини-мал в одной рубашке, но в дорогах, вышитых золотом туф-лях и медленно, в надежде, что принц запомнит и запишет, ответил:

– Чтобы человек был совершенно способен к своему на-значению, потребно ему столько же веселия, сколько и пи-щи. И тут наипаче надлежит помышлять о солдатах, кои без того часто подвержены великим трудам и отягощениям, тра-тят бодрость и силы сердца. Унылое же войско не токмо бы-вает неспособно к трудным предприятиям, но и легко под-вергается разным болезням.

Землянка Потемкина могла показаться в эти дни мирной обителью, где князь предавался утехам и беседовал с муза-ми, сочинял мадригалы дамам и переводил церковную исто-рию аббата Флери. Могла бы, если бы не ежедневные рапор-ты о болезнях, голоде и смерти в русских полках. А князь не спешил на штурм, утверждая, что он бережет солдат. И тут ударили жестокие, невиданные в здешних местах моро-зы, закружили вьюги, задули буранные ветры. Еще сотню лет будут называть потом на Украине суровые морозы «очаков-скими». «Русские принесли с собой жестокую зиму», – со-крушались в терпевшем такой же урон очаковском гарнизо-не турки. Но у них-то хоть стены сдерживали ветер, а здесь, в

степи, с севера и востока от крепости, укрыться было негде. Камыш срезали и пожгли за несколько дней. В палатках и шалашах стали рыть норы. Холодно, голодно, неудобно.

Солдаты зароптали: «Пошто ждем? Умрем от хвори и мразу. Надобно бы Суворова призвать, как в Кинбурне. Очаков давно взяли бы».

Потемкин мрачнел, сердился, молчал целыми днями. Знал за собой вот эту робость перед окончательным решением. Сам он смерти не боялся, был смел и храбр, составляя планы, но когда надобно было их исполнять, то волновался до крайней степени, решение откладывал, не мог ни на что решиться. Вот только что сбили артиллерией бастионы крепостные на левом фланге. Но он все не давал приказ к штурму, не решался. Да и нельзя было: Березань отсекла бы все попытки ворваться со стороны моря, сторожила залив, из Гаджибея постоянно подвозили припасы, а французы продолжали укреплять крепость, устанавливали мины.

Но вот неспешные старания князя все же привели к тому, что выкупили планы очаковские у Франции, а главного инженера-фортификатора Лафита, по просьбе французского посланника в Петербурге Сегюра, отозвали. Ушел от Березани и флот, по данным греков, на зимние стоянки.

Однако Потемкин приказа на штурм не давал. Сидел в палатке снова один – думал. Услышав осенним вечером звук украинской кобзы, князь встрепенулся и крикнул адъютанту Попову, находящемуся за стенкой:

– Что же мы с тобой раньше думали? Зови ко мне Харитона Чепигу и Антона Головатого!

Тех нашли не сразу, зато успели накрыть стол, поставить французские вина, водку, закуски, положить фрукты и печенье. Но вот и они – эти славные запорожские рыцари! Да не запорожские ныне они, а просто «верные казаки». Сие вкрадчивое название дал им Потемкин, ходатайствуя перед царским двором о восстановлении боевых отрядов запорожцев. Знал, что после Пугачева к казакам недоверие, сам боялся запорожского буйства и вольнодумия. Но тут, перед лицом османов, понимал, что казаки – самые опытные воины, знают в степи каждую балочку, у моря каждую бухточку, у Очакова каждый холмик. Разрешил собрать кошевому атаману Белому войско «верных казаков». А те, натерпевшись мытарств, пострадавшие и нагоревавшиеся, задвинули подальше свою обиду, осудили тех, кто ушел за Дунай к туркам, – снова стали под боевые знамена против старых врагов. Особенно старался помочь Потемкину в создании нового войска Антон Головатый, войсковой судья. Хитрый из хитрых, умный из умных, получивший свое прозвище от казаков не случайно. Не жалел он ни зарытого про запас золота для петербургских вельмож, ни клятвенных заверений в верности для самой Екатерины. Много сделал Антон Головатый, чтобы «вытащить из подозрения» запорожцев, дать им в руки зброю и вновь показать, как полезны и славны они для народа православного.

И вот сегодня позвал Потемкин Головатого и избранного недавно, после смерти Белого, кошевого атамана Харитона Чепигу для серьезного и важного разговора. Те вошли, крепкие, широкие, и просторная зала изысканной землянки сразу превратилась в маленькую комнатешку. Князь обнял казаков и сразу, не спрашивая ни о чем, не дав излиться в словах преданности и признательности, сказал:

– Ежели не перережем снабжения продовольственного, что из Гаджибея поступает, и не возьмем Березань – отступить придется на зимние квартиры. И Гассан-паша с вашими собратьями-изменниками, считай, победу одержит...

Потемкин подошел к столу, налил по бокалу французского вина, придвинул его к запорожцам и закончил:

– Так вот. Можете вы взять со своими запорожцами Березань, что обстреливает наши приступы, и пожечь склады и магазины в Гаджибее?..

В землянке стало тихо. Запорожцы переглянулись. Головатый потрогал усы и задумчиво произнес:

– Це дило треба разжуваты...

Чепига согласно кивнул. Потемкин, который ждал немедленного ответа, рассердился. Ему хотелось, чтобы «верные» ему казаки не задумываясь дали ответ. Но знал и их нрав – приказом тут не решишь. Скажут нельзя, и не заставишь. Не скрыв неудовольствия, буркнул:

– Ну идите разжуйте. И приходите с ответом. Да вот и стол вас ждет.

Атаман и судья немного потоптались, посмотрели на налитые чарки и с достоинством вышли из землянки.

Потемкин подошел к столу, взял хрустальный стакан и, медленно поцеживая вино, с тревогой думал о запорожцах. После пугачевского бунта в запорожских казаках видел он на Украине очаг беспокойства и опасности для его многочисленных имений и крепостных. Именно он послал генерал-поручика Петра Текелли, бывшего австрийского подданного, разрушить Сечь. Но он же и понимал, что сейчас в войне без запорожцев ему будет туго... Знал он, что тайный советник при Екатерине Безбородко распространял везде слух об опасной «страсти князя к казакам»...

Адъютант перебил его мысли:

– Уважаемые господа казаки вас спрашивают.

С нетерпением князь встретил их, повел к столу, проворчал: «Вот тут и пожем». Ждал слова от кошевого атамана, но Чепига, хоть и старший в войске, был более сдержанный и скромный воин. В княжеских покоях он испытывал неловкость, молчал, а Головатый не смущался, подмигнул князю и, поискав глазами крепкий напиток, взял чарку водки. Перед тем как выплеснуть ее себе в рот, склонившись к князю, негромко сказал:

– Ну шо ж, ваша светлость, пожалуй, возьмем... – И, уже вытирая усы, смоченные в бокале, простенько спросил: – А чи будет крест за то?

– Будет! Будет! – повеселел Потемкин. – Вы только возь-

мите.

Турецкий часовой на березанской батарее посмотрел в предутренний туман, повернул ухо к Кинбурнской косе. Тихо и спокойно. На высокой выступающей из воды орудийной башне было холодно. Часовой засунул руки в рукава, наклонил голову, дохнул внутрь халата и, когда распрямился, замер от ужаса: прямо на него, перешагивая через зубья башни, двигался запорожский казак...

Из холодной морской измороси вынырнули перед березанской батареей казачьи «дубы». Двое казаков стали на корме, еще один вскочил на плечи, а третий, засунув за пояс пистолет и веревку, кошкой прополз по спинам товарищей и шагнул за крепостную стену... Турецкие бомбардиры едва успели сделать два выстрела, как были перебиты и связаны. А казаки повернули орудия на крепость и ударили по ней сверху. Снизу же из лодок палили маленькие пушчонки и мушкеты. Несколько янычар повисло в проемах крепости, остальные прятались за стенами, по которым взбирались казаки. К острову спешили русские канонерки, разворачивались вблизи фрегаты...

Келледжи-Осман, двухбунчужный комендант Березанской крепости, запросил пощады. Потемкин не торговался, пообещал сдавшимся свободу и, выпроводив «депутатов» паши, стал ждать окончательного ответа. Прислушался, идет ли бой. Но слышны лишь были завывание ветра да какой-то

гвалт возле землянки.

– Узнай, кто там! – крикнул он адъютанту.

Тот, вернувшись через мгновение, сообщил, что его хочет видеть «с важной вестью» оборванный и грязный казак.

– Не подослан ли из Очакова, ваша светлость?

– Пусти, – велел князь.

В землянку, сдерживаемый солдатами, ворвался потный, грязный и окровавленный казак. То был Щербань, светлейший даже не узнал его. Рубаха на старике висела клочьями, на лице запеклась кровь, одна рука была на перевязи, седой его оселедец весь был замазан глиной и землей. Казак приложил здоровую руку к сердцу и, поклонившись, громко крикнул:

– Узялы!

– Что такое? – не понял князь.

– Та узялы Березань!

Вестнику победы полагалась награда, но как такого наградить? Потемкин с досадой сказал:

– Что же такого ко мне прислали? Что, лучше тебя не было там?

Казак недобро зыркнул, потом ехидно прищурился и не задумываясь ответил:

– Та булы, мабуть, и лепши за мэнэ, та тых к лепшим послали, а меня, ледащего, до твоей милости, пан Грыцько Нечоса.

Потемкин уловил злое остроумие, не обиделся – вестник

победы все-таки, и велел подать чарку водки да вручить серебряный рубль казаку.

Подоспел и Головатый. Лихо бросил ключи от крепости к ногам светлейшего и запел громким голосом:

– Кресту твоему поклоняемся, владыко!

– Получишь! Получишь! – захохотал князь и обнял судью.

День кончился совсем хорошо. Прискакал гонец от Чепиги и доложил, что провиантские магазины с мукой, пшеном и овсом под Гаджибеем запорожцами сожжены. Казалось, судьба Очакова была решена.

Но еще месяц держался город. Еще месяц надеялся Потемкин, что сдастся истощенный гарнизон. Долго вглядывался в мрачно возвышающуюся над крепостью неприступную Гасан-башню. Правда, на ней реже появлялся его соперник – паша.

– Доколе будет безумствовать? Доколе? – обращался Потемкин к Попову.

Василий Степанович молча собирал разбросанные по землянке клочки бумаги, рассматривал их на свет: князь имел привычку – ночью или за игрой в карты – писать задания и мысли.

По землянке сыпануло снежной крупой. Доложили, что лед сковал весь лиман. Даже старые казаки не помнили, когда он замерзал полностью.

Светлейший князь решился! Штурм назначил на 6 декабря – в день святого Николая, покровителя всех странников, путешественников и моряков. Знал, что в народе сего святого любили, считали почему-то не таким строгим и докучливым.

Потемкин накануне объехал войска, долго стоял под огнем турецких пушек. Вечером зачитали его приказ:

«Истоща все способы к преодолению упорства неприятельского и преклонению его к сдаче осажденной нами крепости, принужденным я себя нахожу употребить наконец последние меры. Я решился брать ее приступом.

...Ласкаюсь увидеть тут отличные опыты похвального рвения, с которым всякий воин устремится исполнять долг свой. Таковым подвигом распространяя славу оружия российского, учиним мы себя достойными сынами Отечества...»

По зачитании было объявлено, что город отдается, после взятия штурмом, на три дня в руки солдат. Кровожадная война и нравы века являли свое лицо в неприкрытости.

Ранним утром по зеленоватому льду, по снежным заносам, балкам и по незащищенному чистому полю неходко побежали к крепости солдаты. Первая колонна вышла еще до света, и вот слышен уже впереди лязг холодного оружия, хлопки выстрелов. Громкое «ура!» охватило со всех сторон крепость тяжелым обручем. Потемкин пришел на левую батарею, сел на лафет, повернул ухо к Очакову и, повторяя:

«Господи, помилуй! Господи, помилуй!», распоряжений не отдавал – все было уже в руках солдат и офицеров. А те без страха, в ожидании обещанного князем трофея, шли на штурм, желая быстрее закончить это невыносимое сидение под крепостью, под пулями и саблями противника. Судьба выбирала среди них тех, кто навечно останется лежать здесь, в холодных ветреных степях, а кто пойдет в новые походы, будет сражаться вместе с самим Суворовым, добывая себе раны и славу отечеству.

...Николай Парамонов бежал со всеми солдатами в первых рядах. Их, плотников, обозных ездовых, не обученных к стрельбе рекрутов, послали в атаку с лестницами, которые они должны при приближении к крепости поднять и помочь забраться по ним на окруженные клубами дыма стены солдатам и егерям. Сзади, выбивая дробь, сгрудившись вокруг знамени, быстрым шагом шли барабанщики и музыканты. Флейтисты, казалось, рассекали воздух своими звуками на две части. Та часть, которая осталась за ними, была спокойной, морозной и туманной, а другая, куда устремлялись по ветру их пронзительные звуки, наполнялась тревогой, горячим пороховым дымом, криками.

Здесь, с лимана, крепостные стены были, говорят, более доступны для штурма. Но говорят... а кто попробовал штурмовать отсюда, когда и лиман почти никогда не замерзал раньше?

Крепостные башни вспыхнули пушечными зарядами,

огоньками ружейных выстрелов. Пули до атакующих еще не долетали, но ядра падали под ноги, выбивая хрустальные ледяные фонтаны и проделывая бреши в рядах атакующих. Бреши тут же заполнялись наступающими из вторых рядов. И вот, когда должна была взмыть ракета – сигнал на общий штурм, из нижних прибрежных ворот крепости с шумом, гамом, криком и свистом вывалилась навстречу наступающим толпа янычар и конных всадников, «изменных казачков»... Сейчас все это сшибется, закружится в морозном вихре, окрасит кровью ледяное поле.

Пушки ударили последний раз, расчищая дорогу контратакующим очаковцам. Ядра сбились в одну кучу и раскаленными угольями врезались в лед. И тот вдруг треснул. Небольшая сначала щель расширилась, черной змеей разлома разделяя русских и турок. И вот уже неприятели, готовые нанести удар, поднявшие саблю, отводящие назад ружья для молниеносного штыкового удара, отдаляются друг от друга. Тех из них, кто впереди, беспомощно глядят на раскрывающуюся перед ними бездну. А кто напирает сзади, уже становятся опаснее врага, толкают первых в пучину. Передние сопротивляются, падают на колени, оборачиваются, хватают за шинели, халаты, жупаны своих товарищей и увлекают их вместе с собой в холодную морскую бездну. Лошади заскользили, пытаясь остановиться, всадники не успевали вынуть ноги из стремян и низвергались вместе с ними. Через минуты она наполнилась тонущими, молящими о спасенье

людьми, обезумевшими лошадьми, плавающими плюмажами, чалмами, шапками.

Последнее омовение в очаковской купели соединило «верных» и «неверных», тех, чьему войску суждено было победить, и тех, кто был обречен на поражение. Турок хватал запорожца за оселедец, солдат – за пояс халата очаковца, всадник – за шею лошадь – и все в этом смертельном объятии уходило под лед, на мягкое, илистое дно лимана.

Оставшиеся в живых попятились, отошли на несколько шагов от ледяной могилы. С ужасом глядели они на пустующую яму и только хрипко, прерывисто дышали. А флейтисты позади русских войск, еще не понимавшие, что случилось, продолжали бойко звать в атаку...

Османы повернули и молча побежали в крепость.

– Лестницы! Лестницы! – вдруг очнувшись, закричал секунд-майор Калентьев.

Никола понял его сразу и стал показывать своим оцепеневшим товарищам, что надо перебросить лестницу на ту сторону трещины... Лестница выгибалась, медленно поскрипывала, ползла над пучиной, но вот уткнулась в противоположный край и замерла. Зыбко, ненадежно. Никола подзвал солдата, чтобы он поддержал лестницу, и ступил на шаткие рейки, потом присел и пополз на четвереньках. Полз медленно, скользили и соскакивали выданные недавно легкие сапожки-ботины. Внизу злой темнотой ходила холодная волна. Когда до противоположной кромки льда осталось

несколько сажений, услышал бульканье под собой. Что-то темное вынырнуло рядом и захлюпало по воде. Никола хотел перекреститься, но руки сжимали лестницу, потому только выругался громко. Снизу прохрипело: «Та це наш солдат! Спасай, сынок, дида Щербаня!» Никола влез на лед, укрепил конец лестницы, а потом, сняв пояс, бросил его застывшему у льдины казаку. Подтянув немного, схватил старика за жупан и выволок на ледяную кромку. А мимо уже бежали переползшие по лестнице солдаты.

– Спасибо, сынку! Как звать-то?

Никола не ответил, скинул рубаху, запахнул на голой груди шинель:

– Нам сейчас жарко будет, а ты переоденься.

Солдаты уже перетаскивали от полыньи послужившие переправе лестницы, волокли их к стенам крепости. Никола подбежал к своим, тоже схватился одной рукой за лестницу и, обернувшись к казаку, крикнул:

– Плотник я, Никола! Никола Парамонов меня кличут!

Щербань посмотрел ему вслед и пробормотал:

– Ну так оцэ, мабуть, ты и е святой Мыкола. Все зробить можешь, з ворогом бьешься та людей спасаешь... – И, натянув рубашку, медленно потрусил к крепости.

Очаков пал.

ЗРЮ ГОРОД...

Степь. Глаз не задерживался ни на чем. Только в зыбком зное иногда извивался нагретый воздух да суслики, по-местному ховрашки, перебежали дорогу. Дорога-то, правда, не была пустынной. Группу выехавших из Херсона инженеров и офицеров то обгоняла карета какого-то озабоченного генерала в сопровождении казаков, то они сами обгоняли идущих ровным строем солдат, проносились мимо медленно ползущей колонны оборванных рекрутов. В стороне тащились телеги с ребятишками и бабами. На некоторых стояли большие неотесанные гробы. У дороги то здесь, то там стояли грубые, наспех сбитые кресты. Тяжело давалось освоение этих степей...

Сухо, знойко, жарко... Ах, как хотелось Сашеньке ощутить прохладу родной рощи, услышать шум дубравы, вспомнить молодость свою! Да и не Сашенька он ныне, а Александр Васильевич, и на висках, если не подкрасишь, седина пробивается. Юность далека... А город свой еще не построил, не воплотил замыслы ни свои, ни учителя своего Чевачинского. Хотя домов возвел немало, и портовые, и торговые здания строил, и даже крепостные сооружения. И в Таганроге, и в Херсоне, и в крепости святого Димитрия, и в родном Новгороде, и даже в Петербурге купцу Кожевникову спроектировал хоромину и пронаблюдал строительство, и в

Подмосковье усадьбу дворянскую... Теперь Александр ехал с надеждой все свои мечты, знания и опыт приложить здесь, на строительстве нового города, который замышлялось построить на месте слияния двух полноводных рек – Ингула и Буга. Как ни хотелось ему прохлады и тихого спокойствия, он готов был все променять на вознесенные ввысь, вышедшие из его мысли каменные творения.

– Это будет мой город, город моря, степей, город державной России и ее творцов...

Попутчики были разные: один молодой, словоохотливый офицер Ланцов, другой неторопливый и мрачноватый священнослужитель Карин.

Матвей Иванович Карин изыскивал и описывал в Новороссии древние христианские ценности на предмет восстановления и поклонения им. В беседах часто упоминал имя князя Щербатова, чувствовалось, разделял взгляды этого поклонника домостроевской старины. Порядки в государстве ему не нравились, говорил о повреждении нравов, о хамстве, о лихоимстве и мздоимстве, охвативших страну, а особенно новый край, где не пекутся о благочестии, смирении и еще быстрее, чем в Петербурге, разрушают вековые устои поведения.

– Грешно, отвоеывая наши земли у нехристей, христианские порядки там не устанавливать.

Козодоев, правда, не знал, что это за христианские порядки, потому поинтересовался, как священник относится к

строительству на юге. Карин ответил туманно:

– Воздвигнутое божеским разумением сему и служить должно.

Справа мелькнул и лег ровной лентой Буг. Остановились у большого колодца. На несколько минут, не отрываясь, поживаясь и кося глазом, припали к деревянным колодам, наполненным водой, кони. В стороне стояли, покорно пережидая очередь, волы, нагруженные мясом. Невдалеке шла перебранка солдат с рекрутами, стремившимися прорваться к колодцу. Унтер-офицер громким ругательством утихомирил толпу. И уже извиняюще-объясняющим тоном обратился он к офицерам:

– Водопой, господа... силы тут вроде на исходе. Не знают, что эллинг уже рядом.

И впрямь скоро впереди показались группы строений. Ребристые стены эллингов и выступающие на них плотины, длинные крыши мастерских связей, казармы, склады. Везде горы бревен, штабеля досок. Что-то бахало и ухало у берега, из парильных печей вырывались клубы пара, обдавая запахом сосны и дуба. Группа рассредоточилась, кто поехал прямо к эллингам, кто к знакомым офицерам, кто в комендантскую. Александра пригласил заночевать молодой офицер.

– Здесь, в Спасском урочище, на бывшем хуторе Фабра, под прикрытием военной команды подполковника Касперова спокойно и уютно. Австрийский купец построил уютное гнездышко, все в винограде, деревьях. Но татары его разо-

рили, и с тех пор все ушло в казну...

Словоохотливый попутчик рассказал, что еще в восемьдесят восьмом году генерал Кутузов сообщил Потемкину о том, что устье Ингула может привлечь российский флот и судостроителей. Сам Фалеев, известный в Новороссии хозяин и организатор, бывший кременчугский купец, которому светлейший князь безгранично доверял, был определен в строители новых эллингов. Фалеев поначалу был недоволен местом, но послушаться не решился. Год назад здесь инженер-подпоручик Иван Соколов произвел разбивку места под строительство эллинга. Да не одного, а двух, составил смету и рабочие чертежи. А сегодня, видите, сколько настроено!

Настроено-то было не так много, но чувствовалось, что еще год назад здесь шумели только камыши.

Утром Александр Васильевич поехал представляться Михаилу Леонтьевичу Фалееву, обер-штер-кригс-комиссару нового города Николаева. Тот принял его в доме, который отличался от прочих красотой отделки и основательностью. Денщик величественно, явно заимствовал у коллег светлейшего князя, указал на дверь. Александр четко зашел, приготовился представиться и в нерешительности остановился.

– Входи! Входи!

Одетый в турецкий халат, крепкий, с коротко постриженной головой, седеющий мужчина оторвался от толстой книги, внимательно посмотрел на него и махнул рукой с зажатой кистью, указывая на стоящее рядом кресло:

– Параду не держу. Входи без доклада. Знаю, прислан город делать, верфь возводить, порт строить. Садись, думать будем.

Не забыл спросить, чей родственник. Это было надо, чтобы не налететь сгоряча на сановитого или со связями. Такого лучше подальше от дела, поближе к наградам да почестям.

– Я дела делатель, – медленно втолковывал он Саше. – Архитектурой я утешаюсь и балуюсь, а украшение мое – строительство. Вот изучаю, что отсюда взять можно. Сообразно этой природе и предназначению южных городов. – Фалеев придвинул толстый том альбома, в котором были сделаны чертежи и рисунки лучших италийских зданий и храмов.

– А вы, Михаил Леонтьевич, – аккуратно присаживаясь, спросил Александр, – как видите этот город? Для какой надобности, кроме эллингов, строить здесь его будем?

Фалеев придвинул банку с огурцами, наклонил, отпил рассол.

– Ты кофей пей. А я вчера долго с французскими купцами торговался. Голова болит, – хитро зыркнул, – но кое-что выторговал. Турки-бестии все закрыли, не дают торговать. Вот уж погоним из Измаила – дело наладим. Светлейший задумал Екатеринослав второй столицей, а мы ему тут две жемчужины в ожерелье: Херсон и Николаев. Торговать будем, в южные моря ходить. Там товару много. К Италии будем ближе, Франции. Англия наше полотно, железо им втридорога продает. А сколько христиан под турками страдает? Ведь они

нашей помощи от истребления ждут.

Фалеев заволновался, встал, подошел к английскому глобусу, нашел Средиземное и Черное моря.

– Здесь зрю город, откуда Россия будет посылать корабли, – он стукнул ладонями по глобусу, – и сюда, и сюда. Город должен быть для строительства, торговли, военных дел приспособлен. Не забыть должно о науках и искусствах, а вперед всего о коммерции. – Последнее слово выделил голосом. Чувствовалось, этот род деятельности он ставил выше других. – Как думаешь, каменные все дома строить или какие из дерева? По образцу немцев или французов? Может, коих из турок привлечь, среди них мастеровитые есть. Вон их у меня несколько тысяч. А что из великих наших российских и малороссийских городов взять? Я начал город строить. Сейчас светлейший приглашает лучших и честолюбивых. Военного инженера Князева, архитектора Старова и тебя. Приступайте и планируйте красиво и на века. Сможете? А мы все сделаем. Тут все в моих руках, а эти руки, – он поднял вверх два жилистых кулака, – все могут.

Александру простота и равнодушие, взволнованность кригс-комиссара понравились. Он поинтересовался, как дела со строителями, работниками и мастерами. Что думает по поводу будущего города светлейший князь.

– Светлейший князь человек великой амбиции и беспокойных замыслов. Не знаю, что он еще задумал. Но я знаю, что край этот знатного будущего. А людей надо сюда. Идут

рекруты из Орловщины и Брянщины, Костромской и Ярославской губерний. Беженцев из Сербии и Черногории принимаем, немецкого колониста ждем, волохам и молдаванам дело даем, турок крещеных не обижаем. Но не хватает. За каждого рекрута платим четыреста рублей серебром, а помещики сбывают самых слабых или разбойных. Потемкин уже жаловался матушке о том, что они мрут большим числом, не доходя до места. Да и деньги кормовые воруют. Вот недавно поручика одного погнал под турецкие пули. Из Кременчуга шестьсот тридцать шесть рекрутов гнали по этапу, а сто девяносто девять умерло. Все кормовые деньги присвоил.

– А говорят, ваше превосходительство, у вас тут, в Новороссии, много беззакония и воровства.

Фалеев помрачнел, нахмурился. Глаза из серых стали зелеными, почему-то похожими на глаза ночного кота.

– У нас беззакония не больше, чем в других местах. Да, иные вельможные господа миллионы присваивают, а на нас, делающих дела, все сваливают. Известно: правители все святы, лишь исполнители лихие супостаты. Конечно, можно ничего не делать, пользы от тебя никакой, и денег не брать.

«А зачем и брать-то? – про себя подумал Саша. – Лучше разве от этого дела?»

– С деньгами-то себя свободней чувствуешь, – как бы отвечая на его мысли, продолжал Фалеев. – Свободнее в деле чувствуешь, боязни меньше и дела больше. – Брови его нахмурились, он на глазах превратился в неприступного чи-

новного командира.

Александр, желая загладить неприятный разговор, поинтересовался делами на верфи. Но Фалеев говорить уже не хотел.

– Давай, братец, располагайся подомовитей. Даю тебе помощников. Встречайся с Князевым – и с богом. – И он вяло махнул рукой, как бы выпроваживая Александра.

ЧУМА

Черные хлопья сажи и ленты дыма протянулись над городом. Тоскливый колокольный звон провожал души усопших солдат, рекрутов, первых жителей Николаева.

...Усталый заросший солдат подталкивал штыком в спину согнувшегося каторжанина. Тот упирался, не хотел заходить в землянку. Казалось, и мешковина на колоднике топорщилась, не желая опускаться туда, где пухли и синели покойники. А мертвецы были уже везде. Одни падали прямо на улице, другие успевали доползти до койки. Третьи шли к лекарю. По городу ползли слухи, что болезнь распустили или немцы, или турки, или евреи. Но им особенно не верили. Немцы и евреи сами болели, а пленные турки, принявшие и не принявшие христианство, почти все вымерли. Доктор Браун просил всех больных не бояться болезни, не злиться и больше пить теплой воды с петрушкой. А что это такое и где ее взять, петрушку-то эту? Смерть простерла свою руку над городом. Ни дикие атаки приземистых конников, ни яростный абордаж разбойных корсаров, ни прицельный огонь вражеских бомбардиров не уносили столько жертв, как эта злобная и неотвязчивая чума.

...Никола Парамонов лежал на соломе. Серая тряпка отделяла его половину, от семьи Семиных. Он не знал, есть ли кто там живой, – сил позвать не было.

Пахло кизяковым дымом, перегоревшими тряпками, кислыми щами, которых уже третью, а может и больше, неделю никто не варил...

Тогда он пришел с верфи и сразу почувствовал: нелады. Антонина не подымалась, слабо махнула рукой: «Хворь». Он тормозил ее, вливал в рот воду, брызгал, а она виновато улыбалась и шептала:

– Прости, Коленька! Ухожу! Ванятку и Мишеньку не забывай. Может, выживут.

Парнишки ревели, не давали подумать, что же делать. А делать уже ничего было и не надо. Антонина последний раз тихо улыбнулась, сказала: «Не поминай лихом» – и закрыла глаза. Никола завернул Антонину в рогожку и, тяжело ступая, повез на двухколесной тележке на кладбище. На кладбище было полно людей. В церкви службы почти не служились, иногда только шло отпевание богатых горожан. И святой отец, говорят, не уходил из-под открытого неба – непрерывно покойников отпевал перед храмом. Вот и тогда он тихо попросил положить всех усопших в ряд. Большинство было в рогожах. Недаром в городе говорили: «Сыграл в рогожу». Некоторые в полотняных мешках и только двое, чуть поосторонь, небольшой военный чин и купеческая жена, в гробах.

Старухи в черных платках перешептывались:

– За грехи! За грехи!

Высокий седой старик резко выкрикивал!

– Обычаи забыли! Девочек распустили! Лекарей завели!

Поп посмотрел на них строго, поднял руку и затащил поминальную...

С кладбища Никола пришел в каком-то полусне, бил жар. Дверь в землянке же поддавалась, и он, толкнув ее, упал вниз, не приходя в себя. Сколько времени лежал он так? Где сыны? Хотел позвать, но из горла вырвался хрип. В землянке было тихо. Кто-то потопал у двери, слегка приоткрыл, сплюнул и пробормотал в темноту:

– Нету никого.

Никола еще раз попытался что-то сказать, и опять только какое-то бульканье вырвалось изнутри. Дверь закрылась... Однако через минуту снова распахнулась, и ободранный лохматый каторжник, из-за спины которого торчал штык, сделал два шага в глубь землянки. Он негромко сопел, схватил за веревку, разделявшую две половины, и рванул ее с силой. Тряпица упала, слабый лучик света из оконца под крышей скользнул по Николаю. Каторжник увидел его и, сняв с плеча крюк на деревянной палке, ткнул возле плеча. На этот раз Никола застонал. Каторжник без удивления сказал:

– Живой, гляди-ка.

И, схватив за ноги, потащил по лестнице. Голова Николы билась о ступеньки, и солнце, которое появилось, вспыхнуло и исчезло в его глазах.

– К Самойловичу, к лекарю надо, – скомандовал солдат. – Подождем, когда подвода подъедет. А то я думал, тут уж ни-

кого нету. На той неделе двух малых ребят и деда увезли...

Николу, особо не беспокоясь о его шишках, бросили на телегу. Со всех концов города: с военной и рабочей слободки, из Богоявленского и Водопоя, со Спасского ехали телеги, возки, дрожки.

Все они двигались сначала в одном направлении, потом несколько повозок с больными, еще живыми, но потерявшими сознание, несмотря на запрет лекаря, поворачивали к госпиталю, а те, кто ехал в свой последний путь, притормаживали, замедляли ход, выстраиваясь в длинную вереницу узеньких кладбищенских ворот...

У госпиталя группа солдат и их женок бережно снимала больных, не стыдясь сраму, обдирала одежды, окатывала их холодной водой и клала на длинные серые полотна, накрывая сверху такими же.

Доктор и его помощники ходили вдоль рядов, смотрели хворых, вливали в рот какие-то горькие лекарства, отчего многих трясло и выворачивало. Другие обмазывали больных уксусом, прикладывали припарки. Сказывали, что главный доктор Самойлович не спит неделями. Днем и ночью горели у госпиталя костры, топилась сера, гасилась известь, кипели котлы, варилось белье, сжигалась одежда умерших, разводился уксус, обливали холодной водой. Отсюда уходили команды на уничтожение мышей и крыс, сжигание соломы, обходили землянки и дома, у которых ставили часовых, чтобы больные не общались.

Самойлович сказывал, что надо делать прививки против болезней. Но опыты ставить было некогда, надо было спасать, спасать, спасать.

...К вечеру поток больных несколько уменьшился, но не прекращался колокольный звон, провожая в дальний путь души усопших и напоминая живущим об опасности и испытаниях, которые их ждут. К утру и он стих. И тогда из оврагов Ингула белой лентой бинтов бесшумно потянулся туман, заглушив стоны и хрипы, затянув и перевязав светлыми повязками несчастный и больной город.

КАЗНА ПАШИ

Двадцатидвухлетний капудан-паша Гуссейн был недоволен. Он только что приступил к командованию Черноморским флотом, а ему уже присылают в помощь эту старую лису Саит-бея. Он, Гуссейн, знал, что Саит-бея всегда посылали с особыми поручениями. Неужели султан Селим III не простил ему первого неудачного столкновения с Ушак-пашой у Керченского пролива? Да, он тогда отступил, но увел с собой все поврежденные суда. И вот нынче, когда он привел их в порядок, наладил снасти, запасся порохом и снарядами, собираясь на решительную схватку, приезжает этот трехбунчужный паша. Он и капитан-бея-то, то есть полного адмирала по западным меркам, получил не за морские победы, а за выполнение каких-то особых поручений при прежнем султানে.

«Рано, рано разочаровываешься во мне, мой дорогой шурин Селим!» – мрачновато и со злобой к посланнику думал, разглядывая карту, капудан-паша. Он решил снова подойти к Керченскому проливу и оттуда, пользуясь августовскими ветрами, пойти на Ахтияр, где и уничтожить корабли Ушак-паши. Об этом и было объявлено на утреннем совете. Капитаны молчали – знали, что говорить преждевременно. Совет надо было закрывать, но свое слово не сказал еще Саит-бей, а он только вчера приехал из Константинополя. Гуссейн вы-

нужден был спросить его мнение о решении.

– С помощью аллаха и наших друзей, – медленно и рассудительно проскрипел Саит-бей, – мы узнали, что из Херсона через десять дней выходит несколько новых судов неверных. Надо уничтожить их, чтобы они не соединились с флотом Ушак-паши в Ахтияре, или, как называют, русские, Севастополе!

Капудан-паша сразу почувствовал, что старик прав, но чтобы не оставить за Саитом поле совета, громко сказал:

– Наш великий султан имеет тысячи глаз и ушей даже в стане врагов. Мы все обязаны ему, нашему повелителю, мудрыми решениями. Завтра берем курс на Днепровский лиман!

Когда все разошлись, Саит-бей тоном, не терпящим возражения, почти приказал Гуссейну:

– У Крыма задержимся на одну ночь. Возьмем груз.

Капудан-паша не выдержал и спросил:

– Какой еще груз?

Саит-бей пожевал губами, поправил чалму и терпеливо, как бы объясняя малому ребенку, ответил:

– Ценный.

Гуссейн обиделся. Его второй раз за сегодняшнее утро отшлепали, как мальчишку. Хорошо хоть, что сейчас не присутствуют капитаны. «Ладно, я покажу в бою, как надо сражаться во славу султана, а этот старикашка еще попросит помощи, он не знает еще мощи Ушак-паши. Его не спасут ни

тайные поручения, ни секретные грузы».

Несколько дней быстро и скрытно двигался турецкий флот к Кинбурнской косе, затем вечером сделал разворот строго на север и остановился вблизи берега. После полуночи к «Капитание», где поднял свой флаг Саит-бей, подплыло несколько шлюпок. Тяжелый груз из них принимало сразу несколько наемных матросов-абабов. Погрузились к рассвету и тут же подняли паруса. К вечеру вся эскадра заходила за небольшой остров Тендра и остановилась в виду небольшой крепости Гаджибей. Капудан Гуссейн нервничал – завтра надо совершить бросок к устью Днепра и там перехватить и уничтожить херсонские корабли, пока Ушак-паша сидит в своем Севастополе. Заснул поздно...

Гром пушек сбросил его с постели.

«О шайтан!» Из утреннего тумана на турецкую эскадру наплывали русские корабли. Ядра их пушек ломали мачты, разрывали паруса, крошили шлюпки, разбивали медную обшивку фрегатов.

Гуссейн сразу понял, что надо уходить. Ушак-паша сбивал своей артиллерией корабли турок в кучу, ломал их линию, подойдя близко, бил из всех пушек. К вечеру турецкая эскадра была растрепана и рассеяна. Еще один артиллерийский удар, и эскадра пойдет ко дну. Всевышний увел солнце за горизонт, и стремительно, как это бывает только на юге, наступила ночь. С рассветом началась погоня. Гуссейн хотя и чувствовал холодок на шее от встречи с султаном, не

без злорадства подумал: «Пусть этот старик, набивший трюмы, попробует уйти от русских. Я советовал ему разделить груз...»

«Капитание» Саит-бея зарывалась носом в волну у мелководья Кинбурнской косы, и адмирал с тоской подумал, что уже не догонит трусливого Гуссейна. Вот уже окружен следовавший за ним 66-пушечный «Мелеки Бахри», и на нем затрепетал бело-голубой флаг русского флота.

Саит-бей взглянул вдаль, где едва были видны паруса убежавшего негодяя Гуссейна, посмотрел на стаю русских кораблей, окружавших его еще недавно лучший в турецком флоте 74-пушечный красавец, и позвал к себе капитана. Тот, разгоряченный боем, командами, которые он подавал артиллеристам и матросам, не сразу понял, о чем говорил старый паша. А тот зло и сердито, поглядывая на русских, приказал выбрасывать за борт взятый в Крыму груз. Капитан пытался возразить, показывая, что надо чинить паруса, ставить заново снасти, отстреливаться от наседавших русских. Но Саит-бей нетерпеливо взмахнул рукой, и через несколько минут черные от пороховой копоти матросы выкатывали на палубу бочки, выносили лари и мешки. Они с недоумением осматривались, куда все это девать. Саит-бей протянул руку и саблей указал вниз, на море. Фонтаны брызг покрывали идущий на дно груз. У одного матроса, поднимавшего тяжести, ящик выскользнул из рук, упав на палубу, раскололся. Под ноги почти обезумевшим людям посыпались золотые

монеты, слитки, драгоценные камни.

Моряки отступили цепеней: откуда среди ужаса, среди дыма, грохота и крови этот золотой поток, эти извивающиеся цепочки и холодные финифтяные кресты, как попали им под ноги серебряный поднос, змеей скользящая по палубе, сверкающая холодными алмазными глазами, как гюрза, сабля? Бирюзовые камешки и жемчужные орешки катились под ноги, забивались в щели между досок, сыпались в люки зловещей манной небесной.

Один из офицеров паши вдруг вырвался из оцепеневшей толпы и, подбежав к куче тускло светящегося золота, запустил в нее руку и стал набивать карманы монетами, сыпать за пазуху камни, наматывать на кисти ожерелья. Паша выстрелил почти в упор. Матросы бросились врассыпную, а у его ног на палубе растеклась лужа крови. И Саит-бей увидел, что слева, застилая солнце, выходил на удар корабль самого Ушак-паши «Рождество Христово».

Залп почти распорол «Капитание». Она загорелась. Саит-паша выбросил белый флаг. На русскую шлюпку он едва успел сесть, озверевшие матросы перли на штыки и ятаганы охраны. На корабль Ушак-паши его подняли на руках, ноги отказали. Громадный адмирал хмуро посмотрел на обезноженного турка, брезгливо повел носом и перевел взгляд на пылающую «Капитание». Взрыв бросил вверх все, что было раньше гордостью турецкого флота. «Капитание» рассыпалась горящими искрами пороховых трюмов, пылающими

остатками парусов, шипящими обломками рей. Взметнувшиеся к небу изумрудные, алые, синие камни, неношенные ожерелья и стертые золотые монеты падали в волны вместе с изогнувшимися в последнем мгновении жизни моряками.

– Господин адмирал! – торопливо докладывал переводчик. – Тут шут турецкого паши сказал, что они везли большую казну и сокровища из старых крымских захоронений.

Ушаков хрипло засмеялся и показал денщику подзорной трубой на плавающие обломки.

– Вот под ними, Яков, не виданные тобой, да и мной богатства лежат. – Он помолчал и добавил: – Кто с морем дружит, тот свой клад найдет. А сейчас что жалеть. Мы себе еще добудем, а султан потерял его навсегда. – И, решительно повернувшись к паше, пригласил его отмыться и отобедать в своей каюте.

ИСТИНА ДОРОЖЕ...

*Фаброву дачу именовать Спасское,
Витовку – Богоявленское, нововозводимую
верфь на Ингуле – город Николаев.
Из ордера Г. А. Потемкина от 27 августа 1789 г.*

Фалеев весь из себя вышел. «Да как можно сметь! Сам князь повелел здесь, в Спасском, город начинать строить. Вот и дворец светлейшего уже возведенными стенами напоминает о его воле. А эти...» – хотел было обозвать, унижить, да нынче всем архитекторам званья воинские присвоены, не дают без их воли никакие строительные дела вершить.

На чертежах было четко видно, что город делится на три части: адмиралтейство, городское поселение, военную слободку. Адмиралтейство строилось, и на планы были нанесены уже возведенная адмиралтейская контора, магазины, секретная, такелажная, столярная, кузнечная и прочие мастерские.

От строительства крепости после взятия Очакова отказались – оборона города переносилась на юг, но мало ли что могло быть, поэтому Мастерские связи, соединенные друг с другом, образовывали крепкую крепостную стену. Да и Потемкин приказал вначале «строить замком».

Слева от адмиралтейства расположились ряды военной слободки, выше рабочей – там размещались каменные и де-

ревянные казармы, бараки и землянки. А в правом углу чертежа, у устья Ингула, и был сделан план городского центра, о котором развернулся спор.

Фалеев стоял близко к развешанным чертежам. За ним, тихо постукивая маленькой указкой по ребру ладони, задумчивый и собранный Иван Егорович Старов. Архитектор он был отменный, себе цену знал, но в разговорах не куражился, любил выслушать собеседника, мнение чужое принимал. За ним по двое, по трое стояли все отвечающие за план и строительство архитекторы и инженеры.

Хмурился Иван Иванович Князев. Хоть и видел, что Старов взял за основу своего плана его «чертеж располагаемого при устье Ингула города Николаева с адмиралтейством, укреплениями и двумя предместьями – воинским и гражданским», сделанный им еще в прошлом году, но после сегодняшнего дня будут говорить, что город строился по плану архитектора Старова. Первородство отдавать не хотелось.

Рядом с Князевым непоседа и говорун Викентий Андреевич Ванрезант, а за ним целая группа инженеров и архитекторов, ведущих строительство адмиралтейства, морских и гражданских сооружений.

Изящный и спокойный военный инженер Франц де Волян, напряженный и взволнованный архитектор Александр Козодоев, мощный и неподвижный Вакер, инженер-капитан Кирилл Неверов, улыбающийся доброй улыбкой капитан Петр Неелов и большой мастер по строительству портовых соору-

жений Портарь, появившийся то ли из Греции, то ли из Молдавии, еще несколько сосредоточенных молодых людей из не утвержденной ордером, но существующей «канцелярии строения».

Сегодня решалась судьба их трудов, утверждался план города. А от него в будущем отступить было нельзя, за это даже управители карались, и сам губернатор не всегда решался без высочайшего разрешения изменить его. Но и план мог быть не принят, мог быть отвергнут, не утвержден светлейшим или его ревностным помощником Фалеевым.

Вся эта пирамида людей, у вершины которой стояли Фалеев и Старов, замерла, застыла, окаменела в ожидании решения.

Иван Егорович Старов, присланный в Николаев по высочайшему указу, холодно выслушал кригс-комиссара, в словесную перепалку не вступил: Фалеев тут царь и бог – в спорах дело можно погубить. Но от принятого решения не отказывался. Склонился над чертежами и еще раз, осмотрев на бумаге место, где Ингул впадает в Буг, обратился к окружавшим архитекторам:

– Что скажете, господа?

Поддержи они сейчас главного управителя и строителя города, и получают новые назначения, награды и заказы. А архитектор без заказов что птица без крыльев: не взлетит и не увидит землю с высоты. Да заказами и сам кормится, семью содержит...

Александр Козодоев стоял за Князевым и, испугавшись затянувшейся паузы, как-то непочтительно отодвинул полковника в сторону, громко и запальчиво заговорил:

– Город недаром Усть-Ингулом назывался вначале, ибо тут у переправы на возвышенном месте ему стоять надлежит. Тут все дороги из России перекрещиваются, тут адмиралтейство возвышается... – И чтобы не обидеть княжеский выбор, закончил примирительно: – Светлейшему же приятнее в удалении от шума в своем Спасском дворце время провести.

Фалеев с удивлением подумал: «Как сей еще не имеющий крупных чинов архитектор перечит воле княжеской – мало судьба, знать, была» – и значения его словам не придал. Остановил взор на де Волане, зная, что Потемкин к нему благоволит.

Инженер, одетый в изящный военный костюм, который не казался мундиром, а более походил на щегольское платье петербургских модников, потрогал тонкие усики и, наклонив голову к кружеву, выдвинувшемуся из-под расстегнутого стоячего воротничка, тихо, отделяя слово от слова, сказал:

– Так. Город... есть – лучше здесь ставить... Опасность меньше... Лучше здесь... У Ингула. – И отступил, занявшись изучением своих отполированных красивых ногтей.

«Француз проклятый, – подумал Фалеев, – ему-то терять нечего, уедет себе, а тут...»

Кирилл Иванович Неверов с мнением Старова не согла-

сился, а может, преклонился перед мнением князя, отметил достоинства выбора на полуострове в Спасском: образуется выход в Ингул, легко подвозится лес, много воды, место здоровое.

Гранитная пирамида архитекторов начала как бы раскалываться, трещать и терять свою монолитность, но большинство все-таки поддержало главного архитектора: «Лучше начинать возводить город в районе адмиралтейства».

Фалеев хмурился, зыркал на Князева, ревность того к Старову известна, ожидал поддержки.

Князев обошел вокруг стола, чтобы не просить Старова дать дорогу, сурово оглядел собратьев.

– Древние говорили: Платон мне друг, но истина дороже. С Иваном Егоровичем мы не большие друзья. – В напряженной тишине все украдкой взглянули на Старова, у которого губы, казалось, исчезли от покрывшей их бледности. Князев продолжал: – Однако же истина такова, что город надо строить здесь, на плато возле устья Ингула. Там, в Спасском, может и Буг залить и от дорог центральных дальше. Поддерживаю... Да и сам это планировал, чтобы здесь двумя главными улицами Соборной и Адмиральской центр на Соборной площади сотворить. – И уже резко и требовательно закончил: – А улицы надо шире, чем в Херсоне, делать, чтобы три «кареты могли разъехаться и волы с длинными бревнами развернуться смогли. Город же морской и флотский, и тут архитектуру корабельную и цивильную надо соединить.

У Александра сердце отчего-то запрыгало, ему вспомнился дорогой учитель Чевакинский. Чувствовал: пришло его время, его город. Фалеев же понял, что зодчих и военных инженеров не сломал, не убедил, не покори́л, и сразу успокоился – место-то хорошее выбрали: «Архитекторы сами и ответят. Да и светлейший разрешил в письме изучить место, где выгоднее и удобнее город строить». Посмотрел на уже слегка порозовевшего Старова:

– Говори!

Тот откашлялся, с улыбкой в уголках губ сказал:

– Город будет сотворен по плану регулярной застройки. Начнем строить сообразно замыслу и вдохновению без временок, сразу на века...

Александрю эти слова не показались напыщенными и бахвалистыми, знал, сколь строг и придирчив в исполнении Иван Егорович. Хотя в краешек сознания заползали видения барачков и землянок для низших чинов...

Старов закончил буднично:

– Прошу подписать согласие на сей план соавторов – военных инженеров Ивана Ивановича Князева и Франца де Волана, а также других господ архитекторов и инженеров.

ДЕНЬ НЕВЕСТ

Спали в бараках и землянках беспокойно. На веревках весело хлопали выстиранные с вечера белые рубахи и порты. Многие сходили к цирюльнику и теперь спросонья трогали тыльной стороной ладони лицо: не остриг ли шельмец всю бороду, не отхватил ли волос лишку. Кургузой немчурой перед девками представать не хотелось. Солнце только тронуло забугские степи, а все селище задвигалось, закряхтело, закашляло, захмыкало, закрякало с прибаутками, потянулось с хрустом, как бы прочищая голоса и расправляя мышцы. День-то сегодня был праздничный, но какой-то тревожный, стыдливый. Его лучше было ожидать, чем начинать. Ведь все в жизни могло измениться у свободного мастерового, адмиралтейского работника, одинокого рекрута. Неделю назад Фалеев велел объявить всем неженатым и вдовым работникам, вольным, наемным, крепостным и даже беспаспортным беглым, коих прикрепили к Адмиралтейству, что в город Николаев прибывают триста пятьдесят ядерных девок, из коих триста будут отданы в жены.

Мужики заволновались. Женского полу многие давно не видели. Женки рекрутов, что работали в казармах, огородах, в руки не давались. Кои – честь блюда, кои мужиков своих боялись. А тут сразу триста! И кому же они достанутся?

По землянкам, баракам, шалашам пошел ропот, догадки,

волнения. Вчера Фалеев уточнил:

– За исключением самых ледащих и больных, все утром приглашаются на конец военной слободки у церкви на Ингуле. И там, кто сможет, схватит свое счастье в обе руки!

Чуть свет город потянулся к площади перед адмиралтейством.

– А ты шо ж, Коля, не идешь? Не захворив? – участливо спросил Павло Щербань, спокойный и красивый парубок, что сбежал от своего прижимистого миргородского полковника. И попал в крепкие руки адмиралтейских мастеров.

– А нады они мне, я уже старый! – ответил всегдашний заводила и крикун Никола Парамонов.

Много воды утекло с тех пор, как ушел он из далекой псковской деревушки с благословения отца Федосия. Немало горестей и потерь было на пути, но оставался Никола таким же дерзким и упорным.

Павло потоптался, товарища покидать было неудобно, но и дивчину встретить можно было хорошую.

– Ни, Микола, може, то моя доля. Заведу семью, хату построю. Детям ладу дам. Он уже я скики умію, их научу.

– Ну иди, иди, може, и вправду чему научишь, – повернувшись к стене, с иронией бросил вслед ему Никола.

Постепенно барак покинули все его обитатели. На душе Николы стало горько и обидно. «Неужели им мало на одного этой горемычной жизни? Неужели надо детей заводить, их калечить? Вон сколько их в могилах лежит от хвори и пло-

хой пищи». Никола поворочался, позлился на себя и товарищей, на унтера и старшину. Недобрым словом вспомнил помещика, адмиральского начальника. Дальше и выше гневаться он не решился и как-то совсем спокойно подумал: «А может, оно вместе и легче?»»

...На широкой площади собрался весь город. Цепочка солдат отделила толпу парней и мужиков от беспокойно стоящей в пятистах метрах кучки девушек и молодых. Часть из них в пятнастных платках рыдала и норовила прорваться сквозь солдатский строй. Несколько девчат, одетых в белые полотняные до пят рубахи, молча молились. Слева с любопытством толпились семейные мастеровые, вместе с женами и ребятишками. Бабы плевались семечками, ехидно посмеивались. Мужики ухмылялись, примеривали расстояние. Чувствовалось, прикидывали силы. Жены заходили спереди: не рванули бы сдуру-то.

Справа у длинной палатки, в которой был накрыт стол с закусками, водкой, брагой, волосским вином, высился помост. На нем Фалеев спорил с двумя мастерами.

– Вы мне, господа хорошие, эллинг подавайте, а не деньгу качайте. Светлейший ждет.

– Никак нельзя так, Михаил Леонтьевич. Эллинг построим. На нем корабль закладывать надо, а затем строить его. Вот тут нам и нужны будут, – и один из них стал загибать пальцы, – шлюпочные, мачтовые, купорные, конопатные, такелажные, парусные, машинные, весельные, блоковые, якор-

ные. – Он поднял вверх два кулака. – Загибай дальше, Дмитрий! Фонарные, компасные и другие устройства. Так-то вот, Михаил Леонтьевич.

– Ты что, Петрович, думаешь, все будем делать тут? Из России привезем, из Петербурга, от Демидовых с Урала, из Липецка.

– Ну всего, батюшка, не привезешь. Надо здесь научиться делать. Секретным мастерством надо овладевать.

Подошел прапорщик и доложил:

– Все собрались. Святой отец ждет в церкви. Писари книги подготовили. Всех сразу запишут.

– Ну что ж, начнем с богом! Пойди объяви, чтоб хватали бережно. Платьев не рвали. И сразу за солдатский строй и в церкву.

Офицер молодцевато развернулся. Подошел к мужской толпе, велел построиться в две шеренги. Высоких поставил во вторую. Коротко, но с крепким выражением рассказал, как бежать, пригрозил для острастки кулаком, чтобы не бесчинствовали.

Шеренги напряглись, искривились, передние припали на одну ногу. Резко заиграл рожок. И, как белая волна, стремительно струнулись с места мужики. Вот строй уже изломался. Кое-кто из задних оказался впереди, несколько человек, сбитых или споткнувшихся, лежало в клубках пыли. А женская толпа, издав разноголосый вой, кинулась врассыпную. Три девки, то ли потеряв ориентир, то ли решив бесстрашно

броситься навстречу судьбе, побежали вперед к молчаливо несущейся мужской ораве. Другие, голося, бежали в степь, хотя некоторые сразу приотставали, то ли сил, то ли желания убежать не было. Вдруг наперерез толпе сиганул лежавший в ямке заяц. Ну косо́й! Неужто приглядывал с ночи невесту! Вслед за зайцем откуда-то сбоку большими скачками выскочил Никола и, огибая мужиков одного за другим, погнался за какой-то одной ведомой ему девкой.

– Высмотрел, зараза! – крикнул, задыхаясь, Осип Одноглазый, отставший уже на добрый десяток метров от остальных.

И вот уже взяты в полон некоторые – больше из молодежи. Плачут девки, схваченные железными руками мастеровых, а других, бережно поглаживая, спокойно уводят за солдатскую цепь. На вершине бывшего женского холма кутерьма: здоровая и мясистая девка отталкивает и разбрасывает охочих.

– Не хочу за вас, за волочаг да охальников!

И с отчаянья или с норова крикнула прихрамывающему Осипу:

– Иди сюда, голубок, я тебя давно жду.

Осип осторожно и безмолвно последовал под ее руку, а она обхватила его и горделиво вывела из кучи ошарашенных соперников.

– Ну и баба! – восхищенно, пересохшим и хриплым от быстрого бега и волнения голосом крикнул кто-то.

– Была баба, а сейчас мужняя жена будет, – горделиво

ответствовал Осип, пропущенный под руку Евстолейей, уже представившейся будущей женой.

Брачное поле пустело. Пятнами лежали на нем несколько девичьих платков да мужских порванных рубах. Девкам-то приказа не давали одежду беречь. Да еще две ленточки голубыми змейками уползали с ветром в степь за убежавшей хозяйкой.

Большинство полонянок уже тихо шли за солдатскими цепями к воротам церкви. Некоторые уже познакомились, шли согласно и спокойно, другие отвернувшись друг от друга; у одних девки тихо улыбались, опустив глаза, у других плакали и подвывали. И лишь одна, с черной косой, с безумными от страха глазами, билась и вырывалась из рук здорового детины-корсиканца, наверное, из бывших матросов, с серьгой в ухе. Видя, как горько рыдала и задыхалась пленница, Козодоев, чувствовавший себя неловко и постыдно на этом празднике, подошел к Фалееву и попросил:

– Отпустите ее ко мне в кухарки или горничные. А жениха она найдет позднее, по сердцу.

Фалеев махнул рукой корсиканцу:

– Отпусти! Пусть идет к барину!

Глаза у моряка засверкали, рука потянулась к месту, где обычно висел нож.

– Отпусти, говорю! – нахмурился Фалеев. – Я тебе из следующей партии отряжу лучшую.

Тяжело всхлипывающая девушка не знала, что делать.

Радоваться ли спасению? Печалиться ли новому хозяину? Александр подошел, достал белоснежный платок, вытер ей слезы и участливо сказал:

– Возьми эту сумку и иди с денщиком в дом архитекторский. Там поешь и жди меня. Проводи! – махнул он денщику.

– Bravo, архитектор, вы облегчили участь бедной девушки. Во всем этом скотском празднике один светлый выбор.

Александр недоверчиво посмотрел на Селезнева, не зная, произносил ли он эти слова по своему постоянному состоянию иронии или серьезно, с сочувствием. Подошедший к Фалееву прапорщик доложил, что пятнадцать мужиков остались без девок, требуют, чтобы им разделили одну девку на двоих. Три девки убежали в степь и до сих пор их не найдут.

– Тем, которые требуют, всыпь несколько тулумбасов. Ишь развратники! Девки найди. К нам на огороды определи. Там шустрые нужны... Господа, прошу на венчанье!

В церкви у писарей, регистрирующих пары, очередь проходила быстро. Священник торопливо надевал скованные по этому случаю из якорного железа кольца, обмахивал троеперстием и переходил к другим. Вот и последние. Под деревянными сводами установилась тишина. Батюшка тихо кашлянул и неожиданно громко и торжественно повел:

– Венчаются рабы божии мастеровые люди и девы разные российские! Чтобы ни смерть, ни язва не приближались к вам, чтобы счастье у вас было, радость и детки и чтобы ра-

ботали и трудились вы достойно во славу нашего величества, премилостивейшей государыни нашей и бога всемогущего! Нарекаетесь вы мужем и женой! Аминь! – Священник поднял руки вверх, еще раз приковав внимание, и тихо закончил: – Теперь поцелуйтесь – и с богом!

Цепкий, звонкий поцелуй раздался в церкви, отозвался эхом в ее куполе. Закружился вспугнутый белый голубь и растворился, вылетев к небесной голубизне...

Фалеев, в палатке уже, поднимая тост за новое прибавление горожан, скосив глаза в сторону Селезнева, сказал:

– Некоторые думают, что это человеческому естеству противопоказано, но этим они просто всякое вольтерьянское вольнодурие поддерживают. К чему это приводит, мы уже во Франции видели, – с металлом в голосе продолжал он. И, снова потеплев: – А что те, кто девку раньше видит, всегда ею доволен? Так и тут мы благость и понимание проявили. Ускорили это знакомство, в святом храме по-божески благословили. И тем быстрее подрастать будет потомство во славу нашей матушки императрицы! А любовь, она придет. Люди все молодые. Это когда старцы обольщают, то противоестественно! А тут все во благо, – и, словно вспоминая что-то, сам смутился. И уже с хитринкой и радушием, призванным растопить неловкость и напряжение, возникшие за столом, закончил: – Предлагаю двадцать шестое сентября впредь считать днем невест. А город для его доброй славы называть тоже городом невест! За сие и выпьем!

КОМИССИЯ

Фалеев знал, что мало построить, надо еще сделанное, как товар, показать с лучшей стороны, рассказать о трудностях, об особенностях, о новшествах, способствующих улучшению качества кораблей. На это времени не надо жалеть и представить окончание строительства как большую победу мастеров, строителей и, конечно, тех, кто возглавляет их. С утра он ходил по верфи с группой офицеров и чиновных лиц, прибывших на спуск первого корабля с николаевских стапелей из Петербурга, Ясс, Екатеринослава, Херсона и Севастополя. Одни из них скользили безразличными взглядами по ребристым деревянным тушам кораблей, застывших на береговых стапелях, другие придирчиво приглядывались и прислушивались к его словам. А он старался не то чтобы приврать, но поживее и поярче рассказать о новом корабле и испытываемых нуждах и трудностях, вопреки которым они завершили строительство.

Рядом с ним шли корабельные мастера Верещагин, Афанасьев, Михайлов, Малый, Щербак и Соколов.

Андрей Соколов тоже, заразившись уверенным настроением Фалеева, старался все объяснить и втолковать приехавшим обсерваерам – так, он слышал от деда, называли при Петре I инспекторов, проводивших надзор за кораблестроением. Рядом со «Святым Николаем» на стапелях стояли

еще несколько недостроенных кораблей в разных стадиях, и он объяснял последовательность работы, искусство набивки шпангоута, брусом, расставленных с небольшими промежутками друг от друга.

– Набор этого скелета, – показывал он, – покрывался досками снаружи и внутри. Промежуток между шпангоутами – шпация – был нужен для вентиляции и предохранения дерева от гниения. Замки или шипы соединили два слоя дерева на шпангоуте. А вот здесь, где шпангоут находит на киль, он соединяется брусом-кильсоном. Снизу, – нагнувшись, Соколов попросил взглянуть на киль, – прибиваются доски, то есть фальшкиль, чтобы предохраняться при посадке на мель. – У краеугольных креплений, видных внизу заложеного корабля, долго объяснял, что это раскосины, соединяющие борта корабля и укрепляющие его во время качки и удара волн.

– А как же все сие запомнить, куда что прибить и в каком порядке? Ведь поди что не учтешь, корабль и потонуть может? – с удивлением спросил ясец.

– Милый человек, – воскликнул Соколов, – корабль надо знать и чувствовать! Все обмеры в уме держать, и остойчивость – главное в нашем деле. Ведомо, что при тяжелых грузах – пушках, рангоуте, – наверху находящихся, остойчивость была невелика и завал бортов внутрь совсем ее малою при крене делал. Так недавно, в 1782 году, английский линейный корабль «Король Георгий», наклоненный для ремонта,

опрокинулся, и погибло 900 человек команды.

Он снял шляпу, выражая сочувствие английским морякам, и дальше ровным спокойным голосом продолжал:

– А вот палуба поддерживается бимсами, которые крепятся на лежачих или висячих концах. Они-то нам всякие беды и создают. Надо уметь крепить, выбрать самое крепкое дерево. Сейчас заменяем железными, кои надо умело выковать. И вообще соединить от днища до палубы корабль воедино надо уметь, – в этом большая мудрость корабельного мастера.

Фалеев увидел, что ясский офицер заскучал, два раза зевнул, прикрывшись перчаточкой. Севастополец же и петербуржец, наоборот, слушали внимательно и глядели придиричиво. Екатеринославский посланец, чувствовалось, думает о сытном обеде. Фалеев посмотрел по сторонам – два дюжих молодца держали щипцами окончание железного штыря, два других поочередно били молотом по нему.

– Сим они, – продолжал Соколов, – раскатывают «на холодную» другую часть круглого болта, коими все части корпуса соединялись. У строящегося корабля весь нос был забит большим числом кусков дерева. Сие – составной дейдвуд, и его толщина почти два с половиной метра.

Ясец зевнул еще раз, а екатеринославский офицер в нетерпении забарабанил пальцами по портупее.

– Эй! – позвал Фалеев всматривающегося в узкое отверстие мастерового. – Пойди сюда.

Тот не спеша подошел. Фалеев хлопнул его по плечу:

– Из самого Петербурга выписали. Антон Шароев. Никто не может лучше его сей длинный болт через толщу дейдвуда в нужное место пробить. Таких мастеров брызгасами называют, за то им еще со времен Петра двойная порция вина полагается. А он у нас главный брызгас. Скажи господам, как ты сему научился?

Брызгас поправил волосы и, окая по-северному, медленно ответил:

– Да дедушко мой еще корабли строил в Архангельске. Отец в Брянске при походе Миниха на Очаков канонерки строил и переправлял в Днепр, а я, считай, уже полсотни кораблей строил в Олонце, Петербурге, Херсоне и здесь, на Буге. Разное мастерство имею и веду свой род от знатного русского корабела Феодосия Склеяева. И всю жизнь не пил... – с некоторым вызовом закончил брызгас.

Фалеев завел офицеров на палубу готового к спуску корабля и дал им оглядеться.

По всей верфи кипела жизнь. Плотники, отделочники, кузнецы, брызгасы, пильщики, обрубщики махали топорами, били молотами, стучали долбнями, водили вверх и вниз пилами, передвигали уже сбитые части. Размеренно тащили бревна и доски волю, а мужики, рекруты и пленные турки катили бочки и несли мешки. Казалось, этот поток не остановится, не затихнет, не даст соединиться кораблю с водой.

– Вниз, вниз, господа, на батарейную палубу, там уже все

готово.

В полутемном помещении с прорубленными для пушек отверстиями пахло свежим деревом и стружками. Когда идет бой, здесь из-за дымного пороха ничего не видно, бомбардиры задыхаются и, чертыхаясь, на секунду стараются прильнуть к крышкам орудийных портов, где сделаны круглые отверстия.

Севастополец подошел и резко подергал подвесные кровати моряков, где нижние чины спят во время переходов.

– Вот тут, – вел быстро их Фалеев, – каюта для боцмана и артиллерийской старшины. Офицеры вот там, под полуотом в своих каютах. А камбуз туда – под верхней палубой. В трюм, господа, я вас не поведу, хотя там небольшой коридор для осмотра, а также примыкающие к переборке бомбовые и пороховые погребы, провиантский склад, водяной трюм, парусная, тросовая, плотницкая, отливные помпы и разные кладовые.

– Да тут целый дворец! Не хватает только башен.

– Были и башни, – вмешался Соколов, – но в начале века от них отказались. Не гулять на таких кораблях ездят, а воевать. Хотя купцы до сих пор это делают, а у нас только на носу может быть украшение, да и то нечасто.

Херсонский строитель промерил высоту и недовольно спросил, как будут выходить корабли в море.

– Да не на камелях, как в Херсоне, а своим ходом, – ехидно бросил Соколов. И уже мирно добавил: – Хотя большим

придется и таким способом двигаться.

Фалеев вел всех в кабину капитана, где приезжих и гостей ждал знатный обед.

Но дотошный адмиралтеец из Петербурга постоянно оставался, дергал обшивку, заглядывал во все закоулки, просовывал пальцы в зазоры, стучал по балкам, прислушивался к отдающемуся звуку.

Фалеев видел, что этого не проведешь, но он и не соби-рался этого делать – надеялся на своих мастеров.

– Все ли дерево пропариваете? – вдруг неожиданно резко спросил адмиралтеец у Соколова. Мастер хотел ответить, что, к сожалению, не все, но Фалеев быстро кивнул головой.

– Все, все стараемся. Только на щиты да в каюты на топчаны – сырые.

Адмиралтеец недоверчиво покосился на него и вдруг показал на корабельный нос:

– А тут все сквозными железными болтами скрепили или, как в Воронеже, гвоздями да деревянными нагелями?

Все вспомнили, как еще в ту турецкую кампанию, да и в эту, некоторые построенные из сырого дерева и сбитые гвоздями корабли при сильной качке не выдерживали, доски расходились, появлялась течь, кницы лопались, и бимсы выходили из мест крепления к шпангоуту. Корабли часто ремонтировались и нередко уступали в быстроходности турецким, построенным французскими строителями. Известно было и то, что команда часто болела, не хватало воздуха, пища быст-

ро портилась, вода загнивала. Фалеев и его мастера знали это и день и ночь слали письма, реляции, гонцов, чтобы везли и везли из Смелы лес, чтобы закладывали его в сушилки, чтобы из Тулы, Липецка и даже Москвы и Петербурга шли всякие инструменты, болты, парус, канаты и, главное, медные листы. Вот уже десять лет, как обивают корпус некоторых кораблей медными полосами, корабль заскользил быстрее, ракушки и водоросли не тормозили его ход, да и на ремонт – обчистку надо было становиться реже. А медь и железо присылали с далекого Урала, с демидовских заводов.

«Видит, видит дотошный адмиралтеец, что не все по doskonaльным чертежам и таблицам сделано. А сам бы попробовал здесь строить!.. Приходилось оборачиваться и придумывать, что чем можно заменить. И оборачивались, и придумывали. И не хуже прочих, а лучше будет первый корабль, построенный здесь, в Николаеве». Фалеев громко крикнул, пригласил всех отобедать в каюту капитана.

– Завтра превеликий праздник! Такого еще красавца наш флот не видел! – уверенный, что нисколько не хвастает, громыхнул он и распахнул дверь в капитанскую.

Адмиралтеец, не входя, пошевелил губами и обратился не к Фалееву, а к Соколову:

– А вы, сударь, судового строителя Катасанова знаете?

– Ну как же не знать сего знатного инженера? У оного и иноземцы учатся, а не токмо мы, русские строители.

– А коли знаете, то должны ведать, что построенный по

его проекту стопушечный «Ростислав» и корабль «Победоносец» самые лучшие и крепкие наши суда. И на оные надо равняться.

Соколов подумал и с торжественностью ответил:

– Господин Катасанов вельми ученый и искусный мастер, математик, механик, и нам у него не зазорно, а почетно учиться. Тут же на далеком от столицы полудне, в Херсоне и Николаеве, мы тоже не чутьем только, а точными расчетами многое сумели и к морской силе отечества лучшие корабли прирастили, новые правила применили и мастеров многих вырастили. И «Святой Николай», я думаю, тому подтверждение!

В каюту все зашли почти сразу, став шумной и единой толпой.

ЧЕРВОНА ХУСТЫНА

Вечерний сумрак постепенно вытеснял из комнаты дневной свет. Серая темнота калачиком свивалась по углам. Мария улыбалась чему-то, тихо пела и осторожно колыхала детскую коляску. Детей нянчила и кормила сама, без няньки-кормилицы, не как принято было в господских домах.

Пела она старую и протяжную степную песню «Козаченьку, куды йдешь?», которую дома от отца слышала часто и запомнила на всю жизнь. В песне дивчина обращалась к казаку – неужели он не жалеет ее, отправляясь в дальние края? – а тот с грустной удалью просил ее прижаться к нему еще раз.

– Я бэз тэбэ загну.

Як ты пидэш в чужыну...

– Ой не плач же, дивчино, нэ журысь

Та й до мого сэрдэнька прыгорнысь.

Мария пела о том, как прошла осень и весна, а все не было восточки от казаченька. Она сделала паузу, опустила голову и с печалью в голосе повела:

А як жито зацвило.

Прыйшла вистка у село:

Не вертаться вжэ до тэбэ козаку –

Заснув в стэпу вин, сэрдэга, до вику...

В прихожей кто-то громко потопал, несмело прикоснулся к ручке двери и потянул ее на себя.

– Прошу вас, – позвала Мария и привстала.

Дверь совсем отворилась, и в нее немного боком продвинулся невысокий седой казак. Он сдернул шапку, огляделся и внезапно замер, увидев Марию.

Руки его вскинулись вперед и сразу как-то безвольно упали вниз. Жадно, с молчаливой мольбой, боязливой радостью, готовой раствориться в подступающей откуда-то из глубины печали, устремился глазами к Марии. А она вопрошительно улыбнулась и спросила:

– Вы к господину Козодоеву?

Казак опустил голову, горестно вздохнул и снова посмотрел на нее.

– Та ни, я до тебе, Мария...

Рука Марии потянулась к кресту, она захотела перекрестить его как наваждение.

– Та нэ трэба... живой я... живой...

Мария стала оседать на лавку. Ее побелевшие губы шевелились, но не могли вслух произнести заветное имя Андрия.

– Я же на левом берегу зальшився – крымчаки за нами скакали. Тебе штовхнув в човен та в Днипро. Ты в лихоманке была...

Мария смотрела на него широко раскрытыми очами и

молчала. Сквозь какой-то седой туман до нее доносились слова:

– А мене татары схопылы и на галеры до туркив. Там я десять рокив и був под дощами та батогами. Спасибо солдатам Потемкина – вызволили в Очакови... – Андрий помолчал, справился с волнением и закончил: – Я до бугских казаков сразу же подався и тебе шукаты став. А вчора мени сказали, шо тут в Мыколаеви сама красыва жинка у архитектора живе. Я подумав, шо то, мабуть, ты... – Он опустил взгляд свой и показал на кроватку: – А то твой?..

Мария молча кивнула. Казак как-то сразу сгорбился, потом взял в горсть свои усы и, покашливая, сказал:

– То мени приговор... Соловей спивае, поky дитей немае... Я тебе, Марие, не виню! Спасыби, шо жива... хай щастыть тоби...

Мелькнула в его голубых глазах слеза, соскользнула на усы, и сглотнул казак теплую соленую влагу, что не могли выбить из него никакие жестокие кнutoбойцы на турецких галерах и каторгах. Медленно нагнулся он к полу, поднял красную косынку, упавшую с Марииных плеч, прижал к щеке.

– Хай буде на память мени ця червона хустына... Прощай, Мария! Не поминай лыхом...

И он вышел, заставив себя не взглянуть на Марию, и уже не слышал, как, потеряв сознание, мягко упала она на лавку...

Вскоре на Кубани, среди переехавших туда запорожских казаков, пошли слухи о каком-то таинственном всаднике, бесстрашном и отчаянном. Ходил он с отрядом таких же сорвиголов, а иногда и один на самые опасные вылазки и атаки, всегда обвязав шею красным платком. Искал ли тот казак славы или смерти – никто не знал, но говорят, осталась у него на Украине любимая, которая ушла к другому. Ну так вот, может, и он хотел уйти из жизни или от воспоминаний. Но, казалось, та далекая любовь и оберегала его от вражеской пули и сабли, от неприятельской хитрости и засады. И уходил он из боя всегда невредимый и даже не поцарапанный. Десятки лет потом гуляла слава о том боевом казаке с красным платком, или, как говорили казаки, с червоной хустыной. Может, и не было его давно в живых, а слава жила-была. И истории о его подвигах часто рассказывали при свете ночных звезд и степных костров. Чутко прислушивались тогда все: а не выскочит ли из темноты отчаянный всадник, не взвоет ли птицей над костром, который бросит свои отсветы на плотно повязанную красную косынку.

Хоть и не в обычаях было у старых казаков говорить о любви, но молодые этого обычая не придерживались и над сим безответным чувством не смеялись. Девчата восхищались таким рыцарем, а молодые казаки втайне гордились им, ибо могли сказать какой-нибудь строптивой гордячке, что тоже могут умчаться на край земли под пули, если она не

будет благосклонна в своем внимании к ним. В общем, говорят, до сих пор там на Кубани, где опасность, всегда бывает такой всадник с червоной хустыной.

ВЕТЕР

Ветер вырывал щепки из-под топора, бросал горсти опилок на плотников, протягивающих под козлами пилы вниз, забирался под просторные рубахи мужиков у ворота и выскользывал в их рукава, как только они начинали поднимать руки.

Поднявшееся высоко солнце не жгло. Казалось, оно отдало эту землю во власть освежающему и веселому дыханию. А ветер, теплый и радостный, приносил с собой солоноватый запах моря и возбуждающую горечь лимана. Покружив по закоулкам верфи, обежав все постройки и склады, потрогав белые, непросмоленные ребра корпуса, скользнув по палубам, он нырял в еще не закрытые трюмы. И, словно остерегаясь, что его законопатят, закроют, запечатают в эти узкие коридоры и ямы, прихватив с собой запахи краски, каленого железа и горячих углей, с облегчением убежал дальше в степь, где перешептывался с овсами и поглаживал пшеничную косу поля. Порезвившись, он утихал в ярах и балках, свившись клубком у подножия старого дуба...

А на всхолмленном берегу Ингула толпился народ. Как всегда, в центре был Фалеев, рядом с адмиралтейцами, яскими посыльными Потемкина, бородатыми поставщиками, мелкокрылой стайкой офицерских жен. Чуть сбоку выделилась группа иноземцев: купцы, мастера, гувернеры и лекари.

Первые держались попроще, перебрасывались репликами с русскими торговцами и мастерами, громко хохотали, вспоминая различные торговые и строительные конфузии. Хорошо оплачиваемые гувернеры стояли неприступными статуями. Они никогда не смешивались с этой обычно пьяной русской толпой и ждали, ждали, когда прикопят здесь денег и уедут в свои уютные городки, где будут рассказывать страшные сказки об этих непомерных российских пространствах, о жестоких зимах, варварских нравах и довольно миленьких девушках. Шарль мягким шагом переходил от одной группы к другой. Он сам не знал, к кому он принадлежит: к negociантам или лакеям. Все перепробовал.

Жены строителей, рекрутов, моряков стояли справа. Многие поддерживали круглые животы, другие уже были окружены маленькими ребятишками. С утра до вечера ходили на работу мужики, возвращались поздно, а что делали, только вот сейчас виделось. Какую махину взгромоздили, сколько досок прибили, мачт поставили, как расшили, разукрасили! Из боков корабля грозно торчало несколько пушек – остальные потом поставят; на носу трепетал белый с синими полосами флаг.

Тук-тук! Тук-тук! Тук-тук! Топор Павла выбивал подпорки ласково и бережно. Сам он улыбался и был радостен и просветлен. Какую красоту в жизнь выводит. Увидят его корабль в разных морях и странах. Чудно. Да и пожалуют всем за труды. И жене достанется на платок и шубу, и сынам го-

стинцы, и сам славно погуляет.

Трах! Трах! Трах! Трах! – со злостью и руганью вышибал деревяшки Никола. «Наехали! Набежали! Смотрят. А где были, когда дети умирали? Когда чума всех морила? Вон дама в кружевах стоит, а его жену мешком накрыли, когда умерла... Наехали... Набежали... Ведь напоят, поди, за это сегодня. Напьюсь и, может, рвану куда-нибудь: на Дон или в Сибирь, там, говорят, не так над мужиком измываются...»

«Вот и свершилось!» – натужно думал Фалеев. Голова болела. Контракты подписывал вчера, с комиссией ходил, офицеров принимал. Сколько бессонных ночей, дум! Заверений в достоверности и точности выбора места для строительства кораблей! Сколько подарков петербургским и екатеринославским чиновникам! Сколько усилий, чтобы привезти сюда мастеров из Олонца, Петербурга, Воронежа! Сколько потерь и жертв от голода, мора и войны здесь, на этих безжизненных еще недавно пространствах! И вот сейчас хлопнет днищем о водную гладь красавец фрегат «Святой Николай». Перестает быть озером турецких султанов Черное море. Херсон, Таганрог, Севастополь, а вот теперь и Николаев стали базой русского южного флота. Россия открывала «окно» на юг, в теплые страны и моря!

Тук! Тук! Трах-трах!

...Александр Козодоев смотрел на покоившийся парус корабля, на трепещущие флаги. Его усталое тело наполнялось какой-то внутренней радостью, и волны воспоминаний на-

хлынули на него здесь у приготовившегося к выходу на свой корабельный бал фрегата. Вот и учитель Чевакинский, так мечтавший соединить корабельное дело и архитектуру, был бы доволен, что здесь, в этом полуденном городе, заканчивает он свою жизнь, здесь родился его первый сын, здесь он строит и созидает. Не очень-то поклоняется знати. Так как сюда она не едет. Здесь надо работать. Даст бог, еще многое здесь построим.

Тук-тук! Трах-трах!

– Завтра этот корабль будет моим домом, – радостно сказал пышной и веселой даме капитан Трубин. – Сколько пришлось уже поездить и повидать света, Екатерина Ивановна! Помните, как я вам писал из Амстердама и Лиссабона, дорогая? А сейчас Херсон будет второй Амстердам. А тут можно город подобно Лиссабону построить. А ведь то было первое русское корабельное путешествие вокруг Европы! А потом славная Чесма и этот поцелуй, – слегка дотронулся он до рубца, полумесяцем лежащего на щеке. – А уж как мы выбрались из дальней Балтики и Бейрута, и уму непостижимо!

И, видя, что находящиеся рядом жены офицеров прислушиваются, приосанился, принялся рассказывать про красивых испанок, неаполитанок, турчанок.

– Нет, русские моряки везде пройдут. И сейчас уже ясно, что Петр истину рек, когда говорил, что то государство, которое сухопутное войско имеет, – одну руку имеет, а которое и флот имеет – обе руки имеет. Мы тут, в Ахтиярской бух-

те, в Днепро-Бугском лимане, этой второй руке сейчас силу придали. Ее жилы кровью кораблей морских наполняем.

Тук-тук! Трах-трах!

Беспокойно ходил вдоль рядов иноземцев Шарль. Подзавернул и к русским. Но каким-то холодом повеяло от них.

«Может быть, знают?» Постарел он. Сведения никакие сейчас не передает. Хоть бы совсем забыли. Россия обеспечивает ему жизнь: становись вначале цирюльником, затем музыкантом, учителем, советником. Тут можно хорошо заработать. Если не зевать да поворачиваться, пока эти тугодумы русские да малороссияне поймут, что не больше их знаешь, ты уже богат и можешь в другой город переехать. «Пожалуй, здесь, в Николаеве, надо осесть, да прекратить эти шутки с послами. Да, да, живу здесь! Или, если создадут город чисто торговый, туда перееду. Тепло, море, фрукты...»

Старый Щербань попросил, чтобы со Слободки сегодня его привезли на повозке.

– Эх, диточки. Хочу хоч раз подывиться, як корабли велики у нас на Украины спускают на воду. «Чайки» сам робыв топором, а такого велетня не бачив!

Катится светлая старческая слеза по разбежавшимся морщинам. Вспоминается шорох запорожских лодок и короткая схватка на крымском берегу при освобождении пленных. Выплывает веселое запорожское гулянье, треск бубнов и голос украинской сопилки, мелодия молдавского скрипача и перезвон русской балалайки. Весело было! А потом были

тихие ночи на зимовнике, когда, казалось, уже ушел от боев и сражений казак, пестовал свою жену и любимую дочку. Вон та панянка на нее похожа... До сих пор видит он тот сипящий аркан, слышит дикий крик дочери. До сих пор не может простить себе срубленного дуба. Э-э, старый казаче! Да и не казаче он, а мешканец, то есть житель города, подрастет уже новая дочка и два сына, и не казаки они, а корабелы будут. Бо кто же в этом посаде будет? Мастера да моряки. Морские люди, як кажут...

Тук-тук, трах-трах!

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Нет, ты не будешь забвенно.
Столетье безумно и мудро...

Александр Радищев

В доме архитектора Козодоева поздним вечером в конце 1790 года собралось немало народу. Были инженеры, средних чинов морские начальники, офицеры, ученые землемеры, священники, лекари. Публика невысоких родов и званий, но в достойных чинах и достойная более высоких чинов. Ибо собрались тут в основном те, кто владел науками, знаниями, мастерством и был склонен к любознательности. Вначале все слушали игру на клавикордах и пение из Баха, Генделя, Глюка, русских композиторов Фомина и Хандошкина, а затем в небольшом зале танцевали. Оркестра, правда, большого не было, но солдаты-музыканты, молдавские скрипачи да пара дудочников в сопровождении флейтистов играли хорошо. Женщины были слегка недовольны незвучностью музыки, но отменное старание в танцах морских офицеров и лекарей прибавило им настроения. Станцевали вначале мазурку и минимаску, потом котильон. Затем жены и дочери удалились в дамскую половину, а мужчины затолпились у столов с закуской и напитками, другие сели играть в карты.

Несколько человек поднялось в кабинет Козодоева посмотреть книги да поговорить о политике.

«Без этого женатые мужчины не могут, – рассуждал про себя прибывший на зиму в Николаевское адмиралтейство для присмотра за ремонтом Егор Трубин. – Иным из них в меняющихся политических обстоятельствах грезятся семейные дела, а в разрешении европейских конфликтов, умелом замирении ищут они примеры для собственных решений».

Архитектор Козодоев интересовался политикой с точки зрения своего ремесла – придется ли ему строить сооружения военные или гражданские.

Инженер Селезнев, начитавшийся Руссо, Даламбера, Вольтера, жил в предчувствии, что мир вот-вот изменится. Вольтер был его кумиром. Он выписывал его книги из Франции, просил друзей присылать все, что издает известный всей читающей России издатель Новиков. Трудно было получать сюда, в далекие от столиц земли, журналы и книги, но зато какой это был праздник для него и еще двух-трех его приятелей! Московские друзья Селезнева прислали в списках главы сочинений Радищева. Как можно так смело и тонко писать!.. Как отважился на сие дворянин? Что будет с ним? Хотели, говорят, голову отсечь, а сейчас в Сибирь сослали. Весь мир растревожен. Освободились от иноземного гнета Северные Штаты Америки. Во Франции народ взял Бастилию, свергнут король. Селезнев ждал больших изменений и в России, правда, не знал, откуда они придут.

Матвей Иванович Карин, или, как все его называли, отец Матвей, наоборот, новизны не любил, был горячим поклонником князя Щербатова, обличавшего «вольтеризм» и разврат, идущий от иностранцев. Он считал, что дух народный и дух православный составляют могущество государства. В новых землях ему многое не нравилось, и он не скрывал этого, хотя тянулся к тем, кто, по его мнению, честно служил отечеству, ибо считал, что только крепостью оно можно утвердить боголюбие и благочестие.

Шарль Мовэ попал сюда случайно, ему хотелось быть при Фалееве, капитане порта Иване Овцыне, городничем Якимовиче, других местных высших военных и морских чинах. Но туда его не приглашали, и пришлось немало постараться, чтобы попасть на Новый год в эту компанию. Сведений он вот уже почти два года никуда не передавал, но такова уже натура – не мог удержаться, чтобы не подслушивать и не запоминать, хотя и чувствовал себя опустошенным, как сдутый пузырь. Да и о политике он имел свое суждение: надо служить тому, кто сильнее. А для этого надо знать, кто ныне в силе. А всякая высокая философия нужна только тем, кто на ней зарабатывает.

Библиотека у Александра Козодоева была небольшая, но подобрана со смыслом. Два шкафа целиком были отданы архитектуре, чертежам, заложенным в папки, трудам итальянских, французских и русских архитекторов, альбому с рисунками наиглавнейших сооружений мира. В двух дру-

гих шкафах были исторические и философские сочинения, книги популярных жанров. Были здесь и пьесы господина Фонвизина, Княжнина, «Россиада» Хераскова и стихи его кружковцев, оды Гавриила Державина, романы Федора Эмина, сочинения Михаила Ломоносова, Антиоха Кантемира и Александра Сумарокова. Там же стояли аккуратно переплетенные журналы «Зеркало света», «Собеседник любителей русского слова», «Лекарство от шума и работ», «Утренний свет», «Покоящийся трудолюбец», «Адская почта», «Трутенъ», «Беседующий гражданин» и «Всякая всячина». Их Александр собирал много лет и возил за собой.

Трубин повертел в руках небольшую книгу Карамзина «Мои безделки», лежавшую на столе, и одобрительно протянул:

– Мда-а, сие издание в малом формате способно служить карманной книгой, и посему без сомнения им будут довольны читатели всех сословий.

Остальные принялись листать разложенные на столе толстые тома. Шарль Мовэ оценивающе рассматривал лишь корешки: некоторые золотого тиснения, другие тускло мерцали серебром, большинство книг выглядели небогато – такие уважения не вызывали.

– Читающая публика наша своих писателей не всегда чтит. Мне сказывали, что в Москве дворяне, офицеры, профессора и студенты сейчас ночами могут спорить о «Новой Элоизе» Руссо и «Вертере» немецкого пиита Гёте. А ведь со-

всем недавно зачитывались Юнгом. Не было дома, где бы о нем не спорили, не выбирали в качестве советника. Особенно его «Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии». Он был подлинный друг несчастных, их утешитель, – похваливал друзьям свои книги Александр. – Вот он у меня рядом с «Грандисоном» Ричардсона и «Векфильдским священником» Голдсмита. Тут же и «История Жиль Блаза» Лессажя и «Приключения маркиза Г...» Прево д'Экзиля. Ну и, конечно, Вольтер. Вот его «История сокращенная о смерти Жана Каласа» и «История крестовых походов». В оных сей писатель учит человека любви и благотворению, ненависть к «бесносвятию», по-французски фанатизму, внушает...

Отец Матвей, спокойно листавший «Дон Кихота», преобразился, пошел пятнами и с несвойственной лицам духовного звания скороговоркой выпалил:

– И как можно доверять свой разум сему растлителю! Он имел способы прельщать и употребить их во зло, раздувая сребролюбие, зависть, недоброхотство, мщение, безбожие, нетерпимость. Весь вольтеризм – только кощунство, бурлацтво и похабности. И наше юношество надо оградить от этой опасной чумы. Простой, неученый наш народ любит читать басенки, нежели важные сочинения. А сие мудрословие надо держать взаперти.

Селезнев сощурился и без всякого такта перебил:

– Отец Матвей считает сие чумой, а держать крестьян в неволе великим человеколюбием почитает. Ему Вольтер

опасен, дабы через него у российских Любомудров не услышался зов к свободе и братству, что ноне во Франции раздаётся...

– Ну хватит, господа, давайте о другом, – перебил их Трубин. Он-то недавно был в Петербурге и знал, что уши главы Тайной экспедиции кнутобойца Шешковского слушают везде. А попасть в его руки даже он, не боящийся ничего на свете, не хотел. Истязать тот был мастер, не жалел даже женщин. – Не знаю как вам, а мне сия книга кажется прелюбопытной, и даже нижние морские чины у нас на корабле ее читали. – Он достал с полки стыдливо задвинутую Козодоевым вглубь книгу Матвея Комарова «Обстоятельства и верные истории двух мошенников: первого – российского славного вора, разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина, со всеми его сысками, розысками, сумасбродною свадьбою, забавными разными песнями и портретом его; второго – французского мошенника Картуша и его сотоварищей», полистал ее и, обращаясь почему-то к Шарлю, объяснил: – Сей герой с солдатским сыном Камчаткой навел ужас на Москву, занимаясь вначале воровством и мошенничеством, а потом, поступив на службу в полицию, действовал и как полицейский ограбитель. Ванька Каин, в быту Иван Осипов, подкупил несколько комиссий, кои разбирались в его деле, посему автор и пишет: «...дело сие обыкновенное, потому что если мы с прилежным вниманием рассмотрим все человеческие деяния, то несумненно увидим бесчислен-

ное множество примеров, что воры, мошенники, злые лихоимцы, бессовестные откупщики, неправедные судьи, грабители и многие бесчестные люди роскошествуют, благоденствуют и в сластолюбии утопают, а честные, разумные и добродетельные люди трудятся, потеют, с трудностями борются, страждут, а редко благополучны бывают...»

Шарль тоже не подхватил опасного разговора, у него были свои резоны опасаться Шешковского, и решил обратиться к победным событиям дня.

– Что, господа, известно, как европейские газеты встретили падение Измаила, который 11 декабря взят Суворовым?

– Что газеты! – оживился Трубин. – Все европейские кабинеты, призвавшие под свое покровительство Порту, оглушены. Англия везде козни строила, ныне готова в перемирии посредничать. Сказывают, императрица на сие ответствовала английскому министру. «Король ваш хочет выгнать меня из Петербурга. Я надеюсь, что он в таком случае по крайней мере позволит мне переселиться в Константинополь».

Шутке, понимая ее язвительность, все посмеялись.

– Европа! Европа! Да ведаете ли вы, судари, что Россия вся обнищала! Голод! Мор! Земли не родят. Налоги возросли. За малейшее неповиновение и несогласное слово – отлучение от службы и подозрения. Неужели нам мало уроков? Ведь мы себя просвещенной нацией считаем, а в отношении к своим подданным выглядим как восточная деспотия! – снова со страстью включился в разговор Селезнев.

– Вот сейчас господин инженер верно говорит, – уже спокойнее, чем в предыдущий раз, начал отец Матвей. – Однако грехи наши начались раньше. Повреждение храмов идет еще от Петра Великого, от излишней перемены, им учиненной. Это он, подражая иностранным народам, тщился ввести не только познание наук, искусства и ремесел, новое военное устройство и торговлю, но и суетное вокруг себя великолепие. Позднее, при Елизавете, та роскошь двора пагубно повлияла на общественные нравы. Ну, а Петр Федорович уж все пороки обнаружил – сластолюбие, и роскошь, и пьянство, и любострастие. И сегодняшние нравы ой как не безупречны! Князья, царствующие особы так уверяются своим любимцам, что свое мнение теряют и рассуждения в конце месяца имеют разные от начала его...

Все как-то примолкли. Речи ревностного божьего поклонника были резки и не сообразовывались с благами, которые он имел от имения, церковной службы и преподавания богословских наук.

– Вы, отец Матвей, потому так говорите, – обратился к нему Александр, – что на вас великое влияние князь Щербатов оказал. Однако если ему следовать, то мы от всего европейского отказаться должны, снова бороды отрастить да кафтаны боярские надеть.

– И не страшно, мой сударь, наденьте русские одежды... А то подивитесь, в чем дамы ходят, на себя посмотрите! – Присутствующие в кабинете с усмешкой переглянулись друг

с другом, а отец Матвей продолжил: – Кто в сией губернии хозяин?.. Все бывшие купцы, в дворяне пролезшие, казацкие старшины, дворянство получившие, да недоучки и выскочки, дворянским званьем пожалованные. Крестьяне сюда бегут, казаков-мятежников простили, инородцами земли заселили...

– Полноте, Матвей Иванович, неужто не видите, как сей край развивается. Неужто не видите, как за пятнадцать лет земли подняли. Ведь держава целая. Поля заколосились, хлеба множество появилось, торговля расцвела, города великие поднялись: Херсон, Екатеринослав, Севастополь, Нахичевань, Таганрог. Да и наш Николаев скоро вознесется ввысь, вширь раскинется. А флот русский? Сие все – подвиг народа и отечества, а вы к повреждению нравов относите!

Селезнев, стоявший у окна и смотревший на бугские просторы, повернулся к Козодоеву, не скрыл своего несогласия с ним:

– Стоит ли, Александр, забывать, сколько в этих местах крестов по дорогам? Да и не крестов чаще, а могильных холмиков. Деревя на кресты нет. А мало ли здесь из казны да от людей разворовано? Ведь вы, стройкой занимающиеся, знаете, сколько велик хаос и беспорядки. И любовь к державному устройству слабнет, когда рядом с тружеником и воином процветает мздоимец и вертопрах...

Козодоев смешался. Знал и это, но видел и дела сделанные. Что дальше будет, домыслить не мог. Надеялся на луч-

ший мир для его детей, для дела и для отечества. Подошел к подносу, где стояли бокалы, наполненные красным, местного изделия вином.

– Однако, господа, пора поднять тост за год уходящий и за год грядущий. Перед тем как выпить, прошу вас сказать несколько слов о веке нашем, ведь мы вступаем в последнее его десятилетие. Смогут ли соотчичи в будущем понять нас, посчитают ли они великим то, что нам сегодня кажется таковым, есть ли гений, сегодня не познанный нами, кто будет считаться позором нашим и славой у потомков?..

Свечи в комнате заколебались, по лицам гостей прошли блики, таинственное и серьезное настроение овладело каждым, все задумались, обратив взор куда-то внутрь или, наоборот, перенеся его вдаль, в неведомые грядущие века, как бы испрашивая у себя или потомков ответа на вопрос: что есть их время?

Люди одного века, они понимали его по-разному.

– Господа! Предлагаю восславить наш великий XVIII век. Сей век дивной волшебной фантазмагории. Век оглушительный, ослепительный и обворожительный. Век ломки и стройки непрерывной, замыслов невероятных, проектов фантастических!

– Я поднимаю бокал, чтобы скорее прошел век богохульства, забвения обычаев предков и скотского поношения истины и божественной воли...

– Я за век противоречий, век подвигов великих и страстей

мелких, интриг темных и доблестей славных. Век людей, не боящихся опасностей, игравших битвами и приходивших в отчаяние от холодного приема и неблагосклонной улыбки...

– Не вижу надобности пить за век рабства и насилия, взяточничества и лихоимства!

– Нет, господа, надо похвалить век, девизом которого было «авось» и «как-нибудь». «Авось» – сбывалось. «Как-нибудь» – удавалось. Выпьем за век своенравнейших фортуны и несбыточных удач, за всех красивых и обольстительных женщин!

– Сие был век великих людей. Будут ли они в будущем?

– Это век, когда Россия осознаёт самое себя, постигает свое величие и наверняка скоро поймет, что надо жить по-новому, без тирании и гнета... За Россию, други!

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПОБЕДОЙ

*Во время бывшего июля 31 дня сражения все
командующие судов и разные
члены флота черноморского служители,
находящиеся в оном, с кратким
рвением и беспримерной храбростью и
мужеством выполняли долг свой...
Контр-адмирал и кавалер Ф е д о р У ш а к о в*

*Из рапорта Ушакова Потемкину о полном
разгроме
турецкого флота в сражении у мыса Калиакри*

С наполненными ветром парусами спокойно и неспешно шел русский флот вдоль румелийских берегов к Хаджибею, Лиману и Севастополю.

Вся эскадра постепенно собиралась из районов преследования неприятеля, которого только бог и ночная темнота спасли от полного уничтожения. Но и так победа была великая, и только гонцы, прибывшие в Варну от князя Репнина, спасли турок сообщением о заключении перемирия между империей Российской и Портою Оттоманскою. Ушаков дал команду поворачивать домой. Первой шла группа линейных кораблей и фрегатов, особо отличившихся в бою: «Святой Павел», «Федор Стратилат», «Преображение», «Святой Георгий», «Святой Николай», «Мария Магдалина» и дру-

гие. Флагманский «Рождество Христово» Ушаков на сей раз поставил в центре всей линии, чтобы сигналы с него были виднее. В арьергарде шли бывшие доселе в резерве «Нестор Преподобный» и бомбардирское судно «Иероним». Несколько крейсерских судов непрерывно совершали развороты, то приближаясь к устью Дуная и Днестра, то отходя в сторону от основной колонны, чтобы обозреть морские просторы. Капитан-лейтенант Егор Трубин, уже больше года плавающий на кораблях Черноморского флота, бодро и легко выбежал на палубу. Калиакрийская победа, казалось, всем добавила силы и свежести. Егор посмотрел на оливкового цвета берега, напоминавшие ему о плаваньях далекой уже теперь юности в Средиземном море. И первое, когда он дивился всему, что попадалось ему на глаза, и второе, когда познал он жесткость войны и смерть друзей, и понял окончательно, что дело морское – его призванье, а служение Отчизне – его долг.

Здесь, на Черноморском флоте, под командованием Федора Федоровича Ушакова он окончательно утвердился в том, что честь и слава отечества – превыше всего. Он служил императрице, но она была так далека и недосягаема, что почти и не думал о ней, произнося ее имя как заклинанье и привычную молитву. Здесь, на флоте, его окружали собратья-офицеры, нижние чины, без которых не была бы одержана ни одна победа. За смелость Егора на флоте полюбили, недавно поручили плаванье на бригантине «Феникс». На

ней он ходил почти до берегов Анатолии, когда надо было разведать: где флот, куда двигаются вражеские войска? Снимал он с мелей и русские суда, брал на абордаж одиночные турецкие корабли, пленил несколько легких кирлингачей. А за все это неожиданно получал призы, то есть деньги от проданного с кораблей имущества. Вот и сейчас, замыкая колонну, еще в виду Варны, увидели они притирающийся к берегу турецкий транспорт. Егор приказал ему оставаться на месте, сделал предупредительный выстрел. Приблизившись, с группой солдат перескочил через борт на палубу. Турецкие моряки уже побросали оружие в кучу. Худой и высокий капитан стоял, скрестив руки, показывая всем видом, что теперь его ничто не интересует – он полностью в руках всевышнего. На корме столпилась группа закутавшихся людей. Подбежавший к ним солдат рванул за черное покрывало и, присев от неожиданности, тонким голосом крикнул:

– Братцы, бабы!

Егор подошел, посмотрел: «И впрямь женщины».

– Куда везете? – спросил строго у капитана.

Тот молчал. Черный клубок женской толпы вдруг зашевелился, и из него, уже опустив покрывало, вышла, сверкая черными ночными глазами, девушка. Она торопливо, чтобы не перебили, быстро заговорила:

– Нас везли в гаремы. А у каждой из нас годеник – жених.

Отвезите нас в Добруджу, там наши села!

Егор стоял, пораженный ее юной красотой. Девушка, вос-

приняв его молчание за нежелание отпустить, сложила руки на груди и что-то говорила, мешая болгарские слова с русскими, турецкими...

– Как зовут-то тебя, красавица?

– Росица, Росица, – сразу поняла и ответила она.

– Оружие на корабль! Транспорт отпустить. Женщин накормить, поворачиваем на север, у Каменного мыса остановимся, перевезем их на шлюпке.

Турки, не ведая о перемирии, с удивлением смотрели на ушедших русских, довольствовавшихся столь малым. У поросшего низким кустарником мыса бригаantina бросила якорь, спустили лодку. Девушки прыгали в нее, поддерживаемые моряками, отпуская веселые шутки. Росица отделилась от толпы, быстро побежала к Егору, погладила его по щеке и краешку губ:

– Девочка будет поминать тебя. Ты красив и добр.

Он успел попридержать ее ладонь и слегка коснулся губами. Неуловимо легким движением Росица скользнула вниз и через мгновение уже махала ему из лодки. Так и уплыла она за каменный пояс, унося прелестный запах роз, трепет светлого платка и наполненные благодарными слезами глаза.

– Зря упустили полонянок. Наша добыча – и разделить поровну согласно морскому уставу, – с вызовом сказал кто-то за спиной. Егор резко обернулся и с бешенством выкрикнул:

– Вы сродственных братьев в крепостные запишите, се-

стер похоти своей заставите служить!

Оторопевший мичман отпрянул с его пути, когда он быстро направился в свою каюту, где, минуто постояв, достал журнал и вывел: «Дорогая Екатерина Ивановна...» Попугай, следовавший за ним много лет, вдруг захлопал крыльями, прервал мысль и явственно произнес слово, бывшее несколько дней у всех на устах: «Ка-лиакрия! Калиакр-рия!»

Никола сосредоточенно орудовал топором... На корабль он пришел как корабельный плотник. Раньше его заставляли, но он отказывался, не хотел покидать семью. Сейчас же стало невмоготу. Понукания, окрики, наказания мастеров, офицеров-строителей были уже невтерпеж. Возражал. Но начальство неповиновения не только не любило, но и не терпело. И когда врезали ему пятнадцать линьков за пререкания с офицерами, чаша терпения переполнилась, и он вызвался пойти на «свой корабль», как называл теперь «Святой Николай». Во время боя он должен был помогать заряжающим, подтаскивать бомбы и заряды, помогать тушить пожары, а после боя исправлять с другими умельцами самые опасные повреждения до того, как корабль придет в порт, на верфи и ремонтную стоянку.

Несколько дней назад сюда, сбив перегородку и оставив дыру в палубе, попала турецкая бомба... Никола аккуратно подрубил края в дыре, отмерил доску, положил ее сверху и хлестко вогнал гвозди в хорошо просушенный дуб.

«Калиакрия!» Это слово он долго не мог произнести и запомнить. «Ненашеское какое-то, воронье!» Боя того он почти не видел. С рожком боцмана оказался на нижней палубе. Клубы порохового дыма застилали все перед глазами, и только когда открывались порты, гарь стягивало и перед ним мелькали почему-то красные, покрытые потом спины заряжающих, растрепанный офицер-бомбардир и болтающаяся на одном ремне сорванная взрывом солдатская койка. Дым разъедал глаза, изнутри все выворачивало, хотелось пить. Казалось, ничто не могло перекрыть рев пушек, и вдруг какой-то надземный гром разверг темень над их головами, и они увидели красное светило, прорывающееся к ним сквозь мачты, паруса и верхнюю палубу. Вслед за этим он услышал дикий крик, к нему метнулся его друг по соседней койке, Иван. Да не сам метнулся, а от него отделилась рука, стукнулась о Николу. Помощь Ивану уже, пожалуй, была не нужна. Его душа вылетела, наверное, со струями порохового сизого дыма в блеснувшую голубизной неба дыру. Сегодня все позади. Обернутых в саван после молитвы опустили в море здесь, у берегов Румелии. А живым выделено по рублю за победу. На палубе, отгороженные веревками, сидели снятые с турецких кораблей пленные. Матросы, еще вчера с остервенением стрелявшие по врагам, сегодня беззлобно подходили к ним, протягивали куски хлеба, воду. Никола показал на кисет и протянул худому бритому турку. Рослый боцман, который сегодня не сквернословил, не давал зуботычин, снис-

ходительно бросил:

– Да нешто он это возьмет? Они нехристи. Не пьют и не курят, – и пососал свою маленькую, обитую серебряным ободочком трубочку. Турок, однако, не отказался, взял щепоть табаку и положил в рот, закрыв глаза. Потом встал, показал часовому, что хочет сплюнуть, и вдруг, разбежавшись, перескочил через борт в шлейф белых волн, идущих от носа корабля. Часовой сдернул с плеча ружье и стал торопливо искать дулом то появляющуюся, то исчезающую голову. Но боцман положил громадную руку на его плечо и с грустью прохрипел:

– Не стреляй. Зачем грешить? Не в бою. Куда ему плыть-то...

Корабль шел на восток, и пловец исчез в вихре брызг и волн.

– Хватит распускать шкоты! По местам! – уже грохотал немного смущенный боцман.

Взбудораженные моряки расходились, и кто-то тихо сказал:

– Ишь как домой захотелось к матке да батьке. Может, и детки есть.

Никола с радостью и тоской подумал о своем пахнущем молочком сынишке, коего, наверное, привезет в Севастополь теплая и ласковая жена, ставшая его суженой там, в Николаеве, в день невест.

Вздрогнул, вспомнив прикосновение отлетевшей к нему

руки друга, и понял, что судьба под Калиакрией даровала нашему флоту победу, а ему жизнь.

...Федор Федорович любил постоять в одиночестве на верхней палубе. Его собеседником и спутником тогда была лишь подзорная труба, которую он, что-то приговаривая, разворачивал то на берега, то вдаль к горизонту. Вот и сейчас он достал ее из кармана и навел на мыс, за которым должна была показаться небольшая крепость Гаджибей. Здесь, у Тендры, удалось ему в сентябре 1790 года разгромить турецкий флот, здесь же в прошлом году принимал он на борту светлейшего князя, объявившегося главным командующим Черноморским флотом. Тогда Ушаков соединился с гребным лиманским флотом Де-Рибаса, и в близости Гаджибея, «поправив возможные повреждения и устроив флот для виду в лучшем порядке», принял генерал-фельдмаршала и великого гетмана, князя Потемкина-Таврического. Потемкин заметил Ушакова еще при сражении при острове Фидониси, когда командующий Войнович вел себя трусливо и нерасторопно, а командир авангарда бригадир Ушаков храбро и умело. Войнович был злопамятен и ревновал Ушакова. Но авторитет того рос, росло и мастерство. В ордере от 14 марта 1790 Потемкин написал: «Не обременяю Вас правлением адмиралтейства, поручено Вам начальство флота по военному употреблению, а как я сам предводительствовать оным буду, то находиться Вам при мне, где мой флот

будет». Предводительство, конечно, было, решали вопросы, шли указы, ордера, гнали посыльных, но в морском просторе уже никакой гонец не мог помочь. И тут Федор Федорович преображался, был собран, отдавал четкие приказания, давал точные сигналы. Турецкие линии, выстроенные по примеру англичан и французов, рассыпались, флагман терял управление, корабли бросались врассыпную.

Потемкин в прошлом году после тендрской победы был радостен и весел. Он был доволен своим выбором, и здесь, у самой оконечности империи, мог отвечать всем шептунам и неверам:

– Одержаны великие морские победы, создан боевой флот, под его крылом выросли большие военачальники и флотоводцы. Поистине Росс стал непобедимым!

Светлейший взшел на палубу, обошел строй моряков, поприветствовал, поблагодарил офицеров за службу. Здесь же, на палубе, отслужили обедню. Батюшка хотел показать свое искусство, развернуться надолго, но Потемкин нетерпеливо дернул плечом, и они удалились в каюту Федора Федоровича.

– Люб, люб ты мне, чертушка Федор, да и царица, – так немного по-старинному назвал он Екатерину, – тебя жалует! Сразу после получения известия с прибывшим генеральским адъютантом Львовым приказала провести молебн, дать залпы из ста одной пушки и подняла за своим маленьким столом... – Потемкин заливисто захохотал, – он у

нее почти на триста персон... тост за Черноморский флот и тебя! – Князь прошелся по каюте, посмотрел на карту, иссеченную синими линиями, остановился перед сидевшим Ушаковым, достал из внутреннего кармана бумагу. Понюхал ее, развернул и положил перед Ушаковым. – Читай!

Федор Федорович неторопливо начал:

– «Друг мой сердечный, князь Григорий Александрович!»

Потемкин зашел за спину и из-за плеча нетерпеливо при-
ахивал:

– Ах! Ты понял, Федор Федорович! Понял, дорогой мой контр-адмирал!

Ушаков читал вслух, чтобы не впасть в излишнюю интимность, не коснуться тайно того, чего не положено знать:

– «Я всегда отменным оком взирала на все флотские вообще дела; успехи же оного меня всегда радовали, нежли самые сухопутные, понеже к сим исстари Россия привыкла, а о морских ее подвигах лишь в мое царствование прямо слышно стало». – Ушаков с недоумением обернулся на Потемкина, хотел спросить: «А как же Гангут, Гренгам – сии славные морские виктории Петра?» – но светлейший махнул рукой – читай дальше! – «Черноморский флот есть наше заведение собственное, следственно сердцу близко. Контр-адмиралу Ушакову по твоей просьбе орден Св. Георгия второй степени и даю ему 500 душ в Белоруссии за его храбрые и отличные дела».

Потемкин выхватил письмо и дочитал:

– «Спасибо тебе, мой друг, и преспасибо за вести и за попечение и за все твои полезные и добрые дела; я к тебе пошлю... прибор кофейный золотой для потчевания пашей, кои к тебе приедут за сим для трактования мира. Я надеюсь, что за действиями морскими и когда увидят, что сухопутные войска идут, они скоро за ум возьмутся, а лесть покинут... Прощай, мой друг. Бог с тобой».

Князь закрыл свой глаз, тихо постоял и торжественно сказал:

– Ты понял, дорогой друг, что ты великой чести удостоен и будешь первым в чине генерал-майора или тем более контр-адмирала награжден этим орденом. У тебя, Федор Федорович, да и у Суворова, – нехотя признался князь, – ключ от мира с Портой!

– Нелегко, нелегко будет нам, ваше сиятельство, сей ключ вырвать у них из рук. Флот наш все еще слабый. Надо новые корабли строить, команды обучать, офицеров у нас все время забирают то на север, то в штабы, конторы адмиральские. Надо бы им побольше дать пороху понюхать!

Потемкин сам любил дело, но и он не ожидал, чтобы вот так, без благодарности за доверие, за награду, за прочтение письма императрицы, без пышного слова в свой адрес, хотя изрядно ему надоевшего, Ушаков перейдет к потребностям флота. Князь погрузился, кивнул контр-адмиралу, попросил написать рапорт ему или письмо Попову. Федор Федорович не замечал тени на лице Потемкина и продолжал излагать

просьбы...

– Да ты, батенька, все сразу хочешь решить. А на это время надо. Давай будем заканчивать. Худо что-то мне.

Легкая зыбь действительно замутила свиту, да и самого князя, и он заторопился.

Ушаков запоздало отблагодарил светлейшего у трапа, и тот, не злобясь, пожал руку и обнял контр-адмирала,

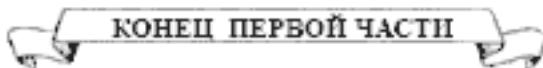
– Ждем новых викторий, Федор!

...А виктории легко не давались, приходилось ругаться с интендантами, спорить со строителями, наказывать нерадивых и чванливых, требовать деньги на свежую провизию, заставлять выбрасывать старые бочки, проводить экзерциции с утра до ночи с моряками, бомбардирами, офицерами. Учил стрелять «скорострельными спышками», давать точные сигналы, моментально раскрывать паруса, быстро перестраиваться в походе. Денег не имел, но платил за все умелое: за храбрость, за точность.

Каждое действие по уничтожению и взятию неприятельского корабля расписал, сколько стоит. Свои деньги отдавал в казну на оплату, занимал у других. Да что деньги! Готов был для России на все. Крепился перед лицом вельможного невежества, сановитого чванства и чиновного хамства. Для отечества сжимал он волю в кулак, сражался неистово, стремился только к победе.

И вот Калиакрия! Калиакрия! Калиакрия! Битва у мыса звучала победной музыкой в его ушах. Она полновластно

утверждала русский флот на Черном море. От Анапы до Гаджибея, от Кубани до Дуная плавали корабли под андреевским флагом. Великая страна поручила выход к югу, к старым и известным центрам торговли и культуры, к Риму и Дамаску, Константинополю и Неаполю, Кипру и Венеции. Россия распахнула окна на полудень!



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

**Историческое повествование о
событиях конца века XVIII, о
дальних походах, свершениях,
сражениях, потрясениях и
мыслях людей того времени,
о славе и горестях России.**



Коль тщетно Запад, Юг, и Север, и Восток,
Вы изощраете противу Россов стрелы!

Пребудет Россом Росс... непобедим, высок;
Трофеи... честь его, вселенная... пределы.

Ермил КОСТРОВ

У ВЕКА НА ВЕРШИНЕ

Пролог

Кончался XVIII век. А с ним многое рушилось. Задумалась дворянская Россия, ведь разваливался старый мир, горели имения и замки вдали. Да что имения, перестала существовать французская империя. Какой-то безвестный, но яростный священник под гул одобрения тысячеголовой гидры французского Конвента кричал о королевских фамилиях: «Дворы – это мастерские преступления, очаги разврата, логовище тиранов». Что-то непонятное, кроваво-красное возникло на обломках могущественной Франции.

А за океаном, как бы вынырнув из его глубины, рождалась новая держава, американская, сокрушившая свою непобедимую дотоле коронованную владительницу. Держава без монарха-самодержца, без крепостных! Были, правда, рабы, но то люди черные. Везде переставали верить в бога, в господина. Перестали подчиняться старшему, родовитому. Земля любит навоз, конь – овес, а баре – принос. Неужели перестанут приносить?

С ранним солнцем тянулись на поля крестьяне. Косы, серпы, вилы топорщились во все концы от этого моря людей. А вдруг все это обратится в оружие санкюлотов, или еще страшнее – в пугачевский смерч? Да нет, как можно лишиться всего, чем обладаешь, из-за бредней каких-то философов, из-за архисумнительных книг? Нет. Пусть не извращают ис-

тины, не портят нравы людей. Да и не люди те, что идут на поля. Не люди, а холопы, слуги, рабы даже...

Но все равно рождалось беспокойство. Что произошло? Как не уберегли богатства и голову французские короли? Куда мчатся Северные Американские Штаты? Что будет с Россией, если дать послабление поселянам? Ну, не отменить крепостное право, а помягчить. Да и купцы, другие сословия рвутся места хорошие занять, А что будет с дворянством? Куда родовитым, знатным да просто служилым? Задумывались. Ломали голову... Но не все. Мало ли какого мора, душегубства, греха не обрушивалось на Россию. Да все проходило, смывалось годами. А они, их родичи жили и существовали и жить будут. А смутьянов поставят на место или голову отсекут!.. А вдруг не поставят?..

Великая императрица Екатерина испугалась. Возвратила из Франции всех своих подданных. А тем, кои не желали возвращаться, пригрозила конфисковать имущество. За каждым французом в России установили наблюдение. Оставшихся привели перед алтарем к присяге, осуждающей казнь короля и заверявшей в верности монархии. А если бы кто из них оказался подозрительным, – «таковых повелеваем выслать тотчас за границу». Сам директор почт России Пестель просматривал все письма иностранцев и подозрительные отсылал императрице. Горе тому, кто пытался хвалить якобинцев и не любил российского порядка. Даже своих многолетних и верных слуг, придворного библиотекаря Дюпуже и

воспитателя внуков Сибура, отправила Екатерина в Сибирь. Второй воспитатель, Лагарп, был выслан из России.

Часто можно было видеть тогда надвинувшего шляпу на уши и задремавшего в трактире соглядатая, шныряющего на базаре между возами и лавками сыщика, слушающего внимательно послемолитвенную болтовню доносчика.

«Неизвестных людей терпеть... не надлежит, а напротив, через полицию обо всех без изъятия обстоятельно выяснить: отколь кто приехал, с каким паспортом, за каким делом и к кому, у кого точно квартиру имеет и в чем упражняется. Во всех трактирах и публичных местах иметь своих людей, чтобы знать, кто в них ходит и что там говорят; а при том ни под каким предлогом не позволять там оставаться более одиннадцатого часа, а ослушников брать под караул. На больших дорогах, в корчмах и шинках, как в городах, так и в местечках тоже... за всем сим примечать и немедленно нам доносить...» Такого рода документы определяли регламент каждой губернии. Все стены, тогда имели уши, а окна глаза. Полицейские везде искали бунтовщиков и якобинцев. Зная ненависть императоров к последним, чиновники на местах старались обнаружить и обезвредить, предать наказанию как можно больше якобинцев. Задавили бунтовщиков Костюшко в Польше, сослали Радищева, запретили пьесы Капниста, посадили в Шлиссельбургскую крепость Новикова. Свистел кнут, гремели кандалы уходящих в Сибирь каторжников. Не пройдет французская зараза в Россию! Не пройдет!

Слова, любимые тогда во Франции – «гражданин», «общество», «отечество», – коронованный после Екатерины Павел запретил употреблять в империи. Галстуки, повязки на башмаках, косынки красные, круглые шляпы – все полетело в костер, французский язык изгоняли из учебных заведений.

Посрамлялись возносимые доселе на пьедестал Вольтер и Руссо. Вместо их книг появились: «Вольтеровы заблуждения», «Изобличенный Вольтер», «Мысли беспристойного гражданина о буйных французских переменах», «Ах, как вы глупы, французы», «Излияния сердца, чтущего благость единоначалия».

Гонялись за двусмысленными французскими карикатурами полицейские. А сколь серьезен оказался французский политический анекдот! Сама императрица «наистрожайше запретила печатать их в «Московских ведомостях». Сии «Пасквилы» и «Сатиры» были очень дальнобойные и язвительные.

Увеличились Московский и Петербургский гарнизоны, ко двору никого новых не брали, выросло число цензоров и шпионов. Не пройдет французская зараза, не пройдет!

Но было и другое в государстве. Ведь на чуткую российскую душу, на беспокойный мятежный ум лучших сынов ложилось европейское просвещение, не давал заснуть совести народ. Оглядывались и поражались они. Как можно держать в рабстве себе равных? Откуда такая алчность, грабеж и жестокосердие помещиков? К чему сии чины и ленты и бес-

человечное вельможество, весь этот блеск внешности, если торжествует зло?! Для них и самих это было нестерпимое открытие и спешили поделиться осуждением сим с ближними. Горе им! Шлиссельбургская крепость, далекий острог или изгнание за рубеж ждало всех, кто открыл вдруг широко очи свои, кто уразумел то, что другие понять не могли. Кто решил преграду поставить самовластию и тирании, лихоимству и нечестности, хотя бы за-ради примера позднеjšíму потомству... Но нет, не пропадут их усилия. Потомки будут славить их и учиться мужеству у славных сынов сиих!

...Под перезвон топоров и колоколов, хлопанье парусов и весел, громы пушек и стук кузнечных молотов, стон крепостных и торжественные «виваты» в честь знатных побед над неприятелем заканчивала Россия XVIII век. Была она держава наипервейшая. Больше всех производила металла, ткала полотна, собирала зерна. Тридцать шесть миллионов жителей обитало на четырнадцати миллионах квадратных верст.

Великие виктории одержаны были в конце века. Полководец первой статьи Румянцев рассыпал строй солдат и разгромил превосходивших его в силах турок при Кагуле и на высотах Шумлы. Слава Суворова была повсеместна. За ним были Кинбурн, Рымник, Измаил. Победы фантастические! О его неутомимости, энергии, стратегическом уме знали все: и битые им османы, и союзные австрийцы, и англичане, и соперничающие французы. Морской гений Ушакова старались не замечать. Незнатен, необходим, не склонен к изящно-

му иностранному стилю. Но как не замечать? Победы-то под Фиодониси, Тендрой, Калиакрией с холодком на спине обсуждали не только в Стамбуле.

Расцветали науки. Имена великого Ломоносова, ученых Эйлера, Севергина, Палласа, Лепехина, Зуева, Дашковой были известны академической Европе.

Славные победы российского оружия повлияли и на отечественную музыку. Музыканты, «имевшие итальянские и французские уши», вдруг слышали песни своего народа. Русская мелодия зазвучала в операх Соколовского и Фомина, в кантах Березовского и Бортнянского, потянулась тонкой ниточкой из-под скрипки виртуоза Хандошкина. Победные марши, панегирические песнопения, звучные гимны обрамили великие виктории. Знаком времени был скрестивший музыку Козловского со словами Державина торжественный полонез «Гром победы, раздавайся», что стал фактическим гимном России.

Кисти Антропова и Аргунова, Левицкого и Рокотова воссоздавали и уносили в века полных очарования русских женщин, их легкую задумчивость и грустную улыбку, зримо давали почувствовать бремя государственных забот, лежащих на плечах глубокомысленных и слегка напыщенных горделивых мужчин. Баженовский дом Пашкова напротив Кремля и фальконетовский Петр на вздыбившемся коне в центре Петербурга показали, что руке, разуму архитектора и скульптора подвластны все вдохновенные замыслы.

Зачитывались грамотные люди одами Державина и Ломоносова, пьесами Капниста и Фонвизина, сочинениями Карамзина и Эмина, журнальными статьями Новикова и Болоотова. Самый большой русский поэт конца века Гавриил Державин, взирая на невиданные подвиги чудо-богатырей Суворова, с восхищением, гордостью и некоторой грустью обращался к царям: «Чего не может род сей славный... свершить?» И, не видя ответного помысла с береженьем относиться к людям, взывал:

Умейте лишь, главы венчанны,
Его бесценну кровь щадить.
Умейте дать ему вы льготу,
К делам великим дух, охоту
И правотой сердца пленить.
Вы можете его рукою
Всегда, войной и не войною
Весь мир себя заставить чтить!

...Узким клинышком от Полунощного Ледовитого океана входила в шестнадцатом веке Россия в плодородные земли самой большой низменной равнины Европы. Гигантским державным лемехом, протянувшимся от северных лесов до знойных степей Таврии, вспахивала она ныне, в восемнадцатом веке, южные черноземы.

Страна ширилась, осваивала новые просторы. Деятельные и энергичные ее сыны – землепроходцы уже прошли по ка-

менистому побережью Камчатки и Чукотки, утвердились на Аляске и спокойно остановились, передыхая, под пальмами Калифорнии.

Распахнула Россия и морское окно на юг. Ее флот вышел через Черное море к османским землям, древнему Египту, библейским долинам Леванта, к средиземноморским странам Европы, в Азию и Африку. Бывшая дикая степь Причерноморья еще недавно была порубежьем. А когда-то давно жили здесь древние русы. Легендой, мифом, сказаньем казалось то время, когда был здесь южный край Киевской Руси. Ныне две кровавых войны освободили земли от османов. Ушли они. Началось новое заселение. Знойная степь, поросшая ковылем, неприветливо встречала первых поселенцев. Не хотела отдавать сразу своих кладов, не преподносила даровых урожаев. Засуха выжигала все посевы, а серая перепончатая саранча выгрызала оставшиеся хилые росточки. Дикой и черной казалась степь: беспородной. Не один крест добавлялся тогда на еще не заросших кустами сельских погостах.

Но пришли и другие годы. Дул западный ветер, шли теплые дожди, тучными становились нивы. Невиданные урожаи пшеницы собирали. Куда хлеб продавать? Не беднякам же раздавать. За границу как-то непривычно и до лифляндских портов далеко. В Херсон надо везти, в Николаев, в Керчь – недалеко ведь! В Херсоне, правда, перегружать надо с речных кораблей на морские, а в Николаеве порт в основ-

ном оборудован для строящихся там кораблей. Нужен, нужен был там, у незамерзающего теплого моря, большой порт – порт торговый, стоянка для своих и иноземных кораблей, место торговых сделок и купеческих прикидок. Порт для тех, кто готов подрядиться на близкие перевозки товаров и на дальние удачливые походы в погоню за прибылью. Широко раскинулась Россия, и там, на юге, как и везде, в конце века, как и в другие годы, ждали, надеялись, думали о лучшем будущем русские и украинцы, молдаване и болгары, греки и армяне, немцы и сербы, евреи и поляки – все те, кто заселял эти новые российские земли.

ЗА КАРТОЧНЫМ СТОЛОМ

В шесть вечера шел обычный прием. Екатерина рассеянно проходила вдоль рядов выстроившихся вельмож, иностранных дипломатов, генералов. По ходу бросила незначительную реплику князю Голицыну. Многозначительно улыбнулась фрейлине Протасовой и поспешила за любимым карточный столик. Тут, как всегда, собрались постоянные партнеры: граф Разумовский, фельдмаршал Чернышев, князь Голицын, графы Брюс и Строганов, князь Вяземский и французские эмигранты – граф Эстергази и маркиз д'Аламбер.

Играли в винт по десяти рублей робер. Екатерина веселилась. «Веселость – вот единственное средство, которое помогает нам все превозмогать и все перенести», – любила говорить она. Вот и сегодня прихохатывала и плутовала. Камергер Чертков пыхтел, был недоволен, когда она явно жульничала, потом не выдержал и бросил карты: «Так не играют». Графы и посланники замерли, а Екатерина, явно довольная, что надула партнера, добродушно засмеялась и обратилась к французским эмигрантам: «Господа, да объясните вы ему наконец, что я играю вполне правильно».

Чертков уже не владел собой и крикнул: «Да, хорошие посредники, они собственного короля провели». Екатерина нахмурилась и уже грозно приказала: «Замолчи!» Отодвинула карты и в скорбной задумчивости обратилась к д'Аламберу

и Эстергази: «У меня, господа, не идет из памяти, как нация за несколько лет преобразилась, как люди из послушных подданных и верующих глубоко в бога превратились в стадо безбожников, разбойников и глумителей».

Д'Аламбер потрогал острую бородку и сказал: «Да, ваше величество, это необъяснимое божеское наказание. Но это объясняется нашими грехами. Все молодые люди стали неверующими. Под видом просвещения шло развращение. Вольтер стал выше церкви. Энциклопедия заменила библию. Они выбросили сердце и поставили во главе всего свой узкий разум. Народ ленился и небрежничал. А дворяне погрязли в удовольствиях, не пеклись о тропе и защите короля от врагов внутренних».

Екатерина задумалась, казалось, прикинула, что из сказанного имеет отношение к ее империи. Встала, подошла к окну и вдруг со злостью сказала: «Я уже говорила французскому наследнику: ваша страна погибла от того, что там все предаются, разврату и порокам. Опера-Буфф развратила всех. Я думаю, французские гувернантки все проститутки... Я уверена, что во Франции, как в России, ведь почти все люди любят монархию. Она должна быть абсолютной, и лишь этот сброд депутатов, эта конвентная гидра о тысяче двухстах головах действует против воли всех. Все эти крючкотворцы и сапожники, адвокаты и слуги. Как могут сапожники вмешиваться в дела правления? Сапожник умеет только шить сапоги».

Эстергази соглашался и видел причины революции в заговоре философов и злодеев иллюминантов против монархов. Революция – порождение сатаны, но и кара, ниспосланная свыше.

Екатерина ходила по комнате между карточным столиком и тумбой, доходила до окна, смотрела на Неву, резво поворачивалась и решительно шла вперед, раздувая ноздри. Все, кто только что безмятежно играл в пустые игры, наполнились тревогой. вспомнили, что еще пятнадцать-двадцать лет назад императрица не расставалась с сочинениями Вольтера, с «Эсприт» Гельвеция и с сочинениями Жан-Жака Руссо. Она гордилась своим вольнодумием и философскими взглядами, а кое-кто в 1778 году переписал ее шутивную эпитафию себе: «Здесь покоится тело Екатерины II, родившейся в Штеттине 21 апреля (2 мая) 1729 г. Она приехала в Россию, чтобы выйти замуж за Петра III. 14 лет она составила тройной план: нравиться своему супругу, Елизавете и народу – и ничего не забыла, чтобы достигнуть в этом успеха. 18 лет скуки и одиночества заставили ее много читать. Вступив на русский престол, она желала всеобщего блага и старалась обеспечить своим подданным счастье, свободу и собственность; она охотно прощала и никого не ненавидела. Снисходительная, жизнерадостная от природы, веселая, с душою республиканки и добрым сердцем, она имела друзей. Работа для нее была легка. Общество и искусство ей нравились».

Да... «С душою республиканки». Но то было раньше. Сей-

час же она распрощалась с иллюзиями и заблуждениями. Ужасный удар нанесло по ее спокойным воззрениям просвещенной императрицы мятежное буйство Пугачева и вот это известие о гибели французского короля от этих пьяниц, от этих каннибалов. Уже несколько месяцев она не могла спать спокойно.

«Давно следовало побросать в огонь всех этих наилучших французских авторов и все, что распространило их язык в Европе, – Екатерина про себя вспомнила и тех российских писателей, кто говорил теперь уже опасным языком вольнолюбия. – Что же касается до толпы и ее мнения, то ими не стоит и дорожить. Не дорожить, но и не давать пищи злым умам, не пускать их ко двору, к мыслям своим, поступкам. А французы любят поворошить белье царствующим особ. Знаю, что господин Рюлер, секретарь французского посольства, распространил в списках анекдоты о событиях 1762 года в России. Сие он называет революцией. Но то было богоугодное дело. Говорят, что Людовик XVI, хотя и написал, что сии записи бездоказательны и малоинтересны, но обвинил ее в недостатке снисхождения к супругу. Да если бы она была снисходительна, то державу бы довели до развала. Или ее бывший глупец – муж, или его черная тень – Пугачев. А прояви-ка она снисхождение к Новикову или бунтовщическим склонностям Радищева, да, может, ее голова уже тогда скадилась бы в корзину от этой чудовищной машины французов». Ей стало жаль себя, и она, сжав губы, подумала: «Нет,

я уже убедились, что надо быть твердой в своих решениях... только слабоумные нерешительны».

Она гордо подняла голову, сделала еще два резких разворота и остановилась перед Чертковым. Тот, вжимаясь в кресло, подумал: «Сейчас хвостом почнет бить по бокам. Сушая львица».

Екатерина II уже не казалась малой ростом, сквозь румяна пробивалась бледная гневность, она сбросила с кисейной, расшитой золотом туники доломан из красного бархата и, опершись рукой о стул, гневно закончила: «Если бы я была Людовиком XVI, я или совсем не уехала бы из Франции, или же давным-давно вернулась бы туда обратно, несмотря ни на какие бури и непогоды, и этот выезд или въезд зависел бы исключительно от меня, а не от какой-нибудь другой человеческой власти. Пора, пора и нам с оружием выступить против гидры».

Чувствовалось, что она старалась уверить всех и, может быть, больше всего себя в высоком предопределении ее власти, в непоколебимом могуществе ее империи, в незыблемости порядка, утвердившего королей и императоров. И когда все попали под магию ее величия, опустили глаза или преданно взирали на императрицу, Екатерина безвольно опустила руку и медленно сказала: «А может, что-то изменилось в этом мире, господа?»

«ЭЙ, ГОДИ НАМ ЖУРЫТЫСЯ...»

В Тамани жить, вирно служить,
границю держаты...

Казачья песня

Более пятнадцати лет назад рухнула родная для казаков Запорожская сечь. Казалось, все. Часть казаков бежала за Дунай, а большинство рассеялось по небольшим хуторам, бывшим своим зимовникам, превратилось в «гречкосеев» и «землюков». Но не окончились на этом их муки и страдания. Хваткие помещики захотели прикрепить их к земле, заставить работать на себя, платить барщину. Этого вынести вольные казаки не могли. Неизвестно, что бы случилось, но цепкий взгляд Потемкина высмотрел их в море беспокойствия людского, вытащил их из степных оврагов и садочков, из землянок и хат на воинскую службу.

В Петербурге, в помещичьих усадьбах казаков не любили и боялись. Всякое упоминание о них вытравливали и ни о каких побрякках и слышать не хотели. Но Потемкин по своей строптивости да державной осторожности с сим не согласился. Упросил восстановить войско, назвал, правда, дабы не возбуждать двор, его войском верных казаков. А сейчас, когда закончилась вторая русско-турецкая война, где запо-

рожцы славно сражались вместе со всем русским воинством против «басурманов», поселились ныне уже черноморские казаки тут, на новом порубежье вдоль Днестра, Буга и у Черного моря. Поселились на лимане Бухаза, у развалин крепости, жили тут вместе с рыбаками – болгарами и молдаванами. Жили они и у косы великой, у озера Белое, в селах Корытно и Незавертай в Чубурче и Слободзее. Да и во многих селах стали казаки на постой и жизнь.

Жил тут в Слободзее и Максим Щербань. Правда, в казаках он ходил всего десять лет. А вот его дед был из самых что ни на есть истинных запорожцев. А Максим после того, когда их зимовник разорили крымчаки, долго ходил – мандрувал по Украине, научился играть на бандуре, сопровождал бродячего мудреца Сковороду, помогал в дальних поездках за солью чумакам, нанимался на работу в степные колонии. А когда началась новая война, вместе с селянами из местечка Комышня подался на юг и тут без лишних слов был приписан к казачьему сословию – под пули и сабли. Был ранен при взятии Измаила. Сейчас нес службу по Днестру. И вместе со всеми казаками снова вроде бы не знал, что делать. А было их на новой очаковской земле ни много ни мало, а больше тысячи трехсот семей. Головатый, судья войска, бывалый политик и дипломат отменный, отбыл в Петербург за царской волей. Все ждали, признают ли наконец после столь многих подвигов и сражений, в которых участвовало казачье войско, пожалуют ли им земли, вольность и награды. Или

опять выйдет на площадь недоброй памяти генерал Текели и объявит об уничтожении казачества, роспуске войска. Что делать тогда, куда ружья поворачивать?

Головатый, судья войска запорожского, въезжал в Слободзею торжественно и шумно. То ли добрый указ привез, то ли прикрыть хотел черные вести. А тогда, как ведомо то мудрым командирам, надо было больше шума и громких слов. Казак, конечно, разберется, что за этим кроется, но тут что-нибудь и произойдет, найдет новая беда или радость, и перешибут тот хитрый обман. Бывалые казаки хмуро крутили ус: что-то будет после «цього грюкання»? Молодые просыпались, потягивались, весело поглядывали на висевшие на стенах сабли и рушницы. Чувствовали – приближается боевое дело, по которому начали уже скучать. Ну а если дела и не будет, то можно хорошо выпить – ведь недаром так громко стреляет пушка. Жены и матери – а черноморские казаки уже не всегда придерживались запорожского правила: не жениться – надевали белые хустки и выходили на порог. С тревогой вглядывались в казачий отряд, что спускался с горы. Им любая весть, что приходила из-за бугра, из дальней стороны, была опасна и не нужна. И светлая материнская слеза уже застилала очи, а руки молодых жен жадно обнимали черноволосых и кареглазых молодцов. Уж пусть бы лучше выпили крепко вечером, но не седлали поутру боевых коней. Но судьба, известно всем, к женским слезам равнодушна, а

в жарких объятиях молодежи остается она лишь в короткий, часто не повторяющийся миг любви. И двигалась эта судьба с заовражной горы вместе с дымным пороховым облачком от стрелявших пушек, неспешным отрядом Головатого к Слободзее. Его у Буга встретил отряженный кошевым конвойный полк. Полковники и старшина от урочища Кучурган сопровождали Головатого и, подъезжая к судье, зыркали на него – не проговорится ли? Головатый, обычно говорливый и шумный, молчал.

Рано утром в Слободзее ударили в колокола. Все, собственно, были уже к сбору готовы и не мешкая потянулись на площадь. Становились не в строгом порядке, но по куреням – лавами. Какие там курени! Сколько рассеялось их, казаков, по разным селам и городам, сколько осталось лежать под Очаковым и Гаджибеем, Измаилом и Кинбурном. И здесь ныне, на юго-западной границе державы Российской, несли они свою боевую службу, как и прежде, защищали землю славянскую от захватчиков и грабителей.

На возвышение перед церковью, покрытое турецкими коврами, встали кошевой атаман Антон Чепига и писарь, дай бог им здоровья. Рядом на церковное крыльцо вышел невесть откуда взявшийся архиепископ херсонский Амвросий в длинной золотой ризе.

Казаки приутихли – если приехал главный поп, то дело дюже серьезное. Или война, или... Да что может быть важнее войны в казацкой доле. А к войне они готовы всегда.

Чепига повел рукой. Пушки у церкви выстрелили три раза. И навстречу отряду судьи пошли, приглашая к церкви, старшины. Головатый спешился и двинулся пешком вдоль лав. Впереди его шло четыре штаб-офицера. Они торжественно несли хлеб и какую-то бумагу. Сам судья и его сыновья с видом необычайно суровым несли солонку и саблю с камнями.

– Хлеб-то, мабудь, из Петербурга, а грамота сурьезна, он бачь як важно лежит, – шепнул Максиму Щербаню его сосед и товарищ Пархоменко и выстрелил из пистолета при приближении процессии к их лаве.

Головатый шел медленно, а над его головой густело облако порохового дыма от казацких рушниц и пистолей, что имели сегодня своей целью не вражью голову, а небо и далекие тучи. Головатый подошел к кошевому и, поклонившись, отдал ему из своих рук все высочайшие дары: хлеб, соль, грамоты, а саблю «поцепил» на его пояс. Чепига поцеловал хлеб и положил все на длинный, покрытый парчою стол у холмика. Потом откашлялся, поправил пояс и негромко сказал:

– Славное товарищество казацкое! Наш головной писарь Головатый, чьей учености мы не раз дивились, приехал к нам с волей матушки нашей императрицы Катерины. – Атаман говорил ровно, слова о царице голосом не выделил, как было принято. – Дадим ему слово?

Казаки молча закивали, кто-то крикнул: «Пусть говорит!» Головатый выступил вперед, поклонился и начал на такой

ноте, что стало ясно: скажет важное.

– Шановное товарищество! Славная наша императрица Катерина, дай бог ей здоровья и долгих лет царствования на славу ее и на радость нам, горемычным, премного довольна нашими делами и подвигами.

Слово «горемычным» казакам не понравилось. Любили себя принизить и пожалеть, но то больше в питейных баталиях, а в серьезных разговорах были горды и независимы. Да и похвалу императрицы поставил вначале, значит, что-то он сдобривает. Ведь не за этим же только в Петербург ездил?

Головатый продолжал:

– Любит она нас, любы ей и наши подвиги славные. И поэтому дарует нам новые богатые земли, дает награды, вольность постоянную и службу военную. Читай, писарь!

Тот как-то быстро и неторжественно прочитал царский указ:

«Кзакаов черноморских, которые многими мужественными на суше и водах подвигами показали опыты ревностного усердия и отличной храбрости, поселить в Таврической области. Всемилостивейше пожаловать оным в вечное владение состоящий в оной области остров Фанагорию или Тамань с землею между рек Кубани и Азовского моря лежавшею...»

Площадь замерла. Даже беспокойные вороны, усевшиеся с опаской после выстрелов на церковь, затихли и, склонив набок головы, с удивлением взирали на это враз оцепенев-

шее многолюдье: что так могло поразить этих вечно шумливых людей?

А казаки думали, что то было за решение царское? Почему их дальше и дальше от родных запорожских степей гонит царская воля? Что ждет их в кубанских степях? Не остаться ли здесь, хотя и попадешь сразу в руки помещику или богатому колонисту? Набежавшей волной захлестнула толпу тяжелая дума. И когда готова была уже она снова всплеснуться сотнями голосов, вперед выступил Амвросий и поднял руки.

– За высокую волю императрицы нашей, за славное ее и справедливое решение помолимся.

Казаки привычно потянулись ко лбу, закрестились. Амвросий густым голосом повел:

– Сорадуюсь благополучию вашему, христолюбивые и верные верного коша воины! Уж скорбь и смущение отъяты от сердец ваших, уже бытие ваше незыблемо!

Максим стоял вдали от церкви, и до него доносились не все слова, но он слышал, что архиепископ призывал их подумать о своем состоянии и поблагодарить царицу.

– Кто служит по долгу... имеет ли право требовать и определять себе награждения? Все, что бы ни делали мы, есть наша обязанность, есть следствие нашей верности, любви и повиновения...

...Вы слышали те похвалы, коими удостоены ваши ратные подвиги и прочие добродетели. И что может быть славнее, что честнее, чем похвала... Титлы с бытием нашим исчез-

нут, драгоценности перейдут в руки других. Начертания... увлажняющие ваши подвиги пребудут... уготованы вам земли и воды благосклонные изобилием потребностей чистейших.

Он закончил свое краткое поучение, благословил казаков на путь долгий и подвиги во имя христианства и отступил назад.

Чепига снова негромко, но все равно это было слышно по всей площади, сказал:

– Ну так шо ж, панове, надо волю императрицы исполнять, и через дня три посунем на Кубань. – Немного подумал и закончил: – Та казаку больше часу и не треба. Так что звиздцы ранком по куреням, через села наши пойдём! – Не сдержался и добавил: – Ридна земля, Украина мила, прощевай!

Сто один раз выстрелили пушки в честь императрицы, пятьдесят один за наследника, да за Сенат стреляли, да за Синод, за все православное войско, за кошевого, за судью.

Э-э-э, да кто там их уже считал, те выстрелы!..

У кошевого, у судьи, да и рядом с церковью раскинулись столы с хлебом, салом, цибулей, всякой мужской закуской и горилкой, на которую кошевой не поскупился. Чарка шла за чаркой. Пархоменко все приговаривал:

– Ось дождалысь, так дождалысь! Ну и плата-розплата! – Потом выпивал очередную чарку и обращался к Максиму: – Та воно и ничего – границу знов будем держаты, рыбу ло-

выты. А може, и оженюся, га, Максимэ? А ты пойдешь?

– Не, друже, я зостанусь тут. Тут еще есть дила, кое с кем расплатиться надо. Да ще заполонила менэ одна красуня.

– Чи то не та московка, шо з староверов, двумя перстами молящихся?

– Та, та, дружэ.

– Ну бабы, ну жинки прокляти, такого козака вид шабли виднимают. Ни, не буду, не буду жениться. Пойду на ту Тамань, хай там буде моя Сич! Ось там, може, и оженюсь. – Он выпил еще одну чарку, встал и крикнул. – Ну годи! Годи нам, казакам, журытыся, – и, наклонившись к Максиму, что сидел рядом с ним, попросил: – А ты, друже, склади писню про нас! Та шоб не жально було, не смутно. – И, выхватив пистолет, еще раз выстрелил вверх. И всю ночь над слободою гремели выстрелы. Шум был великий.

Через трое суток задымила, закурчавела дорога на восток. Над степным разноцветьем, поросшими кустарниками оврагами, беспокойной водой Днестра неслась лихая с сердечной грустью и болью песня:

Эй, годи нам журытыся, пора перестаты,
Дождалися от царицы за службу зарплаты...
В Тамани жить, вирно служить, границу держаты,
Рыбу ловить, горилку пить, шей будем богаты,
Да вжеж треба женитися и хлиба робыты,
Кто прийде к нам из неvirных, то як врага быты.

КОНТРАКТЫ УТВЕРЖДАЮТСЯ

Херсон генерал-аншефу Суворову нравился больше, чем финские города, откуда он только что приехал. То ли его живой, изменяющийся вид соответствовал генеральскому характеру, то ли воспоминания о недавних победах в этих землях у Кинбурна придавали ему силу и энергию.

Получив новое назначение сюда в конце 1792 года, он немедленно отправился на юг, где рескриптом Екатерины ему поручались войска в «Екатеринославской губернии, Тавриде и во вновь приобретенной области» с предписанием укрепить границу.

В неморозный южный декабрьский день оказался в Херсоне. Сразу принялся за дело. За полгода его командования город изменился. Исчезли с базара торговавшие рыбой и дичью егеря и гренадеры, просохли сырые, неухоженные госпитали, изгнаны косившие гарнизон и обывателей болезни, солдаты были накормлены и обихожены, в полках воцарил порядок, начались постоянные учения – экзерциции. Прибытие Суворова почувствовалось и на той стороне Черного моря – попритихла воинственная Порта, там громче слышался голос сторонников мира с Россией.

Особой заботой генерал-аншефа были крепостные укрепления, все строения и сооружения, укреплявшие оборону. А на то время он был едва ли не лучший организатор по их

строительству и наблюдению за ними. Все считали, что он только в поле может сражаться, а он все для победы любил делать наверняка. И крепостные стены всегда брал в учет при всех баталиях. Строить укрепления, инженерные сооружения любил и раньше на Кинбурне, у Измаила. Особо совершенствовался при этом в Финляндии, хотя там оказался не по своей охоте.

Ни к кому не любил и не хотел приноравливаться. После штурма и взятия Измаила сиятельный князь Потемкин обратился к нему, что бы он пожелал себе в награду. Тогда ответил резко и непримиримо: «Я не купец. И не торговаться с вами приехал. Кроме бога и государыни, никто меня награждать не может». Потемкин, хоть и знал, сколь велики заслуги генерала, но дерзости не простил. Результат: наградой достойной его обошли. Екатерина, правда, тоже понимала, что генерал ей еще понадобится, и послала вроде бы с важным поручением проинспектировать крепости Финляндии. Он проинспектировал, составил план укрепления и получил немедленное указание осуществить оный. В Петербурге же в это время гремела музыка в честь победителей Измаила. Но его слуха она не достигла. Рабочая ссылка. В ней можно расслабиться, опустить руки, запросить прощения, но Суворов безвыходных положений не признавал. «Играть хоть в бабки, коль в кегли нельзя». За короткий срок там, на севере, возвели новые форты, укрепили старые крепости, провели каналы, вырыли рвы. Надо всем этим думал, организовывал,

не ждал помощи – строил кирпичные заводы, жег известь, заготовлял лес. За полгода Финляндия стала неприступной.

Не терял времени: изучал фортификацию в деле, по морскому искусству сдал экзамен на мичмана, учил финский.

Но вот закончилась война, высокие награды получили все, кто был поближе к трону, а он, ее «решитель», отмечен был лишь походя. Обидно невыносимо. Крякнул тогда, да и только.

Кто-то шепнул генералу о том, что нынче лучше быть ненагражденным, чем с наградой. Скоро придет к власти наследник, а он неизвестно как посмотрит на разукрашенных орденами.

Суворов это смягчение удара не принял, награды державные уважал, они, как звания и деньги, отмечали работу, освобождали от излишней опеки и придирок. Поэтому и был кровно обижен, уязвлен. Да и за спиной пускали ехидный смешок: «Неугоден! Неугоден!» А он угоден, угоден будет! Угоден России, угоден Отечеству! Сцепив зубы, успокоив сердце, укротив характер, будет делать дело, утончать умение, упреждать противника. Но недругов при дворе ублажать не будет, родственников да сыночков – этих немогузнаек поощрять не собирается, поблажек им не сделает, хапуг не поддержит.

Пусть не будет еще одной награды, но подлецу руку не подаст, со взяточником не раскланяется, развратника обойдет, а над наушником и ябедой надсмеется. Правда, сильные и

богатые сими качествами обладают нередко. А им ведь все и всем сразу в глаза не скажешь. Голова полетит, а она ведь нужна для дела, для побед российского оружия. Подумал, увидел петуха и ухмыльнулся: «Я им по-петушиному крикну. Они, может, сразу не поймут, а мне облегчение. Все баталии у всех сразу не выиграешь. Надо в главных сражениях побеждать, тогда враг отступит, запросит пардону». Понял, что надо еще сильнее зажать себя в кулак, еще точнее мыслить, еще быстрее решать, еще ближе быть к солдату, а он не подведет, не оставит в беде, не забудет заботу и храбрость.

Турки, замирившись, не остыли, зашевелились снова. Воевать было невмоготу. Армии поредели. Люди ропщут, казна пустеет. Екатерина и приняла тогда решение: отправить на юг Суворова, дабы упрочить границу и предупредить нападение. Да и покойный Потемкин уже не возразит. А здесь генерал взялся за дело с энергией необыкновенной. Предстояло возвести новые крепости, укрепить старые, найти удобные гавани, построить там порты. За все сие отвечал он.

Побережье знал не только по карте, почти все объехал, осмотрел бухты. Много помнил по кампании первой и второй войн с турками. Решил строить быстро, дешево и надежно. Заключил контракт с подрядчиками, выдал векселя и задатки на сто тысяч казенных денег, занятых у Мордвинова в адмиралтействе. Закипела работа. И вдруг удар. Удар беспощадный и наповал, на полное уничтожение. Из Петербурга пришел новый рескрипт, который объявил все контракты

недействительными и предписал «по мирной поре и ненадобности экстренных мер действовать не столь поспешно и по закону». Бесчестие и опала ждали Суворова. В эти дни был резок – «свирепствовал». Как никогда, наказывал за малейшие нарушения, распекал, одергивал. Весь город замер, ждал. По величине обиды надо было подавать в отставку. Но не сдался, решил продать все свои деревни, выручить деньги для подрядчиков и возвращения в казну.

«В каких я подлостях, – писал Хвостову, – и князь Григорий Александрович никогда меня так не обижал». Руки опускались, обида застилала глаза, хотелось все бросить. Но знал, знал, что труды его нужны Отечеству, а тот, кто сии зловерные решения нашептывал, может быть, и добивался его отставки, ослепления обидой, страха перед принятием решения. Добивался окостенения, оцепенения его воли, столбняка вельможного, задпочитания. Обидно? Обидно! Горько? Горько! Но он не расплавится, не рассыплется от горечи и обиды.

И вот сегодня радостный день. День победы для него немалой. С утра после того, когда он уже побегал по саду, где у него висели на двух деревьях бумажки с турецкими словами для заучивания, облился водой и спел два духовных канта, без доклада, но с почтением вошел с пакетом царский гонец. Суворов выпроводил его, шлепнув ниже спины, и не спеша вскрыл послание. Запрыгали строчки. Увидел главное: «по высочайшему повелению все законтракто-

ванное графом Суворовым заплатить немедленно, а 100 тысяч, взятых им у вице-адмирала Мордвинова, не засчитывать в число ассигнованных сумм на построение крепостей по Днепру». Кроме того, было указание выделить для строительства укреплений на юге двести пятьдесят тысяч дополнительно. Это уже была существенная поддержка и помощь.

– Проща! – крикнул денщику. – Давай мундир! Поедем на Кошевую.

Место это на протоке Днепра велел еще в прошлом году расчистить, в тенистой роще проделал аллеи, дорожки. Построенный при Потемкине воксал приказал отремонтировать. Как любили херсонцы, когда в воскресные дни приходили туда военные музыканты и играли музыку.

Вот и сегодня к обеду на Кошевую потянулись дрожки, кареты, кибитки. По обочине с узелками и свертками шел мастеровой народ с женами. На балконе воксала стоял весь в черном морской оркестр. При виде Суворова капельмейстер взмахнул палочкой, грянул «Гром победы, раздавайся», солдаты и офицеры, чиновники и негоцианты, лекари и помещики закричали «ура», дамы замахали платочками.

Суворов вышел из кареты, поднял два раза руки в приветствии и быстро пошел по аллее к беседке, где расположились местные толстосумы.

– Виват вам, милостивые господа. Пошто время теряете? Государыня давно рескрипт издала о стройках и ассигнованиях. Все кредиты подтвердила тем, кто по-серьезному мыс-

лит делом заняться.

Купцы подняли шляпы и шапочки для приветствия, замерли. У одних на лица наплывала радость, другие удрученно моргали, третьи испытующе глядели на генерала. А тот, будто не замечая замешательства, обхватил ручкой одного из них и стал спрашивать когда будет готов он поставить дерево, железные скобы, бут каменный для строительства нового порта. Поставщик пыхтел, тужился, чувствовалось, что ругался про себя за то, что не поверил слову всегда верного обязательствам генерала.

– В общем, так, батенька, через месяц материалов не будет – неустойку заплатишь, а контракт другому отдадим. – И пошел по аллеям в коридоре поклонов и дамских воздушных поцелуев.

Весь день был в радостных указаниях, подтверждениях предыдущих приказов и к вечеру, оставшись один, решил еще раз оглядеть всю территорию.

Разложил карту на столе, прочитал ее мудреное наименование: «Карта географическая, изображающая область Озу или Эдизана, иначе называемую Очаковской землею и присоединенною к Российскому государству в силу заключенного в Яссах в декабре 1791 Мирного договора. Инженер-майор и кавалер Деволант». Стал одной ногой на стул, оперся локтем на нее, медленно и задумчиво повел гусиным пером по побережью Азовского и Черного морей. Подержал кончик пера у Таганрога, о чем-то подумал, перевел его на Крым,

где почиркал у Керчи, Козлова, затем перескочил пером к Севастополю. Потом быстро сел на стул, придвинул бумагу и начал делать заметки. Остановился, наклонил голову, повел пером через Херсон к Николаеву, а затем к Очакову. У Кинбурнской косы замерил расстояния линейкой и задумался. Засвистал негромко и вдруг, забежав с другой стороны стола, лег на живот и остановил свой взгляд на Гаджибейской бухте...

Генерал-аншеф лежал на животе и болтал ногами в воздухе, когда в зал зашли инженер-полковник Де Волан и вице-адмирал Де Рибас. Спокойный и выдержанный Де Волан остался стоять у дверей, а Рибас забежал перед Суворовым, который, казалось, ничего не видел и не слышал шагов. Рибас потоптался и присел на корточки, чтобы уловить взгляд генерала. Суворов не двинулся, а пальцем указал ему на карту:

– Хороша гавань, не замерзает. Убежище славно для флота.

Де Рибас, сидя на корточках, закивал:

– Так, так, господин граф. Мы адмиралу Мордвинову о сем твердим давно.

Суворов ловко соскочил со стола, подбежал к Де Волану и повторил:

– Хороша гавань... На хорошем месте. Но и Очакову не стоит хиреть. – Взял за пуговицу мундира и, как будто продолжая разговор, спросил: – Чем от ветров западных и во-

сточных заслонять будем, паче чаяния построим город?

Де Волан раскрыл папку с изяществом брабантского дворянина и деловито стал объяснять, что в бухте хороший грунт, испытанный и нашими моряками, и прежними владельцами. А от ветров, как в Генуе, Неаполе, Ливорно, надобно мол каменный делать.

Суворов кивал, о чем-то думал и строго спросил опять у него:

– А сколь дорого стоить будет сия игрушка?

– Не больше, не больше, чем жете и выходные каналы, кои вице-адмирал Мордвинов предлагает в Кинбурне и Очакове сделать для флота.

– А делали ли вы промеры у берега и во всей бухте? – обратился на этот раз Суворов к Де Рибасу.

– Нет, ваше сиятельство, но обязательно сделаем, как приедем.

– Ну вот что, голубчики. Делайте промеры, готовьте план и все расчеты на постройку гавани и порта, а также сооружений оборонных.

Де Рибас человек был храбрый, отличался горячими изъяснениями своих чувств и столь же быстро остывал. Как истый испанец и неаполитанский моряк, любил пожить весело, со вкусом, умел прихвастнуть, забыться в разговоре. Было, правда, известно его преклонение перед знатью, перед августейшими особами. Тут он был полный раб, и из храбрей-

шего командира превращался в коленопреклоненного слугу. Ну да мало кто из служилых людей отличался в то время другими нравами. Ведь от мнения монарха, от его окружения, улыбок и взглядов зависело все будущее, в котором будут или достаток, обслуживающая челядь, спокойная старость или полуголодная бедность, жалкая одежда и безвестность.

Были, конечно, кто позволял себе спокойно говорить с императрицей, но те немногие и сами имели несусветные богатства или знатнейшее родство.

Де Рибас хотел доказать и некоторым своим друзьям, что его недаром пригрела российская корона: он ее ревностный и достойный служака. Была, конечно, и тоска по голубому неаполитанскому заливу, по южному жаркому солнцу, по острым приправам испанской и итальянской кухни. Но тут наплывала новая баталия, хитрая интрига, вкусное русское блюдо, и превращался он в заливчатского певучего морского капитана Дерибасова, а в бою пуля не выбирала, в кого попасть: то ли в неаполитанского канцоне, то ли в русского лихого командира!

Еще раньше после морских удачливых баталий в Средиземном море в первую русско-турецкую войну, проведенных под флагом Орлова, он был замечен и приглашен в Петербург. Здесь влиятельный и властвовавший в приемных Екатерины Бецкой «положил глаз» на бравого моряка-испанца. Положил и женил на своей родственнице. Однако Де Рибас

са тянуло на юг, и здесь он храбро лез во все опасные кампании, командовал гребными судами, штурмовал Гаджибей и Измаил. И вот сейчас хотелось ему за столбить свое имя в России, принять участие в создании то ли порта, то ли крепости, где можно было покомандовать, побыть хозяином.

Де Рибас видел, что Суворов думает, размышляет, и решил одним махом склонить его в свою сторону в противоборстве с адмиралом Мордвиновым. Он быстро и решительно заговорил, помогая себе руками: они у него то обращались вверх, то расходились в стороны, то скрещивались на груди, то бессильно повисали вдоль тела. Суворов, казалось, усиленно изучал их, следил за быстрыми движениями вице-адмирала и вдруг обратился к застывшей правой руке:

– А правда, моряки говорят, что к вам, милостивая государыня, кое-что пристало, а при будущей постройке вы можете совсем золотой стать?

Де Рибас замер, посмотрел на свою руку, отведенную в сторону, и, щелкнув пальцами, просто закончил:

– Я покажу этому английскому сановнику Мордвинову, как распространять слухи. Он еще сам не раз пересчитает свои счета. В Петербурге есть и у меня люди. Он думает, если я испанец, то смолчу!

Суворов хмыкнул:

– Хм! Помилуй бог! Помилуй бог! На всех говорят. Но надо, чтобы сам знал, что воровство губительно для души и дела. – И, подталкивая к выходу, заключил: – Испанцы слав-

ные воины и мореходы хорошие. А ты какой ныне гишпанец? Слуга императрицы, и служи ей верно. Считайте, считайте, голубчики! Меряйте! Надо решать скоро!

ШТОРМ ПРИБЛИЖАЕТСЯ

Черный кот потянулся и неожиданно вскочил на стол. Место это было предназначено не для котов, и адмирал Мордвинов решительно схватил его за шиворот. И чтобы знал, шельмец, о неуместности подобных поступков, ударил линейкой. Кот второго удара не ждал.

Адмирал подошел к окну, распахнул створки. Буг трепетал, бился мелкой волной, но посередине уверенно шел быстроходный фрегат, щеголявший после ремонта белыми заплатами из новых досок.

В море шторм! А здесь можно быть спокойным. А именно спокойствие и выдержка должны отличать военного моряка, джентльмена, считал адмирал.

Он возвратился за стол. Достал бумаги. Ох, опять эти химеры Де Рибаса. Куда только смотрит Суворов? Задумался. Голова тяжелела и тихо склонялась к плечу...

В этот город адмирал был влюблен не меньше Потемкина. Тот даже умирать ехал в «свой Николаев». Не доехал, лег в молдавской степи, оставив незавершенными десятки замыслов, проектов, лишив покровительства многих. Но были и те, кто вздохнул спокойно, с облегчением.

Вот и он, Николай Семенович Мордвинов, считал, что пал от амбиции светлейшего князя, стал жертвой интриги. «Есть

ли человек, который столь сильно и много обижен был, как я?» – часто говаривал друзьям. Очередной раз отсылая персики и виноград к советнику и секретарю Потемкина Попову, писал с обидой:

«Объявлен я был вором, описан раздирателем всякого порядка, расточителем казны, глупым невеждою, нерадивым, злым духом, вращающимся в хаосе, хуже сатаны!»

Контрактам, которые он подписывал, ходу не давали, по счетам велись расследования, попросили с поста. Желю его любимую за английское происхождение не щадили. А ведь неплохо начинал он здесь, на юге. Тогда, в 1785 году в Херсоне, благодаря стараниям Потемкина было открыто черноморское адмиралтейское правление, он по лестному ордеру самого светлейшего князя приглашен был туда в звании старшего члена, капитана I ранга, как «офицер отличнейших познаний». Подтвердил это, составив добрые «Правила для сооружения парусного и учебного флота», храбро сражаясь в Лимане, хотя и не любил своевольства и храбрости излишней у греков, мальтийцев и других наемных офицеров.

Потемкин уважал его отца, известного русского адмирала Семена Ивановича Мордвинова, командовавшего кронштадтским флотом. Его книга о навигации, а также каталог всех необходимых сведений и таблиц для мореплавателей были известны всем русским корабельникам. А за особый компас со стрелкой, натертой искусственным магнитом, поставленный им на многих кораблях, не раз благодарили по-

падавшие во всякие передраги моряки.

Николай Семенович удался в отца пытливостью, размеренностью, уравновешенностью. Однако если того можно было определить как поклонника русских обычаев и порядков, то он тогдашней, по его разумению, российской безалаберности, нечеткости не любил. С тех пор как в 1774 году по распоряжению великого князя Павла Петровича был послан в Англию, влюбился в эту страну, в ее порядок, устройство. Нравилось ему, что нет там всевластия короля, к управлению допущены многие уважаемые и достойные люди, имеющие собственность значительную. В том и уверен был, что «собственность – первый камень. Без оной и без твердости прав, ее ограждающих, нет никому надобности ни в законах, ни в Отечестве, ни в государстве».

Задумывался, как и что в державе изменить надо. С удивлением косились на него даже привыкшие к громким словам петербуржцы, когда он заявлял:

– Скорое и точное правосудие и личная неприкосновенность – первейший залог благосостояния и спокойной каждого жизни.

Образцовые фермы, полагал он, следует завести на церковных землях. Предлагал ввести удобрения, строить сельскохозяйственные здания, мельницы, обучать правильному хозяйству русских помещиков и мужиков. Книги по сельскому хозяйству распространять. Трудолюбие, говорил, равно золоту. Многие страны... не имея достаточно золота и сереб-

ра, изобиловали во всем для жизни и были действительно богаты. Другие, изобилуя золотом, но нуждаясь в житейских потребностях, не иначе как скудными почитаться должны.

Всю жизнь его притягивала финансовая наука, изучал он ее в Англии и был покорен на всю жизнь знаменитым Адамом Смитом. При нем в Лондоне вышли «Исследования о природе и причинах богатства народов». Сию книгу он уже не выпускал из рук, возил всюду с собой. И удивлялся, как логика сего ученого мужа не овладевает всеми. Так же, как и его распоряжения, составленные на основе финансовой мудрости англичанина, никак не могут здесь дать тех результатов, кои должны произойти при воплощении смитовской науки. Смучила его, правда, поездка к берегам Америки, когда увидел он, что бывшая колония тоже не хочет жить по английским правилам. Свои заводит.

Но то там, за морями, а здесь российские козни продолжались. Вскипел, когда Попов поучал его быть выдержанным с другими, и не стерпел тогда: «Не научайте меня притворству... у меня врагов оказалось много». Столкнулся с екатеринославским губернатором Каховским, с принцем Нассау-Зигеном, командовавшим флотилией в Лимане, с приехавшим из Петербурга офицером Де Рибасом, то ли испанцем, то ли неаполитанцем, то ли черт знает кем. Сей Де Рибас прилетел сюда, на юг, под крылышко Потемкина, показывать светлейшему свою энергию, хватку, храбрость. Потемкин, призывая, похлопывал все Де Рибаса по плечу: «Старай-

ся, брат. Отечество тебя не забудет». Де Рибас старался. Да все по части клеветы на него, на Мордвинова. Может быть, он что-нибудь и полезное делал, но покровительства Потемкина Николай Семенович лишился из-за него. Запросил отставки. Потемкин написал, опять, наверное, позевывая: «Вы еще молоды, а потому и споры. Поступок ваш меня пострадать был излишний, и если бы я не столь к вам был добротен, то бы смеялся угрозою отставки». Он пообещал даже тогда ему начальство над флотом в Греческом Архипелаге. Мордвинов остался при своем желании. Ушел в отставку. Зато когда Потемкин умер, о нем вспомнили быстро. Любят на Руси обиженных. Назначение было высокое – председатель Черноморского Адмиралтейского правления. Вице-адмиралом приехал он в Николаев, куда и было перенесено правление.

Чуть больше трех тысяч населения было там, когда он приехал. Города настоящего, как ему показалось, еще и не было. Надо было строить дома, расширять верфь да заселить, прикрепить к земле и к стройке.

Город зимой кутался, чихал, полон был простуды и болезней. Топить было нечем. Дерево шло на корабли и мебель, а солома только вспыхивала и, прогорая, жара не оставляла.

Доложили, что профессор Ливанов, что ранее готовился в Екатеринославский, не открытый из-за смерти Потемкина университет, обнаружил залежи подземельного угля. Проверили. Горит и обогревает хорошо. Мордвинов поцеловал

профессора тогда в губы, спросил, чего желает, тот просил лишь покровительства для первого на новых землях, да, по-ди, и в России земледельческого училища. Николай Семенович не забыл и училища, но хлопотал и о награде, о пенсии для сего известного сельскохозяйственного ученого мужа. На свой страх и риск закупил тысячу плугов из милой его сердцу Англии и семена озимой пшеницы. Надо наконец вести хозяйство разумно и по науке. Развил тогда после назначения деятельность бурную. Кинулся в Донецкий уезд, закупил шестьдесят тысяч пудов угля, приехал в Таганрог, написал фавориту Екатерины Зубову, ставшему после Потемкина губернатором и наместником, о его выгодности. Заметил, что мало русских купцов в крае. Нет уверенности, боятся, не поощряются. И о сем доложил Зубову. Особо его радовало, что греки, служившие в русском флоте, захотели остаться в Николаеве и вывезти из Порты семейства, ибо сей город, гордо отписал он фавориту, «предрекает быть вскоре новыми Афинами».

И уверенный в своей разумной и благородной деятельности без устали ездил на верфи, беседовал с корабельными мастерами, улучшал проекты, заботился о прочности домов, их красоте. Особой заботой его были сады и дачи в окрестностях города, кои хотел на английский манер развести. Любил самоотверженность, ум, скромность. Видел, что в дела и распоряжения строителя порта и города инженера Князева почти не надо вмешиваться. Обратился к Попову с просьбой

наградить того деревнею.

После пожалования в ноябре 1792 года орденом Александра Невского адмирал жил в городе открыто и весело, нередко собирал все городское общество. Был тут и типографщик Селиванский, с помощью которого он устроил первую здесь типографию, в которой отпечатаны были первые панегирики. Ливанов зачитывал на вечерах листы из сочинения «О земледелии, скотоводстве и птицеводстве». Гордо похаживал среди гостей сочинитель – автор романа «Афраксад» Захарьин. Потешал своей силой известный всей России силач Лукин будучи тогда в звании капитана корабля.

Центром просвещения и торговли становился здесь Николаев. Зачем выдумывать на юге еще какой-то порт, строить новый город. Все здесь есть, в Николаеве. А порт можно сделать южнее, на лимане. Вырыть там канал для гребного флота и зимней стоянки, построить жете и хорошо укрепить. Поглубже запрятан будет – безопаснее. Ведь он не раз везде говорил, что Севастополь открыт на кончике Крымского языка для внезапных турецких атак. Поэтому и не благоволил сему потемкинскому созданию.

Да и не любил Мордвинов тратить лишних денег, всегда считал дотошно расходы и видел выгоду не в том, чтобы только прибыль получить, но и в том, чтобы не производить лишних затрат. И сейчас уверен был, что порт большой надо строить в Очакове. Все необузданные проекты сдерживал, Суворова предостерегал от излишних расходов, блюл инте-

ресы державные не меньше, чем те, кто кричал о новых планах и прожектах. Уверен был: не новое создавать, а старое улучшать и укреплять надо. И на том стоял.

...Де Рибас появился внезапно, усы у него поехали вправо, потом влево, он как-то пронзительно и резко закричал. Из-за его плеча вылетали белые птицы.

Мордвинов, задыхаясь, махнул рукой, отгоняя от себя наглеца, огляделся... Черный кот смотрел, не моргая, со стола, откуда разлетались бумаги. Окна распахнулись. Шторм приближался к Николаеву.

ЗНАХАРКА И КАЗАК

Инженер-строитель Селезнев, что знойным вечером ехал из города Николаева в местечко Соколы, получившее название Вознесенск, что расположилось на среднем Буге, попросил кучера погонять быстрее. День приближался к концу, и ночевать в степи не хотелось, сказывали, рыскали тут и волки, и разбойные люди. Встречаться с ними не хотелось. Кучер из переселившихся сюда орловских мужичков пробормотал что-то о плохих колесах и глубокомысленно закончил: «Кто высоко ступает – бедственнее упадет». Неясно было, правда, отвечал ли он на свои какие-то мысли или о чем-то предупреждал Селезнева.

Инженер не просил больше его ни о чем. Задумался, глядя на убегающие вдаль степные травы. Непокойнее и непокойнее было у Селезнева в последние годы на душе. Раньше читал он много, что беды человеческие от незнания, от недостатка просвещения. А теперь все больше убеждался, что этого мало. Видел, как вельможи знатные, образование получившие сами в Германии да Франции, мужиков кулаками лупили, пред более знатными сгибались и льстили до непочтения, девок крепостных в первую их брачную ночь к себе на ложе тянули, бессердечие свое являли и беспутство на каждом шагу. Что толку-то людям от такого их образования.

Сам он еще недавно учился в Германии, где изучал механику и строительное дело. Там пристрастился к чтению, изучил языки немецкий, французский, латинский и греческий. Много, тогда прочитав, понял.

Приехав в Россию, хотел было повести хозяйство на свой манер, крестьян от барщины освободить, но строгий батюшка не разрешил, и он уехал на юг. Тут, на юге, инженерные и строительные знаниягодились. Но здоровье его портилось, он часто болел, лечился и брал уроки у знаменитого на весь новороссийский край доктора Самойловича. И скоро и сам мог оказать помощь и совет там, где лекаря не было. Подал, однако же, прошение об отставке по причине худости здоровья. Ответа не было, а он замышлял создать после ухода со службы здесь, на полуденных землях, Общество по распространению полезных всем людям знаний, с организацией свободно действующей типографии и распространением книжной продукции. Искал покровителей и денежных людей.

Два года назад прочитал он за одну ночь, испалив три свечки, привезенную приятелем из Петербурга небольшую книжицу Александра Радищева о путешествии оного из Петербурга в Москву. Да, никакое сие не путешествие, не увеселительная прогулка, а плач скорбный, рыданье над горестями людскими. Известно, что за сию книгу лично императрица приказала автора заточить в крепость, а затем сослать навечно в края лютые, снежные и холодные. Прочитал, уди-

вился, скорбел вместе с автором и задумался над его судьбою, над судьбою других честных людей...

...Крепкий толчок вывел Селезнева из состояния, задумчивости, и он чуть не вывалился из дорожной кибитки. Возница стоял уже рядом и, как, верно, тысячи умудренных опытом дальней дороги русских мужиков, неторопливо и без тени смущения почесывал затылок и, вроде бы ни на что не намекая, проговорил:

– Шибко ехать – не скоро доехать.

– Как же тебя, братец, угораздило-то?

Мужик не ответил, а, повертев головой, указал в сторону опушки леса:

– Дымом тянет. Люди там, – и вроде бы уже и спросил: – Может, и заночуем?

Селезнев, чертыхаясь, пошел напрямик через травы к лесу. Обогнул раменье и вышел к какому-то оврагу, в глубь которого вела тропинка. Он спустился по ней, прошел по настилу и оказался на опушке. На краю ее он увидел два шалаша. У одного из них была вкопана пика в землю, у другого стояли оседланные кони. Чуть поодаль горел костер, возле которого никого не было. Еще дальше – облупленная хата с приплюснутым окошком, в котором то вспыхивал, то затухал огонь. Странно как-то: следы людей есть, а никого не видно? Он сделал еще несколько шагов и прислушался. Из хаты потянулось какое-то тоскливое заклинанье. Селезнев решительно шагнул к дверям. Те распахнулись, и перед

ним внезапно вырос крепкий черноволосый казак.

– Кто таков?

– Я инженер Селезнев. Поломалась в дороге кибитка. Не откажите переночевать?

– А шо тэбэ никто не зустрив?

– Нет, я спустился по тропинке и попал сюда.

– Кто з тобою?

– Никого. Я да возница.

– Хм! Добра варта сторожуе, – про себя вроде проговорил казак и вдруг неожиданно спросил у Селезнева: – А чи, не врачуешь ты, пане-добродзею?

– Да нет, я по части строительной. Но лекарства у меня от болей в желудке, от порчи крови и от головных болезней есть.

Казак посмотрел с недоверием и, приблизившись, жарко зашептал:

– Помоги, милостивый пан-господин. Тяжко дивчине одной. Простыла, вся в горячке и беспамятстве. А она для меня – як сонце яснэ. Помоги, прошу тэбэ.

Селезнев забеспокоился, стал вспоминать все, чему учил его лекарь николаевский Самойлович, спросил у казака:

– Да что у ней? Что болит-то?

– Э, да ты сам подывысь. Там у ней одна знахарка. Вона закинчит, и ты скажи слово свое. – И, взяв его за руку, потащил в хату.

В комнате с низкими потолками было душно. Под иконой

в углу мерцала лампада. Селезнев присел на лавку, пригляделся. На кровати разметалась в жару, закрыв глаза, светлой северной красоты девушка. В печи отблескивали догорающие поленья. Посреди хаты стояло корыто, или ночвы, как его здесь называют, возле которого дымилось два ведра горячей воды. У постели в белой полотняной рубаше стояла седая старуха. Она что-то шептала и приговаривала. Затем повернулась, проворно подошла к печке, набрала в жаровню горящих угольков и бросила туда щепотку душистых трав. Аромат от них пошел по всему дому. Старуха отворила дверь и прислонила к ней железную кочергу, чтобы та не захлопнулась. Затем выложила дно корыта травой и стала поливать водой. Наполнив до половины корыто, она подбежала к печке и вытащила щипцами раскалившиеся на углях топор, лемех и чересло, бросая их одно за другим в корыто. Корыто за клубилось паром, сквозь который проступала седая всклокоченная голова и руки с лопатой, мешающие воду. Старуха то выныривала из тумана, подсыпая траву в ночвы, то исчезала в нем, нагибаясь за водой. Стукнуло глухо об пол вытасченное железо, старуха исчезла и проплыла с девушкой на руках. Вода в ночвах разомкнулась и приняла больную. Проплыл черный платок и накрыл девушку. Знахарка подняла руки к окну и быстро заговорила:

– Ой ты всэ злэ, лыхэ, не зэмнэ на той гори вбыйся, на терновых плодах поколыся, в глубоких ричках втопыся, в железных ступах потовчися, в смоляных волнах поколыся!!!

Сгинь, пропады. Тут тебе не стояты! Тут тебе не буты! Жовтои кости не ломаты, билотоги тила не вялыты, червоной крови не полыты, наших жилок не стегаты!

Старуха всплеснула руками, как будто что-то стряхнула с них, и наклонилась над девушкой. Потом поднялась над оседающим паром и хрипящим шепотом зашелестела:

– Из твоих рук, из твоих ног, из твоих ух, из твоей головы, из твоих очей, из твоих плечей! Из твоих пят, из твоих колен, из твоих пальцев, из твоих локтив – сгинь – выйды! В них тебе не стояты! В них тебе не буты! – Ее седые космы развевались, она сплюнула через плечо в дверь. И впервые взглянула на вошедших: – Геть вси з хаты!

Казак, не переча, встал и вышел. Селезнев за ним следом.

– Не знаю, что тебе и посоветовать, добрый человек, не знаю. А может, если не поможет, отвезете ее в Соколы-Вознесенск, в госпиталь.

Казак недоверчиво посмотрел на Селезнева, вздохнул и сказал:

– Ни, нам в Вознесенск нельзя.

Селезнев о чем-то стал догадываться, но продолжал:

– Если хотите, я заберу ее к докторам. А сейчас оставляю вот это лекарство от простуды, я его сам принимал и излечился весной.

– Спасибо тебе!

Шум и гвалт перебили их разговор. Три дюжих молодца потащили к казаку кучера Селезнева.

– Ось, батьку Максимэ, – показали они чернявому, – якийсь москаль тут порается близ лису.

– Это мой возница, – сказал Селезнев.

Максим покачал головой, глядя на молодцов, и укоризненно сказал:

– Вам, як курчатам, голову скоро скрутять. А цього пана як пропустилы?

Молодцы свирепо завращали глазами на Селезнева.

– Возия видпустить. Допомогты. Повечеряем и хай идуть. А тоби, Петро, ще раз пропустиш – з нами робыть ничего. У нас одын проморгав – у всех головы литять.

Кучер опасново освободился из крепких рук и, просительно глядя на Селезнева, пробормотал:

– Поехали, ваше благородие. Обещаю, быстро доедем!

– Шо ж ты брезгуешь молодецким угощением? – усмехнулся казак. – Вот господин твой даже лекарство дал и адресу. Ну да воля ваша. Ровного шляху вам!

...Кибитка, как будто новенькая, домчала Селезнева до Соколов через час.

ГОРОД БУДЕТ

Плотников и каменщиков, прибывших из разных городов, сразу поставили к делу. А дело здесь, у теплого голубого залива, судя по всему, затеивалось большое. Никола Парамонов после окончания войны снова был определен с корабля на Николаевские верфи. А оттуда их, лучших мастеровых, плотников, кузнецов, каменщиков, послали вот сюда возводить новый порт, его строения. Работа нелегкая, от зари до зари. Но все-таки хорошо, коль на твоих глазах поднимаются и большие дома, склады и заборы. Никола, когда не гнало время, любил разукрасить крыльцо, вырезать конек, посадить на крышу петушка. Но сегодня нужно было стесать несколько бревен для арки, что установят завтра. Говорят, будут завтра, двадцать второго августа, город закладывать. Приедут все морские и военные начальники. Амвросий из Херсона благословит. А что его закладывать, эвон они уже сколько построили и еще настроят. Настроят, лишь бы дерево хорошее, не сырое давали, да скобы железные не разгибались, да унтер с мастером не ругались, не дрались, да дома с ребятишками было бы хорошо. Построят, чего не построить. Он засадил в ствол топор, посмотрел в сторону моря и устало присел на неотесанное бревно.

– Шо, братку, придивляешься, чи добре мисто це для людей?

Никола обернулся, рядом с ним остановился складный черноволосый человек и дружелюбно улыбался ему.

– Эге, да ты тут тоже, дружище? – вскочил Никола и крепко обнял своего старого побратима Павла Щербаня, с которым рубил корабли в Херсоне и в Николаеве, плотничал на судах и готовил всякий шанец для обороны и штурма в войсках Румянцева, Потемкина и Суворова. Случилось так, что уже несколько раз сходились они и расходились на стройках и кораблях. Ныне Никола снова жил в Николаеве, где взяли в знаменитый «день невест» себе жен. Его тихая и ласковая Таисия одарила его уже двумя парнями, и он копил деньги на свой дом. Хотел его поставить на Ингуле, напротив и справа от завода. Там уже низшие военные чины, переселившись сюда греки и солдаты заселили несколько улиц. Их так и называли между собой в поселении – военные улицы. Ему это было еще не по карману. Да и участки отводили там адмиралтейским мастеровым неохотно. Отсылали подальше от реки. Так и звали между собой улицы, что протянулись над Ингулом, – Военным поселением, а те, что дальше в степь к Херсонской дороге, – Слободское. А сейчас отправили их с Николаевских верфей по приказу главного морского начальника сюда, в Гаджибей, на полгода. Но чувствовалось, что дело затягивается и придется здесь сидеть да куковать. А его Таисия там, в Николаеве, одна, бедная, с ребятишками, хорошо хоть огороды разрешил адмиралтейский начальник разводить для служилых людей. А Павло работал нынче в

Херсоне, и оттуда их команду привели несколько дней назад. Мужики еще раз похлопали друг друга по плечам, посмотрели в глаза, покивали друг другу.

– Ну как твои невесты?

– А як твои женихи?

– Ничего.

– То и добре. И у мэне так. Живемо. Ну и та надовго мы тут? Чи не чув?

– Говорят, новый город большой тут будут строить для заморских купцов да кораблей дальних.

– Ну так построимо. Будэ город. Он тут як красиво! – Павло повел рукой вдоль бухты, где теплое Черное море гладило светлые песчаные косы, брошенные степью к его ногам.

А Никола стал загибать пальцы:

– Я уже в Херсоне строил, в Екатеринославле, в Очакове дома выправлял, в Николаеве и корабли, и элинги рубил и тут вот начал. Сам даже дивлюсь, сколько видел всего.

– Хоть бы назвали якость красиво, – мечтательно сказал Павло. – Чого-то старые города так гарно назывались: Миргород, Прилуки, Переяслав, Нежин, чи то у вас Орел, Новгород, а?

Микола с удивлением на него посмотрел:

– Да тебе-то что, паря? Ты и в Петербурге не царь, и в Батурине не гетман.

– Ну то чего ж. Все равно добре будет, колы диты в хорошему и красивому мисти житы будут. Та зваться будуть по-

хорошему. Ось миргородцы – це добре.

– То верно, а вот завтра, говорят, и будут город святить.

Августовский жаркий ветер пахнул им в спину, туда же пришелся и удар веревочным концом, который отпустил им мастер – надзиратель за строительством.

– Вы, чертовы дети, чего прохлаждаетесь! Устроили себе роздых пасхальный.

Павло оглянулся, хотел что-то сказать, но махнул рукой и пошел к своему месту. Лицо у Николаы перекопилось, он выдернул топор из бревна и резко поднял его вверх. Мастер присел, втянул голову в плечи.

– Ты, зараза, если еще раз посмеешь руки распустить, – задохнулся Никола, – на куски изрублю.

Мастер на карачках пополз от него и уже в отдалении встал, отряхнувшись, несмело крикнул:

– Я тебе покажу, пугачевец проклятый. – И быстро побежал к конторе.

БАЛ

Шарль Мовэ, известный на юге негодичант и предприниматель, прибывший в Россию уже давно, заказал себе герб и диплом на дворянство, которое получил вроде бы за особые заслуги в русско-турецкой войне. Известно, правда, было и то, что в военных действиях он не участвовал, дипломатические услуги не оказывал, но совершал какие-то необходимые и нужные кому-то поставки и покупки. Его скоропостижное дворянство особенно тут никого не удивило. Мало ли кому давали его здесь, на землях Новороссии, под сенью светоносного князя Потемкина. Да и ныне при новом наместнике Зубове многое разрешалось.

Шарль Мовэ решил сделать важную для себя операцию: подписать у самой императрицы диплом и герб. Знал и раньше, что при дворе за немалые деньги да при соответствующем письме Попова со ссылкой на волю Потемкина, а ныне Зубова, могут дать подписать императрице бумаги. А документы оформить – это уже на века весь твой род дворяне – люди заслуженные, родовитые. Родовитости потом за деньги можно и еще добавить.

Заказал не без страха диплом из нескольких пергаментных листов, которые переплели в глазет. Каждый лист был переложен зеленым гарнитуром, обведен великолепнейшими рамами из золота. На заглавном листе был наподобие

финифти портрет императрицы. В центре лучшим гравером города Николаева написан золотыми буквами титул, а чернилами красиво выведена фамилия – ИВАН МОВИН. Так решил расстаться Шарль и с безродностью, и с фамилией. Недешево это стало. За одно письмо заплатил сто пятьдесят рублей, за рисовку шестьдесят, а за весь материал еще двести пятьдесят рублей. Да за письмо, Поповым подписанное, пятьсот рублей. Но все окупится. Уйдут подозрения, не останется свидетелей его доноительства за рубеж, и можно будет вести без страха все дела и торговлю.

Поехал в Петербург. Жил там три месяца. С опаской ждал.

...Докладывающий Екатерине его дело статс-секретарь Трошинский получил вчера шкатулку от будущего дворянина Мовина. Доложил сдержанно: пожалован дворянством за русско-турецкую войну. Просит в память Потемкина подписать диплом и утвердить герб. На гербе было море, парус, горящая свеча и циркуль.

– Что сие значит? – поинтересовалась Екатерина.

– Должно быть, морской артиллерийский офицер.

Екатерина подивилась неполному знанию статс-секретаря, обычно все хорошо ведавшего. Отметила, указывая на пышность диплома:

– Как у герцога или графа бумага, – и вздохнула: – Ладно, пусть служит прилежно короне.

Вечером дворянин Иван Мовин посылал щедрые дары но-

вороссийской земли в дом Трошинского и получил по случаю приглашение на бал во дворец, где обычно соби­рался только придворный штат из генерал-адъютантов, флигель-адъютантов, фрейлин, штатс-дам, камер-юнкеров, камергеров. Но сегодня приглашены были многие. Начался Новый год, тридцать третий год правления Екатерины.

Музыка гремела, танцы были. Но все уже было не так, как при молодости Екатерины. Танцевать она не выходила, сидела в окружении небольшого кружка приближенных, а к ней подводили нужных людей.

Она что-то спрашивала и быстро отпускала. Подле нее стоял Платон Зубов, ее фаворит, заменивший покойного Потемкина у кормила власти и там, на юге, в наместничестве Новороссийском. Хотел произвести впечатление столь же размашистого и умного помощника императрицы. Екатерина вздохнула: «Не надо, не надо пыжиться – не будешь в делах такой, как Потемкин».

В отдалении стоял Де Рибас, ожидая незаметного приглашения Зубова. Суворов, дав толчок всему строительству в крае и в возведении нового порта, был то в Польше, то в Петербурге. Строительство надо было продолжать. Де Рибас проявил в этом ловкость и силу необыкновенную. На пренебрежительные замечания Мордвинова о том, что нет смысла тратить на новый город, на обустройство новой гавани, нового порта, развернул такую картину процветающего города, роста торговли, благородных излиятий, рекой текущих

к ногам императрицы, что Зубов заколебался и решил представить Екатерине, попросив рассказать о будущем городе.

– Ваше величество, – начал тот с низким поклоном. – Победы, одержанные в ваше царство, беспримерны. Никто не смеет покушаться ныне на черноморские ваши земли. – Екатерина отвела скучающий взор. Де Рибас заторопился: – Все Средиземное и Черное моря истосковались о торговле с нами. Я навел справки коммерческие, кто и как и чем торговать с нами может. Здесь, на юге, уже большое количество лиц из дворянского звания, негоцианты богатые, офицеры, иноземцы, и всем им вина тонкие испанские Малага, Аликанте, Кирекс понравятся. А порт-вейн и мадера крепкая в больших количествах разойдутся. А «бордо» французское все и большими партиями можно подавать. Оно отсюда в Лифляндию, новороссийские губернии и даже в Москву пойдет. И думается, отнимет сию ветвь торговли у Риги и Петербурга. Но они-то, вы знаете, не оскудеют от этого. А сколь дорого платят хозяйки за масло прованское, горчицу, уксус, шоколад, ликеры. Все мы табак любим нюхать, а французы его мастера создавать. Ежели начнем ввозить, все подешевеет. Ну а в новые города лампы нужны, набивные полотна, хрусталь. Что до женских товаров, то здесь их с барышом крепким продадут и пошлину богатую доставят. Только французские колонии продать нам могут сахар, перец, ром, индиго. Итальянцы рвутся свои дешевые вина привезти, лимонный сок, апельсины, померанцы, миндаль, конфекты, сыр разный, а особ-

ливо пармезан, шелковые материи флорентийские, генуэзские, вермишель, картины, мраморные вещи, антики, бриллианты, жемчуг. А Левант рядом, и оттуда и вина в бочках и бочонках. Особливо Алонское и Родосто, но и санторинское, кипрское, Малвузия Тиноская. А оливковое масло, изюм и фиги, миндаль в скорлупе, финики, оливки зеленые и черные в соли, апельсины, бумагу хлопчатую, шелк сученый и несученый, грецкую губку, кофе мокское, курительный табак, благоуханный ладан, смолы, чернильные орехи, аптечные травы, шафран, курительные трубки с янтарными мундштуками. А сама Анатолия северная, откуда потоком пойдут фиги, изюм, орехи грецкие, нардек или гранатовый сок, из которого делают водку, ореховое дерево, красное дерево, из которого делается прекрасная мебель...

Екатерина перебила:

– Ну а мы-то чем будем торговать с этими краями?

– Мы? Вывозила бы Россия пшеницу. Сию твердую пшеницу Арнаутку очень уважают за границей. Фасоли много и гороху. Топленое масло, паюсная икра, желтое и белое сало, сальные свечи, канаты и веревки несмоленные, полосное железо, юфть, воловьей кожи. Московское швейальное золото, меха всех сортов, парусное полотно, гвозди, железные тульские изделия. А еще крахмал, смола корабельная, пенька, лен, деготь, воск, рыбий хлеб, льняное и конопляное масло, рыбий жир, шерсть, ремень, мыло, щетина, табак новороссийский, солонина говяжья и свиная, можжевельные ягоды,

рогожи и другие статьи, не такие важные.

Екатерина нетерпеливо махнула веером:

– Хватит, хватит! Чувствую, что торговлю развернуть надо.

...В уголке, расположившись за круглым столом, на котором стояло два бокала с вином, сладости и чашки с кофе, шумно и глубоко дышал могущественный Безбородко. Вот уже много лет он вблизи императрицы: он и докладчик по челобитным, и ее главный секретарь, и ее тайный советник. Его одного при всех временщиках принимала она ежедневно в одиннадцать часов, и он после низкого земного поклона садился рядом и докладывал. А известно, как зависит от докладчика направление дела в ту или иную сторону, как разрешается оно в зависимости от умения подать. Екатерина довольно часто приговаривала: «Я разучилась писать, прикажите составить примерный ответ». И ведомо было, что мнение императрицы выражал на бумаге Александр Андреевич сам, а она его подписывала. Знал он самые заветные и важные тайны. Через него шли переписки с разными лицами и выпускались манифесты, исходящие от верховной власти, именные указы на учреждения или рескрипты на имя начальствующего лица, утверждались всеподданнейшие доклады... Любил князь прихвастнуть и походя бросить: «Из-под перышка всемилостивейшей 20 тысяч актов и писем взял. В разработке всех законов принимал участие, манифесты до недавнего времени составлял».

Щедроты царицы шли через руки Безбородко. И все, кто ждал царской милости, тянулись к нему. А кто их не искал, милостей-то? Вот и сейчас, распахнув руки, бежал к нему один из придворных вертопрахов. А с левой стороны, увидев его и озарившись улыбкой от уха до уха, двигался земляк. Полтавчане, черниговцы души в нем не чаяли. Да как же! Хоть и не задаром, но детишек на службу устроит, да и самому место даст. Землякам надо помогать. Правда, вот недавно один обратился и попросил определить его театральным капельмейстером: «Палочкой махать да шесть тысяч брать». Пришлось объяснить, что музыку надо знать немного. Земляки не обижались на первый отказ и продолжали наступать вельможу-холостяка всюду.

Сегодня работал в кабинете и услышал, как бухают в приемной сапоги, а потом послышалось сочное зеванье. Приоткрыл дверцу и увидел крепкого и загорелого земляка, тот изнывал на диванчике от безделья. Вот ведь не привык сидеть-то в приемных. Земляк зевнул еще раз, потянулся, почесал за ухом и увидел ленивую зимнюю муху. Чего не спится-то? Тепло стало. Проснулась. Дитина махнул рукой, муха перелетела на стол, он встал – махнул еще раз. Мухе игра понравилась. Она отлетела и села на вазу. «От чертова дитина, наломает дров». Но земляк дров не наломал. Затаив дыхание, он сделал шаг вперед и, размахнувшись, легко пронес руку над вазой. Та покосилась и, соскользнув в угол, рассыпалась на сотню кусочков. Гость побледнел, замер с вытяну-

той вперед рукой. А Безбородко вышел в приемную и, дотро-
нувшись до плеча, участливо спросил: «Чи поймав?» Зем-
ляк стоял, как каменный истукан. «Здоров! Здоров, земляче.
Заходи до менэ до дому завтра. Сегодня не мешай думать».

– А о чем же вы думаете? – язвительно улыбаясь, спросил
подлетевший фертом бывший приятель и сослуживец графа
по комиссии иностранных дел Морков Аркадий Иванович.

Граф хотел было начать разговор о разваленных финан-
сах, о новых трактатах Англии, об уставшей армии, о страхе
перед новым рекрутским набором, но вспомнил, как Мор-
ков последнее время плел интриги, обнаружил себя явным
злодеем, сопроводи свое отношение подлыми поступками,
и, вполоборота повернувшись, бросил:

– Я рад, что вы моего дому не знаете, и мало сожалею, что
потерял всякую связь с человеком неблагодарным, которого
вывел в люди.

– Не гневайтесь. А мы ведь имеем честь лицезреть вас и
в театре. Весь Петербург повторяет куплет:

Престаньте льститься ложно,
И думать так безбожно
В любовь к себе склонить,
Тут нужно не богатство,
Но младость и приятство...

То есть еще что-то такое... – Морков ехидно улыбнулся,
а Безбородко расхохотался:

– А вам-то что за дело? Да, я первый аплодировал Лизе Урвановой и послал ей шкатулку, которую она приняла.

– Но, может быть, неизвестно вашему сиятельству, что она уехала, а ее муж сочинил куплет, объясняя цель переезда в Москву:

Где б театральные графы и бароны
Не сыпали моей Лизете миллионы...

– И хорошо, коль есть миллионы. Да после этого сколько уже времени прошло. Сие, милок, забава. А вот вам это есть первейшее средство почесать язык. Где уж тут до государственных дум. – И он грузно осел, отвернувшись от Моркова.

Екатерина увидела Безбородко, махнула рукой, и мысли его прервались. Он почти подбежал.

– Вот говорят, надо новый город еще быстрее строить. Прибыток будет большой от торговли.

Безбородко сморщился, не любил новых расходов, а прибыль немедленную любил, потянул неопределенно:

– А есть ли надежда, что история сие поддержит? – подразумеваемая под этим Екатерину.

Зубов понял по-своему и махнул стоявшему недалеко Ерилу Глебову, еще при Потемкине собиравшему исторические легенды и немало сведений записавшему о полуденных землях.

– Пусть он, матушка, расскажет о сих краях, возле Гаджибея.

Екатерина кивнула:

– Что скажешь о таврических и негостеприимных краях, Ермил?

– Не думаю, что они были всегда негостеприимными, хотя древние греки до славного Язона, решившего поискать златорунных баранов в далекой Колхиде, так и называли сие море «Негостеприимным». Однако же, не обнаружив здесь злоторунных баранов, греки повели выгодную для себя торговлю с местными жителями, построив города-колонии. Фанагория и Пантикапей, Феодосия, Херсонес, Ольвия, Одесос, Тирас, Истриян и другие, имена которых за давностью лет не сохранились. Я не берусь рассеять сей многовековой мрак, но, прочитав с пристрастием Геродота, Птоломея, познакомившись с черепками, что привезли запорожцы, посмотрев развалины, мог бы предположить, что древний Одесос находился в устье Тилигула, а на месте нынешней Гаджибейской бухты была гавань Истриан. Что сей порт мог быть, свидетельствует еще амфора, извлеченная моряками. Вокруг Одесоса, по свидетельству Геродота, жили народы Каллипиды, смелые и храбрые, где-то тут же жили «карпы», кто сии люди, чьи они предки – я не знаю, да и Одесос, может быть, по другим данным, на болгарской земле был. После рожества Христова бывали тут и генуэзцы, как думаю я, остатки стены в Гаджибее от их крепости. А потом, сказыва-

вают, на сим узбережьи жили гордые древние славяне, наши предки тиверцы и уличи, что крепко держали морское побережье в своих руках.

– А что, правда, что тут была крепость литовская?

– Да, может быть и так. Тут после того, когда тьма ордынская изничтожила Древнюю Русь, побережье перешло в руки орды Крыма. И литовские князья с ними воевали. И была тут небольшая крепость: то ли Калюбеев, то ли Качибей, а затем Ходжибей, Аджибей. Кто ведет сие название от князя Кацюб-Якушинского, кто от татарского названия. Крепость-то была крымская, и хан позволял купцам литовским и королевства Польского брать соль в Качубее и вывозить ее с уплатой пошлин. Запорожцы, однако, пошлин не признавали и очаковскую степь считали своей. Тут они «сгромаживали соль», ловили в лиманах рыбу и били дичь, были у них тут по балкам и оврагам свои поселения.

Сказывают, Карл XII доходил до Аджибея в бегстве своем из-под Полтавы. Запорожцы крепости вниманием не обходили, то ее атакывали, то угоняли из-под нее лошадей и верблюдов, то, уходя от генерала Текели, изничтожившего Сечь, оседали по балкам, урочищам и садам. А турки, ставшие хозяевами, перехватили сии земли, срочно стали в 1764 году возводить новые стены крепости Ени-Дунья – Новый Свет по-ихнему. «Оная же крепость зачала делаться сего года с весны, а делают ту крепость волохи, на которую возят камень из степи, с речек и балок околичных», – писал вой-

сковой толмач Иванов в том же году по возвращении из Каушан.

Крепость сия была взята штурмом в 1774 году, и комендантом ее был поручик Веденяпин. Но по миру Кучук-Кайнарджийскому ее вновь туркам возвратили. А потом войско Потемкина, дивизии господ Гудович и Де Рибаса крепость эту взяли и там под началом Александра Васильевича Суворова начал строиться новый город и порт.

Да, возможно, сему городу суждено быть таким же Петербургом на Черном море. Но следовало бы ему, государыня, дать русское или греческое название. Ну вот, например, Одессос, в честь недалеко находившейся колонии.

Екатерина склонила голову, подумала о собственном имени и, вздохнув, сказала:

– Пусть будет древнеэллиническое, но в женском роде, короче и яснее – Одесса. Указ подпишу завтра.

НОВОЕ НАМЕСТНИЧЕСТВО

Яркая звезда восходила здесь, на южной окраине империи. Небольшое местечко Соколы превратилось в город Вознесенск. И уже в январе 1795 года было объявлено, что учреждается Вознесенское наместничество, а наместником назначается фаворит Екатерины Зубов. Каков он не у ложа императрицы? Каков в деле? Никто не знал. Следы настойчивой, бурной, нередко и взбалмошной деятельности Потемкина были видны на гигантских просторах Новороссии. После двух победоносных войн с Турцией на бывших древнерусских землях утверждалась мирная жизнь, разворачивалась стройка, засеивались поля. Воздвигались города, строились дороги, на розданные волею императрицы земли сгонялись крепостные из Центральной России, севера Украины, оседали переселенцы из Молдавии, Сербии, Болгарии, германских земель.

Сейчас уже почти никто не сомневался, что деньги, которые текли из государственной казны, были вложены в нужное и прибыльное дело. А было время, да и совсем недавно, когда везде говорили вслух и втихомолку о полуденных химерах, о ненужных затратах, об «эфирных» потемкинских деревнях, о блажи и азиатских прихотях светлейшего князя Потемкина. Было, конечно, это, было. Но было и дело сделанное, утверждалась жизнь, росли и богатели хозяйства,

крепко стал на этих землях русский солдат. Ныне, когда Австрия, Англия, Пруссия дрожат перед новой Францией, готовятся к схваткам с ней, всем не до старых легенд, придуманных в восьмидесятих годах иностранными посланниками в Петербурге. Да и то понять надо, что хотели тогда они остановить движение России на юг, предотвратить освобождение этих земель, перекрыть щедрые ассигнования Екатерины в ответ на просьбы князя Потемкина.

А сейчас что, сейчас все ясно. Россия отсюда не уйдет, и вот тут, на новых землях, возникает новое наместничество.

Между Днестром и Днепром на отвоеванных землях раскинулось оно. Не было еще, правда, столицы настоящей. Предстояло еще воздвигнуть Вознесенск, превратить захудалое местечко Соколы в южноукраинскую столицу. А пока тянулись сюда из любимого Потемкиным Николаева, из светлого Херсона, из уже утвердившегося на Днепре Екатеринослава строительные инженеры, архитекторы, купцы, подрядчики, военные и штатские чины, коим было поручено разработать планы, организовать коммерцию, навести порядок на сих землях. А на обустройство были выделены громадные деньги, больше трех миллионов рублей. Славный должен встать город!

Летним днем оказались здесь архитектор Козодоев, инженер Селезнев, священник Карин, морской капитан Трубин, ученый земледелец Ливанов, негодичант, поставщик, бывший иноземец Шарль Мовэ и чиновник из Петербурга Су-

ровский. Первые уже знали друг друга, встречались в Николаеве, спорили, бывали на обедах друг у друга. Суровский же оказался здесь впервые и через Трубина, с которым был знаком, узнал и других. По вечерам после деловых встреч они собирались на веранде в небольшом доме у местного коменданта и, играя в карты, рассуждали о судьбах нового местничества. Каждый по своему ведомству или интересам имел задание рассмотреть вопросы, что касались будущего города, который утверждался здесь, на среднем течении Буга.

Дом стоял на высоком берегу реки, обвевался сухим ветром степей, и отсюда открывался красивый вид на радостно покачивающиеся камыши в плавнях, на взявший их в зеленый хороводный круг кустарник, на желтеющую летом и осенью степь, которая уходила далеко за горизонт и только там, разбежавшись, останавливалась у моря.

– Что за прихоть строить главный город не у морских путей, столь важных сейчас для России? – ни к кому не обращаясь, начал Мовэ, ныне уже получивший дворянство и русскую фамилию Мовин.

– Сие делается с целью развития внутренних земель. Безопасности от внешнего врага. Да и укрепиться здесь надо, стать прочно, по-хозяйски, как я понимаю, – медленно, вроде бы не отвечая на вопрос, а размышляя, отвечивал Трубин.

– Земли сии еще, однако, не обжиты. Украинские поселенцы да молдавские с нашими мужиками и солдатами во-

зятся в земле, но разве можно в этих сухих степях плодоносия добиться. Она, сия бесплодная земля, плачевною жизнь делает. И трудно такую природу одолеть, думается мне, – не то вопрошая, не то утверждая, добавил Суровский.

Молчавший до этого и смотревший вдаль Ливанов быстро обернулся и стал решительно доказывать неправильность сего мнения.

– Наша земля богата и обильна быть может, только для сего нужно правильно и регулярно ее обрабатывать. Мы в Николаеве учреждаем одну из первых школ земледельческих, и тогда с помощью просвещенных земледельцев всего можно добиться.

– Ах, оставьте, только коммерция да европейский переселенец и могут принести на сии земли благополучие, – не дал договорить ему Суровский.

– Нет, нет, милостивые государи, – твердо продолжал Ливанов, – все вы благополучие российское ищите не там, где оно зарыто. Земледелие – вот пружина блаженства и всеобщего спокойствия. Именно оно главного и общего блага подпора к пропитанию и обогащению. И из всех искусств, художеств и военных дел первейшее. И на сих землях следует думать, как помочь земледельцу хлеб вырастить и плоды, и овощи, и скот развести. И коль это сбудется – вы поймете, что это чистый и первоначальный источник благоденствия народа нашего.

– Вы ученый муж отменный, все выводите из природы

земли, из удобрений, из умения все собрать и сохранить. Но ведь этого мало. Какой же поселянин будет работать на этой земле с охотой, ежели его каждый день выпороть, обругать могут, а жен и дочерей изнасиловать, – бледнея и теряя голос, вмешался Селезнев.

Ливанов заморгал, прищурился, затем достал табакерку, вынул щепотку табака, посмотрел на нее и положил обратно. Суровский хмыкнул, речей в Петербурге наслышался всяких и резонирующе обратился к Селезневу:

– Вы же, однако, мало думаете об извечной лени крестьян, их худом воспитании, искушении на зло.

Карин с несвойственной для него живостью поднялся, подошел к креслу, в котором сидел Селезнев, встал позади него, обперся руками о спинку и загремел отлаженным в проповедях голосом:

– Знамо! Знамо! Однако же неистовство крепостных идет от невежества самих хозяев, их недостаточного добролюбия и нерадения. Надо приучить поселян к опрятности и чистоте, к чистой одежде, к божественной мысли, тогда и они об землице будут больше заботиться, станут лучше ее обрабатывать и блюсти.

Селезнев не обернулся и твердо, неуступчиво продолжал:
– Однако какие же вы, господа, незрячие. Да он работать не хочет, бежит с земель, стонет, потому что он не человек, а скотина у помещика. Он нищ и наг. У него своей земли почти нет. Сильнейшим же для крестьянина поощрением к

рачению служить может причиненное ему благосостояние.

– Ну а вы, милостивый государь, предлагаете, может быть, земли помещичьи, а заодно и государевы холопам отдать. Из имений, домов наших переселиться на конюшни и дамам нашим в услужение к дворне пойти, – вспыхнул и с грозой в голосе повел комендант, гостеприимством которого все пользовались.

Селезнев откинулся в кресле, помолчал и уже устало закончил:

– Я ничего не предлагаю. Но от притеснений всяких, помещичьего нерадения Пугачев появился.

– Не выдумывайте, милостивый государь, – почти взвизгнул комендант. – Пугачев от темноты, ярости и подговоров возник. А вот от речей ваших французской заразой попахивает.

Стало ясно, что вечернее чаепитие испорчено. В карты не сыграть. И хотя Карин пророкотал:

– Полноте, полноте, господа. Нечего на себя наговаривать. Так ведь и дворянин с дворянином не поговорят открыто, не поспорят, подозревать будут, – но его никто не слушал. Все потихоньку разошлись.

Селезнев стоял, нервно попыхивая трубкой, один на веранде, когда мягкая рука Суровского легла ему на плечо.

– Вы меня покорили своей открытостью, честностью и желанием видеть все в свете идеальном. Мне о вас рассказал Трубин. Он сам отказался быть в нашем сообществе «воль-

ных каменщиков», о котором вы, как человек образованный, конечно, слышали. Нам скоро снова легче дышать будет, придет новый правитель, закончатся гонения на масонов. Мы вербуем в свои ряды самых стойких и верящих, имеющих собственное душевное строение. Не мучайтесь над чужим горем. Думайте о высшей благодати высших людей.

Селезнев знал, конечно, о масонах, о некоторых их таинствах, но вот так прямо получить приглашение он не ожидал и лишь спросил:

– А как же всеобщее благоденствие и справедливость?

Суровский пожал плечами:

– В цепи тварей нет равных совершенно, и натура говорит нам о невозможности равенства. Забудьте эту химеру.

Селезнев почти сразу не принял эти слова, но промолчал и лишь через минуту сказал:

– Потом поговорим. Спать пора. Завтра в Одессу еду.

МИГЕИ

Дорога из Вознесенска в Одессу была красивой. Но душа и сердце инженера Селезнева сегодня жили вразнобой с природой. Обычно ее состояние – сияние солнечных лучей, легкий степной ветер, крепкий морозный воздух – как-то отвечало его настроению, подбадривало или вселяло необходимую для каждого человека грусть. Сегодняшние цветущие сады, ковры степных цветов, задорные переливы жаворонка вызывали раздражение. Весь он был взволнован, взбудоражен спорами в Вознесенске. И не угрозы и обещания пресечь якобинца пугали его. А то, что он не знал, как на все ответить, что защищать в своем Отечестве, против чего бороться. Но сила и роскошь попирают человеческие и народные права, истощают и обременяют род человеческий. Что же им-то противопоставить? Знание! Причина заблуждений есть невежество, а совершенства – знание. Вот к чему надо стремиться. Знал он, что крепостничество – скотство, но как жить без слуг, без ухода? Ведь не безграмотные же мужики, не неотесанные купцы будут нести просвещение и разум, о котором он так пекся. А может быть, и они тоже, ведь говорят же о Франции... Но что же происходит в действительности там, на родине лозунгов о свободе, равенстве и братстве? Почему оттуда доносятся то отрывки революционной «Марсельезы», то глухой звон золота? Одни утверждают, что там

воссели кровавые деспоты, другие говорят, что наконец наступило царство братства. Для кого наступило? Да и наступило ли оно? Как хотелось бы увидеть все это самому, узнать и сделать выбор...

Вдруг что-то произошло, изменив все состояние Селезнева в этот день. Громкий свист вывел его из задумчивости, он обернулся и понял, что уже вечереет, длинные тени от тополей и кустарника легли на дорогу, и из них выскакивают, как стрелы из лука, приземистые всадники. Кучер внезапно исчез с облучка, а на его голову кто-то накинул мешок. Задышавшись, он услышал короткую команду: «Выпрягай. А этого в схорону». Крепкие руки подхватили его под мышки и поволокли по земле. «Кто это? Турецкая разведка? Беглые люди? Разбойники? Гайдамаки?» И хрипло прокричал: «Кто вы? Куда нас ведете?» Сильный удар по спине убедил его, что противиться не надо. «Тихо! Узнаешь скоро». Его тащили, толкали, потом еще раз подхватили под мышки и бросили на какое-то деревянное дно. Забулькала вода, кажется, гребли.

Закричала неведомая птица, и снизу что-то зашуршало. Тяжело сопя, снова куда-то тащили вверх, потом загремело железо, и его толкнули в темную неизвестность. Он упал на каменный сырой пол. Селезнев полежал, попытался освободиться от мешка. Оказалось, что это нетрудно. Глаза недолго привыкали к темноте, в левом верхнем углу вырисовывалось отверстие, сквозь которое видны были отсветы какого-то огня и слышались приглушенные звуки. Из правого

тянуло сыростью и слышалось какое-то хлюпанье. Селезнев пополз влево, наткнулся на стену. Ощупывая ее, поднялся и явственно услышал разговор.

– Он, кажись, и сам иде.

– Да нет, это волна бьет, – и замолчали, прислушиваясь.

Молчал и Селезнев, напряженно думая, куда он попал. Волна действительно была, но ее звук явственно доносился из правого угла. Он медленно прошел вдоль стены и чуть не оступился, под ногой была пустота. Присел, ощупал руками пол, понял, что вниз, в какой-то колодец, какую-то яму ведут ступеньки и там плещется вода. Отошел, приблизился к окошку, стал ждать. Там за стенами кого-то приветствовали и докладывали.

– Двух коней, Максиме, достали и пана якогось з холуем.

Говорили что-то еще, но Селезнев не слышал. Заскреже-тал засов, в подвал вступил усатый, крепкий, среднего роста мужчина с горячей головней в руках. Он осветил помеще-ние, увидел стоящего в углу Селезнева и резко сказал:

– Хочешь жить – отдавай все гроши. – И, как бы оправды-ваясь, добавил: – Нам ще багатьом бидным, вдовам та инва-лидам треба допомогты. Их голос до царей не доходит, а ты соби ще здереш три шкуры, та мовчи, нікому не розказуй, а то...

Селезнев расстегнул карман, вынул кошелек, достал отту-да медальон и протянул остальному усатому.

– А это память от матери, – тихо сказал он, – хочу оста-

вить.

– От матери, то добре. Но мы, сдается, знакомы с тобой, пан, – и он ближе поднес головешку к лицу Селезнева. – Так то ты меня на Щербаневой леваде медицину давал та в гости приглашал.

– Да я, наверное.

– То тож, наверное. Точно ты и був. Ты уж звиняй моих хлопцев, вони не выбирают. А вси паны, вони, знаешь, як нам нобрыдлы.

Казак поднес головешку к площадке, что стояла в углу, и по стенам этого подземелья запрыгали отсветы от фитилька, загоревшегося неровным огнем.

Селезнев обвел глазами подземную его тюрьму. На полу в разных местах была разбросана солома, клочки кошмы, поломанная сабля и конская упряжь. В стенах было пробито еще два-три узких бойничных окна, в углу стояли какие-то бочонки.

– Что тут у вас? И где я?

– Да ты на останних гайдамацких местах, пан. Це славна Мигея. Тут на острови у нас и схорона, и крепость, и тайный ход у плавни. Та достають нас чертови Катькины полковники и панки – пузати землячки. Треба уходить. Ось и збираем коней. Та думаем заставить по соби добру память у простых людей. Роздаем им гроши, богатства ризни, а сами подаем-ся чи на Кубань, чи в Сибирь на нови земли. Так что ты не обижайся, пан.

Селезнев ничего не ответил, потер болевшее плечо и неожиданно спросил.

– А где та девушка, что тогда лечили? Не невеста ли она твоя?

– Эх, не пытай, пан, не виддали за меня ее родичи. Кажуть, переходи в их веру. А як же це можно, коли наши батьки сотни лет за нее бились. Чи можно? Га?

– Не знаю, это как твоя душа решит. Вот ведь сколько вер в мире: и христиане, и магометане, и иудеи, и лютеране, и люди индийской веры, а живут себе все, работают. Счастья им это, правда, не прибавляет. А ты для себя реши сам.

Казак посмотрел на него внимательно, вздохнул и встал.

– Сейчас тебя перевезу на берег, там отдам коня, возьмешь своего кучера и поезжай с богом. Гроши на, вертаю, – он подумал и отдал половину денег. – То будут бабуси Валуйковой с Лысой горы, вона многих бедных людей лечит. – Он поднял плوشку и показал рукой вниз. У каменных сходней поскрипывала привязанная цепью лодка.

...Ночной Буг вытолкнул их из Мигейского ущелья, что грозно шумело и пенилось. Знали казаки, что сюда, боясь грозных порогов, мало кто решится перебраться.

Селезнев прислушался, с усилием вглядываясь в грохочущую тьму. Он бывал уже здесь и сейчас явственно представил, как глыбы воды, подталкиваемые друг другом, обрушивались вниз с Мигейских уступов. Оттуда, из клокочущей бездны, они вновь взлетали ввысь многочисленными

струями, искрящимися брызгами, прозрачными хрустальными осколками и, распавшись в туманную мглу, зависали белесым облаком над порогами. Таинственная, почти дьявольская сила, не уставая, бросала и бросала вверх водные фонтаны, тучи влажной пыли, разбивала вдребезги единый доселе поток, взбалтывала и просеивала его сквозь воздушное сито и только тогда, лишив его безудержной скорости и лихости, выпускала на широкое спокойное ложе степи.

Солнце еще не взошло, и, казалось, какая-то гигантская темная птица парила над порогами, тревожно и судорожно двигая неровными влажными крыльями. С первым лучом она исчезла, а по мириадам водяных песчинок пробежала разноцветная радуга, соединяя просыпающиеся берега. Сопровождаемый неровным гудом, Селезнев отъезжал от клочущих порогов все дальше и дальше...

ЖАЛОБЫ

По всей империи разнеслась молва, что новый император Павел, что недавно короновался после смерти Екатерины, исправляет ошибки прошлого, принимает жалобы от всех подданных, творит возможнейшее правосудие и намерен всем покровительствовать от всяких обид и несправедливостей.

...Государь был сегодня в большом раздражении. Он просмотрел дворцовые счета и удивился, сколь они расточительны. Тратилось на все в таком количестве, как будто не один, а три десятка императорских дворов пили, ели, одевались, веселились здесь, в Петербурге. Одних сливок покупали на двести пятьдесят тысяч – чему никак статья не можно, а следственно, в десять или более раз, нежели нужно в действительности.

Павел, как всегда, выкатил глаза и что-то со страстью, которая пугала вельмож, втолковывал Трощинскому, оставшемуся от матери при нем, как и Храповицкий, секретарем. Много знали того, что новым знать не надобно. Потому и не менял.

– Я во время своего государствования фаворитов иметь не буду. Всех подданных, у кого есть какие просьбы, буду принимать сам. Кроме того, не хочу, чтобы супруга моя и наследники нуждались в деньгах, и определю им достаточное

жалование – императрице пятьсот тысяч, а наследнику двести. С жалованием и должность определю – жену директрисой над Смольным, а сына генерал-адъютантом. Ведь есть же всегда такие должности, где и не изнураясь можно законно великие суммы получать...

Дмитрий Прокофьевич Трощинский, только что пожалованный чином и украшенный орденом, заканчивал формирование канцелярии и внимательно выслушивал все пожелания Павла. А император чуть не каждый день издавал указы, распоряжения, волнуя не только петербургский двор, но и всех дворян, военных, купцов. Прослышал что-то и простой люд. Заволновался. Потребовал снизить подати, отменить рекрутчину...

Павел все хотел решить быстро и окончательно. То он отдает указ собрать в полки всех офицеров, многие из которых, получая новые чины, вертопрашили, мотали, играли в карты, утопали в роскоши, лежали на боку, не появляясь в полку. То всех приезжающих в Петербург дворян при въезде заставил останавливаться и объявлять, где он стоять будет, и чтобы сие было сообщено полиции и чиновникам, которые уточнят его дело и дадут любому приказу или судебному месту две недели на их решение. По прошествии оных докладывать велено императору. Много должно было быть выгод и стремлений к рачительному исполнению своего долга от сих указов. Правда, когда старый фельдмаршал Репнин попытался выразить неудовольствие поспешностью некоторых

решений, а то и просто невозможностью их исполнения, то Павел, сморщив, как всегда, нос и указав на то, что Репнин вышел на полшага вперед более положенного, строго сказал: «Фельдмаршал! Знайте, что в России вельможи только те, с которыми я разговариваю, и только пока я с ними разговариваю». Больше никто императору не перечил. Да и как перечить, коли император все знает, поставил везде своих людей, получает сведения о всех разговорах, о том, когда, кто на службу выходит, о распутстве и мотовстве, о недозволенных женитьбах от живых мужей и жен.

Особенно раздражала государя российская расхлябанность, опоздания. Офицеров и генералов, опоздавших хоть на минуту, он на развод не пускал, аудиенцию им не давал. По всему чиновному Петербургу передавали слух, как сам государь приехал в семь часов в военную коллегию и проверял по часам, кто на сколько опоздал. Однако многих он так и не дождался. Лишь один член коллегии, генерал-поручик Простоквашин, вовремя прибыл. Сказывали, что Павел ждал час-другой и ходил в кабинете новопожалованного им генерал-фельдмаршала графа Николая Ивановича Салтыкова, президента коллегии; когда тот, запыхавшись, в девять часов вошел в кабинет, император щелкнул у него перед носом крышкой часов и с холодным бешенством в глазах четко сказал: «Николай Иванович, по такому позднему приезду вашему заключаю я, что, конечно, должность сия наводит вам отягощение; ежели это так и она вас обременяет не в ме-

ру, так лучше советую вам оставить и взять покой».

Салтыков заикался, кинулся просить прощения во имя государевых детей, которых он воспитывал до сего. С этого дня, как ни не хотелось вставать ранее, все должностные лица в Петербурге приезжали на работу вовремя. Что уж там они делали, неизвестно, но в присутствии были.

Трощинский, зная неистовость Павла, говорил тихо, размеренно и пытаясь не раздражать:

– А вы, ваше величество, до какой степени людей поведаете к себе допускать? И кто может вашей милостынею пользоваться?

Павел, почти не задумываясь, с горячностью глотая слова, ответил:

– Все и все: все суть подданные, все они мне равны, и всем равно я государь. Так хочу, чтобы никому не было в том и возборняемого. Я буду принимать мужчин. Императрица – женщин.

– Так, спасибо за сие разъяснение. На сегодняшней прием пришло много просителей.

– Давайте пойдём к ним в залу и будем сразу все решать и записывать.

В приемной стояло две группы людей. Одни ближе к выходу – просители, другие у царских дверей, те, что входили в императорский совет с недавних пор. Они еще не до конца почувствовали свое возвышение, вели себя скромно, без шума, но с вельможным достоинством. Стоял тут генерал-про-

курор Алексей Борисович Куракин, государственный казначей Алексей Иванович Васильев, бывший секретарь императрицы Александр Васильевич Храповицкий, вице-канцлер граф Безбородко, первейший богач России обер-гофмаршал Шереметьев, гофмейстер, известный богач, провора и купец князь Сергей Гагарин, петербургский генерал-губернатор Николай Петрович Архаров.

Павел вышел, царственно кивнул и что-то тихо сказал Трощинскому. Тот покопался в бумагах и протянул императору одну из них. Павел взглянул на челобитную, прищурился и вдруг, повернувшись к советникам, обратился к Архарову:

– Что-то у меня глаза слипаются сегодня и словно как запылены, так что я прочесть не могу. Пожалуй, Николай Петрович, прими на себя труд и прочти мне оную.

Архаров поклонился, благодаря, – впервые выполнял эту обязанность и, прокашлявшись, начал читать:

– «Милостивый и... наш государь, нижайше тебя прошу, огради меня и мои труды от побоев, взыщи двенадцать тысяч рублей, должных мне достопочтенным...» – голос Архарова вдруг сел, он что-то забормотал и почти замолчал. Павел склонил голову на плечо, несколько раз вывернул и втянул нижнюю губу и настойчиво попросил:

– Николай Петрович, читайте погромче. Я в сей день как-то нехорошо слышу.

Архаров снова возвысил голос и тут же сник. Павел на-

стойчиво повторил просьбу читать громко и с расстановкой. Архаров обреченно кивнул головой и дочитал до конца:

– «А еще сей вельможа, уважаемый Николай Петрович Архаров, на все мои нижайшие просьбы о возвращении денег кормил меня завтраками, а затем выталкивал в шею и даже побил. Всенижайше прошу вас, ваше императорское величество, заставить вельми уважаемого Николая Петровича Архарова возвратить должные мне двенадцать тысяч».

– Что это? Неужели на тебя, Николай Петрович? – с видимым удивлением спросил Павел.

– Так, ваше величество, – опустил голову, покрывшись испариной, Архаров.

– Да неужели это правда?

– Виноват, государь.

– Но неужели и то все правда, Николай Петрович, что его же за его же добро вместо благодарности не только вашей выталкивал, но даже и бил?

Архаров пробежал глазами по купцу, ставшему при чтении на колени впереди толпы, пообещал поставить свечку богу, если пронесет, и со вздохом сказал:

– Что делать, должен и в том, государь, признаться, что виноват. Обстоятельства мои к тому меня принудили. Однако я, – он сглотнул слюну, – в угодность вашему величеству сегодня его удовольствую и деньги заплачу.

Павел оглядел собравшихся вокруг и, пососав губами, сказал отдельно и четко, чтобы все слышали:

– Ну хорошо, когда так! Так вот слышишь, мой друг, встань, деньги тебе сегодня же заплатятся. Поди себе! – Купец, кланяясь, двинулся спиной к дверям. Павел дождался, когда он подошел к ним, и бросил, как бы вспомнив: – Однако когда получишь, то не оставь придти ко мне и сказать, чтобы я знал, что сие исполнено.

У Архарова заходили желваки, он понял, что расплачиваться придется сегодня. Некоторые вельможи хмуро молчали, другие криво улыбались, купцы из просителей не переставали кланяться.

Да, великие последствия сего будут долго обсуждаться после в разных концах империи.

...Императрица шла по Смольному, держа у носа надушенный платочек. Пахло кислым и гнилью. Испуганные девицы стояли вдоль стен и молча кланялись. Платьвица на них были какие-то все старомодные и даже обветшалые.

– Что сие за вид? Да они не на благородных девиц похожи, а на огородные пугала. Куда же деньги деваются на их содержание?

Статский советник Филипп Петрович Боголюбов переминался с ноги на ногу, потом с тоской думал: «Надо было! Надо было раньше закончить. Ведь хотел же, хотел больше не брать из казенных денег ни рубля. Да все расходы домашние требовали, да карты, да женщины вислые. Эх, не послушался себя, да и жены. Говорила, чтобы поосторожнее был с чужим-то добром».

Императрица что-то еще гневно говорила. И он понял, что она требовала обо всем отчет, ибо сама хотела видеть все расходы, научившись до того при щедрой для других, но скупой для них Екатерине вести хозяйство. Боголюбов деревянным голосом отвечивал, что сие сейчас исполнит, хотя знал, что делать этого никак не можно: он хватанул и промотал несколько тысяч. В полудень зашел в свой кабинет, отыскал нож и со всего маха вонзил себе в брюхо...

По Петербургу пошли трепет и молва: о строгости и справедливости, наконец-то устанавливающейся в империи. Мелкие и неопытные мздоимцы и взяточники дрожали, бывалые и вельможные решили попритихнуть, поболеть, поприветствовать справедливость...

...Никола Парамонов, работный человек адмиралтейских верфей в Николаеве, вместе с другим просителем, Павлом Щербанем из Херсона, посланные на строительство Одесского порта, несколько месяцев назад были подговорены товарищами подать челобитную на адмиралтейских начальников, инженеров, офицеров, мастеров за их издевательства: утаивание денег, плохие продукты, да за многие другие пакостные дела, учиненные над ними, государя работниками и верными слугами. Два дня стояли поодаль от дворца, узнавали ту знаменитую дверь, куда, говорят, пускают к самому царю с жалобами. На третий день решились и прямо подошли к дворцовой двери, поклонились генералу в расшитом костюме, что сам открыл им одну половинку и что-то невнятно

пробурчавшему. Они зашли в просторную светлицу, в которой было много всякого народу, все господа. И только ближе к ним стояли в добротных кафтанах с бородами люди попроще. Никола сделал шаг в сторону и остановился. В светлице было тихо, слышно лишь, как с перерывами, тяжело дышал какой-то генерал, выкатывая из себя клубок каких-то шумов. Вдруг дверь растворилась, и в нее стремительно вошел гладкий, быстрый господин с голубой лентой через плечо. За ним шло несколько человек, один нес маленький столик, другой какие-то бумаги. Они остановились у входа, а господин с лентой обвел глазом всех и быстро пошел к последним, одетым по-простому просителям. Он подошел к Николе. И, выкатив вперед глаза, резко спросил:

– Что надобно?

Никола поклонился и, не зная, кто это, сдерживая голос, прикашливая, забормотал:

– Бьют нас, людишек государевых, ни за што, не кормют как надо. Деньги утаивают заработанные, а детишек кормить надо.

Человек остановил его жестом, увидев, что Никола протягивает ему бумагу, и обратился к другим бородатым мужчинам:

– А вы чего?

– Мы здесь, великий государь, – вышел вперед рослый и бледнолицый мужик, – с жалобой на своих помещиков и господ. – Он встал на колени, и Никола понял, что этот дерга-

ющийся господин и есть царь. Бледнолицый продолжал: – Спаситель наш и надежда, царь наш Павел Петрович, просим, забери нас от услужения сим кровопийцам и издевателям. Возьми нас под свою руку, не дай погубить христианские души. Будем служить тебе покорно и честно. – Глаза у царя вылезали еще дальше вперед. Никола даже зажмурился. Царь покраснел, схватил протянутую челобитную, обернулся к подбежавшему со столиком слуге и, брызгая чернилами, что-то написал на ней, затем поднес к глазам и громко прочитал:

– Дерзновенных сих в страх другим и дабы никто другой не отважился утруждать нас такими не дельными просьбами наказать нещадным образом плетью.

Господа в зале зашумели, захлопали в ладоши, кто-то крикнул:

– Благодарим, государь, за великую мудрость.

Царь повернулся, подозвал полицейского офицера и, показав пальцем на всех просто одетых, резко сказал:

– Отведите на рынок и выпорите нещадным образом. Столько, сколько захотят их помещики и господа.

...Плеть тонко сипнула и, рассекая воздух, упала на обнаженную спину Николы. И он снова сжался, чтобы не стонать.

СОЖЖЕНИЕ «ЗОЛОТОЙ КНИГИ»

В южной части Адриатического моря рядом с побережьем Мореи и Сули, составляющих собственно Грецию, протянулись ниткой жемчугов Ионические острова. Они и были долгое время драгоценным украшением в ожерелье Венецианской республики, корабли которой, ведомые искусными мореходами, бывшими одновременно дипломатами и торговцами, делали здесь обязательную остановку при следовании в Венецию и обратно. Ухоженные местными крестьянами оливковые рощи и виноградники террасами спускались к морскому побережью, красивые бухты давали приют рыбакам, небольшие мануфактуры занимали городское население. В Венеции и Южной Италии высоко ценили вина и оливковое масло, изюм и фасоль, которые привозили туда живые и разговорчивые греки, составлявшие основную часть населения островов.

Много веков владела Венецианская республика островами, твердой и жестокой рукой устанавливала там далеко не республиканский порядок. Губернатор острова – провектор – всегда был из венецианских патрициев, его высшие чиновники тоже. Говорили между собой они только по-итальянски, этого же требовали и ото всех, решавших свои дела в местных органах власти. Но это было бы можно стерпеть, если бы не постоянная рознь, которую разжигали иновер-

цы-венетианцы. Их поборы, десятина и монополия на некоторые промыслы ущемляли крестьян, рыбаков, торговцев, а италиянизация сдерживала просвещение. Надменные нобили – так звали на островах потомственных дворян, находили общий язык с венетианцами. Представители же «второго класса» – греческие купцы, судовладельцы, судостроители, художники и учителя, врачи и ювелиры – мириться с неравенством и ущемлениями не хотели. И уж совсем взбунтовались в конце века голодные ремесленники, безработные моряки и обнищавшие крестьяне, которых называли «низкий народ»...

Но вот, кажется, пришло их освобождение. В 1797 году на островах высадились войска Французской республики.

...Высокий, седой, красивый той гордой красотой, которая только и присуща независимому аристократу да благородному разбойнику, Сикурос ди Нартокис стоял в проеме лоджии и, слегка отодвинув портьеру, смотрел на площадь острова Корфу, где, наверное, с довенетианских времен не было такого веселья. Сотни факелов осветили город и крепость, в воздух возносились тысячи ракет, искры от костров летели в сторону моря и там соединялись с темнотой. Толпа за толпой подходила на площадь, на которой в центре стоял большой помост, украшенный флагами Французской республики. Безо всякого строя вокруг него стояли французские солдаты. Они весело смеялись, хлопали в ладоши, пус-

кались с белозубыми гречанками в пляс. Вдруг на помост выскочил трубач, несколько раз переложил пальцы на клапанах и издал протяжный и призывный звук. Площадь постепенно замерла. К трубачу поднялись французские офицеры и несколько корфян. «Кто это?» – всматривался Сикурос. Нет, он их не знал, этих растрепанных людей. Француз поднял руку и начал что-то быстро и суетливо говорить. Потом вперед вышел опять какой-то незнакомый Сикуросу человек. Он громко стал переводить француза.

«Иониты! Вы потомки первого народа, прославившегося своими республиканскими учреждениями, вернитесь к доблести ваших предков, верните престижу греков первоначальный блеск, и вы обретете вашу доблесть античных времен, права, которые вам обеспечит Франция, освободительница Италии, благоденствия, которые я вам обещаю от имени генерала Бонапарта и по воле Французской республики, естественной союзницы всех свободных народов...»

Площадь закричала, вверх полетели шапки, шляпы, козыньки: «Да здравствует свобода! Слава Франции! Долой тиранов!»

Пламя факелов запрыгало, тени удлиннились, пиками ударили во дворец Сикуроса. Он отступил вовнутрь, уже оттуда услышав новый взрыв восторга. Затем кто-то громко заговорил по-гречески. Старый патриций сделал снова шаг вперед, напряженно взгляделся в резко взмахивающего руками человека... Пойдите, да это Карантонис, жалкий ремесленник из

нижнего квартала. Что он там говорит?

А Карантонис говорил ужасные вещи. Он осатанел! Он призывает свергнуть нобилей! Забрать их земли и их богатства.

«В ознаменование сего радостного и возвышенного дня! Дня освобождения и революции, мы, свободные граждане будущей Ионийской республики, должны покончить с ненавистным поклонением тиранам и кровопийцам, сотни лет сосавшим кровь и богатство нашего народа, – гремел его сатанинский голос. – От имени временного совета революции мы предлагаем уничтожить символ тиранической власти и сословной напыщенности – «Золотую книгу»! Мы предлагаем сжечь ее в этом очищающем костре революции!»

Площадь ответила восторгом и криками не сразу. Холод и страх коснулись толпы. Ведь «Золотая книга» – это то, чем гордились самые богатые, могущественные люди Корфу. Там обозначены их родовые корни, записаны их сословные связи, там зафиксировано то, почему несколько поколений нобилей не занимались низким трудом...

Но вот поддерживаемая французскими солдатами толпа зашумела, задвигалась и издала одобрителный крик. Он все время креп и превратился в мощный шквал одобрения Карантонису. Подняв вверх «Золотую книгу» и подержав для того, чтобы жители последний раз могли увидеть это священное достояние феодалов, он швырнул ее в костер. Искры, взметнувшиеся вверх, казалось, уносили навсегда память о

величии и родовитости славных нобилей Корфу.

По четкому, как бы вырезанному из камня, профилю одного из старейших и богатых дворян острова тихо ползла слеза. В комнату в распахнувшемся от быстрого хода плаще вбежала дочь Сикуроса Милета, несколько дней назад приехавшая из поездки по Италии и Швейцарии. Отец не успел заметить в ней перемен, а она была другая, полная революционных фраз и свободолюбивых мыслей. Откуда у патрицианки оказались они? Почему она, воспитанная в аристократических салонах Венеции и Рима, Корфу и Милана, сразу и беспрекословно стала на сторону республиканской Франции? Был ли тут виной Масэн, француз-учитель, нанятый ей несколько лет назад, или виною тому были встречи в миланских театральных ложах с молодыми и восторженными поклонниками генерала Бонапарта, а может, виной тому зоркий и внимательный ее взгляд, видевший лохмотья и нищету там, где отец видел лишь невежество и хамство?

– Отец... ты плачешь... не стоит, мы свободны. Смотри, все жители острова пляшут вокруг Дерева свободы, которое посадил народ. А ту мишуру, которой мы лишаемся, жалеть не стоит.

– Как не стоит, моя дорогая! Ты не знаешь, вчера они захватили сокровища нашего самого святого храма Спиридона и наши земли на Закинфе, сегодня уничтожили наши привилегии, завтра возьмут твою жизнь. Это не мишура, Милета.

Сикурос обладал невиданным самообладанием, он верил

в предопределение божье, в судьбу и звезду свою. Но какая там звезда, когда все рухнуло. Он давно слышал о стоголовой гидре республиканизма, но она казалась ему столь далекой, как времена рождения Христова. И вот апокалипсис пришел на его землю. Рушится все, и он как-то не удивился тому, что говорила дочь, наверное, это означает конец мира – дети предавали веру своих отцов!

Пролог второй

1798 год. Вот и снова Европа расколота. Как и прежде, несутся проклятия в адрес революционной Франции, еще покушающейся на вековечный порядок. Но революционной ли? Не звучат ли там слова, которым никто не верит? Не затих ли голос бунтующих и требующих изменений? Не залез ли в старые одежды санкюлотов жирный раскормленный буржуа?

Действительно, у ее державного кормила становились люди, мыслившие не понятиями свободы, равенства, братства, а захвата, приобретения, прибыли.

Но искры пламенного Конвента, якобинской страсти были еще столь горячи, что, несмотря на то, что костер революции погас, монархи Европы продолжали видеть во Франции главного врага, а Англия – основного соперника по дележу колоний, господству на морских просторах.

Новый и мощный толчок, который получила французская держава в начале девяностых годов, энергия многих тысяч несла ее вперед вопреки предсказаниям и предположениям о ее крахе.

В Европе образовалась антифранцузская коалиция: Англия, Австрия, Неаполитанское королевство, Россия. К ним присоединилась Турция, боявшаяся за свои колонии в Египте, на Балканах, в Леванте.

Загремели новые бои, полилась кровь солдат на полях Бельгии, Голландии, Италии, Швейцарии.

Франция Бурбонов потеряла колонии в Индии и Америке. Новая буржуазная Франция хотела взять реванш у Англии в Средиземноморье.

В восточном Средиземноморье и столкнулись все гиганты коалиции, обнажились их истинные мотивы и намерения монархов и лидеров буржуазии.

История конкретна, и здесь, в Средиземноморье, пересеклись пути выдающихся военачальников и флотоводцев, умудренных деятелей и дипломатов – Наполеона Бонапарта, Горацио Нельсона и Федора Ушакова.

Исторические личности и выразители своего времени представляли власть своих стран. Но за каждым из них были нити, тянущиеся от их бедного детства и незнатного происхождения, от их часто неосторожных усилий ослабить словесные предрассудки, от попыток сломать устаревшие догмы и представления в их деле, деле ведения войны.

И еще, конечно, каждый следовал морали, утвердившейся в обществе, иногда преступая ее в силу своей природы и характера.

Они представляли разные страны и даже системы и были подлинными революционеры стратегии боя на суше и на море, где важная роль отводилась солдату и матросу.

Российские корабли были в Средиземноморье не впервые. Плавали тут и торговые суда. Блистательную победу одержал

российский флот под командованием адмирала Спиридова в Чесменской бухте. А сейчас андреевский флаг развевался над эскадрой Ушакова, что по рескрипту Павла I остановилась у входа в Босфор.

Но был еще узел в Европе, в котором решалась судьба коалиций и стран. На итало-швейцарском военном театре действовал великий Суворов. Его победы были так ошеломляющи и стремительны, что сразу изменили военную обстановку.

Талейран, хитрейший, умнейший и подлейший политик Франции, взывал к находящемуся в Египте Наполеону Бонапарту: «Суворов ведет себя, как шалун, говорит, как мудрец, дерется, как лев, поклялся положить оружие только в Париже. Приезжайте, генерал, скорей».

Лишь робость, непоследовательность и просто предательство австрийцев и англичан не позволили решить судьбу войны в то время. Но судьбу заморской экспедиции Наполеона она решила. Бонапарт внимательно следил за действиями Суворова и говорил о просчетах своих коллег. Суворов еще при первых больших победах Наполеона сказал, что пора его остановить.

История не дает ответа на вопрос, а что было бы, если бы они встретились на полях сражений. Она не свела их. С Бонапартом встретился ученик Суворова Кутузов.

А сейчас был 1798 год.

ПЕРЕД ДАЛЬНИМ ПОХОДОМ

В новом городе – Одессе жизнь возгорала и затухала. То наводняли ее до краев строители, солдаты и моряки, то отсылали их куда-то на другие стройки и в дальние походы. А то вдруг заполняли город иностранцы, становясь вроде бы полновластными хозяевами набережных и гостиниц, складов и портов, и внезапно опустевало все: уплывали вдаль корабли, ссеялись семьи, тощие собаки выли по ночам, ожидая возвращения хозяев.

Одесскую строительную экспедицию лихорадило. Мордвинов непрерывно напускал проверки и комиссии, офицеров арестовывал еще до расследования, может быть, за дело, а может, с тем, чтобы утихомирить их рвение по строительству. Всех, кто ехал через Николаев и Богоявленск в Одессу, задерживали, даже обыскивали. Некоторых поворачивали назад. Умеют же в России мешать делу!

Но город все-таки рос и строился. Ясно, что Мордвинов и николаевские торговцы хотели, чтобы порт вырос у Очакова. Водный путь подходил туда по Днепру и Бугу. Тракт, проложенный через Екатеринославль, Никополь до самого Николаева, мог пройти и до моря. Воду пресную можно брать из Буга, лес доставлять по рекам, материалы подвозить удобно, Все ведь было за то, чтобы развернуть здесь большой порт. Но какая сила превзошла логику смысла, какая форту-

на улыбку новому порту более ясной, белозубой улыбкой, чем уже известному по громким победным реляциям и многочисленным посещениям высоких особ городу? Было ли тут главным соображение оборонное: крепость и город строились ближе к границе, как база для армии и флота, – или же коммерческое, где новые негоцианты и предприниматели завоевывали себе незамерзающий порт, из которого должны были потянуться нити торговли в Азию, на Балканы, в Средиземноморье? А может, сработало здесь провидение и перстом судьбы указало на место, которое должно было явиться будущим поколениям пышным цветком, распустившим свои лепестки под светом промышленности, коммерции и просвещения.

Обо всем этом думал Селезнев, прохаживаясь по набережной и наблюдая, как шумные и говорливые иноземцы собирались у знаменитой, оставшейся еще с турецких времен кофейни. Он уезжал из Одессы, покидал родину. Все тяжелей становилось ему со своими думами, все меньше было людей, кто хотел бы открыто вести беседу о бедах отечества, выражать сочувствие. Он видел, и с каждым разом все больше, что бытие российского жителя несчастно, повсюду человек мучит себе подобных, царит беззаконие. В Вознесенске бросил начальнику канцелярии, что не будет рабом и хочет свои мысли не скрывать, а высказывать свободно. И если кому вольность мысли страшна, то это будет причиной их гибели. Начальник оторопел, пообещал познакомить с казен-

ными домами.

Селезнев спешно уехал тогда из Вознесенска, ждал расправы. Но наместничество ликвидировали – видать, было не до него, и, пожив немного в Одессе, решил уехать в Европу. Может быть, проникнуть во Францию, откуда громяхают залпы над всеми империями. Предложение пришло с неожиданной стороны. Мовин, которого Селезнев величал Шарлем, предложил поехать на снаряженном им коммерческом судне в Неаполитанское королевство, на Мальту и Ионические острова. Отправиться за границу при новом российском императоре было совершенно невозможно, существовал запрет на все путешествия и выезды, где российские граждане могли соприкоснуться с «республиканской заразой». Мовин же сие разрешение получил. Как? Никто не знал. И Селезнев, не задумываясь, согласился, чтобы, исполняя на корабле роль судового лекаря, приблизиться к тем местам, где явственно слышится голос свободы. До Константинополя ехал с ними и Карин, совершающий паломничество в святые места Палестины. Мовин же, наконец без страха занявшийся своим старым ремеслом доносчика, с радостью пригласил Селезнева, надеясь через него проникнуть к республиканцам. Их в России за последнее время он выявил немало. Далекое не все они были шпионами Конвента, как доносил Мовин, но проверять – это уже было дело Тайной экспедиции. Вот ведь помог он раскрыть французского агента Ивана Вальца, советника из коллегии иностранных

дел, перехватив его письмо у зазевавшегося мальтийского коммерсанта. А совсем недавно, объяснившись в любви певице французского театра в Петербурге, узнал от поверившей земляку девицы, что она, общаясь с русскими вельможами, регулярно сообщает в Париж о положении в столице и при царском дворе, о передвижении флота и созревающих замыслах. Девица была заключена в Петропавловскую крепость, а Мовин получил разрешение на выезд. Дело было выгодное: можно было поторговать и получить награду, выявив связи республиканцев в России. А если и не выразишь, все равно получишь награду. Мало ли их, безродных и бесплеменных французов, немцев и русских, на которых можно указать. Грех невелик, а прибыль ощутимая.

Торговать же он собирался хлебом, икрой, солью, полотном, салом да еще кое-чем, что собрал в своих складах неподалеку от моря, скупив у русских купцов, польских помещиков и зажиточных украинских крестьян. Многие торговцы после воцарения Павла в его пренебрежении к южным завоеваниям матери заколебались, стали покидать Новороссию. Мовин же чутьем почувствовал: небреженье пройдет, поймут снова в Петербурге, в царских покоях и новых министерствах, что края эти сулят большие богатства, здесь может быть налажена богатая торговля. И вот, кажется, ветры начинают меняться. Ведь до Константинополя здесь по прямой под парусом сорок восемь часов.

Перед отъездом они втроем решили пройти по улицам го-

рода, постоять у знаменитых трех груш, оставшихся от старого Гаджибея.

– Сейчас немало деревьев посадили. Акацию предпочитаем. Воды много не надо, а весной, когда зацветает, – благодать. Я бы в герб города поместил ее цвет, – как-то лирически заговорил Мовин.

– Да, славный город, может сотвориться... новая полуденная Пальмира, – басил Карин.

Действительно, еще четыре года назад на обрывистом скалистом берегу у крепости лепилось несколько хибарок, а сейчас почти тысяча каменных домов вытянулась вдоль набережной, окружила себя высокими заборами, длинными складами, редкими садами. Сотни мазаных хаток бывших запорожцев, глинобитных домишек отставных солдат, землянок прочего простого люда теснились в знойной степи.

Дома состоятельных одесситов строились из добротного местного ракушечника, с многочисленными чуланами, складскими помещениями, с мраморным бассейном для сохранения дождевой воды внутри дворика. В уровень с крышей тянулся вокруг дома балкон. Каждый уважающий себя одессит должен был видеть по утрам море. А там, внизу, вытянулся большой мол, высилась уже известная своей покладистостью одесская таможня, протянулись корпуса складских магазинов, лабазов, в которых накопилось немало товаров, всяких воинских и морских запасов.

Тянуло сюда как русских купцов, так и иностранцев. Их

новый город не пугал. Они являлись в него, как в знакомый, удачливый средиземноморский город, место прибыли и надежд. Греки и албанцы, болгары и валахи, армяне и арабы, евреи и поляки, венгры и французы, итальянцы и корсиканцы наполняли его улицы.

Соотечественников в узде держала императорская власть, комендант крепости для иноземцев учинил свой, особый магистрат. А отдельный магистрат, да при капиталах, был силой серьезной – все, что нужно для города, мог приобрести, своим интересам подчинить, убедить, ссылаясь на европейский опыт. Кого надо, можно и подкупить.

Русские и другие отечественные купцы, разные обыватели поначалу не могли успеть за юркими и «скрытными» иностранцами, только руками разводили и приговаривали: «Я не знаю, не знаю, как он меня обошел». Жест этот перешел к хитрюгам иноземным, которые теперь часто обращались к военным управителям, русским коллегам, наивно поднимали брови вверх, разводили руки в стороны и, кивая головой, сокрушенно говорили: «А я знаю-ю?» Знать-то они, хитрюги, знали, но зачем показывать свое знание, ведь лучше выглядеть бестолковым и непонимающим, неумелым и не очень разумным. Вот уже когда накопятся большие деньги, тогда можно и свое истинное лицо показать, знание особое. А теперь надо было быть благоразумным и учтивым с местными властями. Ну да что на это сетовать – это лицо всех торгашей мира.

У небольшого домика дым коромыслом, шумливые греки вынесли из погреба стулья, поставили между ног кружки с вином и, что-то выкрикивая, выбрасывали друг перед другом руки.

– Морру! Греки играют, отгадывая, кто сколько пальцев покажет. Веселый народ!

Чуть дальше пахло кровяной колбасой, там была немецкая колбасная, в конце улицы шумели у трактира своего земляка быстрые французы, а напротив на желтой вывеске величиной со змею протянулись бледноватые макароны.

– Зайдем, – как бывалый житель пригласил их Мовин. – Тут макаронная, итальянцы пьют вино, песни поют, слушают скрипку.

Карин покряхтел, но согласился: все постичь надобно.

В полутьме подвальчика на пустых бочках горело и оплывало несколько свечей. Посетителей было двое: не снявший широкополую шляпу человек и седой старик в простой рубашке, с повязанным на шее платком. Стоявший за стойкой хозяин, увидев спускающихся в подвал русских, поднял палец и крикнул:

– Вина! Макароны! Пармезан.

Карин тоже поднял палец:

– Вина – два.

Погребок как-то быстро заполнялся. Торговцы, моряки с кораблей, строительные мастера, цирюльники и просто люди без определенных занятий, прихлебывая терпковато-кис-

лое вино, через полчаса составили единую компанию, хотя и виделись-то, может, в первый раз. Селезневу такое быстрое единение понравилось.

Принесли еду, он попытался разрезать макароны. Старик с платком на шее, увидев, что он делает, схватился за голову. «О, мама миа!» – и молниеносно выхватил вилку из его рук. Затем накрутил несколько макаронин на нее, макнул в соус и отправил себе в рот. Потом так же быстро крутанул вилкой еще раз и второй комочек воткнул в открытый от изумления рот Селезнева.

– Макарон ломать, резать нет! Грех!

Через минуту он сидел рядом и щелкал пальцами хозяину, прося вина для гостей. Объяснил, мешая все языки. Плавает помощником капитана. Родители живут в Ливорно. Жена в Неаполе. Любовницы во всех портах Средиземного моря. Дал адреса негоциантов в Ливорно и на Мальте. На Мальту пообещал послать письмо своему знакомому Ломбарди, у которого в России воевал брат.

Уходили поздно после грустной песни о Неаполе, что в тишине исполнил их новый знакомый Джузеппе.

– Вроде и не итальянская, а русская, – вслух подумал Селезнев.

– Везде люди печалются, – отвечивал Карин.

Над ночной Одессой уже зажглись звезды, а в городе еще разносились песни. Невдалеке хором пели французы. Бравый марш, пытаюсь попасть в ногу, несколько раз начина-

ли расходившиеся раньше всех немцы. Выбивал тоскливый такт греческий барабан, протяжную царапающую мелодию тянула болгарская гайда, и лихо, но со слезой выходила из себя молдавская скрипка. А с окраин, вплетаясь в степные ветры, уносились вдаль размашистые и печальные русские и украинские песни.

Горе, страдания, усталость трудового дня, грех обмана и боль от разлуки с родными и близкими людьми смывали эти ночные мелодии Одессы. С дыханием моря уносили они в дальние края надежду на скорую встречу и близкую удачу, предутренным трепетным ветерком достигали Салоник и Рагузы, Пловдива и Генуи, Ливорно и Марсея, Родоса и Мальты. А когда ветер поворачивал с моря, летела задумчивая песня по степным просторам, задевая верхушки кустарников, шепотом трав и деревьев входила в полтавские хаты, орловские избы, в дома черниговских мужиков, могилевских плотников и архангельских корабелов, где знали, что их кормильцы – отцы и братья – ушли в дальние земли в поисках счастья и вольной жизни.

...Ранним утром были на корабле. Светлая прозрачная волна прихлопывала чистый песочек. Быстрые ветерки пробегали по прибрежным холмам и, как бы взявшись за руки, прыгивали с них уже крепким забористым ветрам, пробуя своей упругой рукой паруса готовившихся плыть в далекие края кораблей. Море ждало.

ВЕЛИКИЙ ГОРОД

Селезнев и Карин смотрели на сотни лодок, фелюг и каяков, пересекающих Золотой Рог. Великий город жил светливой и самопоглощающейся жизнью. Неторопливые турки, бойкие греки, сумрачные болгары, меланхолические персы, говорливые валахи, шумные сирийцы, юркие евреи, напуганные шумом большого города крестьяне и создающие этот шум жители городских ремесленных слободок, вельможи, проплывающие на носилках, и султанские гонцы – все кружилось в круговерти.

Греческий священник из церкви святой Марии Монгольской только что поведал им историю падения Второго Рима.

– 29 мая 1453 года город Византий, столица великой восточной православной империи, пал. Его жители, боровшиеся, берегавшие мудрость Древнего Рима и Греции, были уничтожены, те, кто сдался, подчинились власти исламских владык. – Священник медленно обвел вокруг взглядом и тихо продолжал: – Наши единоверцы не потеряли веры, но потеряли силу и уронили нравы. В этой державе все берут взятки, подарки, подношения. Мои верующие, спасая жизнь свою, должны лгать, хитростью противостоять силе. Интригу пресекая интригой. Мы прощаем им эту зловредность, мздоимство и лихоимство.

Карин сопел, шумно вздыхал и потом упрекнул грека:

– Пошто не воззвали тогда к христианам, не поклонились соседям для спасения?

– Поклонились Европе, но у нее свои заботы. Она бросила своих братьев в беде. Злорадно не простив нам нашу веру. В Священной Римской империи все содрогались при этом известии, но боялись турок, хотя ничто не мешало им вести войны между собой, с соседями. Наши предки поняли, что ждать помощи неоткуда. Ее надо искать внутри себя. Есть, правда, Россия единоверная, но она далеко. И вот, говорят, теперь и она замирилась с нашим правителем. Может, нам будет от этого легче, но не свободнее.

Селезнев смотрел на святую Софию, вызывающую трепет у многих его соотечественников, и думал не о замене полумесяца крестом, хотя античные формы на портиках имели новые украшения. Он думал, что еще каких-то триста лет назад на этих землях раскинулась великая империя. Здесь перед падением великого эллинского города расцветало просвещение. Любой римлянин, франк, гунузец и венецианец всегда, когда хотел подчеркнуть свою образованность, говорил, что он учился в Константинополе. Тут возвышался дух красоты, полыхали золотосветные иконы, обволакивали глаза цветными хитонами темноликие святые с фресок, переливались немислимыми красками мозаики. Итальянские мастера-живописцы, русские богомазы, балканские иконописцы вели свое умение отсюда, из второго Рима. Где все это? А ведь тогда, когда уже подошла беда, здесь еще кипели споры

и трепетали страсти. В университетских тесных комнатах, на открытых площадках, под сводами храмов, приставив палец к груди, спрашивали: кто выше, Платон или Аристотель? Всераспространяема ли божественная энергия? Богословы обрушивались на западное христианство за его представления об исхождении святого духа. Они били об полы и воздевали руки к небу, обращаясь к богу с молитвой покарать тех, кто там, в Риме, дает при причастии пресный хлеб. «Как сие должно быть противно святому духу! – кричали они. – Ведь именно дрожжи суть животворного начала святого хлеба!»

Селезнев думал: как не чувствовали они грозы, как не ведали о великой беде, идущей к ним? О чем спорили, в чем имели несогласие? Но и не спросишь никого, не узнаешь, пошто не слышали их уши топота конницы Махмуда, пошто не видели их глаза зарева походных костров, окружающих кровью багряною Византию. Отсеченными головами и забвением великой эллинской культуры обернулись ученые споры и богословские сомнения.

Да известно еще, что коварство и интриги пронизали тогда всю державу. Подкуп и взятки заменили долг и честь. А перед кем долг? А кому была нужна честь? За что было сражаться земледельцам? За тех, кто их грабил?

– Были мудрецы, – продолжал священник, – чувствовавшие дыхание тлена и пожарищ, и они советовали не разжигать распри, обходить мелкие разногласия, чтобы сохранить порядок. Но Рим не хотел идти ни на какие уступки, да и

среди византийских богословов, попов и монахов, несмотря на занесенную кривую саблю, твердили только о традициях и великом прошлом. Грезы виделись вместо яви. А вокруг императора не осталось верных и честных. Царил обман. Ведь недаром вошло в поговорку византийское коварство.

Селезнев смотрел на священные камни и думал, как все идет прахом, если не скрепилось духом, верой и силой, неистинно, если покрылось пеленой наживы – если нет подлинного знания, широкого просвещения.

Священник, увидев, что он погружен в свои мысли, быстро закончил:

– То был страшный день. Пришел судный час. Константинополь пылал, на пики поднимались головы осажденных и младенцы. Жены и мальчики, связанные одеждами, толпами шли в гаремы. Среди тысяч бездыханных тел где-то лежал обезглавленный император. Империя пала. Греция не имела больше своей государственности, погас очаг ее державности.

– Говорят, что великий город пал, наказанный господом богом за роскошь, гордыню и вероотступничество?

– Сие будто бы верно, но... – вздохнул монах и закончил: – Во вторник, второй день недели, что все мы греки дурным днем с тех пор считаем, они сражались и погибли, как истинные витязи и богатыри, хотя и покинутые своими братьями во Христе из далекой Европы. Мир их праху. А мы должны сей урок помнить. Аминь!

Селезнев и Карин поклонились и тихо пошли вдоль набе-

режной к своему кораблю.

РЫЦАРИ УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ

В предутреннем тумане мимо скользящего по волнам небольшого купеческого судна проплывала столица Мальты Ла-Валетта. Ее крепостные башни, форты, орудийные площадки то закутывались хлопьями тумана, то вдруг сбрасывали их, обнажая каменные мышцы. Непрístupная крепость еще не проснулась, и Мовин с опаской поторапливал капитана, чтобы быстрее проскочить мимо стен столицы рыцарей ордена святого Иоанна Иерусалимского. Они спешили в бухту Святого Павла, где их должен был встретить брат Джулио Ломбарди, мальтийского капитана, офицера русской службы, героя последней русско-турецкой войны.

У изогнутого, заросшего морской травой причала стоял крепкий загорелый мальтиец. В ухе у него висела большая серебряная серьга. Он хлопнул по протянутым рукам и быстро заговорил по-итальянски, потом по-испански; видя, что гости не понимают, перешел на французский.

– Хотите, я и по-гречески скажу, по-арабски? Нам, мальтийцам, надо знать все языки Средиземноморья. Вот будет Россия средиземноморской державой, мы и по-русски заговорим. Меня зовут Умберто. – И он, живой, энергичный, увлек их в небольшой городок у бухты. В домике, недалеко от моря, был накрыт обед с большим количеством зелени и вина.

– Мы, мальтийцы, все моряки и любим дальние походы. И еще мы все немного пираты. – Он захохотал, увидев, как дрогнул Мовин. – Да нет, мы этим занимаемся только в море. Те, кто приехал к нам в гости и торговать, могут спать спокойно, если, конечно, не обдерут и не оставят без штанов наши негоцианты. – И снова сочно засмеялся. – Вообще-то мы, захватив корабль, никого не убиваем, а просим выкуп у владельцев и родных.

– Но ведь ваш остров принадлежит рыцарскому ордену госпитальеров. Неужели и они участвуют в таких делах? – спросил Мовин.

– Конечно. Рыцари владеют островом уже больше двухсот пятидесяти лет. Но лев состарился, в Европе у него вырывают зубы, и он не прочь поживиться добычей с моря. Хотя европейские короли предписывали ордену защищать их побережье от варварийских пиратов, рыцари сами стали хорошими грабителями, их уже не интересуют подвиги. А милосердие проявляют только к собственному брюху. Ладно об этом. Я хочу завтра показать вам наш прекрасный остров. Его старую столицу – знатный город Нотабиле. Потом мы посетим дворец Великого Магистра. Я уже говорил с его служителями, и он ждет вас.

Утром Мовин невероятным чутьем обнаружил невдалеке торговый дом, где занимались скупкой и перекупкой многих товаров, где называли адреса всех торговых контор Срединноморья – никакие красоты его больше не прельщали.

Селезнев же отправился вместе с Умберто в небольшой двухколесной тележке осматривать остров. Они поехали прямо к Ла-Валетте, высившейся на горе Скаберрас. Внизу, у крепостной стены, где весело раскинулось небольшое поселение, кружилась толпа одетых в разноцветные одежды и маски людей. В центре усиленно обхаживал барабан длинными палочками зыркающий во все стороны барабанщик.

– У них тут сегодня свой праздник, нам его не обойти, – флегматично, попыхивая трубкой, сказал Умберто.

Хоровод расступился, затем окружил их, и подбежавшая козлиная маска что-то проблеяла в лицо путникам.

– Он спрашивает, кто ты и с чем пожаловал. Я ответил, что ты из дружественной России и ваш император объявил свое покровительство нам.

Козлиная голова склонила рога вперед. Казалось, хотела забодать и вдруг твердым мужским голосом по-французски сказала:

– Если ваш император собирается покровительствовать острову, то пусть поддерживает не эти трухлявые рыцарские гнилушки, не эти бурдюки кислого вина, не эти спотыкающиеся клячи, а всех достойных жителей острова, и у него не будет недостатка в храбрых моряках и воинах. А пузатых бездельников у императора, наверное, без наших ослов хватает.

Умберто нагнулся к Селезневу и шепнул:

– Однако эта козлиная борода заболталась. Он, по-види-

мому, из ополченцев, и у них с рыцарями вечные раздоры. Не надо забывать, что и у барабана имеются уши.

Козлиная голова подмигнула и кинулась, дико хохоча и бляя, в гущу танца. Толпа закружилась, запрыгала, и весь этот вихрь масок, лент, дудок, тамбуринов и скрипок понесся дальше.

Селезнев и Умберто поднялись в крепость, ко дворцу Великого Магистра Гомпеша. Селезнев внутренне заволновался, подтянулся. Он читал про рыцарей Мальтийского ордена, да и про других носителей бескорыстия и самоотверженности. Так, по крайней мере, их воспринимали по многочисленным романам. Дамы и сегодня самых благородных мужчин называют рыцарями.

Он слышал, что госпитальеры-иоанниты владеют тайнствами проникновения в сердца людей. Для них нет преград ни в хижине бедняка, ни в кабинете министра, ни в спальне королевы. Об их богатствах и связях ходят легенды, их недовольства боятся, союза ищут.

Селезнев знал и то, что наследник, а ныне император Павел увлекался мальтийцами. Все чаще и чаще восьмиконечный мальтийский крест мелькал во дворцах и царских покоях. Что привлекало царя в рыцарях-монахах? Их тайное всевластие? Ритуалы в сумерках? Четкая организация и подчиненность?

Он слышал, что Павел объявил свое покровительство ордену, создал Великое Волынское приорство, разрешил ры-

царям владеть землей в России. Правда, тут, на Мальте, жители говорят о покровительстве и защите всего острова. Ну сие понятно – небольшая страна хочет иметь надежного и сильного союзника.

У входа во дворец, окруженный красивыми зданиями и фонтанами, стояли, лениво опершись на мушкеты, ополченцы. Они не обратили внимания на приближающихся и продолжали неторопливую беседу. Однако же, когда Умберто шагнул на ступеньку, мушкеты склонились и скрестились перед ним.

Умберто быстро заговорил, жестикулируя и размахивая руками, обернулся к Селезневу и с возмущением помахал головой.

– Они требуют оплатить за вход.

– Но мы же идем по приглашению Великого Магистра. Скажите им, что я из России.

– Магистра? Вот пусть он и вернет вам деньги, – сказал один по-французски. Но второй отодвинул мушкет и похлопал по плечу Селезнева.

– Я желаю тебе добра. И если вы действительно из России, то можете пройти бесплатно. Ведь вы будете покровителями острова.

Подоспевший высокий седой и какой-то печальный монах повел их в палаты Великого Магистра. В сводчатых коридорах гулко раздавались шаги. Сколько тайн и загадок скрывает этот дворец? Вот в дальнем конце показалась процессия,

которая несла гроб и тихо распевала молитву. Группа монахов в малиновых плащах с восьмиконечными белыми крестами на груди держала длинные свечи и, не глядя на гостей, прошествовала мимо.

– Значит ли что-нибудь сей восьмиугольный крест? – тихо спросил Селезнев. – Что за кости несут они?

– Восемь благ ждет праведников в раю, восемь концов имеет наш крест. Рыцарь-монах непорочен и целомудрен. Таков же его крест. Он белый и чистый.

Когда шествие скрылось, монах добавил:

– Они переносят останки рыцаря в другой склеп. Святые отцы обнаружили, что он более праведный, чем думали раньше.

– Бедняга, как страдали его косточки от несправедливости! – подмигнув одним глазом Селезневу, смиренно поддержал разговор Умберто.

– Не кощунствуйте, сын мой. Ибо истинное признание достойных сынов бога нередко блуждает по чужим дорогам и наступает чаще всего после смерти.

Умберто стал серьезным и несколько смущенно пробормотал:

– Человеку все-таки приятнее признание при жизни.

Монах покачал головой:

– Нет. Мы не должны забывать, что многое из того, что кажется приятным при жизни, обернется в том истинном мире в тяжелую ношу. Вы попали к нам в нелегкое время. Рушит-

ся веками выстроенное здание ордена госпитальеров.

– Орден существует давно?

– Да, восемь веков. Его история полна высоких устремлений и падений. Не знаю, поднимется ли он вновь к своей чистоте, какая была у тех далеких монахов-рыцарей из Палестины. Первый госпиталь – пристанище для приезжих – построен был французом Жераром де Мартигом вместе с торговцами из Италии в Иерусалиме в 1070 году. Они построили там же, рядом, монастырь и посвятили его александрийскому патриарху Иоанну Элеймону. В его честь, а также в честь возведенной тут же церкви Иоанна Крестителя мы стали носить название госпитальеров-иоаннитов. Монастыри надо было защищать от неверных, были приглашены рыцари. Они же стали и монахами. Орден защищал и покровительствовал всем, кто ехал поклониться гробу господню. У него по всей Европе, Византии, на Востоке появились странноприимные дома, госпитали, монастыри. Паломники ехали на судах, закупленных орденом, рыцари защищали их от разбойников и неверных, монахи молились в госпиталях и, отпуская грехи, погребали. И все рыцари были тогда воинами и братьями милосердия. Орден был не зависим ни от кого на тех землях. Ни правители Иерусалимского королевства, ни местные епископы не могли властвовать над ними. Они совершили тогда много добрых дел вопреки власти и церкви. В госпиталях ордена лечили всех и даже отлученных, отправляли обряды в городах, проклятых епископами, принимали

в свое лоно отринутых. В тяжелую минуту приходим мы к ближнему, и поэтому не рвалась нить с сердцами людскими, слава о делах истинно праведных широко шагала по земле христианской.

– Почему же не удалось остаться на восточных землях? – спросил смутно знавший то время Селезнев.

– Много причин, – вздохнул монах, – но одна – та, что грозит нам сегодня. Забывать стали святые отцы свои обязанности. Тянутся к богатству. И раздоры. Рядом с нами существовал орден тамплиеров, что стал претендовать на главенство. А ведь милость к человеку не имеет рангов. – Монах закрыл глаза и, как бы вспоминая, продолжал: – Прав неизвестный автор «Коллекции скандалов», когда писал: «Они не могут терпеть друг друга. Причина к тому – жадность к земным богатствам. Что приобретает один орден, вызывает зависть другого. Члены каждого ордена по отдельности, как они говорят, отказались от всякого имущества, но зато хотят иметь все для всех». Вот отсюда и были поражения, отступления и отдаление от гроба господня. Сначала в Тир, потом в Маргет и Сент д'Аржак, а затем на Кипр и Родос. На Родосе рыцари держались больше двухсот лет, но и оттуда вытеснили их османы. В 1530 году Карл V, император Священной Римской империи, пожаловал землю, посадили деревья, прорыли колодцы, сделали дренаж. А самое главное – построили самый большой в Европе госпиталь, который принимает четыре тысячи больных.

– Никак не пойму, – перебил Умберто, – зачем так много. Разве это назначение ордена – врачевать?

– О, великое это дело, лечение. Исцеленный верен тебе навеки, приносит подношения, следует твоим указаниям. Говорят, кто кормит – хозяин. Нет, кто лечит, тот властвует над духом и телом и тот истинный хозяин на земле. Лампады гаснут от незаботливости! Госпитальеры-иоанниты не забывали этого. Конечно, были еще битвы, рыцари не давали османам превратить Средиземное море в свое озеро. Оборонялись. Нападали. Самой жестокой была битва в 1565 году, когда Великий Магистр Жан Паризо де Валетта отбил со своими восемью тысячами рыцарей пятидесятитысячную армию турок. На следующий год и была основана в честь этой победы новая столица острова Ла-Валетта. Флот наш был в то время непобедим, корабли самые быстроходные и большие, некоторые со свинцовой, непробиваемой и непрожигаемой обшивкой. Важными должностями на острове после Великого Магистра стали адмирал и инфирмерарий – главный санитар. Однако же все стало затем снова покрываться жиром. Папа отдал еще раньше нам имущество тамплиеров, орден приобрел новые земли, стал заниматься ростовщичеством. Но за прегрешения посыпались наказания. Земли ордена сузились, отделились англикане, евангелисты. Свихнулась Франция. Там у ордена забрали земли, отдали их мужикам. Наш бывший магистр де Роан взывал к верховным правителям Европы, призывая прекратить грабеж. Никто не

откликнулся, и только ваш высокочтимый император поддержал его и даже объявил о покровительстве иоаннитам.

Селезневу все было интересно, он не представлял, сколь давно существует это объединение религиозных рыцарей, не слышал о догмах, которыми скрепляли они свой орден, дивился этой маскарадной таинственности, которой окружали себя госпитальеры, их изобретательству в улавливании душ.

– А откуда эти званья или чины: бальи, командоры?

– Все оттуда же, с земли обетованной, из дальних веков. Они имели там, да и в Европе, владения, усадьбы с крестьянами – командорства, те объединились в большие командорства – в бальяжи, бальяжи – в приорства, а те в языки – провинции: Овернь, Франция, Прованс, Арагон, Кастилия, Италия, Германия, Англия. Так и заседают в совете Великого Магистра восемь столпов провинций, их заместители: лейтенанты, бальи, великие приоры, командоры и другие рыцари, имеющие благородное происхождение.

Селезнев направился в Европу, чтобы постичь суть жизни, познать истину бытия, и столкнулся с теми, кто, как и Карин, искал ответа у бога. Но у бога ли? Не именем ли бога создавали они себе приятную и сладкую жизнь на земле, не тайной ли недопущения к знанию отгородились они от мира, пугая незнающих, торгуя божеским товаром. Нет, не они, рыцари-госпитальеры, спасут погибающий мир. Они могут только спеть молитву над его прахом.

– Кого же сейчас защищают рыцари? От кого берегут при-

хожан?

– Они служат богу. Их усердие сталкивается с натурой человеческой, с волею сатаны. Искуситель мешает нам, но мы не дадим ему проникнуть в тайны нашего ордена. Они закрыты для всех непосвященных.

Селезнев понимал, что и он, случайно оказавшийся на этом острове, не проникнет в орденские тайны, которые хранятся для еще более могущественной и хитрой силы. А тайн оболъщения, невидимого заступничества, накопления богатств, проникновения к вершинам власти, устранения и низвержения соперников орден, судя по всему, накопил немало. Но кто их нынче откроет? Разве с годами.

Покружив по двору, они подошли к высоким кованым дверям в зал магистерского совета. Монах склонил голову, приглашая входить.

– Сегодня заседание Большого совета, но Великий Магистр вас ждет. Заходите.

Дверь растворилась, и они оказались в длинном зале с высокими витражными окнами. За столом сидели в малиновых мантиях и строгих накидках с узкими рукавами члены совета. Селезнев удивился, потому что один ряд полностью состоял из лысых, второй – из седых. Он не успел подумать, какой в этом кроется смысл, как густой голос с конца зала пророкотал:

– Наш орден и я, Великий Магистр, приветствуем представителей далекой страны, император которой объявил о

покровительстве над нашим орденом, терпящим урон и притеснение от безбожных и кровавых сатанинских сил. Мы видим в вашем присутствии здесь добрый знак, мы думаем, что уйдут раздоры, и рука вашего императора защитит созданный волей божьей орден. Наш орден перенял пальму служения богу у госпитальеров и тамплиеров, которые охраняли Иерусалимский храм, и проводил паломников, идущих от Антиохии, Акры, Сайды и Яффы ко гробу господню. Неверные потеснили нас. Сначала на Родос, а потом на Мальту. Но своим ревностным служением господу богу, исполнением святого долга по защите храмов и народов Европы от османов и пиратов, усердным молением и милосердной деятельностью по лечению больных и облегчению душ страждущих орден завоевал благосклонность божью и признание людское. Антихристова сила хочет нас изгнать с острова. Но мы пребудем здесь вечно. Аминь.

Великий Магистр Гомпеш поднял в молении руки и долго молился.

– А теперь разрешите вручить вам памятную медаль «Возрождающаяся Мальта» в честь победы великого де Валетты и продолжить совет.

Селезнев принялся рассматривать медаль, а совет заструился речами. Говорили о многом: о тяжелом финансовом положении, о непослушании ополченцев, о недостатке продовольствия, о новых расходах для бежавших из Франции. Обсуждение всех вопросов кончилось проклятием в адрес без-

божного Конвента, кровавых якобинцев и всякого безверия.

Высокий монах зашел и что-то прошептал на ухо Гомпешу. Тот вскочил, и оказалось, что Великий Магистр не так уж велик. Его густой голос с немецким акцентом стал тонким.

– Сообщаю, что близ острова показалась французская эскадра. Что? Что делать? Если они потребуют разрешения на вход в порт, на что решиться?

Великий Магистр снова опустился в кресло. Замешательство длилось недолго.

Медленно и величественно встал князь Камилл де Роан.

– Рыцари славного Мальтийского ордена! Наши победы известны в веках. Пред нами склоняли знамена несметные полчища османов и арабов, разбегались, как муравьи, тучи варварийских пиратов. Неужели мы не можем остановить новоявленного варвара? Нам есть что охранять, и мы можем еще раз показать свою доблесть, защищая славную столицу и имя великого рыцаря де Валетты. Я предлагаю загородить цепью вход в порт, взяться за оружие и объявить остров на осадном положении. Думаю, что, зная о славных подвигах рыцарей, главнокомандующий французов минует остров.

В зале воцарилось молчание. Потом встал взволнованный командор Буаредон де Рансюэ. Он опередил многих славных и знатных рыцарей и зачастил:

– Назначение ордена вести войну с неверными да с пиратами, а не с христианами. Поднять тревогу – это значит

уравнять полумесяц и европейцев. Кроме того, – голос его стих, – я, будучи французом, никогда не подниму оружия против Франции.

Раздалось несколько возмущенных выкриков:

– А кто отобрал наши земли там и в Италии?

– Кто лишил привилегий, ренты, замков и земель?

– Какую Францию имеет в виду уважаемый командор? Францию законного и убиенного монарха или Францию кровавых сапожников?

– Обороняться! Закрывать порт!

– Да, но мои ополченцы при первом выстреле перейдут на сторону французов.

– Ну так заставьте их! Заставьте!

Рыцарь Вален медленно подошел к окну, раздвинул шторы и, резко обернувшись, почти выкрикнул:

– Господа, они уже здесь!

Медленные и сановитые рыцари, приоры, бальи, командоры побежали к окну, распахнули узкие створки. Выскочивший из кресла Гомпеш не мог протолкаться сквозь толпу, сразу превратившись в небольшого старого человека.

А перед крепостью вставали в ряды один за другим корабли французского флота. Они подошли к порту на расстояние пушечного выстрела.

– Один, два, пять, десять... – начал считать кто-то, – двадцать пять, тридцать. О-ля-ля! Да тут их целая армада, спаси нас, господи, и помилуй!

Все молча глядели, как четко и организованно выстраивался французский флот, как подходили новые и новые линейные корабли, фрегаты, корветы и транспорты.

– Пойдемте отсюда, – негромко обратился к Селезневу Умберто. – Они ничего хорошего не придумают. Кажется, кончилась их власть.

Они торопливо уходили по наполненной остатками чьих-то жизней, страстей, подвигов галерее. В нишах тускнели скелеты и гробы. Из разнобойной светло-серой пирамиды холодили спины темнотой пустых глазниц черепа. Одинокое горела свечка у выхода. Казалось, здесь судьба ордена была уже решена.

Через два дня Ла-Валетта пала перед флотилией Бонапарта.

«ЭСКАДРА ДВИЖЕТСЯ К ДАРДАНЕЛЛАМ...»

На второй день после взятия Мальты генералу Бонапарту доложили, что к французскому командующему просят двое русских. Они были с небольшого торгового корабля, застигнутого молниеносным французским десантом в бухте Святого Павла недалеко от главного города острова – Ла-Валетты.

Наполеон немного подумал и велел пригласить их после обеда на борт своего «Ориона». Он встретил приглашенных у порога каюты. Нет, это было не дружеское рукопожатие, вежливый поклон, гостеприимный жест. Это был холодный пружинистый взгляд, на который они натолкнулись у входа и который остановил их движение вперед. Он не ощупывал их, не рыскал по деталям костюма и фигур. Взгляд сразу проник внутрь, и было понятно, что он знает о вошедших все и нельзя ничего утаить от него, не надо ничего скрывать, ибо сидящему за длинным столом молодому генералу все было ясно.

Подержав их некоторое время в состоянии полной и необъяснимой подчиненности его воле, Бонапарт с нескрываемой иронией спросил:

– Чем могу служить?

На щеках у Мовина сквозь пепельную бледность стал появляться румянец, он оттаивал, оживлялись части его тела.

Голос возник сначала где-то внизу, в животе, и потом несмело выскочил пискливой змейкой наружу. Наполеон слегка улыбнулся:

– Вы по коммерческой части. А что вас привело ко мне? – Он, не переводя взгляда, который вмещал в себя обоих русских, обратился к Селезневу. Тот уже освободился от оцепенения. И, медленно подбирая французские слова, ответил:

– Господин генерал Французской республики, я хотел давно выразить свое восхищение великими деяниями французов, свергнувших тиранию и написавших на своих знаменах: «Свобода, равенство, братство». Вся просвещенная Европа, лучшие люди России уверены, что тираны падут повсюду. Мы склоняем голову перед вами, несущими освобождение и благо народам!

Генерал сразу понял, что перед ним восторженный поклонник революции. Из таких он формировал свое окружение, постоянно перемещая их восхищение на цели своих военных операций и на себя. Он понимал, что идейный боец, солдат, офицер превосходит по своей стойкости и мужеству наемника или просто завербованного солдата. Наполеон всегда старался поддерживать веру в высокие устремления его войска. Сражаться с такой верой, да и умирать было легче.

– У нас обращаются «гражданин», а не «господин». Если вы шпионы, мы вас расстреляем, – бесстрастно сказал он. – Если вы в восторге от нашей революции, окажите ей несколько услуг, она вас отблагодарит. Нам нужны сведения о том,

не появились ли русские корабли в Средиземном море. Не знаете ли вы что-нибудь об этом?..

Мовин облизал сухие губы. Селезнев сделал шаг вперед и с достоинством сказал:

– Гражданин генерал, я не могу шпионить за действиями своего отечества, но я готов принять участие в ваших революционных походах и умереть за свободу.

Левый уголок губ Бонапарта иронически поднялся:

– Однако вы не прониклись идеями свободы до конца. Ибо под ее ноги должны быть брошены все предрассудки и все патриархальные знамена. – Он помолчал и отрывисто закончил: – Впрочем, я возьму вас в поход... А вы, – его зрачки снова, нисколько не переместившись, приковали Мовина, – вы сегодня же выедете в направлении Константинополя и сообщите там русскому консулу, что французская... что французская эскадра движется к Дарданеллам. Пусть передадут императору Павлу, что его флоту нечего делать в Средиземном море и что я освободил его от излишних забот о мальтийском ордене и сберег ему четыреста тысяч рублей, которые он обязался выплачивать этим бездельникам.

Мовин рассыпался в благодарности, уверениях в том, что он все выполнит, но казалось, еще чего-то ждал. Наполеон снисходительно хмыкнул и добавил:

– Наградой вам будет жизнь. Обычно мы вешаем всех подозрительных. Я приказал казнить всех греков с Мальты и Корфу, плавающих под русским флагом, и потопить их суда.

Идите.

Голос у Мовина опять пропал, снова что-то заскользило внутри. Но на этот раз уже не снизу, а сверху ото рта, холодной змейкой мертвя живот. Он пяткой ударил дверь и, кланяясь, попятился из каюты, забыв о своей просьбе и не пытаясь поблагодарить.

– Вас же, гражданин...

– Селезнев, – подсказал инженер.

– Я прошу через три дня прибыть на «Орион», вы включаетесь в Великую экспедицию...

НА «ОРИОНЕ»

Европа затаила дыхание, ожидая, куда бросится французская морская армада из Тулона. Почти все были уверены, что экспедиция Бонапарта обогнет Пиренеи и нанесет беспощадный удар по Альбиону – самому опасному, коварному и энергичному противнику республики. Уверены в этом были и жители Марселя, через который проследовали боевые полки, махавшие платочками своим отплывающим в экспедицию мужьям солдатские жены и мимолетные подруги в Тулоне, иностранные послы в Париже и всякого рода наблюдатели, попросту говоря, шпионы, доносившие кто за деньги, кто в отместку за короля, что 19 мая 1798 года почти триста больших и малых судов и барок покинули порт. На кораблях находились отобранные генералом Бонапартом чуть ли не поодиночке боевые солдаты прежних его походов. Они были уверены, что он любил их беззаветно, и потому были преданы ему беспредельно. Наполеон случайно проговорился, что высадится в Ирландии, где давно кипела ненависть к Англии. А оттуда... Все это под страшным секретом докладывалось английскому правительству. Английские сквайры спешно бежали на восточное побережье. Были приняты меры по укреплению морских берегов, англичане молились за удачу адмирала Нельсона. Только его боевой талант мог спасти империю от стоголавой беззаконной гидры Французской

республики.

Нельсон, мрачно попыхивая трубкой, ждал кровопролитного сражения. Он собирал свои корабли у Гибралтара, именно сюда должен был подойти Бонапарт со своей экспедицией, чтобы прорваться к берегам Англии.

Были, конечно, и другие предположения: Греция, Египет, Константинополь, Черное море. Надо было все узнать точно. Но неудачная разведка потеряла Бонапарта из виду.

...А республиканский генерал захватил Мальту и, еще не проявляя радости – впереди много дней пути, устремился в Египет. Да! Египет был его целью, туда двигалась его испытанная и закаленная почти сорокатысячная армия... С облегчением отпустила в пески этого популярного и честолюбивого генерала французская Директория. Возможно, он завоюет новые колонии, добудет такое необходимое золото и драгоценности. Ну а если поход окончится неудачей, слава генерала развеется и он снова будет только «саблей», а не «головой» республики. Но голова Наполеона работала напряженно. Он умел принимать неожиданные и даже ошеломляющие противника решения. Удар по Англии надо нанести издалека. И он выбрал Египет. Конечно, умы во Франции были к этому подготовлены. Особенно нашумели знаменитые «Путешествия в Египет и Сирию», «Письма из Египта» Савари. Египтом и Левантом, как называли восточное Средиземноморье, бредили, Египет надо было взять под видом освобождения, тем более что Англия захватила часть фран-

цузских владений. Да, колония. Но у Наполеона были более грандиозные планы. Он не со многими делился ими. Египет – это древнее царство Птолемеев – он покорит. Молниеносный поход в Левант и Сирию, груды золота и склонившиеся страны, обращение к поработанной Индии – и его победоносное войско проходит стремительно путь до Инда. А затем возвращение в Европу, он утверждает в Константинополе. Двумя ногами он станет в мире – в Азии и Европе. Все уже забыли о победах Македонского, а он напомнит о великих людях.

Наполеон стряхнул наваждение и подумал, что сегодня хорошо было бы обсудить с учеными и полководцами определенность и случайность судеб человеческих, причины краха государств и правительств.

Эти дни, проведенные на «Орионе», запомнились Селезневу на всю жизнь. Ему казалось, что в кают-компании командующего была подлинная академия. Здесь собирались умы пытливые и острые, здесь ставились самые неожиданные вопросы, предлагались потрясающие воображение проекты, здесь низвергались самые устойчивые авторитеты и возникали возбуждающие всех идеи.

После обеда в кают-компании у командующего армией собирался цвет экспедиции. Казалось, Бонапарт хотел забыть то не такое далекое время, когда он записал в своем дневнике: «Всегда один среди людей». Он хотел встреч, бесед, споров. Наполеон любил атмосферу интеллектуальных тур-

ниров. В них он удовлетворял свою неистощимую любознательность. Его быстрый ум уже имел часто ответ на вопрос, осмысливаемый его собеседниками, и он испытывал тонкое удовлетворение, когда они приходили к такому же выводу, хотя несколько позднее. Если же вывод был иной, Наполеон ставил несколько вопросов и как бы подчинял спорщиков своему ответу. Если же этого не случалось, он ненадолго задумывался, где и почему допустил ошибку. А его собеседники радовались возможности высказать на этом торжестве разума, дуэли остроумия то, что интересовало здесь всех, провить себя или заявить о себе.

Командующий неплохо знал Расина, Лафонтена, Боссюэ, Фенелона, Вольтера, Корнеля, Руссо. Их томики стояли у него за спиной, в его каюте. Возможно, его разум выбирал у великих поэтов и писателей только то, что служило его идее, его самовозвышению и самоутверждению. Образы, обращения великих, их мысли о гуманизме, о всеобщем равенстве и братстве, о терпимости и любви просеивались в его сознании, не задевали его воображения. Нет, он не отрицал их, но они не нужны были ему в деле, они сдерживали бы его, создавали неустойчивость. А Бонапарт не любил колебаться.

– Достопочтенные ученые мужи, смелые воины Франции, сегодня я желал бы с вами обсудить, отчего рушатся великие империи. Как, казалось бы, вечные государства рассыпаются в прах? Почему погибло французское королевство? – обратился он к приглашенным.

За столом, тесно прижавшись друг к другу, сидели гордость и слава Франции: механики и инженеры, астрономы и натуралисты, археологи и математики – его знаменитая комиссия ученых. С другой стороны стола расположились сподвижники Бонапарта, его генералы и офицеры: Бертье и Мёну, Мюрат и Даву, Бон и Ланн, Мармон и Жюно, сорокашестилетний богатырь Клебер и коротышка Дезэ, одноногий Каффарелли. Первыми говорить неожиданно стали военные.

– Империя рухнула из-за королей, – резко отрубил Клебер. – Бесправие народа, на шее которого сидели высокородные паразиты, лишило короля опоры.

– Крестьянин был полностью ограблен. На нем лежали все государственные налоги и барщина. У несчастного опускались руки с отчаяния. Четверть земель была заброшена, его гнали в армию, лишили всякого просвещения.

– Общество разложилось. Буржуа ненавидели дворян, крестьяне ненавидели господ, духовенство преследовало просвещение. Все сословия были на ножах.

Разговор закипел. Математик Фурье счел возможным объяснить падение империи с помощью законов механики.

– Вопреки естественным законам, – сказал он, – в государственной пирамиде наверху оказался самый тонкий, но самый тяжелый слой, который не мог не перевернуть ее.

Пылкий архитектор Лэпэр, изучавший прошлое и знавший по археологическим остаткам, сколько рухнуло импе-

рий и царств, объяснил крушение не столь материальными причинами.

– Дух, дух, граждане, вот что сокрушило Людовика. Вольтер и энциклопедисты разбудили общество. Слезами и кровью жег Руссо сердца. Он породил неугасимую ненависть к притеснителям. Слезы и кровь тысяч французов смыли монархию.

Спор длился долго. Селезнев не очень внимательно вслушивался в разговор. Он весь был поглощен изучением Бонапарта, а тот переводил взор с одного на другого. Его умные глаза то вспыхивали, то становились неприступно холодными. Он протянул руку за плечо и вытащил томик Руссо. Но не стал читать, а тихим, спокойным голосом сказал:

– Где короли, там нет людей. Там только раб, угнетатель – существо более низкое, чем раб угнетенный. Конечно, все тираны будут в аду, но туда же попадут и их рабы; после угнетения нации самое большое преступление – терпеть это преступление.

Его голос становится жестче. Селезнев был весь захвачен магнетизмом и внутренней страстью, исходившей от генерала. А он как бы для него одного продолжал:

– Лишь немногие из королей не заслуживают быть свергнутыми с престола... Предрассудки, привычки, религия – все это плохие оплоты. Все троны рухнут, если народу скажут: «Вы тоже люди!» Общественное мнение – путь свободы, революция – спасительное движение. Как больно видеть,

что история стала «суха и мелка», что нации «прикованы к угрюмому покою рабства», что это униженные рабы, которые убивают друг друга своими цепями в угоду фанатизму своих господ. Сегодня пришел конец этим чудовищам.

Почувствовав, что он полностью овладел Селезневым, внезапно спросил:

– Ну а вашу империю может что-нибудь сокрушить?

Селезнев упивался всей этой освежающей, вольнолюбивой, раскрепощенной атмосферой спора. Ему нравились слова, позы, манера говорить убежденно и страстно. Так могут говорить только люди, лишившиеся подлого страха перед знатностью, чинами и богатством. Они говорят то, что думают. И думают, когда говорят. В тот момент он не примерял их слова к жизни, к тому, что знает о ней, не стремился давать оценку дел в России. Он, как усталый путник, припал к источнику вольнолюбия, жадно пил слова о свободе и равенстве, ощущал холодный пот и освежающий вкус призывов к разрушению рабства и несправедливости. Он полностью был во власти личности Наполеона, его блестящего ума, феноменальной памяти, необъяснимо притягивающего магнетизма его воли.

Бонапарт ощутил это и еще раз обратился к Селезневу:

– А вы, гражданин русский инженер, можете предсказать, когда рухнет Российская империя? И какие силы могут ее сокрушить?

Селезнев смешался, он не ожидал, что ему придется о

чем-то говорить на этом блестящем собрании умов и талантов. Обычно собеседникам нравились его откровения и оценки, но он-то знал, что обдумывал их в тиши одиночества. А здесь, на виду у людей, щекочущих острием своей мысли будущее, вонзающихся ею во все слои прошлого, он был не готов говорить. Все молча глядели на него.

– Думаю, господа, – начал он и смутился снова. – Думаю, граждане свободной республики, главное зло нашей страны – это рабство. Многие люди уподоблены скотине. Наше общество лишено во многом просвещения, безгласно. Большинство людей света живет «старым обычаем», а молодые часто усваивают только поверхностную моду, новый костюм да испорченный французский говор.

– Неужели в вашем народе нет ничего хорошего? – перебил его Клебер.

– Боже, да я не о народе, – твердел голосом Селезнев. – Народ наш трудолюбив, честен, тянется к правде, но на нем же оковы. Освободи его, он тоже до Египта дойдет.

По лицу Бонапарта пробежала тень. Теперь он перебил Селезнева:

– А кто же тогда освободит ваш народ? Ведь у вас почти нет необходимого образованного сословия?

Селезнев на мгновение задумался, но быстро ответил. Чувствовалось, что вопрос для него не новый.

– Просвещение и образованность – только они способны освободить нацию.

– Ну и революционные армии Европы могут подтолкнуть империю? – упорно задавал вопросы Клебер.

– Наверяд ли. Штык – не лучшее орудие для внедрения свободы.

Все опять замолчали, а Бонапарт как бы про себя сказал:

– Неверно. Штык гарантирует свободу. Военная сила – вот что держит все государства. Она как обруч, скрепляющий бочку. Сними обруч, и бочка рассыплется на отдельные дощечки – сословия и группы людей. – И как бы спохватившись, резко закончил: – Благодарю вас, мои друзья. Мы многое сегодня постигли и узнали, о многом еще подумаем. За дело!

ВЕТЕР ПУСТЫНИ

Вот уже несколько дней Селезнев был в Египте. Казалось, какие-то сказочные картины мелькнули перед его глазами. Наполненные зноем пески, до горизонта раскинувшийся Нил, тянущиеся к небу тонкие руки минаретов, вынырывающие из миражного марева белые восточные города – было ли все это? Или это сны во время коротких и недолгих привалов?

Наполеон и его солдаты почувствовали себя уверенно, вступив на египетский берег первого июля. Их больше не мучила неизвестность, не мутила качка, не страшила египетская даль. На суше им не страшны любые англичане. Сюда, на древнюю землю, заявил солдатам генерал, они несут идеи великой революции, освобождение египетскому народу от тирании злобных мамлюков. Эти бывшие охранники султана захватывали власть и угнетали местных крестьян-феллахов. Солдаты Франции, сами бывшие крестьяне, не возражали помочь египетским феллахам – тоже ведь страдали раньше от феодалов. Еще генерал обещал богатую добычу после взятия Каира. Так что можно повоевать и поосвободить попутно.

Однако Египет встретил «освободителей» не так, как Италия, где тысячи горожан осыпали цветами солдат с трехцветными кокардами революции, а веселые итальянки, беря

под руку громахающего деревянными башмаками санкюлота, долго сопровождали его по улицам города. Здесь Александрия безмолвствовала, когда французы овладели городом. Лишь нищие старики, которым терять было нечего, низко кланялись завоевателям да бездомные собаки боязливо полаивали на идущих по пыльным улицам солдат.

Птолемея столица не произвела впечатления на Селезнева. Он с какой-то необъяснимой тревогой приглядывался к ее закрытым окнам, прислушивался к жалобному скрипу маленьких песчинок. Молчаливый город лежал у ног революции...

На улицах висели прокламации на французском, арабском и турецком языках: «Кадии, шейхи, улемы, имамы, чербаджии,⁵ народ Египта! Довольно беи оскорбляли Францию, час возмездия наступил... Бог, от которого зависит все, сказал: царству мамлюков пришел конец... Вам скажут, что я пришел погубить религию ислама... отвечайте, что я люблю пророка и Коран, что я пришел восстановить ваши права. Трижды счастливы те, кто выскажется за нас! Счастливы те, кто останется нейтральным; у них будет время, чтобы узнать нас. Горе безумцам, которые поднимут на нас оружие, они погибнут!!!»

А потом началось движение в глубь страны. Ветер пустыни иссушал кожу и, казалось, испарял кровь из жил. Песок скрипел на зубах, забивался в башмаки, за ворот, в волосы и

⁵ Судьи, вожди племен, знатоки мусульманского права, духовные лица.

уши. Глаза слезились от солнца, горло пересыхало и издавало хриплые лающие звуки. Деревни по дороге, если можно было назвать дорогой слегка обозначенные тропы, были сожжены. Города были нищими. Если находили спрятавшихся недалеко жителей, то узнать от них почти ничего не удавалось. Они со страхом смотрели на французов и с ужасом кивали на маячивших у горизонта конников-мамлюков.

– Да они боятся всего, а в нас видят очередных завоевателей, – хмуро взглянув на оборванных феллахов, сказал на привале Селезневу генерал Каффарелли, возглавлявший инженерные службы и научную экспедицию. Русский инженер ему понравился прямоотой суждений и высокой верой в справедливость. Генерал подсаживался к нему во время привалов, ехал рядом, когда спадал зной, и вел откровенную беседу.

– Они нищи, а мы добавляем дыры к их лохмотьям. Они лишены пищи, а мы отбираем последнее. Мы предлагаем им землю, а они боятся, что мы уйдем и их голова будет той платой, которую мамлюки возьмут за полученное поле. Мы попали в пекло, и кто выберется отсюда, будет считать, что ему повезло, – окончил он, понизив голос.

Вскоре стали роптать солдаты: «Зачем мы пришли сюда? Директория сослала!» Наполеон их уговаривал, утешал, обещал богатства и развлечения в Каире. Солдаты молча слушали и жалели своего командующего. «Это от него хотели отделаться... Но вместо того, чтобы вести нас сюда, почему

он не дал сигнал выгнать его врагов из дворца!..»

Живой и энергичный генерал Каффарелли, подпрыгивая на своей одной ноге, отчаянно жестикулируя, убеждал, что их подвиг нужен родине и она не забудет их побед, ибо это будет великое завоевание, важное для истории. Забудьте трудности и невзгоды! Мрачный и здоровенный гвардеец флегматично заметил: «Ей-богу, вам на это наплевать, потому что у вас одна нога во Франции». Дружный хохот скрасил уныние. Громче всех смеялся генерал.

Прошло уже много суток с тех пор, как они покинули Александрию и шли по пустыне, а мамлюки все время терзали их атаками, хотя главного боя не принимали.

Утром на горизонте показались вершины гладких и отточенных гор. Откуда они здесь, в этой ровной пустыне, перерезанной мутной водой Нила? И только к полудню всем стало ясно, что это рукотворные громады. Это великие египетские пирамиды древних фараонов. Чудо, о котором каждый знал только понаслышке. В тихом сипении песка, в легком шуршании ветерка, исходящего от них, казалось, слышался далекий стон тысяч согбенных рабов, поднявших высоко к небу глыбы мертвого камня, призванного возвысить уже мертвых деспотов. Вдали кружились, все увеличиваясь и обрастая новыми всадниками, отряды конницы мамлюков. Чувствовалось, что они готовятся к решающему бою. Дальше отступать было уже некуда. Здесь, у этих, камней, должно было решиться, кто будет владеть Египтом. Или их верхов-

ный бей Мурад и они, мамлюки, грозные потомки свирепой охраны султана, освободившиеся от его прямой власти, или этот невесть откуда свалившийся бледный генерал с его обтрепанными солдатами.

Бонапарт весь преобразился, сменил непроницаемость и неприступность на своем лице на вдохновение и страсть. Еще утром, когда вдохнул свежий горьковатый воздух пустыни, понял: сегодня будет решающий бой. Он вообще любил свежий воздух и чувствовал в нем много оттенков. Его всегда давил спертый и дурной запах, ему всегда было противно от примесей. Но здесь, в песках, казалось, что воздух пустыни, едва остывшей за ночь, смешался с ожившим дыханием многих веков. Наполеон чувствовал запах оружия непобедимого Александра Македонского, аромат побед Юлия Цезаря. Его обращение к войску было коротким и выразительным:

– Солдаты! Сорок веков глядят на вас с высоты этих пирамид...

Мамлюки, возглавляемые богатейшим беєм и главой Египта Мурадом, отчаянно бросились в бой. Но Бонапарт был в ударе, его звезда светила ему ярко в этом сражении. Он замечал любое передвижение врага, охлаждал ярость натиска точными ударами артиллерии, находил противоядие от коварных фланговых рейдов. И долго будут передавать друг другу оставшиеся в живых, что французский султан-волшебник держит своих солдат связанными толстой белой верев-

кой, и от того, в какую сторону он ее тянет, солдаты поворачиваются направо или налево. Действительно, его знаменитое каре, оцетинившееся штыками, рассеяло туманом конницу Мурада, растворило самого бея в песках Нубии, а его войско или осталось лежать на поле боя, или погибло в Ниле.

Крокодилы не успели растерзать загнанных в реку и расстрелянных мамлюков, солдаты вытаскивали их трупы штыками. Не для того, чтобы похоронить несчастных, нет. В их поясах было зашито богатство, они были набиты червонцами. Впереди лежал павший ниц Каир с его богатствами и развлеченьями.

– Армия начала примиряться с Египтом! – бросил Наполеон Клеберу уже позднее в Каире. Тот, однако, ничего не ответил. Селезнев уже знал, что этот великан неодобрительно относится ко многим действиям Наполеона. Он был против казней для устрашения и против лести командирам, раздаваемой среди солдат. Революция была его матерью. Он поклонялся ей, а не личностям. И не любил почестей, которые обожал Бонапарт. Солдаты вспоминали, как они хотели выложить огнями: «Клебер – наш всеобщий отец». Генерал запротестовал: «Нигде не должно быть моего имени! Пишите лучше: «Отечество бодрствует над нами».

Но сейчас здесь, у пирамид, была победа, и одержали ее они под началом главнокомандующего.

...Египет был в их руках.

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОГОНЯ

Лоб контр-адмирала Горацио Нельсона покрылся испариною. Он крепко по-матросски выругался. Да... французов в Александрии не было. Обман, бессилие разведки, невезенье сжали сердце. Английская эскадра, вихрем промчавшаяся по Средиземному морю вслед морской армаде Наполеона, шла по ложному пути? Ошиблись? Значит, Греция? Или Константинополь? Не Черное же море? А может, повернул от Мальты на Сицилию или на Неаполь, разгромить несчастного неаполитанского Фердинанда? Конечно же! Конечно! Франция решила вывести последнего огрызающегося монарха на Апеннинах из игры. А кто владеет югом Италии, тот контролирует море, Мальта и Сицилия будут держать в петле центральное Средиземноморье. Стратегически и политически верно. Пожалуй, туда повернул флот французов...

Нельсон, своим горбом, умом и храбростью добившись столь высокого положения, дорожил им и не мог себе позволить ошибаться – упустить врага. Ему не простят этого ни его покровитель и начальник адмирал лорд Сент-Винсент, ни другие адмиралы, как и первый лорд адмиралтейства Спенсер. Да и его величество король, когда вручал ему орден Бани, многозначительно сказал, что страна ждет от него еще кое-что. Кое-что! А что?

Дежурный офицер, съезжавший с командой моряков на берег, выжидательно смотрел на Нельсона.

– Значит, они ничего не слышали о французах? О десанте? О планах Бонапарта?

Офицер терпеливо кивнул, повторяя уже сказанное.

– Да, египтяне встревожены и удивлены. Но они ничего не знают о французах. А о Бонапарте они и не слышали, кто это.

– Вы свободны. Идите.

Нельсон устало опустил в кресло.

В голове билось: «Сицилия?! Сиракузы?! Крит?! Константинополь?!»

Задергало в правой руке. Да, в несуществующей руке, потерянной еще у Канарских островов. Так бывало всегда, когда Нельсон проигрывал. А выигрывал он пока не так уж часто, как хотелось.

Константинополь?! Греция?! Сицилия?! Неаполь?! Куда?

Константинополь! Взять Европу в клещи? Проткнуть насквозь Австрийскую империю?

Греция! Да! Поднять греков против турок! Сделать Балканы наковальней и расплющить Европу с запада и юга.

А если Англия? Ирландия? Холодный пот прошиб спину. Нет, нет, там, у Гибралтара, Сент-Винсент с его флотом. А вдруг?

Черт бы побрал всех этих дипломатов, всех этих шпионов, что сосут денежки из казны, но не дают самых важных сведений, от которых зависит судьба Англии! Все они ока-

зались беспомощны перед интригой Наполеона. Тот сумел все скрыть, запутать, сохранить в невероятной тайне. Горько подумал: детям дьявола дьявольски везет.

А теперь, что делать теперь? Ведь он все-таки считал: Бонапарт движется в Египет. Да и не один он так считал: доносил консул из Ливорно, предполагали в адмиралтействе. Его доблестные и опытные капитаны Трубридж, Белл, Дэрби, Сомарец тоже поддерживали его на совете. А что сейчас? Какое принять решение? Снова делить ответственность с капитанами? Но ведь они сломаются, ошибившись еще раз. Нет, надо отдать приказ самому. Голова кружилась, молоточки стучали вразнобой. Сильно болела правая рука...

Через несколько часов эскадра повернула к Италии. Ветер был встречный, мешал движению, и судьба еще раз криво усмехнулась Горацию Нельсону, но он этого тогда не знал.

Предутренний туман скрыл от зорких глаз его вахтенных наблюдателей змеей кравшийся караван французов. Утром, когда слабеет взор, клонится в сон голова, притупляется слух, он второй раз проскочил южнее лавирующей против встречного ветра английской эскадры. В яростной надежде встретиться с врагом контр-адмирал приблизился к неаполитанским Сиракузам. Там царили страх и уныние. В королевстве ожидали десант, боялись французов, но где их флот, не знали. У Нельсона стало мерцать в единственном глазу. Он так же ничего не знал о местонахождении врага, как и двадцать семь дней тому назад.

Драма в центре Средиземноморья продолжалась.

На эскадре появились недовольные, глухо зароптали моряки. Было от чего. Вода в бочках загнила, мясо покрылось червями, зашатались зубы.

Женщина, которая станет потом самым близким человеком для Горацио, сделала первый шаг к душе адмирала, спасая его моряков от цинги. Эмма Гамильтон, жена английского посланника в Неаполе, близкая подруга королевы Каролины, добилась секретного разрешения пополнить запасы английской эскадры. Французский посланник протестовал: нарушается нейтралитет, но тщетно. Через три дня в бочках англичан плескалась свежая вода, на палубах дергали ноздрями кольца упитанные быки; в клетках, вытянув шеи к проходившим матросам, шипели гуси. Цинга отступит, но где Наполеон?

И вновь короткий совет. Не без колебания курс снова был взят на Египет. Все-таки туда по немногочисленным, но тщательно собранным свидетельствам двигался Бонапарт. Туда, наверное, тащил честолюбивый генерал всю эту кучу геологов, химиков, археологов, ученых, о которых Нельсону сообщили самые надежные шпионы. Туда, наверное? Именно туда устремилась армия французов.

Контр-адмирал еще в первом рейсе погони не поверил дрожавшему, с дергающимся лицом русскому торговцу, сказавшему о том, что Наполеон сообщил ему сам: он идет к Дарданеллам. Подлые обманщики: и он, и этот купец, и де-

сятки осведомителей, приносивших слухи о показавшихся французских судах в Адриатике, у Родоса, в Алжире, на Кипре. Вранье все! Но где же Бонапарт?

...Адмирал вышел на палубу. Третий день дул попутный ветер. Может, это знак? Как всякий моряк, он был суеверен, верил в судьбу больше, чем в знания. Горацио немногому учился в школе. Походил до двенадцати лет, и хватит. Его истинным учителем было море, классной доской – палуба, а экзамены принимали шквалы, штормы и штили. Морские сражения стали его стихией, дальние переходы лечили душу. Он не любил высший свет английского двора и всю жизнь стремился туда. Он был холоден с матросами, но они любили его, потому что Нельсон не наказывал зря.

Спереди на корабельном носу свистнула плетка, раздались ругательства.

– Не болтай, мерзавец!

– Ты сам мерзавец, ты сам взял нашу порцию!

Плетка свистнула еще раз.

– Эй, Джон! – крикнул Нельсон не заметившему его боцману. – В чем дело? Почему ты с утра распускаешь руки?

Боцман обернулся и, вытянувшись, сипло пробурчал, глядя снизу вверх:

– Господин контр-адмирал! Он сеет смуту.

– Врет дудочник! Он сам забирает у нас наши порции грога!

Боцман развернулся, намереваясь ударить жалобщика

еще раз.

– Стон, Джон! – Нельсон крикнул вахтенному: – лейтенант Перси! Разберитесь по справедливости. Порция грога свята на британском флоте. И передайте сигнал: не употреблять девятихвостку в эти дни. Нам предстоит великая битва, а поротые не очень-то хорошо сражаются.

...На четвертый день показалась Александрия. Контрадмирал молил бога не послать ему врага. Подзорная труба его рыскала по бухте, набережным, высоким минаретам, пыльным площадям и опять по бухте... но пусто.

Снова крах! Французских кораблей нету. Драма погони превращалась в трагедию Горацио Нельсона.

Эскадра медленно продвигалась на восток. Застучали молоточки в голове, два раза дернулась правая рука. Рушилась морская карьера человека, созданного для морских битв. Адмирал Сент-Винсент, лорд Спенсер, адмиралтейство, премьер Питт, да и вся придворная светская сволочь, которую он презирал и которая платила ему тем же, подпишут ему приговор неудачника. Все-таки зря он тогда не пробился в парламент. Заседал бы себе, болтал, получал денежки. До чего же несправедлива к нему судьба...

Мрачные мысли перерезал откуда-то издали пронзительный голос вахтенного:

– Вижу справа в бухте много кораблей! – И через минуту: – Французы! – И уже спокойней, с обращением к командующему: – Вижу неприятеля!

Голова у Нельсона светлела, очищалась, лишь в закоулках мозга клубилась обрывистая тьма. Из правой руки уходила боль. Он кивнул дежурному офицеру, вбежавшему с докладом о том, что в бухте Абукир обнаружен французский флот.

– Ясно! Прикажете накрыть в моей каюте. Пусть поставят серебряные приборы и китайский фарфор. Приглашайте всех офицеров. Для многих это будет последний обед.

...Ели с английской педантичностью, не спеша. Планы не обсуждали. Сигналы были отработаны раньше. Вставая из-за стола, он знал, что пришел его день. Офицеры затихли. Перед ними был снова их несгибаемый, сверкающий единственным глазом, их любимый однорукий контр-адмирал. Взявшись рукой за большую морскую пуговицу на шитом золотом мундире, который он не снимал никогда, Нельсон покусал губу и гордо вскинул голову:

– Завтра к этому времени я заслужу или титул лорда, или Вестминстерское аббатство!⁶

Контр-адмирал получил позднее титул лорда, а французский флот под Абукиром перестал существовать. Египетская экспедиция Бонапарта оказалась в мышеловке.

...Драма завершилась. Как быстро меняются маски на подмостках истории...

⁶ Место захоронения выдающихся англичан

НОВЫЙ СОЮЗ

23 августа русская эскадра встала у входа в Босфор. Грозный Ушак-паша – вице-адмирал Федор Федорович Ушаков по рескрипту Павла Первого привел корабли к Константинополю.

Столица сиятельной Порты была в великом возбуждении. Еще бы! Грозный северный сосед – Белый царь прислал свои корабли под стены города. Что будет дальше?!

...На следующий день эскадра вошла в Босфор и стала в Бююкдере, напротив резиденции русского посла, авторитет которого за одну ночь вырос невиданно. Из прахоподобного он превратился в друга и брата.

К набережной потянулся люд со всего города: чайханщики и ремесленники, оружейники и торговцы, янычары и нищие, дервиши и падшие женщины. Одни толпились на берегу, другие, чтобы подъехать поближе к кораблям, торговались с лодочниками, сразу поднявшими цену.

Турки и армяне, сирийцы и греки, айсоры и болгары, курды и албанцы, волохи и египтяне. Каких только народов не знал этот кишмя кишастый людьми город. Одни угрюмо смотрели на хлопающие парусами корабли, другие взирали на них с надеждой, третьи с любопытством, четвертые со страхом.

– Скоро эти неверные заберутся в султанский гарем...

– Может быть, прекратятся наконец эти вечные войны?..

– Слышите, слышите, они поют!

...Великий султан, громоподобный и блестящий Селим III, переодевшийся в одежду боснийца, пересел из своих носилок в яхту задолго до стоянки русских кораблей в Бююк-дере. Окна яхты были плотно занавешены. Весла гребцов быстро мелькали над водой, однако ход постепенно замедлился. Вокруг русской эскадры, куда тайно направился Селим, сновал целый рой фелюг, кайяков, одноместных лодочек, гребных яхт и парусников. Находившиеся в них кричали, махали руками, предлагали яблоки и груши, табак, вино и воду. Красавица на небольшой фелюге покачивала бедрами и «обнажалась животом», зазывала, обещая радость в домах, где обитали сладкозвучные, луноликие и резвые дочери радости. Матросы с любопытством поглядывали. Ну не вплавь же бросаться! Да и служба. Вот на суше такую бы не упустить.

Султан отодвинул занавеску и молча глядел на русские корабли... Он, он должен возродить Турцию, разбудить ее. Ленивые подданные заботятся только о чалме и столе. Нужны реформы, нужна твердая воля, нужны союзники...

Ту-ту-ту! – врезался в его мысли резкий звук. Селим вздрогнул. Отовсюду: с нижних и верхних палуб, с бака и кормы зазвучали вдруг боцманские рожки, заиграли трубы. Вслед за этим на палубы русских кораблей выбежали сотни моряков и солдат. Одни из них карабкались вверх по мач-

там, другие поползли по реям, отвязывая паруса. Солдаты выстраивались в ряд вдоль бортов, взбирались на возвышения, изготавливаясь к стрельбе. Порты для пушек раскрылись, жерла орудий холодно взглянули на город. Казалось, еще мгновение, и они обрушат всю свою мощь на улицы, площади, мечети – сметут их, обратят все в прах.

Султан забеспокоился, а Юсуф-ага, кяхья – распорядитель дворцовых дел султанши, склонившись, сказал:

– Сиятельнейший в веках! Ты видишь умение русских и их страшную силу. Они мощные союзники, – он засмеялся тонким смешком, – и притом двенадцать русских кораблей производят меньше шума, чем одна турецкая лодка. Нет, нет, они большая гроза для врагов, свет и сияние Порты!

Селим смотрел и думал. Думал о том, что Порты на глазах трещит, рассыпается. Только что отпал Египет. Али-паша Янинский вел шашни с французами. Паша Шкодры предложил французскому командующему крепости Корфу помощь ополчением. Видинский пашлык был ненадежным. Льстивые письма грекам слал Бонапарт. Нет, без России не обойтись...

Султан погладил несколько раз правую щеку и еще раз внимательно посмотрел на главный корабль, где, приложив руку к русской чалме, стоял громадный русский командир. Не отворачивая от окна головы, бросил Юсуф-аге:

– Пошлите завтра от моего имени паше Ушакову табакерку с бриллиантами, а матросам тысячу, нет... десять тысяч

пиастров!

– О великий! Щедрость твоя беспримерна, и гнев твой покарает изменивших нам!

Гримаса перекосила лицо Селима. Она превратилась в кривую улыбку, и эта улыбка в щепки разнесла уже почти вечный союз Порты с Францией.

Через несколько дней последовал манифест, объявлявший Францию врагом. Ее посланник Рюффен со всем посольством был брошен в тюрьму, которую, как он считал, готовили для русского посла Томара. Все отвернулись от бывшего союзника, еще недавно восседавшего в главных султанских покоях. Ныне же, как говорили турки, и ишак не поворачивал к его жилищу. Во всей Порте громили дворы французов, грабили их имущество, торговля с республикой прекратилась. «Французская партия» при дворе султана рухнула, а только что всесильный визирь Иззет-паша, сторонник Франции, был смещен. Так не раз бывало в сиятельной Порте, да разве там только: был дерьмо – стал правитель, прошло время – из правителя снова дерьмо.

...Русский посланник Василий Степанович Томара принимал сегодня в своей резиденции влиятельных и важных турецких сановников. Хотелось пощупать их мысли, разузнать планы дивана, посоветоваться и воспользоваться весом этих важных советников султана.

Гости приехали почти одновременно, и Томара вместе с Ушаковым встречал их в приемной, приложив по-восточно-

му руки к груди. Всегда красный, обветренный, вице-адмирал стоял за ним и размеренно кивал головой, с интересом рассматривая недавних противников, а в сей час новых союзников. Каковы они ныне?

Пожалуй, тут, на встрече, были друзья. По крайней мере люди, желавшие примирения и совместных действий против Франции.

В зале гости расположились на подушках и коврах, а Томара и Ушаков сели в низкие кресла. Разнесли ароматные трубки, небольшие чашечки кофе, и после этого Томара, подняв высоко голову, торжественно начал:

– Светлые сыны Высокой Порты, мы немало побили посуды в прошлом, и я рад видеть вас здесь, в этой резиденции, в сем очаге, где куется дружба, милая сердцу наших верховных правителей. Ваши души и умы принадлежат светоносному Селиму Третьему, мы склоняемся перед волей и словом нашего венценосного Павла Первого. Рождается так угодный богу союз. Мы каждый день обсуждаем дополнительные статьи договора и приходим к новым и новым соглашениям. Скоро наши эскадры двинутся в дальний поход в Средиземном море. Наш победоносный вице-адмирал Ушаков вместе с храбрым Кадыр-беем, – Томара отвесил поклон, – решат судьбу всей кампании, одернут и разгромят коварных властолюбцев. В предвкушении полезной беседы и совета я хочу преподнести вам знаки благосклонности нашего императора.

Тамара хлопнул в ладоши, и высокий штабс-капитан внес поднос, на котором лежали усыпанные драгоценными камнями табачные рожки. Испытанный дипломат знал, чем развязать языки, как смягчить сердца. Да, в те времена, а может, и позднее, это не считалось зазорным или стыдным. То была благодарность и плата, протянутая рука и желание знать больше, чем знает супротивный посол.

Капудан-паша, глава турецкого флота Кючюк Хюсейн и заместитель великого визиря кяхья-бей Челеби Мустафа поклонились. Табакерки моментально исчезли в широких карманах их халатов.

Затем долго говорили, гости не отказались от водки, послушали русскую песню.

Павла Первого больше всего беспокоил вопрос о проходе эскадры, о ее независимости и возможности беспрепятственного возвращения назад. Тамара уже несколько раз заводил разговор об этом, и, кажется, ныне телега стронулась с места.

– Россия и Порта владеют Черным морем, и надо сговориться, дабы наши военные суда могли беспрепятственно входить и выходить из оного!

– Но тогда и другие государства захотят сие сделать, и будет ли это полезным для наших стран? – многозначительно сказал Кючюк Хюсейн. – И, внимательно посмотрев на Тамару, добавил: – Особенно для вашей империи.

Было ясно, что он намекает на таковые же просьбы и даже

требования ранее со стороны Франции, ныне – Англии.

– Однако сии притязания нескладные, ибо оные страны на сие права не имеют, расположены они вдали от границ Черного моря. Владетели же оного между собой все и порешить могут. Как говорят на Руси: не купи двора – купи соседа. Мы с вами должны в добрых соседей заделаться.

– Достопочтенный посол знает, что у России здесь еще немало врагов. Распри наши помнят... Боятся, – раздумчивый кяхья-бей Челиби Мустафа делал маленькие глотки кофе, кивал головой в такт своим словам. – Великий султан желает как можно быстрее помощь России на суше и на море получить и договор о сем заключить. Однако другая партия его пугает и отговаривает от больших обязательств. Наш добрый хозяин знает, что я говорю о Махмуд Раиф-эффенди, бывшем после Порты в Англии, коего и кличут в народе Инглиз, так он привержен порядкам и обычаям той страны. По этой привязанности с ним согласен наш Капудан паша и патрона, что по-вашему контр-адмирал, Шеремет-бей. Ну и ваш заклятый враг, – кяхья-бей иронически улыбнулся, – бывший посол в Петербурге Расых-эффенди.

Томара забеспокоился, понял, что надо втолковать, убедить, донести до ушей султана заверения в том, что Россия не стремится к захватам, особенно за счет Турции. Понимали в Петербурге, что Турция не все хотела бы раскрыть воочию в новом союзе.

– Наш император Павел Первый твердо говорит, что со-

юз наш оборонительный и никаких приобретений Россия не желает и взаимно хочет гарантии всех границ и владений! – Посол даже встал и, походив, доверительно прошептал, хотя известно было, что сам бы он на сие не решился: – Ну так вот, высокочтимые господа, давайте мы часть нашего договора сделаем открытой, направленной против вредных властолюбивых замыслов, а часть, чтобы враг не все знал и внутреннего беспокойства не было, – секретным. – Турки одобрительно закивали головами. – И коль вопрос о проходе наших кораблей будет решен, то немедля следует, чтобы адмирал и кавалер Ушаков вместе с вашим доблестным Кадыр-беем двинулись в Белое⁷ и Средиземное моря. К Египту, а потом к Ионическим островам. – Решил подсыпать сахару и халвы в разговор: – У России появился долгожданный союзник, и пусть будет мир наш вечным и непоколебимым.

Ушаков, что внимательно слушал Томару и толмача, вдруг встрепенулся и резко ответил:

– В Египет не поеду. Там Бонапарте в мешке. Выгуливать-ся нам ни к чему. Не для сией комиссии посланы императором. Идем на Корфу. Там у французов ключ от всего Средиземноморья, Адриатики и Балкан. А потом на Мальту. В Архипелаге будем дозорную службу нести, чтобы Директория не высадилась в Морее. Англичан обслуживать не буду!

Кючюк Хюсейн неодобрительно посмотрел на русского адмирала, помолчал и, повернувшись к Томаре, выдохнул с

⁷ Белое – Эгейское море.

ДЫМОМ:

– Египет – наша боль. И неизвестно, куда направится француз оттуда. Надо следить за ним и предупредить движение его войск. – Подумав, добавил: – Мы знаем, доблестный адмирал хорошо разбирается в морском деле, но хотелось бы, чтобы он выбрал главное. Известно, что приморские крепости с моря не берутся. А осаждать можно долго. Время потеряем. Мальта перед англичанами не пала. Французы умеют оборонять крепости. Может, не спешить туда, в Венецианскую Албанию? Зачем нырять в пучину вод, коль нету там жемчужины?

В словах Кючюк Хюсейна проскользнула какая-то неуверенность, словно он вспомнил вчерашнюю встречу с английским посланником Спенсером Смитом, о которой Томаре было известно. Василий Степанович хлопнул Ушакова по плечу и по-свойски заметил:

– Да, батюшка, да! Придется уступить.

– Уступать не буду, император не велит, – снова зло горячился успокоившийся было Ушаков. – Ну, может, несколько кораблей пошлю. Господин капудан-паша прав: морские крепости брать тяжело, так и позвольте это сделать всей наличной силой. И командующий Бонапарте значение сих Ионических островов хорошо понимает. Год назад он сказал, что острова Корфу, Занте и Кефалония дают ему господство в Адриатическом море и в Леванте и имеют для французов значение большее, чем вся Италия!

Турок слова Бонапарта поразили и убедили. Стали соглашаться. Балканы были тоже болью Порты.

Поговорили еще немного. Повосхищались трапезундскими арбузами и грушами, таявшими во рту, похвалили водку и кофе, стали прощаться. Гостей проводили до ворот, у которых юркий продавец сладостей – шекереджи, всем предлагал свой товар, подобострастно заглядывая в лица. Кибитки разъехались в разные стороны. Томара посмотрел им вслед и кивнул на шекереджи.

– Шпионит. Спенсер Смит, поди, подослал. – Вздохнул. – Ну мы тоже безопасность соблюдаем. Он нас за неповоротливых болванчиков почитает, а мы все его шаги знаем. – Посмотрел вверх на тихо шуршащий кипарис, круто изменил разговор, дружелюбно и покровительственно обратился к Ушакову: – Любезный Федор Федорович! Мы на вас надежду имеем. Талант морской ваш знаем. А политикой уж вы себя не утруждайте, время не расточайте. Сие нам доверьте.

Ушаков еще больше покраснел, набычился, повел головой, как бы размягчая воротничок. Дружелюбства не принял. Ответил, как будто тяжелые камни в морскую пучину сбросил. Там им и лежать вечно.

– Флот, он без политики не бывает! Оный везде, где находится, державу свою продолжает. Мои матросы лучше некоторых петербургских вельмож о благе Отечества в походе пекутся. У моряков Россия за спиной, и они оную защищают. Вот вам и политика. А командир морской стратегему общую

должен знать, взрывы и вражду народную предупреждать, снабжение наладить, дабы ни у населения, ни у войска недовольства не вызывать. И все сие соображения политики!

Томара озадаченно промолчал.

ПИСЬМА С ДОРОГИ

Любезный мой друг Петр!

Вот и покинул я берега нашего Отечества. Едем мы к туркам как дружки и вкупе с ними и англичанами будем воевать с французами, а может, употребят нас в каких других планах и стратегемах. Воевать я готов, ты сам знаешь, что я ничего не боюсь. Да и обстоятельства таковы, что мне в баталии ввязаться хочется.

Ты, старинушка, знаешь, что отец мой всю эту мою болезную страсть к картам не любил. Хотел, чтобы я книг больше читал. Но мне оные пустою и лживою забавою казались. С таким количеством правил и наказов, что их всю жизнь не выполнишь, а человек книгу жизни читать должен, ее мудрость постигать. Правда, мудрости-то я особой не постиг, а пристрастился к забавам острым и опасным: охоте, картам. Что со мной происходило там, в Николаеве, Херсоне, Одессе, я и сам не пойму. Ты мой друг, и я, зная твою симпатию ко мне, доверяю свой страх и беду свою о сией дурной привычке и страсти. Все игры переиграл тогда: и в вист, и в камбер, и в тресет, да и другие. Как сяду до обеда играть, то играю и после обеда, и почти всю ночь, и так почти каждый день. И хочу-то не деньги выиграть, а игру. Ты ведь знаешь, что я не того сродства, чтобы на несправедности наживаться, хотя, кроме жалованья,

ничего не имею. А в игре на меня какая-то шаль находит, весь из себя выхожу и вижу только карты. Во сне снится, как могила моя усыпана оными, да на памятном монументе стоит валет пиковый. Командир порта меня предупреждал несколько раз, что сие увлечение плохо закончится. Я же, зная расположение его нрава к отцу, все отмалчивался. Но вот у нас стал новый император, и велено было составить на господ с французскими якобинскими симпатиями и легким непотребным поведением списки. Что до французов, то я их не люблю, а поведение мое, ежели вспомнить карты, может и не понравиться. И сей мой начальник, который за службу осыпал меня похвалами, посоветовал подать рапорт о переводе на корабль, который с адмиралом Ушаковым в Турцию пойдет. Я сие и сделал. Да вот еще штука. Познакомился я с девушкой красивой, ладной, нраву хорошего, стана гибкого и стал у ее родителей бывать часто, а она сказала, что мамушка ее что-то худого про меня слышала: что я-де повеса и игрок. И тут я понял, что в Одессе мне не жить старой жизнью. И надо снова овладеть собою где-то в дальнем походе.

Уехал я отсюда с тоской и печалью, но с надеждой. Пишу я тебе, любезный, из Константинополя, где наша эскадра стоит и жители оною города нас лелеют и славно приветствуют. Обещают от нас в Россию корабли посылать и оные наши письма отвозить будут. Так и ты мне пиши, советы давай. Сим заканчиваю. И уверяю тебя в неизменной дружбе, остаюсь Ваш и прочее

лейтенант

Андрей Трубин.

Дорогой мой родитель Егор Петрович!

Дорогая моя матушка Екатерина Ивановна!

Во первых строках сообщаю, что жив и здоров. Во вторых, прибыли в город Царьград – Константинополь. Зело красив он и шумен. Батюшке купил тут трубку турецкую, а тебе, матушка, плат, птицами разрисованный.

Батюшка, ты не ропщи и не думай, что меня за какие-то погрешности сюда отправили. Федор Федорович Ушаков самолично отбирал офицеров для похода. И когда узнал, что я Трубин, то зело интересовался, где ты служишь, и сказал, что, наверное, я своего отца не подведу, а он, то бишь ты, был верным и храбрым слугою Отечества. Я ему обещал и тебе обещаю, что чести твоей не посрамлю.

Матушка, я вас целую и обнимаю, и если вы встречались с Козодоевыми, архитекторами, то опишите мне, что кто из них передавал.

Вспоминаю сточасно Вас и наше обиталище,
Андрей, сын ваш.

Любезная Варвара Александровна!

С тех пор как виделись мы у вашего папеньки в доме, забыть я этой встречи не могу. Вы мне о том памятью.

Мы люди морские и военные, тонкостям ухаживания не обучены, прошу прощения за неловкость мою. В мыслях своих я вам все время любезности оказываю и нежные слова говорю, любовную страсть проявляю все больше с романтической стороны. Сейчас я в походе славном, и неудобство от оного лишь одно – Вас не вижу. Прибыли в Константинополь, где я увеселяюсь красотами и прелестями оного, мешая дело с бездельем. Конечно, тут и нищих в рубищах много, и женщин непотребных, да других мы и не видим, они сокрыты от взоров мужчин.

Готовимся в бой против французов, ждем приказа нашего славного адмирала Федора Федоровича Ушакова, чтобы напасть на них. И уж тут-то, Варя, позвольте мне по причине искренней симпатии Вас так называть, мы свою отменную храбрость покажем, и Вы узнаете, что ежели во мне какие пороки есть, то они или со мной в пучину морскую уйдут, или славою смоются.

Пишу вам, а кровь моя взволновалась и бурлит, и надеюсь на нескорую, но желанную для меня встречу.

Я емь навсегда Ваш Андрей Трубин.

ВЕРА В ИЗБАВЛЕНИЕ

*Греки и славяне... видят в России свою
естественную покровительницу.*

Ф. Энгельс

Колокольный звон окутал остров, закружил его в своих медных объятиях, протянул дорогу к белопарусным кораблям, соединил ликовавших, праздничных жителей и усталых, гордых победой русских моряков в единый торжествующий лагерь. Нежаркое октябрьское солнце било лучами в бирюзовые волны Адриатического моря. На улицах города, в селах, у стен крепости, на всем острове Закинфе шло невиданное братание греков и русских. Не было дома, на котором не трепетал бы андреевский флаг.

Жители острова выплеснулись навстречу солдатам и морякам. Они крестили их, смахивали светлые слезы, посылали добрые приветствия и благодарную любовь. Вдоль улиц выстроились дети, махали проходящим колоннам, протягивали конфеты, а затем кинулись целовать руки солдатам. Те были ошеломлены, засмутились: «Что это они? Чай мы не барышни! Не господа!» – «Вы для наших граждан больше, чем господа! Вы избавители наши! – кричал им выпущенный недавно из тюрьмы Мочениго, которого многие офицеры уже знали как организатора восстания местных крестьян. – А целуют руки по греческому обычаю старшему и

почитаемому человеку!»

Солдаты благодарили за почет, но рук целовать не давали. Обнимали ребятишек, ставили их в строй. Так и шли по улицам освободители и освобожденные, которым надолго, а может, и навсегда запомнились эти добрые руки, это дружеское объятие пахнувших табаком и порохом солдат из России.

Федор Федорович Ушаков был не сентиментален, на внешние чувствования себя не расходовал. Но то, что почувствовал, увидел здесь, на Закинфе, потрясло и обрадовало его. Еще раз укрепило в вере, в стойкости сказанному слову, осватило дело, которое ему поручили.

– Плачут! Обнимают. Значит, ждут и хотят нашей помощи. – Закрыв глаза, задумался. Вспомнил как было.

...Два русских фрегата капитан-лейтенанта Шостака позавчера подошли к острову, но каменистый берег и мелководье не позволили высадиться десанту. И тут произошло то, чего никто не ожидал. В воду высыпало несколько сот крестьян и стали на носилках, на руках переносить оружие, припасы и солдат на берег. Ушаков открыл глаза и стал дописывать письмо царю:

«Жители острова... бросились в воду и, не допустив солдат наших и турок переходить водою, усиленным образом и с великой ревностью неотступно желали и переносили их на берег на руках». Вспомнил, как доложил Шостак, что несколько тысяч греческих ополченцев, завидев его фрегаты, начали наступать на город, захватили тюрьму, сожгли

дома «французских друзей» и долговые документы. То ли мятеж, то ли революция? Но нет, пошли в атаку вместе с русскими солдатами и заставили отступить французов в крепость. Вчера на флагманском «Святом Павле» принял их и вручил им, как боевое знамя, флаг русского адмирала и предложил готовиться к совместным боевым баталиям. Но сие не понадобилось. Французы сдались, и ему ж пришлось уговаривать руководителей повстанцев не проявлять «ярость к уничтожению» французских солдат.

И вот великий праздник! Послал сюда еще раньше обращенные к жителям «Пригласительные письма», то есть воззвание, подписанное совместно с Кадыр-беем. Письма призывали все население острова выступить против французов и обещали установить правление на островах по предпочтению жителей, для приобретения прямой свободы, состоящей в безопасности особенной и имени каждого под управлением, сходственным с верою, древним обычаем и положением их страны, которое с их же согласия на прочном основании учреждено будет». Обещали учредить правление даже по образцу Рагузы. В местных церквах тайно читали послания константинопольского патриарха Григория V. Патриарх крепких слов по поводу богоотступников-французов не жалел. «Эти искусители свободой, равенством и братством несут только страдания», – усиливали его голос с амвонов городские и сельские священники.

Истинную свободу и спасение от безбожия, говорилось в

посланиях, несут островам эскадры Турции, России и Англии.

«Иониты! Пришел ваш час спасти веру, нравы и порядок! Не допустите греховодников в храм святого Спиридона! Не дайте осквернить свои души!»

Патриарх был самый высокий авторитет для богатых и бедных, для жителей Сули и Мореи, Турции и Кандии, Македонии и Ионических островов, но сердце ионитов не делилось на три части, и оно было, как и у большинства греков, полностью отдано русским.

Несчастливая Греция, некогда светоносная Эллада, вся была разорвана на куски, ее жители едва ли помнили, что они потомки аргонавтов и Аристотеля, и были рассеяны по многим городам и островам Средиземноморья. Греки только во снах видели свою независимость. Оттоманская империя – их извечный враг, казалось, была столь чудовищно сильна, что ее мертвящая тяжесть не позволяла шевельнуться. Под стать туркам была торгашеская цепкая власть венецианцев, полужадушившая ионитов. Породили надежды высадившиеся на островах французы, но и они ввели непосильные налоги, стали бессовестно грабить население, глумиться над традициями и обычаями, сажать в тюрьмы и расстреливать. Что оставалось бедным грекам? Оставался еще дух. Дух, неподвластный гнету и насилию. Дух, неподвластный тлену и забвению. Дух, живущий в живом. А ведь убить всех рабов нельзя, они должны работать на господ. Работать – значит жить. И эти

суетливые неопрятные греки, как считали их господа, эти землепашцы и торгаши, пастухи и сапожники явили невиданную стойкость и презрение к смерти. И они нашли себе большого и почитаемого покровителя. Они увидели его в русских! Не во французском офицере Директории, не в венецианском торговце, австрийском посланнике, английском адмирале, а в русском простом солдате, в парусном флоте России, в далеком, немного миражном Петербурге...

Да, эту любовь почувствовал самый простой моряк и он, грозный, суровый адмирал, чьей воле подчинялась мощная быстроходная эскадра, чья слава была известна на Черном и Средиземном морях.

ЧУЖЕЗЕМНЫЕ ЕДИНОВЕРЦЫ

Все малые и средние Ионические острова в октябре и ноябре 1798 года были взяты объединенной русско-турецкой эскадрой. Французы сопротивлялись недолго. Мощная русская артиллерия, молниеносные штыковые атаки, устрашающий вид турок и море повстанцев делали свое дело. Гарнизоны Китиры, Закинфа, Кефаллония, Левкаса и других островов капитулировали. Перед эскадрой оставалась одна крепость. Одна, но какая! Бастион Франции в Средиземноморье, база египетской армии Наполеона, опора Директории между Апенниннами и Балканами. Цену ей знали как французские власти, так и новые союзники. И тем желаннее было господство над ней.

Генеральный комиссар Франции Дюбуа объявил осадное положение, гражданское управление было распущено, был срочно создан комитет общественного спасения только из французов. Генерал Пиврон, возглавивший его, разделил сферу обороны и сферу внутренней безопасности, передав заботу о возмущенных греках Военному комитету по делам о государственной измене. Треск ружейных выстрелов, осевшие в лужи крови тела у крепостных стен подвели черту под революционными фразами директорийских военных. Корфиоты окончательно переходили на сторону союзников.

...В адмиральской каюте у Ушакова собрались русские

командиры кораблей и руководители греческих повстанцев. Турецких союзников не было. Решили сегодня посоветоваться, узнать возможности мятежных корфян.

Тут был и недавно прибывший с эскадрой из Ахтияра контр-адмирал Павел Васильевич Пустошкин, капитан первого ранга, командир «Святого Петра» Дмитрий Николаевич Сенявин, командиры русских линейных кораблей и фрегатов капитаны второго ранга Григорий Тимченко, Иван Селивачев, Тимофей Перский, Александр Сорокин и другие высокие и менее высокие чины русского флота. Морские командиры похлопывали друг друга по плечам, вспоминая боевые эпизоды, громко говорили, не особо заботясь об этикете, разительно смеялись и шутили с греками, которые почти все знали русский. Да и немудрено: большинство из них прошло службу в русской армии. Вон стоят два высоких статных красавца капитаны первого ранга Алексиано и Сардонаки. Последнему сам Ушаков поручил ныне командовать флагманским кораблем «Святой Павел». Доверие безграничное. А доверял седой адмирал не сомневаясь, ибо знал бесконечную преданность греков России, их тоскливую надежду на избавление с ее помощью. Вот эти – изящно одетый, энергичный, подвижный Булгарис и уже старый, дряхлый граф Макрис, с острова Закинфа. Он еще в экспедиции Алексея Орлова участвовал, увлек за собой тогда две тысячи ополченцев. А напротив, в толпе незнатных, стоит живо жестикулирующий аптекарь, который тоже служил в России и был

первым, кто выбросил русский флаг и с возгласом «Да здравствует Павел Первый!» повел за собой толпу на этом же острове.

А рядом отставной русский майор Георгиос Палатинос, тоже воевавший в последней войне, а ныне волонтером пребывающий на «Святом Павле». С ним отличившийся в боях на Китире отставной капитан Киркос.

Особо много было в этой экспедиции в составе русско-го флота кефаллиниотов. Графы Метаксы, имевшие там владения, приписывали это своей пропаганде. Но было это не совсем так. На Кефаллинии жило тридцать отставных офицеров русской службы. Вон стоит лейтенант Глезис и капитан-лейтенант Ричардопулос – говорят молодо, задиристо. А ведь Измаил брали с самим Суворовым. Офицеры рассказывали Сардандинаки, как, уйдя в отставку, по утрам поднимали у своих домиков маленький андреевский флаг, а по вечерам в окружении восторженных мальчишек вели беседы, вспоминая о своих истинных и мнимых подвигах. Или же все вместе собирались в винной лавке у купца Аврамиотиса, где, подогреваемые красным вином и по русскому обычаю не разбавляя его, громко говорили о славных победах и скором приходе сюда «дяди Ивана». Лавку обходили стороной не только местные «карманьольцы» – сторонники Франции, но и патрули солдат Директории, зная буйный нрав отставных офицеров русской службы.

Удивительное это и трогательное явление – греческие

добровольцы на русской службе. Большинство из них пошло, уже имея некоторый морской и военный опыт, другие учились в знаменитом Корпусе чужеземных единоверцев в Петербурге, где и было подготовлено немало морских офицеров. Греческие добровольцы верили, что победы России были победой их веры, их победой. Они хотели, жаждали, стремились к службе в русском войске. Они были храбры, неподкупны и очень полезны во время боевых действий, ибо знали Средиземное и Черное моря, знали все бухты и укромные укрытия, где сотни, а может быть, и тысячи лет назад прятали свои сокровища, сберегали жизнь ближних их предки. Они знали врага России – Турцию. Это был их враг. С недоумением приняли нынешний союз, но не отчаялись, ждали своего часа.

Обстрелянные турецкими пушками, осыпанные державными почестями России, они подолгу оставались на службе, тоскуя и скорбя о своей родине и о близких.

Но вот снова повеяло пороховым дымом, пахнуло грозой войны, и потянулись на русскую эскадру бывшие ветераны. Уже давно увидели они в Директории очередного тирана и поработителя.

Ушаков зашел, поздоровался и сразу увидел, что греки заметно разделились на две группы. В одной – хорошо, со вкусом одетые нобили, а в другой – разномастные, с голубыми косынками на груди представители других сословий. Адмирал, как бы объединяя их, обратился к тем, с кем бывал в

баталиях, кто уже воевал под флагом империи.

– Как, господа, зажили ваши раны российских походов?

Ветераны выступили на полшага вперед, зашумели:

– Те раны нам награда! А непрестанная боль в сердце от врагов наших. От пьющих кровь венецианцев, разбойных французов. – И уже тише добавили, зная союзные обязательства: – От кровавых османцев страдаем и кровоточим.

Вперед выступил священник, в длинной черной рясе, приехавший из Китиры. Ушаков вспомнил, что это Андонис Дармарос и он уже виделся с ним у острова, когда тот в составе делегации жителей заявил, что «все островские жители охотно желают и готовы оказывать всевозможную соединенным эскадрам помощь».

Священник дождался тишины и неторопливо сказал:

– Наши соотечественники знают, что единая защита и надежда – ваша великая держава. С утренней молитвой гречанки обращают свой взор на север! С надеждой на лучшие дни смотрят туда землепашцы и священники, судовладельцы и моряки! Только Россия может дать нам свободу и защитить веру!

– Мы ваши друзья! Но не будем забывать, что еще недавно здесь кое-кто ставил свечку Бонапарту. А после взятия Мальты некоторые молодые люди подались в греческий легион его египетской армии.

Лейтенант Глезис, вроде бы защищая честь земляков, быстро проговорил из-за спины священника:

– Немногие! А среди них были и искатели приключений, и те, кто здесь отчаялся получить свободу. У многих потом после поборов и налогов, которыми их обложил генерал Жан-тильи, головы протрезвели.

Георгиос Палатинос язвительно добавил:

– Да и граждане высшего класса вели себя часто недостойно. Им следовало бы поучиться у простых пахарей, которые бросали все и шли на приступ крепостей, не жалея жизни.

Не поворачивая головы, холодно и небрежно, как подобает говорить истинному нобилу, граф Сикурос ди Нартокис заметил, глядя на Ушакова:

– Кому нечего терять, тот спешит потерять голову. Многие шли на французов, имея в виду чужое добро. Посмотрите, что творится кругом. Горят дома, на улице невозможно выйти. Чернь требует имущества и власти! Надо немедленно учреждать законную власть.

Греки еще более четко разделились. Одни отжались к Сикуросу и подошли ближе к нему, другие встали рядом с Палатиносом, который нервно крутил кончик пояса. Лишь Дармарос остался посередине, не совершив шага ни влево, ни вправо.

Ушаков поднял руку, внимательно вглядываясь в лица, оперся на подзорную трубу и густым крепким голосом пророкотал:

– О власти мы с вами, господа, поговорим позднее. А я всякое данное мною слово стараюсь сдержать верным. И хо-

тел вас просить оказать всяческое содействие во взятии Корфу. Командиром повстанцев назначаю графа Булгариса и в знак его заслуг перед Россией, которой он почти тридцать лет служил, произвожу его в бригадиры. От наших совместных дел зависит виктория над неприятелем и возвращение независимости. Прошу вас соединить все силы для сего великого дела.

Греки снова как-то незаметно подвинулись и соединились через седого чернорясого Дармароса, составив единую группу.

ВО ДВОРЦЕ БЕЯ

Два демона ему служили,
Две силы чудно в нем слились.
В его главе – орлы парили,
В его груди – змии вились...

Ф. Тютчев

Казалось, Каир был полностью во власти французов. Наполеон торжествовал. Он сделает из него центр великой культуры, центр и столицу французской колонии. Уже создавался Египетский институт – этот очаг наук здесь, на Востоке. Его бывший школьный товарищ возводил в центре города, к радости офицеров и солдат, египетский Тиволи. Здесь будет кипеть веселье, уже крутится карусель, вздымаются качели. А там, подальше от центра круга, готовятся деревянные кони и на недостроенном помосте играет военный оркестр.

Селезнев дивился этому умению французов везде устраиваться красиво, с комфортом, после дел полностью отдаваться отдыху и веселью. Он да, пожалуй, и большинство его соотечественников, не умели так. После сделанного он еще долго мучился, думал, правильно ли поступил, осуждал себя за промахи, а тут и новое дело наплывало. Вот и сегодня он хмурился, задумывался, хотя пришел сюда, в этот каирский

Тиволи, чтобы развлечься, поесть мороженое, которое по настоянию Бонапарта продавали во всех углах. А хмуриться он не имел права еще и потому, что с ним рядом шла замечательная девушка Милета – патрицианка и революционерка, сторонница свободы республики Ионических островов и Великой Эллады, участница греческого легиона, действовавшего в армии французов. Услышав о великом походе Бонапарта, она снарядила торговое судно отца и кинулась вслед флоту Великой экспедиции. Она горела идеей повернуть суда на Грецию, войти с покорителями Италии в Константинополь, освободить от тирании Элладу, принести ее жителям равенство и свободу. Армию Бонапарта и греческий легион Милета догнала лишь в Каире. Ее мечты были благородны и достойны века. Однако флота французского к тому времени уже не было, хотя щепки от него и прибывались волнами к морскому берегу Пелопоннеса. Нельсон под Абукиром оставил от французского флота лишь воспоминания. Милета поняла, что ее первая мечта растаяла, и решила бороться за просвещение своего народа. Здесь при оборудовании типографии в Научном институте и встретил ее Селезнев. Милета, часто спокойная и задумчивая, вдруг вся наполнилась живостью и внутренней энергией. Ее горение, знания, устремленность, красота удивили и поразили Селезнева. Ведь он знал женщин, которые обладали многими из этих качеств, но не соединяли их вместе. Они были тоже красивы, милы и не бездеятельны, но бежали от обыденности и страдания.

Красота Милеты не боялась жизни. Ее глаза видели весь мир, сердце чувствовало горе ближнего. Черты ее лица напоминали камню и, казалось, вырезаны были из мрамора. Но особенно поражали ее глаза – одновременно серые, бирюзовые и желтые, с большими черными зрачками, мерцающими светом далеких времен. Когда Милета говорила особенно вдохновенно, ее глаза, казалось, занимали треть лица, пылая святым огнем. Селезнев думал, что вот так, наверное, зажигали на подвиг против тиранов и врагов нерешительных афинян их жены и сестры.

Он тайно восхищался ею и был готов всегда оказаться с ней рядом. И вот уже и сам горел священным огнем ненависти к поработителям Греции и восхищался свободолюбием и возвышенностью Древней Эллады. Она горячо настаивала на публикации книг, воззваний на греческом языке.

– Греция принадлежит Средиземному морю. Ее народ угнетен. Он впал в опасный сон самосохранения. Если не разбудить его, он отуречится, растворится, совсем забудет великие идеи Эллады. Сейчас здесь, в Средиземном море, решается судьба свободы в Европе. Тирания или вольность! И мы должны помочь выбрать грекам вольность.

Селезнев не возражал. Он кивал и с внутренним восхищением слушал свободную и страстную речь гречанки. Он уже слышал от Милеты, что греческая типография оборудуется в Александрии, а на Ионических островах, где идет борьба между низшим и высшим классом, ждут книг, прокламаций

и воззваний на греческом языке.

– Однако, друг Селезнев, вы сегодня невнимательны и задумчивы. О чем думаете?

– Да о многом, Милета! Я думаю, а чем помогаю своему народу здесь, в этих песках? И есть ли польза от меня на этом свете.

– О! Эти мысли приходят и мне. И я хочу скорее вернуться на Корфу. Любовь породила людей, справедливость должна окружить их, а братство и дружба должны возродить жизнь в ее полноценности.

– И я уже хочу в Россию, но не знаю, как примирить свой разумный идеал с неразумной действительностью. Да мне и не с чем возвращаться туда. Я, кажется, не смогу привезти туда ни новых идей, ни войск. Любые войска там погибнут, а идеи могут жить только близкие народу. – И он резко переменял тему разговора. – Посмотрите! Что это?

На площадь, на которой собралось много каирцев, вступила колонна, во главе которой шли французские офицеры, а за ними, подгоняемые солдатами, ишаки с мокрыми мешками, из которых что-то стекало на дорогу. За колонной шла рыдающая толпа женщин и детей. Замыкала шествие группа французских кавалеристов. В центре площади колонна остановилась. Селезнев и Милета подошли поближе. Забили барабаны. Толпа зарыдала еще громче. Погонщики ишаков отвязывали мешки и, отвернувшись, вываливали содержимое на землю. Из мешков покатались обвязанные чалмами и об-

наженные, лысые и с густой шевелюрой головы. А потом снова раздался женский плач.

– Так будет со всяким, кто будет покушаться на французских солдат! – грозно выкрикнул офицер, переводчик перевел.

– Боже! Я видела уже это в Греции, когда турки вырезали мирных жителей, но те же – варвары! А вы солдаты революции и свободы!

– Но, гражданка, мы же должны образумить непокорных, – несколько смущенно пожал плечами офицер. Милета, закрыв глаза ладонями, быстро побежала.

...Следующий раз Селезнев встретился с ней на приеме, который проводил Наполеон во дворце Эльфи-бея. Приглашены были ученые, военные, местные богатеи и несколько женщин. А их так не хватает боевому воинству Бонапарта. Лишь наиболее храбрые из представительниц прекрасного пола, надев солдатский мундир, пробрались за своими возлюбленными в Египет. И тут уж они были вознаграждены за свое бесстрашие всеобщим обожанием.

Милета появилась во дворце позднее. Селезнев пришел, не особенно заботясь о туалете. Он знал, что революционные генералы и офицеры, за исключением Наполеона, относились к одежде презрительно.

Селезнев представился и пошел на второй этаж, где в гостиной любил вести беседы Наполеон. Там снял по восточному образцу башмаки и присел с краешку, где на коврах

сидели гости. Беседа, судя по всему, уже заканчивалась. Бонапарт, которого здесь звали султаном Кебиром, полулежал и, обращаясь к египетским беям, медленно говорил:

– Ведь и мы мусульмане! Не мы ли уничтожили папу, который проповедовал войну с исламом, и мальтийских рыцарей, которые безумно воевали с мусульманами? Пока существует всего две трудности, чтобы я и моя армия сделались мусульманами: первая – это обрезание, вторая – вино. Мои солдаты приучены к вину с детства.

Беи молчали.

Бонапарт положил руку на Коран и сказал:

– Клянусь... нашим... пророком: мы ваши верные друзья! Я приказал своим солдатам преследовать католических священников и поклоняться только муллам и раввинам! – Понял, что о раввинах сказал зря, и быстро заговорил о ценности этих земель: – Восток – вот великое место! Здесь живет 600 миллионов человек. Здесь можно совершить великие деяния. Мы не имеем намерения приобретать здесь территории, мы не стремимся унижить на берегах Нила полумесяц, а преследуем там английского леопарда и намечаем удар в его индостанское брюхо.

Беи молчали.

Глаза Наполеона возгорались.

– Мы на основе главных религий создадим здесь великую религию всех народов.

Беи молчали.

Наполеон вздохнул, сложил руки, встал и поклонился им:
– Прошу через тридцать минут в зал.

Командующий вышел через двадцать девять минут строгий, чистый, в военном мундире, в белых панталонах, ботфортах со шпорами и величественным жестом показал на дверь зала. Стол был накрыт по-европейски на пятьдесят курвертов. Повара блеснули в этот необычный солнечный день рождества. Четыре супа, два мясных блюда, двадцать закусок, четыре сорта салатов вызвали веселый блеск глаз не только у гурманов.

Селезнев был посажен рядом с говорливым художником де Ноном, а слева, к его радости, оказалась Милета. Она пришла в черном красивом платье с трехцветной кокардой в волосах. Когда все уселись, Наполеон встал, придавив зал своим взглядом.

– Граждане Франции! Воины! Ученые! Наши друзья! Сегодня, в канун старого 1799 года, мы не можем не задумываться над тем, кто мы. Пленники или победители? Обрек ли нас Абубакир на гибель или зовет нас к новым победам? Нет! Мы не сокрушены. Мы в Египте! Мы в Каире! – Бонапарт остановился, взглянул вверх и, как бы увидев там знамение, вдохновенно продолжал: – Перед нами маячат новые блистательные походы, грядут новые битвы; везде нам будет сопутствовать удача. Англичане заставят нас совершить более великие подвиги, чем мы предполагали.

Здесь, в победоносном для Франции месте, я объявляю,

что мы выйдем скоро в новый поход. Мы разрушим походя Турецкую империю, вероломно нарушившую мир и трусливо бросившуюся в объятия Англии и России. Я создам на Востоке новое великое царство. – Он подумал и немного исправился: – Царство свободы. Мы достигнем Индии, и оттуда я возвращусь через Константинополь, Адрианополь и Вену, уничтожив и Австрийский дом! Мы даруем всем народам на нашем пути братство и помощь. Это откроет нам все границы и склонит перед нами все знамена!

В зале царила восторженная тишина. У многих навернулись слезы на глаза. Лишь Клебер нахмурился и, нервно постукивая ножом по тарелке, тихо сказал:

– Войско революции не жертва для приключений.

Наполеон быстро взглянул на него и с легкой улыбкой сказал:

– Кое-кто очень хочет есть. Я прошу вас приступить к обеду. Речей больше не будет.

Через мгновение за столом воцарился веселый шум, усиливающийся с каждым новым глотком вина.

– Генерал пьет только шамбертен. Это пяти-шестилетнее вино хорошо утоляет жажду. Он возит его повсюду с собой. Ну и, естественно, разбавляет водой.

Селезневу вино понравилось. Он вполуха слушал болтовню де Нона. Ему очень хотелось заговорить с Милетой, но она была увлечена разговором с Клебером, рассказывая ему о свободолюбивых традициях греков, о многоидейности

Древней Эллады.

– Эллада прошлого – вот образец свободы и развития. Греки не терпели насилия, свобода была их богом. А боги были люди свободные. Они любили Красоту и Разум, они знали Просвещение и Труд. Они не склоняли голову перед деспотами, как их старшие братья-египтяне.

Генерал скупо отвечал:

– Я плохо знаю историю, но наш командующий предпочитает Рим с его легионами, миродержавием и космополитизмом. У него везде когорты, легионы, триумфы. Революционные праздники мы не отмечаем. Вот вздумали отметить старый Новый год.

Словоохотливый и бойкий де Нон, похожий на древнего сатира с толстыми губами, громко хохотал, набрасывал эскизы, подливал себе и Селезневу шамбертена, перебрасывался репликами с соседкой Наполеона.

– Кто эта женщина? – осмелился спросить Селезнев.

– О, вы не знаете? Это же знаменитая Беллилот! Ну, если вам ничего это не говорит, то могу сказать, что она жена офицера Фурэ Маргарита-Полина, модистка или швея из Каркасона.

– Как же она здесь оказалась?

– О, это замечательная история. Юная красавица надела мундир своего мужа и, добыв пропуск, в трюме прибыла сюда, в Египет. Здесь же такая красота в редкость. Швея стала нашей Клеопатрой, – ехидно улыбнулся художник.

Наполеон наклонился к Маргарите-Полине, чтобы налить ей воды из графина, но неловко выронил его и облил скатерть и ее платье. Громко сокрушаясь о неловкости, он увлек ее в свои комнаты, чтобы поправить беспорядок в ее туалете, совершенный по его вине. Все бывает и у генералов!

За столом на мгновение установилась тишина.

– А где же муж потерпевшей? – поинтересовалась Милета.

– Муж? Муж выполняет великое поручение генерала. 17 декабря он на Квебеке «Охотник» поехал доставлять депешу Директории. – Де Нон захохотал. – Я бы не советовал ему скоро возвращаться.

– Да, наверное, мужу было бы неприятно наблюдать это кудахтанье.

– Ну полноте, мадемуазель. Тут все полно приличия и рыцарской галантности. Для исправления туалета и для того, чтобы высушить платье, нужно не менее получаса. Генерал не любит долго возиться... с тряпками.

Милета больше не поворачивалась к услужливому суетливому художнику и обратилась без всякого перехода к Клеберу:

– Не знаю, хватит ли у вас, у вашего войска духа для утверждения революции?

– Да есть ли она? Жива ли она, наша революция? – горько ответил тот. – Когда я был последний раз в Париже, то видел сытых юнцов, издевавшихся над пролетариями, кричавших славу республике богачей. Роскошь дворцов снова би-

ла в глаза. А в хижинах, которым мы обещали мир, – снова уныние и нищета. Кто думает там нынче о принципах? Кто борется с безнравственностью и хищениями? Кто отстаивает идеал? – В его голосе была боль и горечь, он развернул стул к Милете и, тоскливо взглянув на нее, сказал: – Наш генерал, кажется, раньше всех догадался, что революция погибла. Поэтому он громче всех восхваляет ее и кричит о ней. Но солдаты верят ему. Правда, и они уже не свободолюбивые волонтеры. У них в обозах черные рабыни, верблюды, бурдюки, страусовые перья, кость, а кошельки набиты золотом. Тут уж не до революций. Поэтому одни со слезами тоски поют «Марсельезу», другие кончают жизнь самоубийством.

– Нет! Это неправда, – горячо запротестовала Милета. – Свобода должна жить, иначе мы погибли!

– Должна. Но, кажется, она остается только в виде идеала. – Генерал горестно вздохнул. – И мы должны за нее сражаться. Я не побоюсь отдать за нее жизнь, даже если революция уже погибла.

Дверь раскрылась, и в зал не спеша вошла ушедшая пара.

– Ну что я вам говорил, дорогие гости, – фамильярно стукнул Селезнева по колену де Нон и щелкнул крышкой часов. – Всего тридцать две минуты, а как все чистенько! Только личико чуть красненькое!

Но за столом, казалось, никто ничего не заметил.

– Надеюсь, вы не нарисуете меня в мокром платье, – хихикнула Фурэ, обратившись к де Нону.

– Нет, нет, мадам, вы будете сухенькой.
Прием продолжался.

РЕСКРИПТ ИЗ ПЕТЕРБУРГА

Всадник, бросив поводья, ехал, безжизненно опустив руки. Был неморозный февральский день с сыроватым туманом, птичьим беспокойством и предчувствием чего-то большого, важного. В природе накопилось всего в избытке: снега, льда, влажного воздуха, и все это скоро должно было пуститься в весенний хоровод, изменить свои очертания, а то и вовсе исчезнуть. Природа готовилась к новому и вечному возрождению.

Всадник изменений не ждал. Опальный русский фельд-маршал Суворов прощался с Кончанским, этой новгородской землей, готовился уйти в монастырь, от забот и суеты, а может, и от жизни.

В лицо пахнул ветерок, а в память вползал другой день... Он стоит на крепостной стене и видит, как подходят корабли, спускают шлюпки, и в них прыгают, как горох из мешка, отодвинув в сторону руки с ружьем или саблей, солдаты противника. Тогда он не стал дожидаться окончания высадки, а, удовлетворенно крякнув, к удивлению многих, повернулся и пошел в церковь на молитву.

...Наплыла голова в зеленой чалме, немигающе смотрела, но он так и не вспомнил, откуда она. Может, из этой толпы идущих перед ним пленных турок, втянувших головы в плечи и ожидающих кары. Бахвалистый их паша тогда заявил:

«Скорее Дунай остановится в своем течении и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил». Но Измаил пал. Суворову до боли было жаль своих погибших солдат, но на пленных он зла не держал – подчинялись приказу, хотя и неразумному.

...Вот и он подчинялся приказу, гоняясь по бескрайним волжским степям за пугачевскими бунтовщиками или штурмуя варшавскую Прагу.

...Приказ-то приказ, но и сам он считал, что державу надо беречь и блюсти от врагов внешних и внутренних. Может, чего-то и не разумел в царедворстве, но в военном ремесле знал точно, что нет ему равных. Знали ли другие? Да знали, наверное. Знали и боялись его. Нужен был им только для побед, для спасения империи. А он, казалось, не заботился о таланте, об авторитете, юродствовал вроде бы, впадал в детские забавы, кривлялся, сыпал замысловатыми мужицкими поговорками, порхал как воробей, кричал петухом. При дворе сановитые и вельможные, раздутые от зависти и чванства, готовые подставить ножку при случае, успокаивались при виде свихнувшегося. «Шут, скоморох, петрушка». А он, успокоив их, снова одерживал победы. Солдатам его шутки нравились, словечки запоминались, правила и прибаутки повторялись. «Герой, орел, отец родной» – по-иному и не называли.

...Новый император, Павел Первый, всех, кто при матушке имел отношение к победам, невзлюбил. Удалял, чтобы не вспоминать, от дворца и власти. Изгнал семь фельдмарша-

лов и более трехсот генералов. О, каков! Суворову не мог простить отвергнутой дружбы, недоверия к уверениям, что принц его понимает. Запомнил, что старый фельдмаршал, уходя из дворца вприпрыжку, в залах напевал по-французски: «Принц восхитительный, деспот неумолимый». Да он и сам увидел, что Павел в ненависти к затянувшемуся царствованию матери решил сломать армию, изменить ее законы. Напялил на солдата неудобный и некрасивый мундир, навесил букли и косу, менял строй по прусскому образцу, устранял тех, кто воинские чины в боях добыл, менял их на гатчинцев и блюдолизов. Тогда и подумал он о бесполезности своей, об отставке. Но дождался не отставки, а грубого отстранения, без права ношения мундира. Не давал ему двор императорский напомнить о былых своих заслугах. В Кобрине, под Брестом, где Екатерина пожаловала ему имение и замок, не успел оглядеться со своими сотоварищами-офицерами. По какому-то навету, по именному указанию выдворили его одного под надзор сюда, в Кончанское. Обида была горька. Его за честное служение Отечеству от армии отставили. Отставили от того, что он знал лучше всех, от того, без чего не мог. А другие могли. Им это только для чинов и продвижения по службе надобно. А ему для духа и, естественно, для жизни и для высокого долга. Но так уже повелось в нынешнем Отечестве – на высокие должности ставят самых мелкоумных, непосвященных и незнающих. Говорят, вице-канцлер вызвал с кавказской границы генерала, что там уж думал

и остаться до конца жизни, и приказал принять под Петербургом расквартированную, несущую охрану дивизию.

– Помилуйте! Ведь я никого не знаю в столице! Кого пропустить, кого задержать.

– Не знаете никого? Хорошо. Нам такой и нужен, – ответил вице-канцлер.

Ну там-то, на контроле, у запора, такой, может, и сгодится. Но в армии на просторах великих нужен не немогузнайка, а знаток, не вельможа, а работник, не созерцатель, а устроитель.

Его отставили, сослали сюда, в Кончанское. Фельдмаршал, а денег не накопил. Сельцо разваливается, дом господский обветшал, сад в запустении. Но пуще всего мучил старого воина надзор.

– Позор! Гадость какая! Да неужели побегу из Отечества? Неужто заговор плести буду? Недоумки, недомерки! Лживки! Это они все придумали.

А надзирательским ремеслом не все тяготятся. Боровичский городничий Алексей Львович Вындомский совестился. Стыдно было за славою российской следить. Но указ был высочайший. Увиливать тоже нельзя было – голову потеряешь. И он приходил к фельдмаршалу сам, смущаясь и краснея, спрашивал, что можно передать в столицу. Потом прислали другого. Этому что слава, что подлость – скорее бы выслужиться. Нетерпимы сии безжалостные и тупые соглядатаи и служаки. А тут еще склоки пошли вокруг его прошлых рас-

поряжений, денежные претензии появились. Ох уж эти затаившиеся гадины! Врагов уважал. Он – твой неприятель, и ты с ним благородно сражаешься, а здесь приятели подло бьют в спину. Дворяне называются. Да, поди, ничего он не понял в людях. Вот только с солдатами и было легко. Души открытые, и он им все отдавал. Солдат для него человек истинный. Для него писал «Науку побеждать», к нему обращался в разделе «Разговор с солдатами их языком». Но вот все кончилось. Нет ни солдат, ни генералов. Один Прошка – его верный слуга и товарищ остался.

А император почувствовал вскоре, что не все, кто в любви клянется, полезными трону бывают. Словами, льстивыми свое хитрое, подлость и безделие прикрывают. Решил милость проявить к Суворову. Затребовал в прошлом году в Петербург. Но поздно было, фельдмаршал обиду императору не простил. Виделось, как стоял Павел посреди зала, губы нетерпеливо кривил, ожидал признательности и благодарности от вытщенного из небытия Суворова. А тот шел навстречу подпрыгивая, чуть не растянулся на полу, поскользнувшись. В приемной громко попросил фаворита Кутайсова отвести его в уборную.

Павел морщился. Нельзя же торжественно обращаться к человеку, не умеющему себя вести. Император мало сталкивался в прошлом с независимыми людьми, не имел умения властвовать над ними, а главное, не умел властвовать над собой. Тогда видно было, что он уже досадовал, вызвав из глу-

ши выжившего из ума старика. Пригласил все-таки на военные учения, развод и атаку, ожидал просьбу о возвращении на службу. Фельдмаршал же хлопал себя по бокам, выкрикивал невнятно, бормотал.

– Что ты там говоришь? Не слышу, – с раздражением спросил Павел. – Что это значит?

– Читаю молитву, государь. «Да будет воля твоя...»

На следующий день Суворов во дворец не явился, сославшись на боли в животе, и вскоре был выдворен обратно...

...Спокойно, почти отрешившись от окружения, ехал всадник, готовился в монастырь в Нилову пустынь, просьбу на высочайшее имя уже послал. Мысль о тихом уединении, о поклонении памяти своих славных чудо-богатырей, соратников, воинов, да и врагов, попавших под удар его таланта, не покидала его.

Всадник спустился в ложбинку и поплыл в волнах тумана. В лицо веял ветерок, ноздри слегка расширились, и он почувал запах далеких солдатских костров, горьковатую пригоречь пшенной каши. Слегка сжал конские бока, приостановил ход, прислушался. Из соседней деревни пошел радостный перезвон. Один удар колокола догонял другой, вжимался в третий, обнимал четвертый, и все звуки вместе скоморошьей толпой заплясали, запрыгали по верхушкам деревьев. А навстречу из-за холмов, из далеких далей вдруг рванул гром. Да гром ли зимой? А может, это из-под Очакова, Измаила, Рымника донеслись артиллерийские гулы, расчищав-

шие дорогу его чудо-богатырям, и, облетев мир, докатились сюда, в Кончанское... Нет, он послужил Отечеству и здесь, тем, что перед чванством не согнулся, не дал русский дух унижить.

– Здравствуй, батюшка Александр Васильевич, – приостановил розвальни у обочины староста. – Вона за вами кто-то скачет и гром за собой тянет!

Староста вылез, снял шапку и всматривался в быстро приближающуюся тройку.

– Вот тебе гром-то. Тяжко, знать, будет нонче. Заберет бог к себе многих!

Из кибитки, подлетевшей к ним, выскочил офицер, бросил быстрый взгляд на всадника и громко выкрикнул:

– Ваша светлость! (Видать, знает в лицо.) Велено вам передать срочный пакет из Петербурга! (Вот и разрешение в монастырь.) По прочтению приказано немедленно выехать в столицу. (Нет, тут другое, хуже что-то.)

Взял пакет, медленно оторвал угол, вынул бумагу, скосил глаз на подпись – сам Павел.

«Надлежит срочно принять командование союзными войсками в Италии. Для чего срочно приехать в Петербург».

Староста, доселе по-свойски говоривший с господином, оробел, увидев, как на глазах изменился Суворов. Взор того засиял, спина выпрямилась, он привстал в стременах. Конь, до этого сам выбиравший путь, напрягся, готовый повиноваться каждому повелению седока.

Император в частном письме склонил голову, умолял фельдмаршала. «Теперь нам не время рассчитывать. Виноватого бог простит. Римский император требует Вас в начальники своей армии и вручает Вам судьбу Австрии и Италии. Мое дело на сие согласиться, а ваше спасти их. Поспешите приездом сюда, и не отнимайте у славы Вашей времени, а у меня удовольствия вас видеть».

Суворов крякнул и живо повернулся к старосте:

– Вот что, Михеич, займи-ка мне двести пятьдесят рублей. Из Петербурга вышлю. Мундир срочно пошью, Европу спасти надо!

ЧАС НАСТАЛ

Вот и пришло время штурма... Не штурмовать больше было невозможно, Ушаков сие понимал лучше других. Безрассудно броситься на стены не хотел. Тут можно оставить все: и солдат, и корабли, и славу. Но и вести осаду дальше было тяжело, накладно и невозможно. То ли из-за постоянного турецкого неразумения, то ли из-за препятствий противных союзу сил, но Порта сухопутных войск для десанта, а особенно продовольствия не поставляла, припасы оружейные и пушечные иссякли.

А у французов палило больше чем шестьсот пушек, склады были заполнены еще со времен венецианцев порохом, бомбами и ядрами.

Вице-адмирал учил раньше стрелять проворно, «скорострельными спышками», а сейчас одергивал за быструю стрельбу – припас надо беречь. Поскочина приструнил еще в начале осады: «Снарядов не будет, да и вовсе нет, поэтому и не стреляйте, кроме важной необходимости».

Ну что за война, когда продовольствие не шлют, пороха не хватает, патроны на счет. С тяжелым сердцем написал Томаре: «Мы последними крошками уже довольствуемся и при всей бережливости едва еще одну неделю, делясь от одного к другому, пробыть можно». А купить продовольствие было не за что. Денег не было. Жалованье в эскадре не платили.

Мундиры, мундирные деньги не выдавали. Моряки ходили в странной обуви из кусков кожи внизу и парусины, обернутой вокруг ноги. Хороша эскадра – голодранцы!

Ну наконец-то поступили деньги из конторы Ахтиярского порта, так еще по первоначальному звали Севастополь. Вскрыли сумки. Ушаков пришел в ярость – прислали русские ассигнации. Куда их? В нужники? Печи топить? Болваны или нарочно? Что сие все значит? Где тут политика, где небрежение своими обязанностями? Почему вор и дубина с полномочиями облачен властью?

Отвечать на сие Ушаков не мог, да и не хотел. Не его дело. А его дело было, стиснув зубы, вести осаду, готовиться к штурму, штурмовать. И иногда думал, а не будь сих преград, кои в Отечестве всякому большему делу чинят, чего бы он добился, какие бы новые виктории одержал? Отгонял сии пустые мысли. На каждую препону отвечал новым рывком, на каждую трудность – вспышкой энергии, на каждую обиду и подлость сжимал крепко зубы, скрипел ими, не давал обиде вырасти больше дела. Но уж больно часто приходилось ему сжимать зубы, мрачнеть в этом походе, верша безотсрочно массу дел. Но сейчас ясно, надо решать главную задачу: взять Корфу! И тем самым авантаж, то есть пользу получить во всей кампании, перескочить через невзгоды, через трудности, прорваться к желанной победе, возвратиться домой с приобретенной викторией.

Из Петербурга вместо разносов разгильдяям и ворюгам

неслись лишь окрики, недоумения или взбалмошные приказы отрядить корабли то к Рагузе, то к Мессине, то к Бриндизи, то к берегам Калабрии. Павел все спасал почти развалившееся Неаполитанское королевство. Но французы, те не петрушки на машкарате, кои своим наивством удивляют. Они сами нападают, терзают как тех, что вокруг крепости укрепились, так и эскадру. То один, то другой корабль, распустив паруса, вроде бы бросался на прорыв. Эскадра взбудораживалась, матросы зависали на реях, отвязывали канаты, артиллеристы вываливались из висящих кроватей, бросались к пушкам, стрелки занимали места у бортов, укладывали поудобнее ружья. Тревога!

Но французы, сделав пару выстрелов, взбудоражив, выманив русских на холодный пронизывающий воздух, поворачивали под защиту своих береговых батарей.

– Вот bestия! Все пробует, нельзя ли прорваться.

Вначале стреляли вдогонку, а потом только подготавливали пушки к бою – заряды берегли.

Французские генералы Директории хотели вдохнуть в гарнизон уверенность, сообщить о планах деблокады или, по крайней мере, прорыва группы кораблей. Большая операция намечалась на март. А малую операцию Ушаков неуспешным бдением пресек. Пытавшиеся прорваться со стороны Италии в конце декабря были рассеяны, а восемнадцатипушечный бриг и три транспорта были прижаты к берегу и захвачены моряками адмирала.

Он, однако, не успокоился. Усилил наблюдение – не должна выскочить ни одна мышь. Мышь и не выскочила, а проскочил целый корабль. Не к крепости проскочил, а оттуда...

– Смотри, паруса-то черные. Темнее ночи, – говорили в тот вечер солдаты. – А пошто они черные? Вера, поди, у них такая? Скажи!

Обескураженный боцман разводил руками:

– Не знаю... Может, капитана предупредить.

Тот внимательно посмотрел, приложил бинокль.

– Да, не в ночные ли плаванья готовятся? Турок предупредить надо.

Турок предупредили, усилили наблюдение. Ночью русское сторожевое судно обнаружило темные силуэты скользивших без шума кораблей. Дали сигнал турецкому линкору, стоявшему на траверзе французов: «Внимание! Враг!» Турки молчали. Силуэты чуть изменили направление. Со сторожевика выстрелили. Турки молчали. Доложили Ушакову: «Линкор уходит!» Он послал на шлюпе лейтенанта Метаксу к Кадыр-бею: «Понуди преследовать». Русские фрегаты стреляли, но силуэт был уже далеко. Турки так и не сдвинулись. А линкор «Женерос» бросился на всех своих черных ночных парусах в сторону Италии.

Ушаков ярился, ругался на турка. «Ну, берложный муж. – Потом успокоился: – Ладно, ведь оборона тоже ослабла. Чуть ли не на сотню пушек».

Не так уж им сладко тоже было там, за крепостными сте-

нами, на выдвинутых фортах, в которые постоянно врезались ядра. Лишь генерал Пиврон на своем острове Видео и в бухте перед крепостью храбрился. Постреливал в сторону русской эскадры, в виду которой постоянно проводил учения, подъем флага, стрельбы.

...Сегодня Ушаков собирал совет. Все продумал, но надо обсудить вместе, каждому знать свой маневр. В его адмиральскую каюту собрались все боевые сподвижники, все его орлы-капитаны, пришли турецкие командиры, командиры батарей и штурмовых групп с суши, руководители греческих повстанцев. Было тесно, но перед адмиралом образовался широкий полукруг, все как бы ожидали, что вот сюда от командующего эскадрой устремятся упругие, весомые слова, указания, соображения, до предела должны заполнить все кругом.

– Мои боевые друзья, адмиралы, капитаны, доблестные союзники, командиры греческих ополченцев! Настал час! Завтра корабли и войски наши штурмуют бастионы крепости. Предстоит беспримерная морская операция. Флотом своим мы должны взять крепость приморскую. Войска сухопутные помочь в сем должны. Изо всей древней истории не знаю и не нахожу я примеров, чтобы какой флот мог находиться в отдаленности без всяких снабженцев и в такой крайности, в какой мы теперь находимся. Осадной сухопутной артиллерии, пушек, гаубиц, мортир и снарядов совсем ничего мы не имеем, не имеем пуль ружейных для войска, которое без них

ничто: что есть ружье, ежли в нем нет пули. Но для дерзостного одного решающего штурма у нас есть все. Есть испытанные командиры, меткие стрелки, точные артиллеристы, не знающие испуга, неустрашимые моряки наши. План всех действий расписан. Каждому кораблю, отряду, батарее определена своя диспозиция, свой маневр в часы штурма. Всем розданы карты и расписан порядок действия военного. Суть первого этапа: взять ключ, да не взять, а вырвать у французов остров Видео, а с ним и решить судьбу кампании.

Прошу всех уважаемых участников совета высказать свое соображение о достижимости цели и возможности штурма завтра...

Установилось молчание. Все понимали, что с этого часа начинается новый отсчет времени, за которым было уже сражение, и смерть, и небытие, и ордена, и слава.

Первым из морских офицеров, как младший по званию, встал лейтенант Тизенгаузен. Речь была пылкой и короткой.

– Мы обращались к французам с предложением от командования нашего: дабы не было ненужного кровопролития, крепость сдать. Они в гордыне и в надежде на вызволение отвергли сии человеколюбивые предложения. За сие наказание получить должны. Все в плане разработано до мельчайших подробиц. Сейчас нам самим команды привести в порядок, сообразный предписанию, надо. К утру к бою готовы будем и мы. Веди нас к победе, славный адмирал наш, Федор Федорович!

Ушаков виду не подал, что доволен, ибо выступление началось не с сомнения и отговорок. Но первое одобрение принял за добрый знак.

Встали сдержанный Селивачев, быстрый Сенявин, рассудительный Тимченко, медлительный Салтыков, да все русские капитаны и командиры и Булгарис – глава греческих повстанцев, – поддержали план, внесли уточнения, заверили в боевом настроении и своих экипажей и команд.

Шеремет-бей слушал переводчика недоверчиво и потом, не глядя на Кадыр-бея, зыря на Ушакова, встал и развел руки:

– Я не знаю, как достопочтенный адмирал думает взять саму крепость Корфу? Пусть даже, истратив боевой запас артиллерии, он возьмет Видео. Но как штурмовать бастионы? Наши матросы еще не научились летать, чтобы вспорхнуть на стены с кораблей. А с суши вряд ли можно с нашими силами штурмовать неприступные стены. Надо продолжать осаду, пока противник не истощится. Не придут на помощь другие наши союзники – англичане. Таково мнение наших турецких капитанов, ибо мы знаем, что камень деревом не прошибешь.

Турецкие начальники кивали головами. Кадыр-бей дремал. Туча находила на лицо Ушакова – без турок атаковать бесполезно, сил не хватит. Он остановил свой тяжелый взгляд на Кадыр-бее, от него многое зависело. Капудан-паша под его взором открыл глаза, тяжело вздохнул и медленно,

позволяя переводчику переводить каждое слово, стал говорить:

– Предприятие сие кровавое и опасное. Однако мы знаем, что удача всегда сопутствует нашему доблестному другу адмиралу Ушак-паше. Отдадимся же без оглядки под его командование. И да сбудется воля аллаха!

Турецкие командиры снова нерешительно кивнули. Шеремет-бей, насупившись, молчал.

– Как я понял, господа, большинство за штурм. И за штурм немедленный. Прошу именем Отечества нашего, нашего императора Павла, святостью союзнических уз и волею султана Селима высокой целью: принесения многострадальным сим островам освобождения, – явить завтра доблесть и мужество. Не жалеть живота своего, но понапрасну людей не губить. Не безрассудство надобно, а малокровный успех. Виктория принесет вам славу, чины и ордена. А матросам нашим награды и возвращение к себе домой, как сказал мне недавно один корабельный служитель: «Война – дело! И дело безоплошное». Я сие слово люблю и прошу все, все подготовить безоплошно, правильно, как следует быть на русских военных кораблях и, конечно, у наших союзников.

Завтра по установлению ветра подниму на «Святом Павле» флаг, что будет означать: «Всей эскадре приготовиться к атаке острова Видео». Сигнал к общей атаке – два пушечных выстрела. С богом, друзья! И будет завтрашний день вратами к славе и доблести многих. До свидания в крепости!

Вот уже седьмой месяц гуляли по волнам Средиземноморья корабельные плотники Никола Парамонов и Павло Щербань. Да не гуляли, конечно, а трудились с утра до вечера. Чистили днища кораблей, конопатили, заменяли сгнившие доски, исправляли рей, а недавно даже мачту новую ставили после того, как та переломилась от французских ядер. Свет повидали, так что Расскажи кому дома – не поверят. И Царьград, что в сказках да песнях деда помнят, и греческую и италийскую земли видели, и город Рагузу, и люду всякого познали. Видели, что края сии богаты и красивы, но и тут люди живут по-всякому. У кого густо, у кого пусто. Но некоторые то ли баре, то ли тшачиесебя такими представить, пыжились. В общем, дела на алтын, а крику на рубль. А много и хорошего люда. Особливо радостно встречали их на острове Закинф, да и здесь, на Корфу, по-доброму привечали. Их, плотников, собрали в команду и прикрепили к порту Гуви, еще в ноябре взятому, на севере от Корфу. Поселок французы сожгли, бревна и доски изрубили, спалили, сбросили в море. Но все равно они, выловив бревна из волн, у греков взяв деревья для распиловки, стали ремонтировать здесь корабли. Элинг маленький, но нос можно было завести, обчистить, днище проверить, доски набить новые. А вот недавно их перебросили сюда, к Оливетовой горе, на северную русскую батарею. Они рыли здесь траншеи, затаскивали на холмы пушки, сбивали длинные лестницы, готовили шесты и

багры с крючьями. Знамо дело, готовился штурм. Холодно было, ветер студёный. Одежда совсем обхудилась. Выдали какие-то женские платья – капотом называются. Никола надел, не замерзать же.

Несколько дней назад появились здесь знатные господа, лазили на бруствер, смотрели в трубу дозорную. А он, Никола, на них внимания не обращал, ладил и ладил лестницу, пробовал отесанные ступеньки на изгиб, становил на камни, стоял на них, и только потом вгонял в боковые стояки. Каждую пробовал, поднимая лестницу. Один морской чин все поглядывал издали на его работу, потом быстро подошел и спросил:

– Здравствуй, служивый! Что и для какой надобности готовишь?

Никола распрямился неспешно, отвесил поклон и внятно сказал:

– Здравствуй, наш батюшка, Федор Федорович.

– Знаешь, кто я?

– А кто ж вас не знает из русских?

– Ну так сказывай, что готовишь?

– А то штука простая – лестница штурмовая.

– А пошто так возишься с ней?

– Так всяко дело надо ладно и крепко ладить. А война для нас – дело. И тут безоплошно все надобно творить. Иначе убьют, ильбо сам помрешь.

– Безоплошно! Правильно говоришь. Вот и вас, господа, –

обратился адмирал к подошедшим офицерам, – прошу всю подготовку вести безоплошно. – И, снова с радостью взглянув на плотника, сказал: – А ты ведь, братец, под Калиакрией сражался. И там плотничал?

Никола поклонился.

– Спасибо, что признали, ваше благородие.

– Ну а ныне что? К чему стремление имеешь?

– Так всякий солдат хочет быть генералом, матрос адмиралом. А мы плотники – плотниками хотим остаться.

Адмирал захохотал.

– Ну, братцы, плотника выше генерала ставит. А как у нас быть стал?

– Нас из Одессы нынче-то прислали укрепления делать против французов в Ахтиярской бухте. А тут набор был в плотницкую команду на корабли. Ну мы с моим другом Павлом, – он кивнул в сторону засмущавшегося, покрасневшего Щербаня, – и попросились. И тут все делаем помаленьку, и воюем и плотничаем.

– Ну что ж, служивый, спасибо за дело, за ревность твою. А награду, извини, получишь за сие, как крепость возьмем. Сейчас ни полушки в кармане. – Адмирал еще раз, но уже невесело, захохотал, похлопал Николу по плечу. – Впрочем, постой, вот у меня перстень, что визирь подарил. На, носи. Жене отдашь потом. Капот-то на тебе не воинская одежда, но у русского воина мужества не убавит! Живи только! Под пулю не попади зря... Так и далее безоплошно дело делай! –

И, повернувшись, быстро зашагал к небольшому шлюпу вдали у берега. Никола хотел сказать вслед, что он не за награду старается, но промолчал, а может быть, не успел. Задумался.

– От дывысь, яка ты людына, Микола, сам адмирал главный тэбэ побачив та похвалыв, награду дал.

Никола не ответил. Смотрел, как адмирал садился в шлюп. А когда гребцы взмахнули веслами, раздумчиво протянул:

– Эх-хе, вот с таким бы всю жисть...

На душе было светло и хорошо.

У русских батарей тихо и напряженно копошились люди. Старая крепость слушала даль. За островом подковой охватили ее корабли. Позвякивали якорные цепи, хлопали флаги и полотнища парусов. В ее же стенах тревожно засыпал город. Тяжело храпели солдаты. Сторожко затаились жители. Недовольными возвращались с вечеринок французские офицеры – их подруги стали холоднее. Но им, бесшабашным гражданам республики, наплевать на холодные северные ветры, на прохладу красавиц, боящихся мести русских. Наплевать. Они сильны, молоды, бесстрашны.

Скрипнула калитка, черные тени скользнули вдоль улиц, то сливаясь с ночной темнотой, то возникая своими очертаниями на сквозных перекрестках.

– Стой! Кто идет?

Темнота.

Республиканец не верит в привидения. Клацнул затвор.
Кто?

Темень. Темь.

Тихий шепот в дверную щель: «Завтра... Огни... Тайный ход. Минное поле. Свобода...» – «Да, да, а если?.. Но у меня дети... Хорошо... Хорошо. Буду». И снова тьма.

Крепость привыкла к осадам. Знала толщину своих стен, мощь своей артиллерии и неприступность выдвинутых вперед фортов святых Авраама, Рока и Сальвадора.

Морской слабый ветер гладил ее шершавые каменные щеки, волны омывали подножие скалы, сшитой жилами и венами подземных ходов, штолен, казематов, обрамленной буграми бастионов и зубцами стен.

Знаменитый Микеле Санмикеле создал ее в шестнадцатом веке, и с тех пор она была самой надежной защитой Венеции от турок. Помнит она и самую жестокую осаду в 1715 году. Но и тогда не пала. И недаром возвышается в городе из белого мрамора памятник маршалу Шуленбергу, увенчанному лаврами.

Кому вознесется памятник после этой осады? Упорному и немного мрачноватому русскому адмиралу или веселому и грустноватому французскому генералу?

Крепость слушала.



ШТУРМ КОРФУ

Великий Петр наш жив!

*Что он по разбитии в 1714 году шведского
флота при Аландских островах*

*произнес, а именно: «Природа произвела Россию
только одну; она соперниц*

*не имеет», – то и теперь мы видим. Ура!
Русскому флоту!.. Я теперь говорю*

*самому себе: «Зачем не был я при Корфу хотя
мичманом».*

Суворов

Ветер, ветер беспокоил всю ночь Ушакова. Сам выходил на палубу три раза, подставлял щеку. Почти не заснул. В пять часов вахтенный слегка царапнул дверь. Привстал с кресла, где, расстегнув мундир, дремал: «Ну что?» – «Зюйд-вест погас, вроде задувает с севера». – «Вроде?!» Вскочил, почти выбежал на палубу.

Да, да! Начинал одолевать норд-вест. Задул северянин, с западной влагой, так нужный русской эскадре. Пошел привести себя в порядок. Побрился, надел чистое белье, новый мундир. В шесть часов стало ясно: ветер поймали! На флагманском корабле подняли сигнал: «Всей эскадре готовиться к атаке острова Видео...». Сигнал был первый. А подготовил и заставил выучить сто тридцать для всех маневров и направлений, для кораблей, батареи и сухопутных войск, для атаки

и для изменения курса, для высадки и штурма, для помощи соседу и скорострельной стрельбы. Все нити держал в руках. Но уже не думал, не терзался, как сработают. Все! Должны, обязаны сработать. Все пришло в движение следом за двумя выстрелами из пушки с его флагмана. Сие был сигнал береговым батареям: «Начать обстрел крепости». Пушки бухнули. Тут же на мачте взвился другой сигнал. Сразу же с якорей стронулись три фрегата, они стремительно двинулись к северной части Видео, к его первой батарее. Генерал Пиврон уже понял: наступает решительный бой. Бой насмерть. Бой за жизнь. Остров окутался дымом. Нет, французы и не думали сдаваться. Они умели воевать, умели поражать цель. Со времен тулонской победы Бонапарта, расстрелявшего из пушек роялистов и англичан, расчистившего точным огнем орудий путь к своей славе, артиллеристы в республике были в почете. Они и сейчас без паники, четко сделали первые выстрелы, норовя угодить в палубные надстройки и мачты фрегатов. А те, не обращая внимания на огонь, развернулись и подставили борт. Да не подставили, а ударили изо всех пушек! Смерть со смерчем! Покатился заряжающий, хватаясь руками за сухую траву, последний раз мелькнуло в его глазах небо, вспомнил милый Прованс, небольшую деревушку, теплый ночной поцелуй и затих, затих навеки.

Но уже встал рядом у пушки рыжеватый Жан из Гавра и точным выстрелом вогнал ядро в боковые перегородки фрегата. Смерч со смертью! И полетел, растопырив руки, в

морские волны для своего последнего смертельного объятия светловолосый Петр, моряк из молодого города Николаева, не дождавшись ответа от любимой. Сколько еще примет их, молодых и веселых, темное и прохладное море?..

Пали люди, рвали паруса, щепились доски, загоралась прошлогодняя трава. И уже по новому сигналу почти каменного и неподвижно стоящего на мостике адмирала строилась с места вся эскадра, набирали скорость линкоры, устремляясь к Видео, выходили на свой курс транспорты, заревом горела от разрывов бомб земля вокруг фортов Сан-Сальвадора и Авраама.

Генерал Шабо не знал, что делать, бросить ли свои оставшиеся корабли на помощь Видео или дать отпор приближающимся к фортам союзникам. Русский линкор «Святой Петр», фрегаты «Навархия» и «Благоявление господне» неслись на всех парусах к мысу Дезидеро, где прижались его суда. Развернувшись бортом к крепости, они засыпали ее бомбами и ядрами, а потом перенесли огонь на корабли. Не на abordаж ли мчатся эти русские? Сигнал тревоги вывел воинские команды на палубы. А здесь был кошмар. Горели просмоленные паруса, ломали реи, переборки, рвали тросы и канаты соединенные цепями ядра, катились головешки, руки и головы. На линкоре «Леандр» рухнула мачта, и он тихо стал выходить из линии, прижимаясь к берегу, к пушкам крепости, а через несколько минут стал захлебываться.

Шел бой. Флагманский корабль занял свое место в строю

и ударил всей мощью по второй батарее. Да, это для нее уже был не бой с фрегатами! Огневой смерч доставал за каменными парапетами и насыпями. Все русские и турецкие корабли заняли места, отведенные адмиралом. Подкова сдавила остров. Генерал Пиврон понял: или он поразит русский флагман, или тот задавит его, прижмет пушками эскадры к земле, вышвырнет его солдат с батареями. Он приказал перенести весь огонь на корабль адмирала. Точнее целиться в верхние пристройки. Дуэль принесла немало жертв. Добавили флагману несколько ядер и турки, стрелявшие из второй линии. Ну умельцы!

К одиннадцати часам артиллеристы Пиврона не выдержали, стали отходить в глубь острова, подальше от смертельных ударов русских ядер.

Ушаков слушал бой. Он смотрел в трубу и, повернув ухо к берегу, казалось, считал количество выстрелов, гремящих оттуда. Его музыкой был бой, и он сразу почувствовал, что огонь батарей ослаб. Взвился очередной сигнал: «К свозу десанта».

Роем полетели к берегу баркасы и шлюпы с сидевшими в них моряками и солдатами. Волна была небольшая, но частая, захлестывала лодки, мочила порох, омывала всех сидящих. Один транспорт напоролся на подводные колы. Пошел ко дну. Другой не смог пристать к берегу. Остров встретил десант в штыки. Но тут русским не занимать отваги. Тогда и надломилась окончательно оборона, французы стали

отступать за подготовленные валы и заграждения, но это не помогло. Русские матросы рубили завалы, тащили крючьями треугольные крестовины, перебрасывали доски через волчьи ямы.

– Федор Федорович, смотрите! На третьей батарее наш флаг!

Началось! Одна за другой сдались батареи. Выхода не было. Пиврон, увидев, как несколько турок бросились к его офицеру и отсекли голову, понял – надо сдаваться, и сдаваться русским, как можно быстрее.

В два часа дня русские и турецкие корабли, подняв свои флаги на Видео, отошли от острова. Транспорты высаживали солдат у фортов Сан-Сальвадора и Авраама. И там после жестокой схватки были подняты русский и турецкий флаги.

К вечеру Ушакову доставили письмо от генерала Шабо.

«Господин адмирал! Мы думаем, что бесполезно жертвовать жизнью многих храбрых воинов, как французских, так и русских и турецких, находящихся перед Корфу. Поэтому мы предлагаем Вам перемирие, на сколько времени Вы рассудите необходимым для постановлений условий о сдаче этой крепости. Мы приглашаем Вас к сообщению нам намерений Ваших об этом и, если Вы желаете, то составим сами пункты предлагаемых нами условий.

II Вентоз VII года Французской республики. Генерал Шабо».

Ушаков с чисто французской учтивостью ответил:

«Я всегда на приятные разговоры согласен».

...20 февраля гарнизон Корфу капитулировал.

Никола приставил лестницу и покарабкался вверх, в правой руке у него была пика. За ним полз Павло, он тащил длинный багор. У кромки стены форта, когда Никола лег на живот, чтобы вскарабкаться на нее, раздался громкий крик, и французский солдат занес штык над ним. Конец! Но удар крючковатого багра сначала вышиб из рук француза ружье, а потом стащил вниз в набегавшую толпу турок.

...Форт взяли. Никола с исцарапанными руками ссадиной на лбу и плече приобнял Павла и, прихрамывая, возвращался к старой батарее.

– Ну, спасибо, браток, спас. Поживу еще.

– Та шо там, Микола! То ж бой. Сегодня я тэбэ, а вчора ты мого батька спасал у Очакова. Помнишь?

– Да кто там кого спасал! Бились да дело делали. Слава богу, живем! Ты посмотри, что они творят! – Он схватил здоровой рукой Павла и махнул вперед, где три турецких солдата, поставив на колени французов, рубили им головы.

Голова первого покатилась, багря кровью землю. Албанец Али-паши схватил ее за волосы и приподнял, любуясь.

– Стой! Стой! – крикнул Никола и бросился к турку. Тот недоуменно посмотрел на Николу. – Стойте, стойте! Басурманы чертовы! Да они же в полоне. Что ж вы делаете! – Подоспевший Павло, работавший в Херсоне с пленными турками, быстро сказал что-то по-турецки. Солдаты Али-паши переглянулись. Один ответил.

– Он говорит, что это его пленные, и за каждую голову француза командир обещал награду. Если мы дадим больше, он продаст его нам.

Никола пожал плечами:

– Чертов сын, да где мы возьмем денег? Вот разве после штурма.

Турок тоже пожал плечами, и, размахнувшись, со свистом махнул саблей. Голова стукнулась о сапоги и покрыла их кровью.

– Стой! Стой! – уже не кричал, а хрипел Никола. – Стой, подожди. – Он, тяжело дыша, полез за пазуху и, вывернув рубаху, разорвал сшитый уголок. – Прости, адмирал. Не сохранил награду. Извини, Настя, не довез подарок. – И он протянул турку кольцо. Тот поглядел на него, подбросил на руке и, удовлетворенно щелкнув языком, кивнул в сторону француза.

– Развяжи руки! – сурово сказал Никола. Турок понял и саблей разрезал веревку, опутавшую пленного. Тот не вставал, не зная, что ждет его вновь.

– Идем, дуралей. Башка целая. Жить будешь! – ласково

понукая, потащил Никола француза к стоящей вдали у берега моря группе пленных под охраной двух русских часовых.

– Ами! Мон ами! Мерси! Спасибо, – лопотал француз.

– Вот тебе и мерси! Скажи мерси адмиралу, а не то кататься бы твоей голове в мешке у турка, – довольный, ворчал Никола.

Пленного подвели к толпе. Он тихо встал в потеснившуюся группу и еще раз поклонился Николе.

Плотники подошли к морю. Никола, сбросив рубаху, обмывал поцарапанное плечо. Павло что-то думал и потом, решившись, негромко сказал вслух:

– А сдается мне, ты того солдата выкупил, шо в тебя штыком метил на стене.

Никола натруженно вздохнул, обтерся рубахой и как-то нехотя сказал:

– А в бою никто никого не жалеет. Или ты, или тебя. Но после боя-то человеком быть надо. – Он зачерпнул в ладонь воды, пополоскал во рту. – Соленая, чертяка!

Старая крепость, насупив бойницы, глядела вдаль. А там, у Видео, полыхало. Чиркали по небу проносящиеся ядра, клубы дыма лепились друг к другу, образуя уступчатые горы, которые тут же распадались и превращались в длинные сизые языки, тянущиеся к берегу над водой.

На берегу же засверкали частые вспышки у горы Оливетто и монастыря святого Пантелеймона, заревели оттуда вта-

ценные на холмы пушки русских батарей.

Чах-х-х-а! Чах-чах-х-а! – крошили их ядра форты. Трескались на зубцах бомбы, содрогались толстые стены. То был убийственный ад войны, где и над грешниками, и над праведниками чинили страшный суд ее боги и дьяволы.

Городские лазареты заполнялись ранеными. Ветер не уносил дым от разрывов и пожаров. Пороховой горечью забивался он в узкие городские улицы, застывал в подвалах, обвивался тонким удушливым шарфом вокруг шей солдат и жителей. Крепость стала задыхаться.

Видео уже умолк. Оттуда тянуло горелым запахом прошлогодней травы, пахло кровью. Флаги победителей хлопали на ветру, разгонявшем остатки дыма, сползавшего с развороченных холмов, с раскинувшихся в последнем движении мертвых тел, с опрокинутых колесами вверх пушек.

Пришла очередь и выдвинутых вперед фортов крепости. Перед ними, странно петляя под шатром пронесившихся ядер и пуль, двигались колонны русских и турок.

Впереди, осторожно ступая, обходя установленные мины, шел высокий седой грек. Он шептал, изредка поднимая руки вверх: «Боже, пронеси и спаси! Не дай ступить в бездну... Ведь у меня же дети!» Солдаты на фортах стреляли отчаянно. Но пули обходили его.

...Взрыв потряс основание башни. То ли взорвалась последняя мина, на которую неосторожно наступил идущий, то ли врезалась сюда недолетевшая бомба, поражая своих...

Не дождутся дети отца своего.

Но уже карабкаются по лестницам русские солдаты, цепляют баграми, выскакивают на стены, и остатки защитников бегут по траншеям в крепость. Да, все было уже ясно, и голец, направляющийся срочно в шляпке к Ушакову, тянул невидимую нить из кровавого месива сегодняшнего дня к желанному и почетному миру.

...Перед строем союзников с лязгом падали ружья. И освободившиеся от них увальни из Шампани и лихие парни из парижских предместий беззаботно шли к кораблям, обещая не воевать против русских и турок целый год и один день. Офицеры, придерживая шпаги, старались держать строй.

Гора оружия росла. Победители чувствовали тяжесть победы.

...Крепость выдохнула затаившийся дым и, вздрогнув стенами, сбросила французский флаг с башни.

«АЗИЯ СЛЕВА...»

25 сентября 1798 года

Мои дражайшие родители, желаю Вам здравствовать!

Вот и проследовали мы со всею нашею эскадрою и турецкими кораблями под парусами через Дарданеллы – пролив и вышли в море Белое.

В Константинополе был я всего несколько раз. Город сей зело разукрашен, торговли много, медные тазы везде и блюда сверкают, люди все в чалмах, а женщины в черных покрывалах, хотя и с открытым обличаем тоже есть. А весь другой час я провел безотлучно от корабля. Ибо еще в Черном море он пришел в худость от долгого плавания. Нам из местного адмиралтейства привезли потребный лес, железных ершей, пеньки, и мастерили своими мастеровыми служителями мы новый руль, что раскололся ранее. Фрегат наш «Святой Николай» мне все больше и больше нравится.

Тебе, батюшка, он, конечно, ведом, ибо он участвовал в битве Калиакрийской, где и ты имел счастье быть.

А настроен он в Вашем городе Николаеве в 1790 году подмастерьем Соколовым и, как известно, был первым кораблем, там возведенным. Отсюда и город так называли, ибо святой Николай покровитель всех в пути идущих, то есть и наш покровитель – моряков, хотя

во всех списках и ведомостях наш корабль называется просто «Николай». Командир нашего корабля, капитан-лейтенант Марин Павел Петрович, аккуратен, любезен и незлобив. Случилась, правда, со мной некоторая конфузия. Офицеры наши собрали денег и отрядили меня на рынок для приобретения дополнительных вин и фруктов. Сумма сия была немалая, в мое двухмесячное жалованье. В сопровождении двух моряков отправился я на торг здешний, что базаром зовется. Много я всякого торгового дела видел, но такого буйного и говорливого рынка не доводилось.

Нам навстречу кинулись сотни зеленщиков, чеканщиков, шукереджи, торговцев материей и чувяками, да и кто все сии люди-торговцы, или зазывалы, или просто плуты отменные, – ибо, пока мы глазоплялили и думали, на какой крик пойти, кошель мой с деньгами отрезали, а словно внасмех камень привязали. И как я ни лютовал, куда я ни кидался, тот злоумышленник проворнее меня оказался и дал стречка. Пока я на корабль возвращался, он уже, поди, с дружками своими дуван дуванили, то бишь добычу делили.

Капитан наш Марин со мною посокрушался сиему моему остолопству и дал взаймы денег, дабы я офицерам не должен был. Тайну же моего головоотяпства обещал не раскрывать. Однако же через день офицеры мою конфузию знали и шутили над сим. И что им за барыш от сего? А один даже говорил, что тем «деньгам дал ухо», по дороге в город

промотал, в карты проиграл и пропил. Сии зловредные слухи, правда, прекратились, как только у офицера Похвиснева документы и карты слямзили на улице. Тут уже не головотяпство, а нарушение великое. И капитан Марин нас уже с корабля не отпускал. Вот так с Азией и с сим городом известным и его ушлыми жителями мы познакомились.

На корабле, помимо флотской команды, есть еще артиллерийская и батальонная из пехотинцев и их армейских командиров.

Я вместе с другими двумя мичманами имею поручение обучать под командою флота лейтенанта Заостровского парусному делу как новых матросов, так и прикомандированных к нам батальонных служителей. Сие наш адмирал приказал, дабы моряки могли заменить фузелеров⁸ с ружьями на суше, а те морскому делу способны были.

Артиллеристы наши похваляются, что они здорово стреляют и своими пушками нанесут урон французским гарнизонам. А пушек у нас сорок две на деке, шканцах и баке. Да еще единорогов четыре. Я и тут приставлен под команду Заостровского.

...Вот и вышли мы в море, где слева у нас Азия, первое пристанище человека и колыбель наук от халдеев до персов. А справа Греция, что в древности была очагом и светильником разума и культуры. Что-то не идут они из мест сих, зачахло все под гнетом и тяготением к торгашеству и бессовестностью

⁸ Стрелков.

правителей мест сих. Сейчас уже ясно, что идем мы не к Египту и Кандии,⁹ а на острова греческие в Венецианском заливе, занятые французами. Ночью и днем стоим на вахте, держим ветер в парусах, смотрим зорко, дабы французы не могли сюрприровать нам и напасть внезапно.

Устаешь так, что вечером и животу не рад своему. А выплещешься – и утром снова бодр и дерзостен духом.

Но я, батенька, не жалуясь, и честь офицера не уроню, и вашу доблесть постараюсь продолжить. Что касается дяденьки нашего, что болен, то я с вами взгоревал тоже и слезы соединил с вашими. Конечно, дядя жил наш раньше по пословице: ни шатко ни валко, ни на сторону. Но, может, сейчас угомонится и будет здоров и спокоен в мыслях и делах своих. А каковы еще новости? Не передавали ли мне от Козодоевых что-либо?

Пришел с вахты, и хоть у вас в России уже, наверное, осень глубокая, тут погода теплая, солнечно. Лоцман местный говорит, что бурливый сезон скоро начнется. Но он нас не пугает, всё видели уже и с нетерпением и жаждою ждем освобождения братьев греческих.

Желаю, впрочем, чтобы вы были здоровы и веселы.
Покорнейший и верный сын ваш мичман Трубин.

1 марта 1799 года

Мой дорогой и любезный друг, Варвара

⁹ Криту.

Александровна!

Шлю Вам низкий поклон и почтение, а тако же радость от нашей великой виктории.

Может, Вам уже ведомо то, что под командованием нашего адмирала и кавалера Федора Федоровича Ушакова взяли мы крепость Корфскую и все острова бывшей венецианской Албании.

В достопамятный день восемнадцатого февраля сказал нам наш адмирал: сердце у вас должно быть к победе больше расположено, чем сердце врага вашего. Так оно и было. Сердце мое в оный день билось сильно и особливо, когда корабль наш стал в батальную линию напротив второй батареи на острове Видео. Барабанщик наш корабельный ударил в барабан, и звук его позвал нас в бой. Французская батарея стреляла дерзко и умело. Были повреждения у нас: снесло несколько надстроек, полетели стены, порвало паруса. Одно ядро ударило в батарейные порты, где я находился, обдало нас щепой и окалиной. Слава богу! Пронесло!

Но и наши пушки творили Марсово дело под командою моего друга Заостровского Ивана Яковлевича. Канониры бегали как ума лишенные, заряжающие не разгибались, ядра калились в жаровнях и летели красными чертями в сторону французов. То была для нашего врага адская буря. Весь остров мы засеяли ядрами и картечью, породив у врага смятение, и тогда на шлюпках бросились десантировать. И мне, друг мой, хотя я и моряк, пришлось ступить на сушу

как солдату. Скакал я там через ямы потаенные, переползал через канавы по доскам, карабкался по рву, стрелял, орудовал шпагою. Прокололи мне руку штыком, ногу ободрал во рву. Единая невидимая рука господа спасла меня. Положил трех французов, а еще двух выкупил у турок, кои головы пленным резали. Варварство подлинное.

Так что пороху я понюхал, смерти в глаза поглядел, кровь пролил и сам потерял. А где же те игры картежные? И вспоминать смешно. Где та шаль азартная? Видно, все сие было ненатурально.

С почтением и дружбою.

Прощайте и помните, что я Вам всегда искренне предан.

Ваш Андрей Трубин.

ПАСТУХИ, ТОРГОВЦЫ И АРИСТОКРАТЫ

Ушаков как никогда был доволен. Звучали вокруг громы блестящей виктории. Знал ей цену. Еще не брали с моря крепость в искусстве военном ни разу. За столь короткий срок овладел он островами с сильными гарнизонами, над неприступной фортецией русский флаг водрузил. Потерь было немного. Сумел дружбу и признательность ионитов завоевать, с турками не рассориться, даже французов спасти от губительной мести жителей и изуверства османов. Хорошо благо людям приносить, державную пользу блюсти!

Сегодня намечалось три встречи с представителями разных сословий. Как жалко было ему тех дней, когда в атаке на французов все греки были едины, не сторонились друг друга. Подумал и вздохнул: «Не все все-таки, не все...»

Принимать решил с русским посланником на острове Бенаки, своим боевым сотоварищем, которому доверял бесконечно, Георгиасом Палатиносом, с дружелюбным толстым Кадыр-беем, контр-адмиралом Шеремет-беем и недавно назначенным президентом сената нобилей графом Орио.

Первыми решил принять поселян, рыбаков, руководителей сельских повстанцев, местных священников. Те вошли робко, кланяясь, крестясь, с восторгом глядели на адмирала. Затихли. Никто не начинал. Ушаков улыбнулся, встал и

низко поклонился:

– Здравствуйте, православные! Спасибо вам, добрые люди, за помощь. За то, что верно послужили царю православному и союзной эскадре. Живота не жалели. Французикам спуска не давали. Спасибо! Мы вас не забудем и в обиду не дадим.

Крестьяне выслушали, что перевел переводчик, перекрестились, поклонились, о чем-то тихо поговорили между собой и замерли.

Гулко, как бы исполняя вечернюю молитву, заговорил выступивший вперед священник. Ушаков удивился: опять Антонис Дармарос. Он возил его воззвание на Корфу, он поднимал своими призывами, зачитывая прокламации Григория, прихожан на Китире для встречи русских. Он уже был на встрече боевых командиров.

– Бессмертный герой и кавалер! – загудел священник. – Достопочтенный адмирал Ушаков! Вы призвали нас к восстанию и штурму крепостей на островах. Вы достойно наградили отличившихся. Вы призвали народ управлять. Воля превосходительнейшего адмирала, как мы понимаем, ограничить произвол, дать всем волю и возможность трудиться во имя господя нашего! Вручаем вам наше прошение об учреждении прав поселян, рыбаков и пастухов. Просьбу о прощении в случаях былого неповиновения. И об оставлении имущества, забранного у нобилей и других имущих, родину предавших и веру.

Ушаков постучал трубкой о стол, подумал и строго сказал:

– Да, трудиться надобно. И пора прекратить неповиновение. Работы и выплату денег помещикам и все прочие повинности, как быть должно, производить без всяких отлагательств непременно, а равно и слушаться сенат. – Он взглянул при последних словах на Орио. – Мы объявили о прощении за предыдущие погромы и сожжения.

И за сие благодеяние должны обыватели восчувствовать, должны брать внимание за благосклонность, им оказанную. Обещаем, что обитатели деревни ни в чем не будут отвечать за зло, ибо понимаем, что они сами ранее были обижены.

Крестьяне закланялись, заговорили наконец все разом, обращаясь к нему.

– Благодарят вас, надеются на дальнейшее покровительство. Просят оградить от насилия нобилей, их разбоя и грабежа, – быстро переводил Георгиос. – Еще просят взять под прямое покровительство России.

Ушаков снова встал и, добродушно погромыхая, призвал к порядку, воздержанию от погромов и расхищений. Новую конституцию, то есть план временного правления островов, блюсти. На утверждение в Константинополь и Петербург послали. Она конституция разврат, споры и непослушание прекратит. Все введет в русло спокойствия и правосудия.

– Сейте, пасите овец, ловите рыбу, и вы найдете покровителей и заступников в кораблях под русским флагом и всей

союзной экспедиции. Да будет труд ваш благословен, а заботы не тягостны. Ступайте с богом и трудитесь, а мы позаботимся о спокойствии, законах и порядке!

С добрым блеском в глазах, расправив спины, степенно и уверенно выходили от адмирала низшие люди Ионических островов.

До приема другой группы жителей, второразрядных, оставалось полчаса, Ушаков попросил принести кофе, штоф русской водки и стал потчевать Кадыр-бея. С этим турецким адмиралом у него как-то сразу установились дружеские теплые отношения. И тому Ушаков нравился, он восхищался его военным умением, нравились турку и неторопливость, основательность русского адмирала. Видел, что Ушаков всерьез принимает их союз, сам пытался следовать этому. Еле сдерживался, когда в походе, на корабле, Шеремет-бей наговаривал часами о коварстве русских, о лживости Ушакова, об извечной вражде России, о необходимости держать союз с Англией. Кадыр-бей закрывал глаза, дивился ничтожеству и злобе человеческой, с беспокойством думал о своей близости с Ушак-пашой. Но при встрече с ним снова успокаивался душой, чувствовал себя увереннее, брезгливо вспоминал о нашептываниях Шеремет-бея. Вот и сейчас он не отказался от русской водки, горячо разлившейя внутри. Нет, с этим русским адмиралом можно иметь дело. Он настоящий мужчина. Ушаков говорил ему о том, как важно, что он поддержал временный план, что это обеспечит разумное и благона-

меренное правление. Кадыр-бей согласно кивал головой. В политику снова пускаться не хотелось. Все равно там, в Константинополе, решат по-своему.

...Второклассные вошли, да не вошли, а прямо-таки ворвались в зал шумной, говорливой, разноцветной толпой. Ушаков жестом приглашал всех садиться. Они присаживались, обменивались местами, перебрасывались репликами с сидевшим за столом Палатиносом. Тот тоже хохотал вместе с ними. Орио с иронической улыбкой обернулся к Ушакову, развел руками, как бы извиняясь за суетливых ионитов. Адмирал, казалось, не обратил внимания на этот жест, но чувствовалось, что тоже с нетерпением ждал тишины. Тишина так и не наступила, но встал высокий, тонкий, как юноша, Мартинигос, боевой и храбрый представитель повстанцев на Закинфе, преданный друг России.

– Господин великий превосходительнейший адмирал! Уважаемые союзные руководители! Мы склоняем головы перед вашим подвигом, перед вашей победой. Мы чтим ваши усилия, направленные на создание народной власти на наших многострадальных островах. Мы благодарим вас за то, что вы позволили избрать нас в сенат и другие органы правления. Время покажет, что не родовитость, а деловитость лучший знак власти. – Голос Мартинигоса зазвенел на самых высоких нотах. – Мы просим великого покровительства России и готовы поднять ее флаг над нашими островами.

Ушаков молча слушал и изредка кивал головой. Паланти-

нос с восторгом глядел на пылкого оратора. Орио опустил глаза и сидел спокойно с венецианской непроницаемостью, лишь указательный палец методично постукивал по столу. Кадыр-бей после выпитой водки дремал. Последние слова, однако, его разбудили, а может, это был толчок ноги Шеремет-бея, который все слушал внимательно.

Встал и Ушаков. Он недовольно нахмурился и перебил говорившего:

– Довожу до сведения высокие слова его императорского величества Павла Первого: Россия не имеет в мыслях приобрести здесь владения. Она воюет здесь совместно с Портой против тиранической Директории французской и способствует установлению власти жителей острова по древним обычновениям и по их желанию. Никто из союзных держав свою власть здесь устанавливать не желает.

Шеремет-бей склонился на ухо к Кадыр-бею и что-то зашептал.

Мартинигос смутился, склонил голову и менее уверенно кончил:

– Вручая сию петицию, мы просим, чтобы в правлении островов было обеспечено равноправие и правосудие, чтобы рядом с нобилем был избран и представитель народа и была исполнена воля адмирала, высказанная им в прокламациях, обеспечивающая собственность, безопасность. – Он подумал, взглянул на Орио и твердо закончил: – Мы просим оградить нас от венецианской заносчивости и гордыни.

Пусть опустится под сенью вашего флага на остров свобода и благодать.

Затем говорили и другие. Сказал несколько слов Кадыр-бей. Он вспомнил, что еще недавно они с уважаемым адмиралом Ушак-пашой сражались друг против друга. Но то войны были обыкновенные, из-за границ и территорий. Теперь же сии французские разбойники стремятся разрушить, превратить в прах всеобщие правила, престолы, веру и все, что есть священного на свете. Они хотят разорить Мекку и Медину, восстановить власть иудеев в Иерусалиме. И мы стоим здесь твердо и их сюда больше не пустим.

Второклассные занервничали, в памяти всплывали картины резни в Превзе и других приморских городах, вырезанных войсками Али-паши, старые воспоминания о погромах матери-Греции. С надеждой остановили взор на Ушакове. Тот, понимая всю державную ответственность, снова встал и пророкотал:

– Союзные державы несут вам мир и порядок. Просим поддерживать его согласно новому закону. Сие устав жизни добропорядочный и мудрый. – Чувствовалось, что он гордится своим покровительством разработанному документу. Сказал еще несколько успокоительных и бодрых слов. Закончил: – Слово у нас твердое. И я не люблю им бросаться. Что обещали – исполним. – Поклонился и сел, показывая, что встреча закончилась.

Нобили опоздали на пятнадцать минут.

– Все судят, рядят, чей род старше, кому первому заходить, – хмыкнул острослов Палатинос.

– Вы, почтенный Палатино, – переделывая его фамилию на венецианский лад и чувствуя необходимость поставить на место разошедшегося второразрядного, заметил Орио, – конечно, уже во втором колене не помните родства, а многие нобили ведут его от древнейших римских и венецианских родов и греческих аристократов.

– Только и ума, что от рода, – вспомнил греческую пословицу Георгиас. Но Ушаков спору не дал разыграться, обратился к Орио:

– Как же все-таки, высокочтимый граф, относятся высокогородные жители островов к нашему новому закону?

Орио начал издали.

– Они, ваше превосходительство, возносят свои молитвы к богу и благодарят императора Павла Первого и союзников за избавление от безбожников и якобинцев. Они хотят восстановления старых добрых порядков и их коренного перво-родства.

– Но неужели они не чувствуют, что многое изменилось? Все надо решать мирно, ведь иначе возникнут беспокойства народные.

Орио расстегнул верхнюю пуговицу воротника и тяжело вздохнул:

– Не чувствуют, господин адмирал. Не чувствуют. А пора бы уже почувствовать, я с вами согласен, ибо имения имел в

Пьемонте и видел, как оные горели и расхищались чернью. Думаю, что ее держать в узде надо, но и не допускать до безвыходности.

Дежурный офицер доложил, нобили пришли. Аристократы заходили по одному, Орио называл фамилию. Они кланялись и рассаживались по неуловимому для русских старшинству и знатности.

– Словно бояре допетровские, – шепнул Тизенгаузен Ушакову. Тот и бровью не повел, внимательно вглядываясь в знатных и родовитых, от которых многое зависело на островах. Находившийся в центре граф Сикурос ди Нартокис слегка вытянул шею, нобили положили левую руку на колени, правой взяли за ленты и повернулись к нему. Граф встал и двинул руку вперед, поднял пальцы, как будто в них положили шар мудрости. Замер почти на минуту. Поза была великолепна, достойна истинного нобилия и древнего эллина. Ушаков раскашлялся. Табачинка, поди, не туда пошла! Сикурос переждал долго. Рука задрожала, потом сделал еще шаг вперед и начал:

– Высокочтимые представители царственных дворов, сиятельного правителя России императора Павла Первого и блистательного вершителя судеб народов Порты султана Селима Третьего! Мы, высокородные и знатнейшие, представляем народ Корфу и всех остальных Ионических островов! Мы правили тут столетиями под покровительством Венецианской республики. Злобные якобинцы, одуревшая

чернь лишили нас естественного правления. Союзная эскадра спасла нас от уничтожения! Спасибо воле императора и султана!

Сикурос ди Нартокис опустил руку, отступил ближе к соратникам и потом, как бы решившись на что-то великое, медленно и значительно, чеканя каждое слово, продолжил:

– Однако же мы и ныне продолжаем терпеть урон. Якобинцы и всякие прочие карманьолы возбуждают ненависть к дворянству. Как можно давать амнистии всему преступному, всему беспокойному! Ведь сие прощение даваемое мятежникам, скорее вознаграждение неблагонамеренных и преследование благонамеренных, их наказание. И мы просим царскую корону и полумесяц султанский, достойных адмиралов оградить нас, да и себя, – он полоснул острым своим взглядом по Палатиносу, – от плохих людей, представляющих как благо вещи самые вредные.

Тучи ходили по лицу Ушакова. Палатинос нервно кусал ногти, Тизенгаузен качал сокрушенно головой. Орио сидел спокойно, изучающе рассматривал одежду Сикуроса – венецианский аристократ не должен чересчур волноваться.

– Мы считаем временный план возвращением ко французским правилам. Мы просим передать нашу просьбу высоким монархам и выработать новый порядок и устав для островов.

Шеремет-бей что-то быстро записывал, кивал головой, попыхивал трубочкой. Ноздри Ушакова широко раздува-

лись, он нервно потирал щеку и подбородок. Не выдержал, встал и, не дав окончить графу, загромыхал:

– Если бедняки восстанут и вас вырежут, они очень хорошо сделают, и я прикажу моим солдатам не вмешиваться в это. Как можно так умножать недовольство как второго класса, так и простого народа? Как можно надеяться на силу внешнюю, сословную гордыню ставить выше блага всего вашего отечества?

Сикурос ди Нартокис смешался, отступил, наткнулся на стул, не удержался и сел, дернулся, махнул рукой, решил больше не вставать. Встал же, да и не встал, а вскочил, собственно, молодой граф Метакса.

– Вы правы, уважаемый адмирал, и пора многим нашим неразумным аристократам понять, что времена изменились. Пора спасти жизнь нашу согласием и доброжелательностью. Иначе не минует всех нас доля французского короля!

Напоминание о грозной гильотине утихомирило всех. Успокоился и Ушаков. Стал говорить о том, что все сделает, чтобы ввести на островах мир и согласие, благоденствие многих, и для сего просит нобилей поддержать меры союзных командиров, обещая им защиту и покровительство.

Аристократы молчали. Слабая улыбка тронула губы Орио. Кадыр-бей вытер пот рукавом халата и просительно взглянул на Ушакова: «Пусть идут!» Русский адмирал кивнул, нобилия вышли, не смешиваясь и не наступая друг на друга. На кресле графа осталась лежать петиция.

В ГОРНОЙ ПЕЩЕРЕ

Селезнев очнулся. Над ним склонилась красивая черно-волосая женщина. Она улыбнулась и одобрительно похлопала его по плечу.

А у него перед глазами плыли желтые пески, мерно колыхались спины впереди идущих солдат и крошево из пленных турок. Вот, пожалуй, тогда он и сорвался, когда Наполеон дал команду: уничтожить. Перед глазами пошли какие-то круги, часто билось сердце, он хотя и обессилевал в пути, но засыпал плохо. Когда все-таки забывался во сне, кричал, просыпался и больше уже не засыпал. Да и было от чего сойти с ума в этом походе из Египта в Сирию. Изнурительный марш, мелкие стычки с кочевниками-бедуинами – арабскими войсками турок, жажда и бросившаяся из Яффы за войском чума.

Досадно и тяжело было от того, что Милета осталась в Каире, завершала перевод и печатание книг Руссо на греческий. Договорились, что встретятся после завершения сирийского похода Бонапарта. Но не пойдет ли дальше генерал?

Еще там, в Каире, приходили сведения о новых восстаниях арабов, их неповиновении, все знали о жестоких казнях и расправах с восставшими. Египет не принял освобождение на штыках. И вот новый поход, который должен вывести из

тустика экспедицию Наполеона.

9 февраля армия вышла из Каира. Солдаты были радостны и полны бодрости и здоровья. Да и кому победить эту непобедимую когорту, когда во главе ее идут лучшие генералы – Клебер, Бон, Жюно, Ланн, Мюрат, Кеффарелли, Ренье. Вместе с ними ехал сам непобедимый Наполеон. В его звезду верили, его талант был неоспорим, он не ведал неудач, а о поражениях при высадке на Корсику и Сардинию, кроме него, никто не помнил.

Французов тянуло на эту ближневосточную землю. Здесь где-то родился Христос, здесь был гроб господний. И хотя об этом не было речи в выступлении их командующего, они чувствовали, что кому-то, какой-то находящейся за пределами их разума силе надо, чтобы французский солдат стал здесь, в Леванте, на Ближнем Востоке, твердо и властно. Турецкие отряды были разбиты под Эль-Аришом и Газой. Несколько затянулась осада Яффы. Оставлять ее в тылу было нельзя. Кто владеет Яффой, тот владеет Палестиной. Гарнизону и жителям обещали жизнь. Но те не доверились слову генерала. Штурм был беспощадный. Трупы солдат, женщин, стариков лежали на мостовых, висели на заборах, валялись в канавах.

Селезнев первый раз почувствовал здесь тошноту и приступы необъяснимого удушья. Он все меньше понимал, чего добивается здесь революционный генерал. Как можно в этих пустынных песках защитить и установить свободу, ко-

гда ни египтяне, ни сирийцы, ни другие арабские племена не принимали его за освободителя. Правда, христиане Сирии с надеждой взирали на него, а среди евреев Палестины ходил слух, что после взятия Акры он отправится в Иерусалим и восстановит храм Соломона. Эта идея льстила им. Но до остальных, а их тут было большинство, его призывы не доходили, в пришельцах они видели очередных завоевателей, о чем бы те ни говорили. А Наполеон обещал им то свободу и равенство, то приобщение к великим ценностям Европы, то провозглашал себя сторонником ислама, то говорил о новой религии, то хотел сделать здешние земли центром новой державы, то провозглашал освободительный поход сирийцев, друзей, палестинцев в Индию. Но они в этот поход, как становилось все яснее и яснее, не собирались. Они все ожесточеннее атаковали немногочисленную колонну, растянувшуюся вдоль побережья. Из Яффы за армией тихо поползла чума. Соскользнув с разлагающихся трупов, она прицепилась к солдатским сапогам армии Наполеона.

Под столицей сирийского паши крепостью Сен-Жан д'Акр, или просто Акрой, известной со времен походов крестоносцев как ключ от Палестины, Египта и Индии, Наполеон топтался шестьдесят два дня. Гибли солдаты, меньше стало офицеров, пал храбрый генерал Кеффарелли, может, и позавидовавший на этот раз своей ногой, лежащей во Франции. Лишь один раз отвлекся Наполеон, молниеносным ударом нанеся спешащим на помощь Сен-Жан д'Акру туркам

сокрушительное поражение. В городе было полно припасов, да и англичане подвозили постоянно людей, снаряды, продовольствие. А у французов даже осадных орудий не было, их в море перехватили английские корабли.

– Создается впечатление, что ваш командующий потерял волю, – сказал Клеберу Селезнев.

– У него есть для этого причины. Жюно зачем-то сказал ему то, что известно было всем, – Жозефина ему изменяла, а мы должны за это расплачиваться.

– Не думаю, что на хладнокровного генерала это действует.

– На генерала действует все. Особенно то, что сейчас происходит во Франции.

Дальше Селезнев помнил лишь какие-то отрывки их отступления от крепости. Да, это был ужасный путь. В начале отступления произошла ужасная драма: четыре тысячи пленных были вырезаны на глазах безмолвных солдат.

– Тащить дикарей с собой ни к чему...

Главнокомандующий обратился к солдатам со страстным приказом, пытаясь вселить в них бодрость: «Солдаты!.. Через несколько дней мы можем надеяться захватить пашу в его же дворце. Но в это время года взятие Акры не стоит потерь нескольких дней. К тому же храбрецы, которых мне пришлось бы тут потерять, необходимы сегодня для более важных операций!!!» И чтобы все видели, что он с ними, Наполеон мерно зашагал впереди в своем сером сюртуке.

И снова пустыня. Падают один за другим идущие рядом солдаты, и над всем этим летят птицы с громадными клювами. Селезнев упал, потерял сознание. Резкий удар но ного заставил его очнуться. Он открыл глаза и увидел склоненную над ним голову грифа. Селезнев сел, осмотрелся и увидел вдалеке у горизонта пыль от уходящей колонны французов. Нет, нет! Надо идти вслед за ними. Иначе хищники растащат по кускам... Он не помнил, как оказался здесь, в этой темной пещере. И как здесь оказался Карин. А может, почудилось ему все это в бреду?

– Нет, человеце, ты жив и будешь жить благодаря сей страстотерпице и врачевательнице. Она христианка из айсоров. А я, брат, отмолился у гроба господня, иду в Россию.

– Что ж ты искал там и нашел ли?

– На русской земле ни Христос не учил, ни пророки не пророчествовали и ни апостолы верой не сияли. И я решил припасть к исходящу мудрости.

– Ну и знаешь ныне ответ на все? Иль нужны тебе еще книги для понимания происходящего?

– Не книги, не книги, а простое понимание вещей суть главное. А может, по праздникам книги, а в будни житейское раздумание. Философию ниже очима видех.

Селезнев подумал, сколь много людей в мире ищут ответа на главные мысли свои, и раздумчиво возразил священнику:

– Ты, как раб из Евангелия, ленивый и лукавый. Не про тебя сказано, что закопал вверенный ему талант, чтобы тем

вернее сберечь ему хозяйское добро, да и самому не работать? Так и ты от людей скрыть хочешь, что собрано в книгах, боишься мысли пытливой.

Карин возразил не думая:

– Вера, вера – вот что защитит нас. Веруй! Не умствуй. И так от безверия везде войны, суета, бедность. Одни утопают в роскоши, другие впадают в нищету и дичь. Молиться надо, брат, молиться.

Молиться Селезневу не хотелось. Он повернулся и в свете пылающего светильника увидел женщину в красном платке, поднявшую вверх руки и внимательно на него смотревшую. За ее головой то ли от светильника, то ли от мелких камешков стены светились и переливались радужные огоньки. Они то вспыхивали, то сливались в одну линию, то рассыпались искорками и постепенно уходили в темноту. Женщина тихо засмеялась, опустила руки и что-то сказала.

– Будешь здоров, – пояснил Карин, – говорит, рана заживает, воля окрепла. Пора в Россию, брат мой!

– Нет, нет! Я буду добираться в Александрию. Я дал обещание.

В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ

Я от трудов истинно насилу на ногах. А чуть опустить напряженные струны, арфа будет балалайкою...

Мы здесь на несколько остановились, а что мы здесь,

то ни вам, ни мне такового и грезиться не могло...

А. В. Суворов русскому посланнику в Вене А. К. Разумовскому после взятия Турина мая 17, 1799 г.

Стрелой пронесся сквозь пространства России и Австрии Суворов. Вонзился в Вену, в ее благополучие и спокойствие. Император Священной Римской империи, военный совет – гофкригсрат, руководитель одного барон Иоанн Тугут, фельд-маршалы, маршалы, генералы приготовились со всей тщательностью и усердием разработать ход кампании. Расписать все диспозиции, прописать все маршруты, определить досконально маневры в разных обстоятельствах. Потом, в строжайшей тайне, не доверяя нижним чинам, начинать прорабатывать на подступах к позициям противника. Суворов же торжества заседательского не дождался. Кампанию вел с супротивником со дня выезда из Петербурга. Сотни ходов военных, стратегию будущих сражений продумал под свист ямщицкий, под скрип полозьев да под ухабные подскоки. Не заполненного мыслью времени не было. Все надо было ре-

шить быстро. В этом видел успех. В минуту умещал час, а в сутки месяц. Вот и в кибитке можно лежать, отдыхать, да и спать неплохо, а можно изучить все территории, где воевать должно, составить схемы боев, подсчитать, с какой силой перевеса добиться над противником возможно. Что и делал...

По прибытии в Вену насторожил австрийцев скоростью своих заключений, а отказ от длительных рассуждений даже напугал. Нельзя же так, без подготовки, без раздумий, без обмена мнениями. До курьезов доходит фельдмаршал граф Суворов-Рымникский, якобы для оперативности в разговорах и бумагах к сановитым и именитым упускал половину титулов. Ну разве это порядок? Если так дальше командовать будет, все перемешается в армии, изменит свой вековечный вид, как и у республиканских французов.

Однако приходилось армию подчинить согласно воле двух императоров русскому фельдмаршалу. Подчинить-то подчинили, но как нелегко тем, кто с ним рядом. Он требовал знания, проверял остроту ума и умения принимать быстро решения.

Полетели в стороны разные немогузнайки, а их-то по немецким, австрийским меркам было немало. Да и у русских хватало тугодумов. Ведь это же достойно уважения – перед лицом высокого командира, сиятельной особы – не знать. Вот им, высоким-то, и положено знать. А офицеру австрийскому перед полковником или полковнику перед генералом – им знать больше вышестоящего и не положено. Новый же

командующий сам хотел знать все, требовал точных донесений, исчерпывающих сведений, да и от других нижестоящих требовал знания. Гневался, смеялся, ехидничал, если ел его глазами боевой офицер и не ведал, что ответить, не думал, что сказать, не умел изложить увиденное.

Не выдержала его напора машина австрийской армии: дернулась, крутанулась, стронулась с места и медленно еще, но совсем неплохо заработали жернова мысли у тех, кто приготовился сражаться, кто был в войсках и на походных маршах. Нет, не у тех, кто остался в Вене, кто восседал в тугутовом гофкригсрате. Те продолжали глубокомысленно морщить лбы. Суворов же не возражал: «Пусть морщат, лишь бы не мешали». И завертелось все при нем на итальянском фронте быстрее в два раза...

Славно, слаженно шли с днестровских зимних квартир русские дивизии генерала Германа, а в пределах Австрийской империи находились уже войска генерала Розенберга. И вдруг приказ от Суворова ускорить шаг в два раза. Что за выдумки! Куда в два раза-то! И так здорово шли. Но оказалось, можно. А там, где не получилось, зоркий глаз Суворова увидел причину. Вольготно ехало войско у Розенберга, каждый обер-офицер имел по нескольку повозок с добром всяким. Да почти у каждого солдата при полках женка была. Куда уж тут спешить от барахла всякого да теплого бабьего тела. Последовал приказ неукоснительный: оставить по одной повозке для офицера и одной солдатской жене в роте

«для мытья белья». Быстрее зашагали полки – облегченье все-таки без баб-то!

И тут же поступил новый приказ русским и австрийским войскам: в походе отрабатывать всякие экзерциции, то есть упражнения всякие – обучать рассыпному строю, движению в колоннах и поворотам, командам всяким. «Невозможно же сие на ходу совершать!» Нет, оказалось, и это возможно.

Запарился при Суворове приставленный к его штабу от австрийцев генерал-квартирмейстер Шателер. По дороге к Вероне, куда отправились с главнокомандующим, Шателер думал время провести или в приятственной беседе, или в сладкой дремоте. Но фельдмаршал дремать не дал, расспрашивал, уточнял маршруты, запасы провианта, сумму жалованья, количество зарядов. Был доволен, что Шателер многое помнил, и стал диктовать инструкцию о способах действия в бою.

Генерал-квартирмейстер приготовился писать длинную вводную, обычную в таких документах.

– «Надо атаковать!!! – холодное оружие – штыки, сабли!» – Суворов посмотрел на недоумевающего генерала. – Пиши! Пиши! С этого начинаем. И дальше: «Смять и забирать, не теряя мгновения, побеждать все даже невообразимые препятствия, гнаться по пятам, истреблять до последнего человека».

Приподнялся, посмотрел в окно кареты и, взглянув на казаков-сопровождающих, продолжил:

– «Казачи ловят бегущих и весь их багаж, без отдыха вперед, пользоваться победой. Пастуший час! Атаковать, сме- сти все, что встретится, не дожидаясь остальных...»

– А как же, ваше превосходительство, ведь порядки сме- шаются? – вслух осмысливал последствия сего действия Ша- телер.

– Вот, вот! Пиши: «Восстановить боевые порядки – дело Шателера, поменьше перемен». И вот что еще, надо обучать действию холодным оружием. Запиши: «Генералу Шателеру постараться послезавтра, а может, в тот же день показать ре- зультаты Суворову».

– Мы должны будем остановиться, господин фельдмар- шал? Выбрать плац?

– Нет. Пиши: «Показать отдельно по частям, как армия расположена, не расстраивая этим порядки наступательного марша. Атака должна начинаться за час до рассвета...»

Подиктовал еще, взглянул на насупленного, вспотевшего генерала и добавил:

– «Забавлять и веселить солдат всячески. Но никаких сиг- налов, ни труб, ни барабанов. Говорить вполголоса», – пояс- нил, – чтобы тем самым не раскрыть намерения. Подчерк- ни! А впрочем, тут все важно. Твердость, предусмотритель- ность, глазомер, время, смелость, натиск! Поменьше деталей и подробностей в речах к солдатам, – показал пальцем на Шателера. – Не отставать друг от друга!

Генерал удивился: все, все предусмотрел русский главно-

командующий. Ничего не упустил, ни жалованья, положенного к выдаче, ни упражнений, ни порядка атаки, ни места кавалерии, ни цели для артиллерии, ни количество повозок в обозе.

– А говорили, ваше превосходительство, вы не любите немецкую педантичность?

– Я, друг мой, люблю точный порядок. Но быстрота и натиск – душа настоящей войны! А где ей взяться, коли все хотят предусмотреть вдали от битвы? Все инструкциями зашорить да документами. И потому да будет проклято педанство, прочь мелочность и копанье!

Шателеру было необычно слушать критику столь высокого для него органа, как гофкригсрат, но фельдмаршал все больше заражал его уверенностью, возбуждал к действию и наступлению. Да и не его только. Еще подходили к речке Адда, за которой укрепились после первых стычек французы, основные силы союзников, а казачьи полки Денисова, Грекова и Молчанова окружили местечко Лекко, где засели французы. Подоспевшие для атаки егери генерал-майора князя Багратиона и гренадеры подполковника Ломоносова дело завершили. Храбро сражались и австрийцы. По всей Адде закипела битва. Упорно отбивали все атаки французы, стойко стояли, пушки у них дымились от скорострелия. Но неожиданны были ходы старого фельдмаршала, казалось, не иссякли его резервы, главный удар перемещался то влево, то вправо, и не выдержала армия Директории, стала стремительно

отступать. Сие и были глазомер, быстрота и натиск в натуре.

Скоро приветствовал победителей Милан, за ним Турин. Русские солдаты одерживали победы в центре Европы.

За несколько месяцев от наполеоновских побед в Италии у Директории остались одни приятные воспоминания. Суворовские войска, как гигантская метла, вымели из Ломбардии и бывшей Цизальпинской республики французские армии. Блестящие победы при Требии, Нови открыли дорогу объединенным русско-австрийским войскам на юг Франции. Суворов написал, что видит из трубы Париж.

Но если его самого победы окрыляли, австрийский двор они пугали. Гофкригсрату все казалось, что Суворов чересчур стремительно продвигается вперед, далеко уходит от Вены. Бонапарт приучил австрийский императорский двор к поражениям и, получив известие о первом выигранном сражении, он торжествовал; после второй победоносной баталии – забеспокоился; третья же победа Суворова вызвала тревогу. Русский генерал воевал не по правилам, обходился без церемоний и ритуалов, долженствующих определить лицо аристократа, благоволил к солдатам, сановитых генералов обижал невниманием, делал невежливые выговоры.

До сих пор всем памятно письмо командующему австрийскими войсками генерал-фельдцейхместеру Меласу по поводу прерванного тем марша из-за плохой погоды. Написал тогда:

«До сведения моего доходят жалобы на то, что пехота

промочила ноги. Виною тому погода... За хорошею погодою гоняются женщины, щеголи да ленивцы. Большой говорун, который жалуется на службу, будет как эгоист отрешен от должности. В военных действиях следует быстро сообщить – и немедленно же исполнить, чтобы неприятелю не дать времени опомниться. У кого здоровье плохо, тот пусть и остается назади... Глазомер, быстрота, стремительность! – на сей раз довольно». Хотя бы повежливей как-нибудь написал, помягче, командующий австрийцами ведь Мелас-то.

Странно как-то казалось: генерал могущественной монархии, воюющей против республики, якшается с мужиками, пусть даже с солдатами, печется о них больше, чем должно для графа. В их обществе себя чувствует уютно, знает почти каждого в лицо, ведет беседы у костра, ест кашу из походного котла. Австрийские генералы брезгливо морщились, отворачивались в сторону от худенького фельдмаршала, боялись его острого взгляда и резкого слова. Не любили.

А русские солдаты души не чаяли в своем командире, шли за ним в любую битву, непогоды им были нипочем. Правда, так они еще никогда далеко не заходили. Красивая вроде страна, зеленая. Но какая-то растревоженная, печальная сия Италия. Их, русских солдат, здесь хорошо встречают. Поселения и города проходили быстро, не задерживались, не бедокурили – командир Александр Васильевич крепко-накрепко запретил. Хотя хлеба, крупы часто не хватало, ждали подвоза. Устали солдаты, притомились, домой бы пора.

У ночного костра сомкнулись в пирамиду ружья, улеглись сверху на барабан несколько часов подряд выстукивающие походную дробь палочки, рядком забугрились заплечные ранцы. А солдаты еще не утомонились, не зашлись мужским крепким храпом, сидели, подшивали пуговицы, чистили бляхи, тихо переговаривались, считали раны, у кого больше.

– А мне в измайльскую ямину от пули попал ноне француз штыком.

– А и пошто мы так мучаемся-то, Петрович? – негромко спросил у крепкого седого гренадера, прижигающего рану, русоволосый молодой солдат.

– Пошто! Пошто! За Александра Васильевича батюшку.

– А он пошто?

– А он за честь.

– А что-то за честь така?

– Эх ты, дура, честь – это когда ты в физиономию себе плевать не даешь да слово держишь.

– Ну уж ты скажешь. Кто это графу плевать будет?

– Кто, кто? Французы, да всякая немчура, да басурманы, да, может, из наших кто завидует и боится.

– А слово он перед кем держать должен? Тоже перед нами?

– Ну вот, опять пальцем в небо. Да словом-то он перед всеми тверд: перед царем, неприятелем, солдатами.

– Неужто и перед солдатами?

– Перед солдатами наперед всего. Ведь сколько у нас да австрияк генералов? А с кем солдаты и в огонь и в воду? За кого жизнь отдадут не думая? За него и с ним пойдут хоть к черту на рога, поскольку он своему слову хозяин. Солдат за ним, как за каменной стеной, он в обиду не дает, все горести и радости с нами разделяет. Котлом не брезгует нашим. А ты слышал, дурья голова, чтобы помещик со своим холопом рядом сел и есть стал? Не слыхивал и скоро не услышишь.

– Да ведь мы, чай, и не крепостные.

– Вот потому и не холопы, что он с нами, – Петрович вздохнул и с теплотой в голосе закончил: – Потому и люб нам наш орел Александр Васильевич. А ты, Максим, песню бы спел, – обернулся он к казаку, присаживающемуся к их костру.

Тот потянул из-за плеча широкий кожаный мешок, развязал его и вытащил оттуда бандуру. Подождал, когда все затихнут, и ласково тронул струну, соединив ее звук с песней:

Вид Килии до Измайлова

Покопани шанци;

Ой, вырубалы турки новодонцив

У середу вранци.

Старые солдаты опустили головы, дыхнуло горячей битвой, но уже смутно помнили упавших во рвы и на дунайское дно товарищей. А казак вел дальше:

А черноморци, храбри запорожци,
Через Дунай переиздылы,
Воны ж тую проклятую измаиловскую орду
З батареи збылы.

Да, жестокая была битва, кровавая. Многих унесла. С кем завтра придется встретиться в том мире, куда уходят после битв погибшие солдаты?

СОЛДАТЫ ОСТАЮТСЯ

Клебер, гигант Клебер лежал на земле и плакал. Его плечи сотрясались от мужских всхлипов. Он уткнулся носом в пожухлую траву и судорожно хватал ее левой рукой. В правой была зажата бумажка. Не бумажка, а последний приказ Бонапарта, который командующий не решился огласить публично. Да он больше и не командующий, а морской странник, надеющийся на фортуны. Вчера вечером на фрегате «Мюирон», отдав себя воле случая, он отбыл во Францию. Раздетая, оборванная, безденежная армия была брошена в одночасье. Ветераны италийских и австрийских походов, гордость Франции, ее боевые солдаты и офицеры, его, как считали они, личные друзья остались здесь, в раскаленных песках, в окружении турок, англичан, буйных и не уничтоженных мамлюков Мурада. В море молчаливой и враждебной стихии феллахов.

– Как мог! Как мог он! – поднял лицо от земли Клебер. – Я доложу Директории о наших поражениях, о наших потерях.

Он знал, конечно, что Наполеон слал реляции о победах и пленных, когда таковых и не было. «Государственный человек должен уметь лгать», – говорил Бонапарт не раз. О поражениях народ и так узнает, но ведь можно их покрыть, как в картах козырями, и тогда кто вспомнит о первоначальных поражениях, кто не оправдает жертвы. Разве что родные по-

гибших, но их можно уверить, что они погибли не в результате оплошности и недосмотра командующих, а за победу, обеспечив ее торжество, и тем немного успокоить их. Клебер, правда, не мог не признавать военного таланта своего старшего командира. Месяц назад он обнял его после блестящей победы над турками под Абу-Бакиром, в годовщину морского поражения недалеко от этих мест. Клебер, постоянно относившийся с подозрением к Наполеону, на этот раз не сдержал восхищения и воскликнул: «Вы гений, вы велики, как мир!»

Наполеон не лгал, когда послал Директории телеграмму: «Абу-Бакир одна из прекраснейших битв, которые только удавалось мне видать. Из высадившейся армии врага не ушел ни один человек». Не лгал, но уже тогда знал, что обречен. И, пустив вперед себя ком славы, доверил тайну Мармону: «Я решил вернуться во Францию. Положение в Европе принуждает меня к этому великому шагу. Наши армии терпят поражение, и бог весть куда уже проникли теперь наши враги. Италия утрачена: пропала награда за столько усилий, за столько пролитой крови. И что могут сделать эти бездарности, стоящие во главе правительства. Ведь это одно только невежество, безрассудство да взяточничество! Я, один я, все нес на своих плечах и поддерживал это правительство моими непрерывными успехами... С моим удалением все должно было пойти прахом. Не ждать же нам окончательного разрушения. Во Франции в одно время узнают о моем возвра-

щении и об истреблении турецкой армии под Абу-Бакиром. Мое присутствие ободрит павших духом, внушит войскам утраченную самоуверенность, возродит у благонамеренных граждан надежду на будущее».

Клебер не знал всего этого, но он уже знал, что на два фрегата «Мюрион» и «Каррэр» погрузили тяжелые орудия и драгоценности Востока, две сотни отборных гвардейцев охраняли их, а также командующего и его наперсников – Мармона, Лана, Мюрата, Бертъе, Бертолле, Монжа.

Вечером 24 августа 1799 года фрегаты пустились то ли в бегство, то ли на спасение своего отечества.

Нельсону и его помощнику Смигу в голову не могло прийти, что гроза Азии, командующий экспедицией может бросить свою армию. Не могло прийти это в голову и Клеберу. И, лишь прочитав последний приказ, который гласил: «Солдаты, известия, полученные из Европы, побудили меня уехать во Францию. Я оставляю командующим армией генерала Клебера. Вы скоро получите вести обо мне. Мне горько покидать солдат, которых я люблю, но это отсутствие будет только временным. Начальник, которого я оставляю вам, пользуется доверием правительства и моим», – он все понял. И впервые в жизни плакал, плакал на глазах этих двух симпатичных иностранцев. Он плакал от бессилия, от потери веры, от нищеты, одни долги по жалованью его войска достигли четырех миллионов. Он был унижен как военный, умеющий смотреть опасности в лицо. Он был унижен как гражда-

нин, гражданин республики, провозгласившей братство своим принципом. Он был унижен как соратник, другом он себя не решался называть и до этого.

Наконец Клебер встал, вытер тыльной стороной кулака слезы и, вздохнув, сказал:

– Солдаты остаются. Будем сражаться. А вам? Вам-то я желаю безопасного пути.

Клебер уже давно знал, что Милета и Селезнев уезжают на шхуне ее отца, чтобы продолжить дело революции на Ионических островах.

ОНИ НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛИСЬ

Шхуна как-то очень резко развернулась, стала сворачивать паруса и медленно заскользила по удобной и уютной бухте.

– Смотри, как здесь красиво, – повела рукой Милета. – Тут я провела свое детство в имении отца. Тут я получила первые уроки свободы от Мартинигоса. – Голос Милеты дрогнул, и Селезнев понял, как дороги для нее эти воспоминания. О Мартинигосе, его благородстве и мужестве он слышал от своей пылкой спутницы уже не раз. Шхуна пришвартовалась, и через несколько минут они ступили на родные для Милеты камни мостовой. Она сбросила с головы платок, и, шагнув к оливковому дереву, обняла его.

– Моя дорогая земля! Как долго ждешь ты освобождения! Где те воины, что спасут тебя? Как я рада, что снова иду по твоим дорогам.

Селезневу такое обращение не показалось ни напыщенным, ни странным. Он уже привык к пылким речам своей спутницы, ее резким переходам от задумчивости к бурной деятельности и суете. Она жестом подозвала к себе стоящего и глазеющего на них мальчишку, сказала:

– Побеги к дому господина Мартинигоса. Ты знаешь его? Ну так вот. Скажи ему, что я хочу с ним встретиться... Нет, стой... Скажи ему, что приехала Милета и она будет нахо-

диться в доме своего отца.

Мальчишка стремглав помчался вдоль улицы. А они тихо стали подниматься по извилистой дорожке к высокому дому, построенному на выступающей над бухтой скале.

– Мы жили здесь редко. Отец не любил этот дом и этот остров. А мне он казался прекрасным. У меня впервые здесь появились друзья. Я тут стала понимать, сколь порочны себязлюбие и тирания, неумная страсть к богатству и власти. Странно, почему же закрыты ворота? Да и окна? – Они обошли дом, подошли к главному подъезду. На всех окнах крест-накрест были прибиты доски, на воротах висел большой замок.

Милета нерешительно постучала. Никто не откликнулся. Селезнев стал стучать кулаками. Прислушались, было тихо. Снизу по дороге, ведущей к дому, поднимался вместе с живо жестикулирующим человеком капитан шхуны, доставившей их из Египта. Он подошел и немного растерянно, что никак не соответствовало его лицу, стал рассказывать:

– Вот он говорит, что все слуги покинули этот дом, кто ушел в горы, кто возвратился в деревню. Французов здесь больше нет, их выгнали русские. Ваш отец жив, хотя некоторые нобили и погибли.

– Какие русские? Откуда они здесь?

– Да с осени прошлого года вместе с турками, госпожа.

– Вместе с турками? Ах да, мне об этом уже сказал наш друг Селезнев. Что это за противоприродный союз?

– Нет, сударыня, они освободили нас от французов.

– А чем тебе-то грозили французы? – спросил капитан у суетливого грека.

– Ну мне-то особенно ничем. Это вот ее папашу, – он кивнул на Милету, – чуть не повесили. Вы не бойтесь, он жив. Крестьяне только сожгли у него два дома да два разграбили в городе. А меня французы не грабили, – он хитро ухмыльнулся. – Я сам парень не промах. Но все-таки они заставили платить непомерные налоги. Даже один раз бросили в тюрьму и не выпустили, покуда родственники не собрали залог. Сейчас лучше, за нас заступает русский адмирал. Он простил тех, кто не пожалел имущество нобилей, кто вернул себе то, что у них отбирали годами.

– Однако французы замутили и тебе голову, – раздражился капитан, – как можешь ты покушаться не на свое добро, как можешь говорить такие речи? Ведь за это недолго и в тюрьму или на казнь.

– Э, сударь, времена другие. Сейчас старого не вернешь, – он вздохнул, – хотя и в новом мало хорошего.

Милета с удивлением, страхом и надеждой слушала этот разговор. Что-то произошло очень важное на ее родине. Как отразится это в ее судьбе? В ее дальнейшей жизни?

– Попробуем все-таки войти в этот дом. Нам надо где-то жить. Ведь есть же там крыша.

Капитан и Селезнев надавили на калитку, она не поддавалась. Нашли место, где можно было преодолеть стену, и вска-

рабкались туда. Селезнев соскочил внутрь, огляделся. Подошел к калитке, открыл засов. Сосредоточенная и молчаливая, шагнула Милета в родной двор. Не такой виделась ей раньше встреча на Закинфе. Не так хотела она возвратиться домой.

– Однако калитка была закрыта изнутри, значит, здесь кто-то есть?

– Не обязательно, сударыня. Ведь можно же преодолеть стену и способом господина Селезнева.

Но действительно, дверь маленькой халупки около дома отворилась, и оттуда, ковыляя, вышел седой старик. Он низко поклонился Милете. Подошел и поцеловал край ее одежды.

– Дорогой Рицос, ты, как всегда, молчишь. Но как мне не хватало твоего молчания. – И, обращаясь к Селезневу, сказала: – Ему столько же лет, как и отцу, но он совсем седой. Его жизнь не была легкой и безоблачной.

Селезнев тем временем осмотрелся.

Дом был разбит, двери вышиблены, окна без стекол, со стен все было содрано, лишь на одной – оборванное полотнище.

– Где же мы будем ночевать? – сокрушенно проговорила Милета. Немой Рицос показал на свою хибару.

– Спасибо, дорогой человек, ты всегда был верен мне! – немного высокопарно, но искренне поблагодарила она.

Весь вечер она вместе с Рицосом приводила в порядок хи-

жину, чистила и мыла окна, подметала пол. Селезнев даже подивился ее умению. Видел он, что она постоянно прислушивалась, не хлопает ли калитка, не заходит ли кто во двор. И когда ее лицо засветилось радостью, он понял, что пришел наконец тот, кого она ждала, о ком часто рассказывала в Египте. Да, это был Мартинигос. Гроза нобилей, друг народа своего острова. Его можно было бы назвать идеальным красавцем, если бы не небольшой рост. Селезнев заметил, что Мартинигос был в сандалиях на высоких каблуках, и все равно он был чуть ниже Милеты. Мартинигос нежно поцеловал ее руку и внимательно посмотрел на них. Она, казалось, не выдержала его взгляда и повела ладонью в сторону Селезнева.

– Знакомься, это мой друг. Он русский. Мы вместе искали свободу в египетском походе. – Она замолчала и, взглянув на Мартинигоса, добавила: – Он, как я, устремился со своей родины вслед войску свободолюбивой Франции, но это оказалось не войско свободы. Это был мираж. Мираж, который мы часто видели в пустынях Египта.

Мартинигос слушал внимательно и, когда Милета кончила, сделал кивок головой Селезневу.

– А вы познакомьтесь с моим другом Циндоном. Мы не разочаровались ни в чем. Мы будем бороться до конца.

Они не заметили, как зашел и скромно стал у дверей гигантского сложения человек. Его громадные руки обнимали толстую суковатую палку, и он спокойно смотрел на быстро-

го и экспансивного Мартинигоса.

– Циндон – популярь, вожак простого народа. Он был и рыбаком, и плотником, растил хлеб и плавал в далекие страны. Турки и нобили его боятся. Русские, ваши земляки, – он наклонился к Селезневу, – уважают. – Весной, когда нобили убили крестьянина в деревне Пигодаки, он дал понять, что так больше продолжаться не будет. Запылали их имения, сгорела в кострах фамильная мебель.

Милета посмотрела на Циндона, и тот, желая подтвердить то, что сказал Мартинигос, громко сказал:

– Да, сударыня. Мы и этот дом разгромили в наказание нобиллям.

– А как же граф Сикурас?

– Да он-то жив. Снова будет заседать в сенате, снова заносчив и неприступен. Снова богат и снова требует наказания всех, кто покушался на привилегии нобилей. Я знаю ваше родство. Знаю ваши взгляды и с сожалением говорю, что они, все нобили, ничему не научились.

ВЕЛИКИЙ АДМИРАЛ СЕРДИТСЯ...

Нельсон злился, ходил по каюте, и пустой рукав его все время выскакивал из-за пояса. После Абукира его слава была повсеместно и безраздельно признана. Старался не вспоминать, как проскочил ночью мимо флотилии Наполеона, как возвратился в Сицилию. Как, захватив купеческое суденышко, чуть было вначале не поверил теряющемуся от страха негодянту, лепетавшему, что Бонапарт направился на Константинополь. Не разрешал себе вспоминать, как думал о том, что корабли Наполеона двинулись именно туда, запереть русские эскадры в Черном море, брать в клещи Австрию, повергать Турцию, ставить на колени Россию.

Это вообще-то было и его постоянным желанием: ставить на колени всех соперников и врагов Англии. Адмирал знал, что он принес свою славу королевству, и корона увенчала его такими лаврами, листья которых закрывали все другие победы. Да и какие то победы? Столичные адмиралтейцы, а затем русский посланник в Италии толковали ему, что за семь лет до Абукира, под какой-то Калиакрией этот медвежатник Ушаков применил прием, сходный с его операцией. Зачем придумывать! Именно его, нельсоновский передовой корабль прошел, ну оказался, между берегом и французским флотом и огнем взял в клещи противника. Этот маневр принадлежит Англии. Он не отдаст этому малоподвижному ви-

це-адмиралу первенство в военно-морской стратегии. Эта операция войдет в учебники как его замысел, как его боевое открытие. А этот тяжеловоз сам пользуется услугами его офицеров, вот ведь наверняка раскрыл глаза невежде командор Стюарт, указав на остров Видео как на ключ к Корфу. Не мог же он сам до этого додуматься!

При воспоминании о Корфу заныло сердце. Определил. Надо отомстить, найти слабые места у этого «победителя». Генеральный консул на островах Форести, кажется, нащупал. Это – нелюбовь Ушакова к нобилям и их ненависть к нему. Вот тут-то и сгорит этот самонадеянный адмирал. Да разве можно сейчас спорить с аристократами, с владельцами. Ведь их же в конце концов и прибыли защищать эскадры коалиции. Ведь только их голос и звучит в коридорах правящего Лондона и императорского Петербурга.

Надо подтолкнуть этого упрямца. Подсказать его противникам, что все действия адмирала подрывают устои и порядки аристократов во всех странах. Надо внушить туркам, что Россия стремится завладеть островами. Надо внедриться на острова, сделать там в союзных целях какой-нибудь вербовочный пункт и свозить туда английских офицеров и солдат. Надо обойти ныне глупое соглашение 1798 года, заключенное Англией с Россией и Неаполем о том, что после занятия Мальты туда будут введены их совместные гарнизоны и остров снова будет отдан ордену мальтийских рыцарей. Мальта, конечно, еще не взята, но он сделает все, чтобы там остались

только английские войска. Смешно допускать туда русских. Англия должна иметь в центре Средиземного моря свою базу и свой флот. Еще в январе написал капитану Беллу, осадившему Мальту: «Нам донесли, что русский корабль нанес вам визит, привезли прокламации, обращенные к жителям острова. Я ненавижу русских, и если этот корабль пришел от их адмирала с острова Корфу, то адмирал – негодяй».

Ясно, что русский адмирал хочет выглядеть знаменитым флотоводцем. Но, может быть, он и значит что-то там у себя в банке Черного моря, но здесь-то, в Средиземном, после Абукира – ясно, кто держит пальму первенства. Да и не только по славе, но и по мореплавательскому опыту английскому. Упрямство его бесит. Ведь он как маньяк лезет и лезет к Ионическим островам, к Мальте. Это же коварство. Ведь в Константинополе решили, что русские отправятся к Египту, чтобы не выпустить из мышеловки Наполеона. А Ушаков направил туда одну лишь маленькую эскадру. Ну а если не сумели договориться с ними, тем хуже, тем неприятнее было это появление турок и русских на островах. Ведь отряд капитана Трубриджа был совсем готов к отплытию, когда он узнал, что Корфу уже взят. С досадой советовал туркам отправить эскадру Ушакова куда-нибудь. Твердил постоянно: «Египет – первоочередная цель оттоманского оружия, Корфу второстепенная». И если те не принудят русских уйти, то там, у Ионических островов, они станут занозой в боку у Порты. Он был уверен, что холодный английский ум обста-

вит русских медлителей. Вот завели преданного слугу Шеремет-бея. Но результаты небольшие. Русские взяли Корфу, претендуют на Мальту. Надо оградить великую Британию от их замыслов.

Взгляд как-то сам собой остановился на длинном деревянном ящике, стоящем вертикально с закрытой крышкой позади кресла Нельсона за обеденным столом. Адмирал подошел к нему, подержался за крышку и хмуро улыбнулся, вспомнив слова капитана Галлоуэлла, приславшего ему сей подарок после битвы при Абукире. «Мой лорд! При сем посылаю вам гроб, изготовленный из куска главной мачты «Ориента». Когда вы устанете от жизни, вас смогут похоронить в одном из ваших трофеев».

Подарок ему понравился, он похлопал по гробу и подумал, что немного истинных друзей понимают его роль. Вот Эмма Гамильтон, Трубридж да этот оригинал Галлоуэлл, а ведь его в стране многие считают выскочкой и нахалом. И все-таки лучше служить неблагодарной стране, чем отказаться от своих идеалов, ибо путь чести приведет в конце концов офицера к славе, к достижению его целей.

Еще раз подумал: «Нет, ни славой, ни лаврами, ни территориями ни с кем делиться не стоит». Потом вдруг понял, что не только козни русского адмирала беспокоили его в эти дни. Ночью видел какое-то месиво из кровавых пятен и частей тела, слышал хруст костей, стучали в голове молоточки, сыпались «больные» искры, слышались стоны, крики о

помиловании. Конечно, он был беспощаден к врагу, но что толкнуло его летом 1799 года к отмене соглашения, которое подписали с республиканцами его капитан Фут, кардинал Руффо и русский англичанин Белли? Он и сам до конца не ответил бы.

Презрение к французам у англичан воспитывалось с молоком матери. Он ненавидел этих гнусных безбожников, их республиканские пороки, а Фут заключает от имени Англии перемирие. С кем? С негодями. Он отменил решение. Ничего не подозревающие республиканцы вышли из крепости, где оборонялись до перемирия. Сложили оружие на набережной и начали погружаться на корабли, которые по соглашению должны были отвезти всех в Тулон.

Вдруг их окружили команды английских военных моряков и неаполитанских королевских гвардейцев, которые и годились-то только для расстрела безоружных, и погнали в тюрьмы. Вот тут-то и началась вакханалия. Знатные люди, аристократы, роялисты, что несколько раз прощались со своими именами и богатствами, решили отомстить за страх. Пленных вытаскивали из строя, бросали под ноги, разрывали на куски, прибивали гвоздями к столбам, жарили на углях, забивали камнями. Кровь залила улицы; ее ручейки стекали к еще пустому королевскому дворцу. Сам король Фердинанд был тогда еще на Сицилии, а его «каналы» уже действовали. Они скупали за бесценок имущество живых и мертвых республиканцев. Конечно, сразу появились новые

жертвы. Ибо когда, как не сейчас, можно было отомстить строптивому соседу, сопернику-негоцианту, гордому музыканту, да к тому же заполучить часть его имущества.

Пожалуй, он и сам немного смутился, когда Трубридж с упреком сказал, что сорок тысяч семей в Неаполе оплакивают своих кормильцев. Да, да! Нельзя же оставить королевство без налогоплательщиков. Но он не допустит республиканской заразы здесь, на юге Италии. Пусть не любят его, пусть говорят о позорных страницах его жизни, пусть. Но зато Англия твердо, ну, по крайней мере, основательно, стоит здесь, и ее враги боятся ее гнева.

Вот и несколько дней назад устоял под вопросительным взглядом Эммы Гамильтон, недоумением некоторых капитанов и отдал приказ повесить коммодора неаполитанского флота князя Франческо Караччиоло. Тот посмел осудить короля за бегство в Палермо и перешел на сторону республиканцев, возглавив их флот.

Нельсон не мог позволить остаться безнаказанной измене, не мог помиловать республиканца. Какая-то болезненная сила ненависти и беспричинной злобы толкала его, торопила, не давала остановиться в своем решении. И он не разрешил отложить смертный приговор коммодору на сутки, как положено, чтобы тот приготовился к уходу из этого мира.

Приказал собрать английские корабли вокруг неаполитанского брига «Меркурий», где вершился суд. Пусть все видят церемонию гибели изменника. Многие не понимают,

как важна церемония: торжественная, траурная, величальная, погребальная, уводящая из этого света. На церемонии много держится и долго будет держаться в Англии.

Караччиоло вывели на палубу. Снасти, реи английских кораблей усеяли замершие матросы. Зрелище, когда вешают князя, не частое. Зачитали приговор. Выстрелила пушка. Раздробили воздух барабаны, и князь Караччиоло взметнулся на рее.

Из Палермо следом за армией кардинала Руффо прибыл и король, однако с английского корабля он не спустился. А мог бы, ведь он заядлый охотник – король Фердинанд. В Неаполе везде гремели выстрелы, устраивались засады, шла большая охота на подданных, усомнившихся в его королевском всесии. Сейчас они плакали кровавыми слезами, расплачивались за призрачную свободу, поманившую их из далекой Франции. Смерть витала над Неаполем. И творцы ее – Нельсон и Фердинанд – хмуро всматривались с флагманского корабля эскадры в город.

– Мой бедный Неаполь! Что с ним сделали? – вытер слезу Фердинанд.

Нельсону чудился упрек за то, что он подтолкнул тогда, в ноябре прошлого года, неаполитанцев против Франции, на атаку против Рима. «Лучшая армия» Европы, как убеждал себя адмирал, разбежалась, как только столкнулась с регулярной армией французов. Королевскую чету он тайно вывез на Сицилию, а в Неаполь вступили войска Директории.

То был удар по авторитету Нельсона. Абукир уходил в прошлое, вперед выступала итальянская катастрофа.

Может, жестокостью своей и мстил он судьбе за столь опасное испытание, за то, что еще раз убедился: сухопутная стратегия не для него, он не готов воевать на суше...

– Святая Мадонна! Поднимите меня! – раздался крик снизу, от моря. – Я должен все сказать самому королю!

Фердинанд посмотрел с вопросом на Нельсона, когда подбежал, рапортуя, дежурный офицер и ничего об этом не сказал.

– Пусть поднимут, – коротко бросил адмирал и пошел к противоположному борту, откуда и раздавались пронзительные крики. Рыбак в выцветшей рубахе, с седой неопрятной бородой пал на колени перед королем.

– Он возвращается, ваша светлость! Он идет сюда!

– Кто? О чем бормочешь ты, глупый старик?

– Он плывет сюда! Он возвращается! – дико вращая глазами, прижимая руки к груди, повторял рыбак.

– Безмозглый болван, говори ясно! Иначе я выброшу тебя за борт!

Старик закрыл глаза, собираясь с силой, и, охватив голову руками, как бы защищаясь от удара, выдохнул:

– Караччиоло! Князь плывет сюда.

– Что? Что ты болтаешь, негодяй?! Какой Караччиоло? – Фердинанд с напряжением посмотрел вдаль, а затем на Нельсона. – Он говорит, что Караччиоло движется сюда.

Нельсон криво усмехнулся, взглянув на море. Оно было чистое, и лишь примерно на расстоянии полумили плавал какой-то шар.

– Вышвырнуть мерзавца! – спокойно сказал адмирал. – Он сумасшедший.

Но Фердинанд уже занервничал, руки у него беспокойно заходили по золоченым пуговицам, задержали ленты орде-нов.

– Успокойтесь! Там никого нету. – И адмирал поднес к глазам Фердинанда подзорную трубу.

Король вскрикнул и стал тихо оседать, крестясь и бледнея.

– Караччиоло! Он плывет сюда...

Нельсон, ничего не понимая, с некоторой тревогой стал шарить трубой по волнам. И о ужас! Когда набежавшая волна схлынула, он увидел Караччиоло, с его густой шапкой волос, который двигался стоя к кораблю. Горацио ничего не боялся в жизни, страха не ведал. Но, как любой моряк, был суеверен и дьявола старался не гневить.

Хриплым, сдавленным голосом обратился к посланнику Гамильтону:

– Уильям! Это он...

Фердинанд метнулся с палубы, оставляя мокрый след, но Гамильтон с невиданной для него проворностью, схватил короля за руку:

– Ваше величество! Стойте! Покойник осознал свою вину и не может уйти в тот мир, не попросив у вас прощения. Все

видели, как он повис на рее, а потом с ядром ушел на дно. Успокойтесь. Он мертв.

Нельсон выдохнул воздух, дивясь выдержке посланника. Да, черт возьми! Он же сам видел, как дернулись в агонии на рее ноги коммодора. Украдкой взглянул еще раз на море. Караччиоло двигался к кораблю. На этот раз Горацио проявил твердость и, посмотрев на сжавшегося короля, на распростершегося у его ног рыбака, приказал:

– Уберите эту рухлядь. Возьмите шлюпку и отвезите труп к берегу. Предайте земле. – Взглянув еще раз на Фердинанда, добавил: – Пусть отправят заупокойную службу.

Не глядя ни на кого, пошел, не оглядываясь, в каюту. С него довольно: королей и мертвецов.

ЗАГОВОР

Шелест слов доносился до Селезнева: «...днем... Генеральный совет... взрыв, люди... восстание... воззвание... свобода». Он старался не вслушиваться. Это была не его тайна. Милета доверяла ему безгранично, советовалась с ним, рассказывала о борьбе за места во вновь созданном Сенате и в делегации, посылаемой в Петербург и Константинополь. Нобили не хотели делить места с второклассными. Народ требовал опрокинуть дворянство. На острове кипели страсти. Все было наполнено духом изменений. Но Селезнев как-то отстранился от всего, твердо решил возвратиться на Родину. Он не знал, как его встретят там, что грозит ему. Единственно, что хотелось ему сейчас, – ступить на родную землю, погладить белую кору березки, услышать пенье птиц и слово встречного поселянина. А потом упасть в траву и долго слушать, что скажет ему родная земля.

Здесь, на островах, он познакомился с капитан-лейтенантом Тизенгаузенем, который пригласил его помочь составить кое-какие бумаги и помочь в переводах. Пришлось вспомнить давнее.

Сейчас же Селезнев не хотел уже чужих тайн. Он едет на родину. Его идеалы не изменились, но он не понимал, кто прав в этой группе второклассных. Они обвиняли нобилей и обвиняли друг друга в диктаторских замашках. Честнее и

порядочнее других ему казались Мартинигос и его верный друг Циндон.

Вот и сегодня, как и в предыдущие дни, они собрались здесь, у Милеты. Ее не было. Она уехала договариваться о ремонте дома. А Селезнев дремал в небольшом закутке, отведенном ему Рицосом. «Генеральный совет... взрыв... восстание...» – слова сверлили мозг, не давали уже больше заснуть. По напряжению, возникшему в комнате, по тяжелым паузам, какому-то таинственному чувству Селезнев понял: завтра должно что-то произойти. Он закрыл глаза, стараясь отвлечься, не слушать, не чувствовать их присутствия, а мозг кололи слова: «Генеральный совет... взрыв... восстание».

– Дочь моя! Ты вернулась! Я знал, я надеялся, я хотел, чтобы так было. Я молился! Я послал за тобой шхуну. Я знал, что наваждение пройдет. – Высокий седой граф Граденигос Сикурос ди Нартокис говорил дребезжащим голосом, потом зарыдал. Это не приличествовало его званию и воспитанию. Но граф не мог ничего с собой поделать.

Милета успокаивала его, а сама прикусывала губу, чтобы не расплакаться.

– Я знаю, – сказал он, вытирая слезы, – что с тобой приехал русский. Русские наши спасители и единоверцы, но, – граф вздохнул и посуровел лицом, – и среди них бывают всякие... Кто он? Какого звания? Рода?

– Успокойся, отец, успокойся. Он хороший человек и, на-

верное, скоро уедет домой.

– Я не знаю такого сословия: хорошие люди. – Он выпрямился, голос его окреп. – Есть аристократы, но есть и ильсекондоордино.¹⁰ И я не хотел бы знать никого из них. Мне сказали, что ты встречалась с Мартинигосом. С этим незаконнорожденным патрицианским выкидышем.

– Отец, перестань! Перестань, прошу тебя!

– Нет, дочь моя! Он смутьян. Он думает, что, если он имеет много денег, он может убрать от власти всех нобилей. Нет, мы ему не позволим это. Я завтра выступлю на Генеральном совете и потребую лишить его дворянства, которое он незаконно хочет получить.

– Отец, я прошу тебя! Я прошу тебя всем святым на свете, не ходи завтра на Генеральный совет. Не выступай там. Делай что хочешь, но не ходи завтра на Генеральный совет.

– Даже если меня попросит сам господь бог, я выступлю на Совете и буду защищать этот мир от якобинцев и богохульников

Милете стало плохо. После египетской жары и зноя ее часто стал охватывать озноб и жар. Она теряла сознание и становилась слабой и беспомощной.

Давно уже не было такого славного базара на острове. Да, пожалуй, с тех пор, как рухнула Венеция и как здесь высадились французы. Ныне же вся небольшая, мощенная мор-

¹⁰ Второй класс.

ской галькой площадь была заполнена до краев. Пришли почти все жители острова. Приехали с Корфу, Святой Мавры, Кефалонии. Перебрались на лодках и кораблях с побережья. Даже из Рагузы и Триеста было две шхуны. Высились красной толстощекой горой помидоры, фиолетовые бочки баклажан обещали непревзойденную по вкусу икру, лоснились в банках темные маслины, из деревянных бочонков переливалось золотистое оливковое масло. Овечья брынза так и укладывалась на лепешку подходившим к рядам горожанам и морякам. У больших бочек вина дяди Фоти толпились русские моряки. Фоти Куркчис бывал в Одессе, а в Николаеве имел даже свою лавку, но вот уже три года, как возвратился на остров, получив свою долю в наследстве отца.

Капитан-лейтенант Николай Александрович Тизенгаузен, присланный Ушаковым «правление учредить и открыть присутственные места» на Закинфе, был доволен. Сегодня в полдень открывался Генеральный совет, а с утра закипел этот большой базар, что означало: на острове устанавливаются согласие и покой. Он прошелся вдоль рядов, потрогал помидоры – спелые, постоял у прилавка с керамической посудой, где рядом с кувшинами и тарелками привлекло его внимание кораллово-красное блюдо с букетом цветов и парусными кораблями. Сопровождающий его граф Макрис пояснил, что то изделие старой школы, секреты которой мастера не выдают. Зазывали в матерчатый ряд, где висели циновки, подстилки из тряпочек, ковры всякие.

– Господин капитан, взгляните на сие чудо! – Макрис подтащил к небольшому коврику, на котором от центра летели птицы, тут же паслись овцы, вытягивали шеи петухи, бежали собаки. И все это переплеталось листьями и цветами, заполнялось кораблями и морскими волнами.

– На наших коврах нет свободного места. Мы, греки, привыкли жить в тесном мире

Да, Тизенгаузен чувствовал, как даже на небольшом, по российским представлениям, островке переплеталось много судеб и событий, и каждое движение неосторожно что-то колебало. В России соперники могли бы махнуть рукой и подались бы в разные стороны. Хочешь к Белому морю, хочешь к Черному, а то и на Тихий океан. А тут далеко не разъедешься – кругом один Венецианский залив.

Почувствовал же это Федор Федорович, написал письмо депутации Закинфа о необходимости примирения того же графа Макриса и графа Саломана. Ибо куда же им деваться друг от друга? Все рядом.

Поблагодарил сопровождавшего Макриса и отправился в резиденцию – так громко назывался небольшой домик бежавшего к французам художника.

К дяде Фоти подошли в обнимку побывавший в русском плену турецкий солдат и русский матрос, испробовавший девятихвостку на турецких галерах. Моряк бросил монету и поднял два пальца вверх. Турок оглянулся, нет ли собратьев, и махнул рукой:

– Давай, давай! По один! Еще! Еще!

Фоти налил по глиняной кружке и протянул вначале моряку, а потом солдату. Турок припал к кружке и выпил одним махом, стал обниматься и по-дурному хохотать, резво размахивая руками.

– Аферим? Аферим? По-вашему прекрасно! Вино – аферим! Закон пить хороший! Но другой закон дурной! Закон у вас одну жену иметь – плохо! Она старая, и ты старый! Другая молодая, и ты молодой! Аферим!

– Любить-то одну можно.

– Зачем одну? Всех любить, кого можешь.

– Ну его, нехрестя, не втолкуешь. На, выпей еще, я угощаю, – и Фоти протянул еще по кружке.

Рядом заиграла музыка. Старый цыган затянул какую-то печальную мелодию на скрипке. На стоящую бочку, испросив взглядом разрешения у Фоти, вскочила гибкая и стройная цыганка. Она ударила в бубен и замерла. Вся площадь обернулась, ожидая танца. Цыганка вострепелась, ее длинные волосы вылетели из-за спины и заструились по плечам, груди, обнаженному животу. Бубен взлетел над ее головой и застучал, запрыгал в руках, радуясь ритму и скорости. Мужчины потянулись к бочке.

– Кузум! Кузум! Барашек мой! – закричал турок и полез развязывать пояс. Греки стали бить в ладоши, кто-то закричал: «Зито!», как в атаке. Фоти не успевал наливать кружки.

И все-таки сегодня покупали мало, казалось, все чего-то

ждали. А чего? Все знали, что нынче будет первое заседание Генерального совета. Но даст ли это что-нибудь простым людям? Да и второклассных-то там не очень жаловали. Но они хоть пробились туда, некоторые получили дворянские звания. А они-то: кузнецы и сапожники, пахари и рыбаки, что они-то получают от этого Генерального совета? Ночью стучали в хижины, шепотом передавали тревожные слова: площадь, популярь, восстание! Многих это пугало, они крепко закрывали окна, гасили свет, прислушивались с опаской к уличному шуму. Другие не обращали внимания на причитания жен, засовывали за пояс кривой нож и шли на площадь. Третьи покачивали головами, крестились и шли вроде бы в церковь, которая была центром этой же площади.

Знающие слышали, что площадь не шумела обычным базарным шумом, не препиралась беззаботно в торговых сделках, не судачила об удачных покупках. Она была наполнена сдержанным гулом предштормового моря, которое вот-вот сдернет с себя покрывало спокойствия и обнажит грознодвигающиеся волны.

Часы на городской башне пробили полдень.

– Отдохни, дочка, – бережно ссадил с бочки цыганку мощный Циндон. Он еще ничего не сказал, а площадь замерла, все повернулись к нему.

– Закинфяне! Братья во Христе! Не пора ли нам распорядиться своей судьбой? Хватит повелевать нами. Бог сам считает, что все люди равны. Поделим же власть поровну,

возьмем принадлежащее нам добро.

Площадь как бы сужалась, стягивалась поближе к Циндону.

– Сейчас произойдет взрыв, и весь Генеральный совет полетит к чертовой матери. К оружию, братья! Сейчас будет взрыв.

Площадь с правой стороны, где находилось здание городской управы, оголилась. Люди отхлынули оттуда. Прошла минута, вторая. Из-за здания показался отряд городской охраны. Кто-то крикнул Циндону: «Где же твой взрыв?» Он немного потерял в своей уверенности, но снова обратился к площади:

– Закинфяне! Взрыв все равно будет! Вперед на ратушу! Уничтожим этих грабителей!

Из-за угла показался отряд русских и турецких моряков. Они развернулись и стали у дверей и входа. Городские охранники, расчищая дорогу прикладами ружей, отодвигая людей штыками, шли к Циндону.

– Закинфяне! К восстанию! Спасайте свою жизнь! Перестаньте бояться! Вы не рабы!

Охранники стянули его с бочек. Толпа молчала.

Тизенгаузен нервно постукивал пальцем. Он чувствовал, что то, о чем говорит ему этот красивый грек, очень важно. Чувствовал, но не все понимал. Грек путал русские слова с греческими, итальянскими. «Генеральный совет, взрыв, вос-

стание» – эти слова повторялись в его речи.

– Позови русского переводчика Селезнева, он тут недалеко живет, – наконец не выдержал он и крикнул дежурному.

...Капитан-лейтенант человек бывалый. Участвовал в морских сражениях со шведами на Балтийском море, плавал на Черном. Федор Федорович полюбил этого честного и инициативного офицера, поручал самые сложные дела. То направлял его в Константинополь к Томаре, то посылал на острова, чтобы утихомирить страсти. Вот и здесь, на Закинфе, он не раз уже успокаивал нобилей и второклассных. Он слегка ограничил этих венецианских аристократов, установил дружеские отношения с второклассными.

И с этим Мартинигосом подружился. «Сделай так, чтобы мятежей более не было. С обывателями старайся быть ласковее и не входи в дела, которые до нас касаться не будут», – говорил ему перед поездкой на острова Ушаков. «А тут, кажется, все дела нас касаются», – подумал капитан-лейтенант.

Дверь распахнулась. Вошел Селезнев. Грек замолчал.

– Ну что ты замолчал? Скажи по-французски, он переведет.

Селезнев тоже в нерешительности остановился. Не сел, хотя капитан-лейтенант указал ему на стул. Мартинигос встал, взялся за лоб, потом опустился на стул и, махнув рукой, сказал:

– Передайте господину Тизенгаузену, что сегодня в полдень в помещении ратуши произойдет взрыв и начнется вос-

стание против нобилей.

Селезнев не перевел и коротко спросил Мартинигоса:

– Зачем вы это делаете?

Тот, не отрывая ладоней ото лба, тихо прошептал:

– Там же отец ее. Он погибнет.

Тизенгаузен нахмурился. Почувствовал опасность:

– О чем говорите? Переводите скорее.

Селезнев медленно, боясь неосторожных слов, сказал:

– Сегодня в ратуше будет взрыв. Начнется мятеж.

Капитан-лейтенант встал, достал часы и отрывисто спросил:

– Когда? Кто зачинщик?

Мартинигос понял и ответил сам по-русски:

– Двенадцать час. Все на площади.

Тизенгаузен отодвинул стул, вышел к дверям и крикнул дежурному офицеру:

– Всю команду срочно к ратуше. Передайте местным властям, пусть арестуют заговорщиков. В конце концов должен быть порядок на этих островах.

Затем он возвратился и положил руку на плечо Мартинигоса:

– Вы будете дворянином, сударь.

Селезнев обошел замершего Мартинигоса и толкнул дверь.

ОРЛЫ ВНИЗУ

Поход Суворова «...самый выдающийся из всех совершенных до того времени альпийских походов».

Ф. Энгельс



Конь под старым фельдмаршалом осторожно перебирал ногами, копытом пробовал каждый камешек, казалось, все понимал: одно неверное движение – и рухнет вместе с всадником в темный провал ущелья, заколотится каменным по-

током, превратится в прах, уносимый горной рекой. Всадник держал поводья твердой рукой, а ногами не давил, давал волю. Знал: в минуту опасности и человеку и коню надо дать свободу, и тогда невесть откуда появляется сверхчувство, удваивается умение, крепнут ноги и мышцы, зорче становится глаз. Человек, солдат должен еще знать, для чего живет, за что сражается, что получит после победы. Яростно сражались его богатыри в турецкие кампании – земли своих соотчичей освобождали. И тут славно, славно дерутся против краманьольцев. Ему верят. А он, да и другие видят, как обманывают, финтят, хитрят австрийцы и англичане. Как не исполняют его приказы. А ведь упрасивали и по повелению двух императоров и английских правителей назначили главнокомандующим всей союзной армии... Австрийцев, их придворный военный совет – Гофкригсрат, приходилось зачислять чуть ли не в противники при составлении планов, да так, чтобы не узнали о его замыслах раньше времени, не успевали высочайшим повелением остановить. Солдаты-то австрийские сражались неплохо, а генералы все исполняли неохотно, норовили ускользнуть от его приказаний да на Вену оглядывались. Да как не оглядываться? Франц-император уже после блестящей победы под Нови отменил наступление на Геную. Бойтся тут его, Суворова, в Средиземном море – Ушакова. Рассердился, отписал Ростопчину: «Все мне не мило. Присылаемые ежеминутно из Гофкригсрата повеления ослабевают мое здоровье, и я здесь не могу продолжить

службу. Хотят операциями править за 1000 верст; не знают, что всякая минута на месте заставляет оные переменять... После Генуэзской операции буду просить об отзыве формально и уеду отсюда». Да не пришлось ни на Геную наступать, ни в Петербург уехать, австрийцы новый план предложили: всю армию русскую в Швейцарию передвинуть. Войска под командованием эрцгерцога Карла увести на Средний Рейн. 23 августа из письма эрцгерцога понял: тот уходит, не ожидая его. Корпус Римского-Корсакова сразу оказался беззащитным перед лицом разросшейся армии генерала Массены. Со злостью отписал Павлу: «В течение нынешней кампании венский кабинет, забыв всю цену великодушных видов... обнаруживает на каждом шаге корыстолюбивые свои предположения к обширным завоеваниям... Равномерно делал он мне строжайшие выговоры за то, якобы я вмешивался в политические дела... Теперь император Римский требует настоятельно и усиленно неукоснительного перенесения оружия в Швейцарию, где недеятельность и слабосилие эрцгерцога Карла утратили блистательную кампанию... Решился я предпринять с помощью божией сей многотрудный в Швейцарию поход».

Принял тогда решение стремительным маршем пересечь Швейцарию, спасти от неминуемого поражения малочисленный корпус русских и оставшихся там австрийцев. Отвел на сборы несколько дней, и запылили дорогами солдаты. Правда, на следующий день пришлось вернуться: ожил со сво-

ей армией недобитый Моро. Двинул от Генуи войска, чтобы снять осаду с крепости Тортоны. Не дал тогда даже зародиться надежде у осажденных – молниеносно возвратился, а Моро столь же молниеносно отступил в Ривьеру. Уроки Нови не прошли даром. Тортона сдалась. Но три дня были потеряны. А вслед за этим обман в предальпийской Таверне. Колеса широкоосных повозок в горах уже были бесполезны, снаряжение, продукты, патроны надо было переложить на выучный обоз, загрузив в кули и мешки. Австрийские интенданты таращили глаза и утверждали, что им никаких указаний из Вены о снабжении русских войск не поступало. Ни мулов, способных пройти по крутым горным дорогам, ни продовольствия на складах не оказалось. И лишь десятого сентября лентой потянулись русские войска в альпийские ущелья. Фельдмаршал не имел своей разведки, данные о противнике, о состоянии дел ему доставляли австрийцы. Он уже привык к их небрежности или даже обману, но тут, в Швейцарии, вероломство превзошло все пределы. В плане, который был разослан генералам для согласования, ни один из них не исправил топографическую ошибку на карте, где путь от Альдорфа до Швица он предложил преодолеть в течение одного дня, да еще добавить двадцать пять верст к шагу. Сейчас он думал: ведь не мог же генерал Готце, сам бывший уроженец Швейцарии, не знать, что никакой дороги между Альдорфом и Швицем нет. Есть только небольшая тропа, по которой невозможно провести армию в двадцать

тысяч человек ни в один, ни в два дня. Фельдмаршал привык к козням русского царского двора, видел всяких завистников, коварство брал в войне в расчет, но тут был потрясен и угнетен. Как можно? Для чего сие злонамерение? Неужели из-за зависти можно на смерть обречь, да не врага, а союзника? Или столь дикое небрежение? Или страх перед победами Суворова?

Он страдал, а его солдаты, смягчая боль, рвались вперед, как будто всю жизнь воевали в горах. Курские, смоленские, моголевские, черниговские мужички с ружьями карабкались по склонам, обходили горы с тыла, спускались на веревках и ремнях в пропасти. Особенно отличались умельцы Багратиона. Им, казалось, не было преград. Взят совершенно неприступный Сен-Готардский перевал, не хочется вспоминать, как штурмовали Чертов мост. По нему-то и в спокойный день не всякий решится пройти. Опустить глаза, и голова кругом идет. Клопочет внизу водопад, и медленно парят под забравшимися на вершины солдатами орлы. Это он тогда видел впервые: орлы внизу, под людьми.

И сейчас его богатыри здесь, у перевала Паникс, над орлами.

... Можно, конечно, все прошедшее вспоминать, как ужасный сон, как дьявольское наваждение, ждать расплаты над отступниками, послать проклятия, но сможешь ли этим солдатам? Нет, стонать и даже молиться, хотя фельдмаршал не пропускал этого ритуала, было бесполезно.

Тогда, после штурма Сен-Готарда и после Чертова моста, почти всем казалось, что корпус Корсакова и зеленые мирные долины заальпийские рядом. Но он почувствовал, что под сердце подвалился камень, черной птицей пролетела тревога, еще раз, еще. Решил держаться ближе к солдатам, появлялся то тут, то там: на коне и пешком, у костра и в строю. Отдавал указания офицерам и подбадривал раненых, хлебал похлебку и первым бросался в атаку с солдатами. Думал, беда отступит, не выдержит его напора, его энергии, его страсти. Он вдохнет в солдат силу, и они сокрушат любое чудовище, любую беду. Черное крыло злой судьбы не коснулось его солдат, но не мог же он быть там, за сотню верст, где 14 и 15 сентября рухнули весь центр и правое крыло союзников, где Массена разгромил и Корсакова и Готце. Ошибка австрийского генерала стоила ему жизни. В два дня обстановка переменилась полностью. В глазах французских командующих Суворов превратился из грозного вездесущего полководца в бессильного, немощного старикашку, попавшего в мышеловку. По всем правилам военного искусства надо было склонять знамена. Пускай не перед военным гением, но перед обстоятельствами. А обстоятельства для русской армии были безвыходными. Спустившись в Муттенскую долину, суворовская армия оказалась в западне. У Швица и Цюриха стояла мощная, вкусившая наконец сладость победы армия Массены, на северо-востоке железной пробкой отборных войск закрыл Клентальскую долину

генерал Молитор. Назад повернуть уже было невозможно – Сен-Готард снова занял Лекурб, этот главный французский специалист по горным войнам. Плохо.

Да он вдруг и сам занемог. Правда, почему вдруг, ведь почти семьдесят уже... Ох-охо, в шубу бы завернуться да греться на солнышке. Потянуло сырым, мокрым, на вершины пал снег... А в России бабье лето, паутинки летят... Чихнул, вытер испарину... Что-то чиркнуло по глазам, он вздрогнул, понял: болеть нельзя, лягут в чужую землю солдаты, развеется слава, пожмут плечами недруги: что ждать от старого? А пуще – российские знамена под ноги падут...

Решил собрать Военный совет... В тот день заморосило. Вроде и не было дождя, но на ресницах, на лицах замело, сыро стало под рубахами. Неприятно.

Командиры заходили в дом, отряхивались, оглядывались и садились на свободные кресла, стулья и длинную резную скамью. Тихо переговаривались А он молчал, сидел за столом, обернулся шерстяной накидкой – знобило. Понимал, что выглядит не внушительно, но об этом никогда не заботился. Зашел щеголеватый и резкий Милорадович. Аккуратно вдвинулся в двери генерал от инфантерии Розенберг. Запыхтел и плюхнулся в кресло второй командир корпуса Вилим Христофорович Дерфельден. В годах, в годах. Тяжко ему по горам таскаться! Вытираясь и чертыхаясь, плотно уселся боевитый князь Горчаков. Слегка прищелкнул каблуками и вежливо поклонился Багратион. Каков молодец! И

виду не показывает, что раны болят. В углу у маленького стола с картами сгрудились адъютанты: Румянцев, Ставраков, Розен, Горчаков и Аркаша – сынок. Покряхтывая, покашливая, крестясь, ввалились казачьи командиры Денисов, Астаков, Бородин. Подошли и другие, сели, сгрудились, ожидали.

А он молчал, глядел сквозь ресницы. Умел бы плакать, глядел бы на своих верных соратников, друзей верных своих, сквозь слезы. Слезы восторга и восхищения. Слезы благодарности за веру в него, за веру в победу. Но глаза были сухи. Знал, что скажет им ужасное, потрясет, может, и подорвет веру в его удачливость. Но скажет. Обязан сказать. Ибо решение, которое принимает, опасно, а может быть, и смертельно. Все бывает на войне, но в такой ситуации оказался впервые. Ситуация безвыходная. Без выхода. Что делать? Он никогда ведь не сдавался на милость врага. Смерть? Смерть героическая? Нет, и это не выход. Нет. Надо с ними. Надо с солдатами искать выход. Рваться вперед. Нет, рваться назад. Из кольца, из удавки. Вспомнил рослого семеновского гвардейца, что учил его в юности: «Никогда не сдавайся. Ударили в физиономию – упал. Вставай. Снова бьют. Еще раз вставай! Бьют еще, снова вставай. Бей сам в морду и иди вперед».

Да, бить будем! Где же Шейковский? Встал, сбросил платок. Оперся руками о стол, склонил голову набок. Замолчали все. Тихо.

– Господа командиры! Волей судьбы военной вы здесь, в центре Европы. Воины наши одержали победы блистатель-

ные, храбрость проявлена невиданная. И я вас, мужей доблестных и смелых, сердечно благодарю и низко кланяюсь!

Вышел из-за стола, встал на колени и поклонился. Возвратился, взялся рукой за горло, прокашлялся и каким-то тусклым старческим голосом продолжал:

– Не все знают, что неприятель учинил разгром корпуса Корсакова и генерала Готце. Туда, куда стремились, там поле поражения, разбегающиеся остатки союзных войск. У нас пехота боса, нага, патронов нет. Хлеб и сухари кончились. Мы в окружении жестокого и превосходящего нас силами врага, круч и бездн, сих отверстых гробов смерти. Впереди неприятель, позади ледяные хребеты, перевал Паникс... По военному искусству сдаваться надо или вопреки, презрев все правила, прорваться сквозь горы, по пастушьим тропам, штурмовать льды и небеса. Я такое решение принял. Скажите ваше слово!

Сел, охватил голову руками. Слушал.

– Как же сие вероломство допустили австрийцы?.. – *Розенберг – всё честности и правил ждёт от союзников...*

– Вперед надо броситься, знамена развернуть и погибнуть со славой... – *Милорадович – горяч, молод, смел.*

– Пока голова колонны подыметя, мы рейды сделаем, запутаем французов. Они, что к чему: думать будут, а мы уже за перевалом. А там и черт не страшен... – *Казачьи командиры бесстрашны, находчивы.*

– Пушки отстреляв, заклепать надо. Туда не дотащить, а

оставлять преступно... – *Знает свое дело начальник артиллерии.*

– Не можем не прорваться с нашим славным Александром Васильевичем! Солдаты только и спрашивают: а он с нами?.. – *Добр, добр, Мансуров. Татарин, но во славу России сражается отменно.*

– Будем сражаться стойко, врагу не поддадимся. По плану вашего сиятельства все сделаем. Прорвемся. – *...Важно, важно, что сие сказал Дерфельден, командир основного корпуса...*

Всех выслушал. Закончил совет просто, сурово и честно. Голос снова, как при Кинбурне, Измаиле, был тверд и колюч!

– Помощи нам ждать не от кого... Мы на краю гибели... Теперь одна остается надежда... На храбрость и самоотверженность войск! Мы русские, с нами бог!

Уже после совета подошел Багратион и, с восторгом глядя на него, сказал: «Ваше сиятельство, после ваших слов у меня происходило необычное, отроду не бывавшее волнение в крови, меня трясла от темени до ног какая-то могучая сила, я был в каком-то незнакомом мне положении, в состоянии восторженном... Мы выходим с восторженным чувством, с самоотвержением, с силой воли духа: победить или умереть, но умереть со славой – закрыть знамена наших полков телами нашими». Обнял его тогда – этот смерти не уступит, его французы не одолеют.

Еще два дня назад ему самому можно было вырваться в

Вену, хотя бы для того, чтобы бросить там в лицо невеждам из Гофкригсрата обвинение в нечестности и коварстве и оправдать это досадное окружение, показать невиновность его войска. Но ему и в голову не приходило столь «благородно» устранился от, казалось, уже проигранных сражений. Он верил только себе, только в своих чудо-богатырях видел спасение и высшую силу. Ему слава не нужна – получил все в жизни. А сейчас надо спасать их – этих оборванных, заросших, с перевязанными сапогами солдат. Спасать их – значит брать на себя всю тягчайшую ответственность, собрать в кулак всю волю, не дать никому расслабиться, дрогнуть. Спасать их – это отдать им всю свою силу, всю страсть. И тогда они спасут всех, тогда они победят...

...Конь переступил еще раз и сделал-таки неосторожный шаг. Посыпался щебень, зашуршали камушки, колыхнулся в седле всадник.

– Тихо, тихо, – раздался сдержанный голос вставшего на самом краю пропасти пешего казака. – Не балуй, сделай один ход назад.

Конь радостно всхрапнул и отступил.

– Вы, батюшка, не сердайте... пристала она.

– Да что ты, голубчик. Вишь и спас лошадку. Знаешь ее?

– Моя была, в Таверне спешился. Шел в строю, а ей почастливило! С самим Суворовым едет.

Фельдмаршал вспомнил, что этого спокойного коня ему привели после Чертова моста, его конь захромал.

– Да, разумная лошадь, копытом чувствует. А ты, братец, постой с ней. Все спокойнее – хозяин рядом. А я посмотрю, как идут...

Казак с благодарностью кивнул, а он спешился, прошел чуть вперед на небольшую площадку и обернулся. Внизу из зеленых садов долины Зернфа торопливым шагом шли пешотинцы Розенберга, еще дальше у изгиба реки вспыхивали огоньки, оттуда доносилось неторопливое незлобное громыхание. А между тем то был жестокий смертельный бой арьергарда с наседавшим Молитором. У седловины перевала Паникс, наполовину засыпанного снегом, показались крохотные фигурки. Постояли, подняли ружья. Постояли, еще раз подняли. Выстрелов не было слышно, но красненькие вспышки означали: перевал свободен, можно идти дальше.

Подбежал офицер связи, задыхаясь и хватая воздух ртом, закричал:

– Ваше сиятельство, дорога узкая, повозки и оставшаяся пушка не проходят. Что делать?

– Жгите! Жгите, а что не горит – с гор в реки! Да я ведь говорил уже. И пушку туда же! Солдатиков пусть берегут, а за бочки и мешки спрашивать не буду.

Офицер обернулся, огляделся и что-то вполголоса сказал. Шедшие рядом солдаты вздрогнули от резкого фальцета:

– Передай ему, что он не русский офицер, а басурман и дурак! Не трогать пленных и пальцем! Пусть с нами идут через перевал.

Тысяча четыреста пленных французов остались живыми. Когда офицер трусцой бежал вниз, бросил ему вдогонку:

– Волос чтобы не упал! Волос!

Когда он поднялся вверх на перевал, внизу было совсем темно, а здесь скользил по алому снегу последний луч уходящего солнца.

Солдаты дышали тяжело, держались за грудь и тихо исчезали за хребтом. Решил подбодрить:

– Ну что, братцы, надули французов!

Солдаты заулыбались, подтянули ремни, поправили рубья.

– Надули, батюшка. Они там внизу остались и по долине не хотели даже бежать, а здесь-то в горах и совсем пригорюнились. А нам-то что, мы уже привышные!

– А откуда ты, молодец? А ты, богатырь?

– Да мы рязанские.

– А я из Малороссии!

– А я новгородский!

– Добрые воины, добрые! Смотрите под ноги, не падайте!

Тут не на плацу, не на лошадке.

– Да мы, Александр Васильевич, на заднице, еще быстрее!

Она, чай, не обидится!

– С богом! С богом! – пропускал он вниз, в зеленую долину, где был хлеб, было вино, было тепло и неопасно, где была жизнь и спасение для всех оставшихся в живых.

Слезы застилали глаза. На горных дорогах, под камнями

и в песке рек, на дне пропастей и на острых вершинах лежали русские солдаты, навечно заснувшие в холодной и неудобной Швейцарии. Они начинали с ним этот победоносный и печальный поход. Да и он чувствовал, что это его последний поход. И его, как и все свои шестьдесят сражений и боев, он не проиграл. И в нем он отслужил, как всегда, честно государю и отечеству, и в нем он прошел свою последнюю ратную дорогу рядом с солдатами, которых не предал и не оставил и которые верили ему и были бесстрашны, как львы. Слава им! Слава воинам российским!

ПОВОРОТ

Генерал-прокурор Александр Андреевич Беклешов давал званый обед. Должен был быть император. Приглашались многие знатные, даже бывшие в опале галломаны. Особенно удивились иностранные посланники. Такое в Петербурге последнее время было редко. Почти все иностранные дипломаты за последние годы сменились здесь, в северной Пальмире. Еще десять лет назад было здесь вольготно, хлебосольно и весело. Ныне все это казалось далеким миражем, находилось под запретом, было дорого и скучно. Слухи, которые им надо было вводить в депеши как достоверные сведения, стали противоречивы и почти никогда не подтверждались. Инструкций на все повороты павловской политики у дипломатов не было, да и какие инструкции, когда рушились границы, державы и короны. Хитрый, изворотливый и мудрый канцлер Безбородко скончался. Вместе с ним ушла в прошлое и стабильность. Что предпримет неуравновешенный российский император, никому было не ясно.

Новый исполнитель зарубежной политики России, «неглуемый выскочка», как его называли, граф Ростопчин был обозначен как «первоприсутствующий в коллегии иностранных дел», то есть первый русский министр иностранных дел. Козырей Ростопчин не раскрывал. Да и имел ли их на руках? Его заместитель граф Никита Иванович Панин –

вице-канцлер – был человек тоже неглупый и даже умный, что осложняло его деятельность при дворе, ибо известно было, что он сведущ в делах человеческого сердца и большого света. Император имел дело только с Ростопчиным. Посланники – только с вице-канцлером, который передавал все «первоприсутствующему». Тот же имел пристрастия и передавал государю лишь то, что было ему угодно. От императора же передавал лишь то, что ему нравилось. Попасть к государю и министру было невозможно, а вице-канцлер принимал только в редкие приемные часы. События неслись с невиданной быстротой, сведения о них, не достигнув приемной министра, оседали в пакетах и депешах, устаревали и часто были уже ненужные и бесполезные.

Ростопчин устраивал скандалы Панину, тот его обид не принимал. Но не принимал и посланников. Не приглашали тех и в свет, приемов и обедов не устраивали, а где, как не там, услышишь новости. И вот сегодня нежданный обед. Да еще с таким количеством вельмож и знатных особ. Пришел даже сам царский брадобрей, то бишь егермейстер, и кавалер ордена Александра Невского Кутайсов. А как не прийти, если по всей столице гуляла фраза, сказанная императором при назначении Александра Андреевича в должность. Тогда, говорят, он подошел к Беклешову, взял его за фалды сюртука, подтянул к себе поближе и, глядя холодной серостью глаз вовнутрь, спросил: «Знал ли ты прежних генерал-прокуроров?» Беклешов неопределенно то ли покивал, то ли пока-

чал головой. «Какой был генерал-прокурор Куракин? Какой Лопухин?» Беклешов оледенело молчал. «Ты да я. Я да ты впредь мы одни дела будем делать». И оттолкнул, любясь произведенным эффектом.

Попробуй не приди на обед к такому, может, и впрямь все дела с самим Павлом делает.

...Иностранцы стояли кучками, выпытывая друг у друга новости, ожидая, когда появится Павел, чтобы затем свободно рассыпаться между приглашенными. Австрийский посланник и англичанин чувствовали какую-то холодность, никто к ним не бросился, не провел, не заговорил. Даже мальтийцы, что ныне вышли из доверия, не развернулись в своих плащах к дипломатам могущественных держав.

– Не кажется ли вам, что император Павел охладевает к нашей коалиции? – неуверенно справился австрийский посланник у английского.

Английский посланник это уже чувствовал, а недавно узнал, что Павел повел тайные переговоры с первым консулом Французской республики Наполеоном Бонапартом. Но он и виду не подал, что осведомлен о чем-то таком, что тревожило австрийцев. Их судьба была ему глубоко безразлична. Ответил туманно:

– Ветры часто меняют направление в морях, но корабль надо довести до гавани.

– Вот именно. Но до какой и куда поворачивает свой штурвал русский император?

Единственный, кто осмелился подойти и заговорить с ними, был известный весельчак, острослов и задира церемониймейстер граф Федор Головкин. Посланники впились в него, пытаясь узнать, что происходит в столице, во дворе, в царской семье, куда делся Панин, кто поднялся по лестнице милости, кто пал?

– Господа! Откуда мне это знать! Всемилостивый император запретил мне в его царствование заниматься островами, и я страдаю несварением желудка. А кто повышается, тот обязательно понизится. Как славно я начинал посланником при неаполитанском дворе, а потом оказался под арестом в крепости Пернов. Воцарение Павла вознесло меня ко двору, но чувствую, что начинаю скользить снова вниз.

Посланники, не зная, шутит ли по своей постоянной привычке Головкин или дает какие-то сведения, пытались еще раз узнать о Панине. Головкин отделался анекдотом.

– Вы знаете, что престарелая графиня Панина всегда говорила, что она знает только одну молитву: «Господи! Отними все у всех и дай все моим сыновьям». Может, он поехал получать очередную долю отнятого у всех?

Объявили о прибытии великого князя Александра. Тот зашел мягко, кокетливо повел головой и горделиво приосанился, вспомнив о царственных кровях. Посланники думали о своем.

– Скрытен! – бросил австриец, взглядываясь в черты лица Александра.

– Скорее боязлив, – ответил англичанин, подтянув лорнет к глазам. – Он недостаточно слушает голос разума и, несмотря на свое образование, будет добычей своих придворных и слуг.

Головкин тоже не пощадил члена царской семьи:

– Он не столько любит людей, как старается, чтобы они любили его. И он не столько будет награждать за заслуги, как осыпать милостями.

Павел вошел стремительно, почти вбежал. Глянул, не видя никого, и, не останавливаясь, сбросил плащ. Ныне он был не мальтийский, а какого-то прусского военного покроя. Бросившийся, чтобы подхватить его, Беклешов не успел. Плащ темным пятном разлился вокруг ног императора. Все смиренно склонились, стало тихо, но не торжественно. Щека у Павла дернулась, он с сожалением посмотрел на склонившихся и уже медленно, походкой уставшего человека пошел по лестнице. На средней площадке он остановился и тяжело задышал. Беклешов с беспокойством взглянул на императора: «Не крута ли лестница?» Но императора взволновал не этот подъем. Он увидел перед собой Головкина. Прямолинейная и негибкая его натура не терпела язвительности и шуток. Он не любил излишней тонкости и остроумия, приводившего в восторг окружающих. Он, только он сам мог вызывать восторг, смех и поклонение. Но главное – этот шут позволил недавно себе колкости по поводу тайных знаков внимания и дружелюбия, высказанных им первому консу-

лу Франции. А его шуточки быстро разносятся по столице. Ноздри императора раздулись, он, пытаясь сдерживать себя, иронически учтиво произнес:

– Не правда ли, граф, что очень пикантно и неприятно, когда вместо ожидаемого удовольствия получается отказ, который вы не простили бы человеку, наносящему вам оскорбление вместо милости, о которой вы его просили бы?

Головкин побледнел и, не все понимая, тихо ответил:

– Конечно, это так, как ваше величество изволит сказать, но я не совсем понимаю.

– Я хочу этим сказать, граф, – менее слащаво, но еще более гневно продолжал Павел, – что, если бы я вас попросил сделать мне удовольствие и поужинать со мною, вы бы, наверное, мне в этом отказали. Я должен уберечься от такой просьбы, а впрочем, я знаю, что есть лица более счастливые, чем я, которые обыкновенно имеют счастье пользоваться вашим присутствием, и было бы несправедливо лишать их доли вашего общества.

Император склонил голову в сторону графа, тот учтиво ответил глубоким поклоном. Стоявший невдалеке турецкий посланник заулыбался: как хорошо беседует великий правитель Севера с подданным. У подданного мороз прошел по спине. Три поклона должен был отвесить он по придворному этикету, отступая от царствующей особы спиной к дверям...

– Я приказал не пускать его больше во дворец и следующий раз, если встречу его у вас, то прикажу выбросить в

окно. Он очень много себе позволяет. – Император гневно обернулся еще раз, но Головкин был уже на улице, его знобило, он чувствовал себя как потрепанная синица, вырвавшаяся из когтей коршуна.

Английский и австрийский посланники, сделавшие полшага вперед, чтобы быть замеченными, не удостоились и взгляда императора и тоже чувствовали себя неудобно. Да и все другие гости присмирели, не знали, что им делать, ибо хозяин последовал вслед за Павлом во внутренние покои.

Павел прошел в кабинет хозяина. Уже несколько месяцев он ходил в мучительных раздумьях. Его мессианская мечта о походе всех королей и императора Европы против республиканской Франции рухнула. Он как-то внезапно понял, что его обманули. Видел опасность в революционной заразе. Ей хотел противопоставить нравственность империй. Разнонациональному потоку нищего человеческого мусора, стекавшемуся в Париж, решил поставить преграду из армий союзных императоров. Тогда, уступая австрийской мольбе, наступил себе на горло, пригласив Суворова стать главнокомандующим. Но императоры оказались жадны, суетливы и завистливы. Австрия боялась Пруссии больше, чем Франции. Своему республиканскому врагу с обреченностью отдавала все, как бы говоря: грабь империю сколько хочешь, но ничего – Пруссии. Английская корона только и заботилась, чтобы подобрать острова и колонии, упавшие с воза бывшего французского короля. «Россия предлагает, – говорил он два года

назад, – равновесие, законный порядок, открытые и всеобщие соглашения, а не сепаратные миры и секретные конвенции. Необходимо соединить слабые государства и народности для обороны от захвата и насилия». Ему казалось, что в Европе все дворы внимали ему с благодарностью.

– Мы оттесним Францию в ее пределы. Там найдутся умеренные силы, и мы найдем с ними общий язык, – часто повторял он.

Все вышло не так. Австрийцы, в тупоумии своем, боялись Суворова и его блистательных войск. Подводили, не выполняли соглашений, лишали войска провианта и лошадей. Трусили до подлости и были подлы в своей трусости, в желании не прозевать кусок. Положиться на них было нельзя ни в чем. Англия победы Суворова приветствовала шумно. На торжественных обедах за него пили вслед за тостом королю. Хохолок Суворова стал самой модной прической, котлета по-суворовски считалась самой питательной и необходимой для мужчины, а эмалевый портретик боевого и задиристого фельдмаршала разместился у многих английских красавиц на груди. Но это общество. А армии русские оставила без боеприпасов, на Мальту, его, Великого магистра ордена, никто не собирался приглашать. Это ли не подлость! Он дал команду отозвать войска Суворова и эскадру Ушакова. Иллюзии рухнули. Ростопчин с горечью и несомненной правотой написал ему: «Франция, Англия и Пруссия кончают войну со значительными выгодами. Россия же останется ни при

чем, потеряв 23 тысячи человек, единственно для того, чтобы уверить себя в вероломстве Питта и Тугута, а Европу в бессмертии Суворова».

Павел ходил по кабинету Беклешова, останавливался перед столом, передвигал стоящие на нем чернила, трогал ручку декоративного штурвала, прикрепленного к одному из книжных шкафов. Беклешов молча и внимательно глядел. Императору нравился генерал-прокурор, потому что молчал, не мешал думать, не раздражал ни наглостью, ни излишней угодливостью – смеялся, когда можно было смеяться, и молчал, когда его не просили говорить.

– По-моему, это мерзавец Головкин рассказывал о Ньюtone? Великий ученый муж отправился на прогулку, а пастух отсоветовал забираться ему далеко, ибо, считал он, ожидается непогода. Ньютон посмеялся над стариком и отправился в дальнюю прогулку, ибо погода была прекрасная. Полчаса спустя небо вдруг покрылось тучами, и разразился ливень. Все побежали в укрытия, но Ньютон кинулся искать пастуха. «По каким признакам ты предсказал дурную погоду?» – был его вопрос старику. «Ах, барин, это совсем нетрудно. Когда предстоит перемена к худшему, мои коровы не перестают тереться задом о дерево». Ньютон, немного изумленный, вернулся домой и сказал: «Стоит ли в течение пятидесяти лет заниматься изучением неба, чтобы в конце концов найти настоящий барометр в таком месте!»

Беклешов залиvisto расхохотался, Павел сокрушенно

развел руками:

– Так и я, искал союзы для России не в том месте. – Прошелся, остановился перед Беклешовым, положил руку на плечо и смотрел уже не леденящим, а каким-то вопрошающим взглядом. – Одна выгода нам – это разрыв почти всех союзов России с другими землями, ибо Россия не должна иметь с прочими державами иных связей, кроме торговых.

Беклешов понял, что мучит императора, и тихо спросил:

– А что Франция?

Павел ждал этого вопроса, задавал себе не раз и поэтому моментально ответил:

– Она нынче другая. Это не та разнузданная и безбожная страна, что уничтожала королей. Переворот, что привел консулов к власти, там многое изменил. Мне сообщает Шперенгтпортен, что первый консул не противник королей и корон, он обещает удовлетворить моих сардинских, неаполитанских, баварских союзников. Он готов отдать Мальту снова рыцарям. Меня, как Великого магистра, это удовлетворяет. Знаете, что он сказал? – Павел меланхолично прокручивал в правую сторону штурвал, обдумывая фразу первого консула. Беклешов внимал. – Он сказал, что Россия и Франция самой географией предназначены жить в дружбе и держать в узде остальную Европу! Однако ему не откажешь в решительности выражений. Ну что скажешь, Александр Андреевич?

Беклешов умеренно поклонился, давая понять, что импе-

ратор все сказал.

– Тогда давай будем обедать!

И император резко стукнул по штурвалу, спицы которого завертелись в другую сторону.

В ЧУЖОМ ПИРУ...

23 апреля 1799 г.

Дорогой и уважаемый мной папенька, любимая маменька!

Вот и сделались в обстоятельствах моих перемены. Наш корабль имеет адмиральский ордер на крейсирование и охранную службу в Венецианском заливе. Сопровождаем мы в Триест-город попавших откуда-то к нам французских принцесс, а там, может, примем русские батальоны для штурма Мальты. Уж больно долго англичаны там толкуются, да и их адмирал Нельсон о помощи просит.

На Корфу вели конопатную и плотничную работу и стояли два месяца, ибо всю верхнюю обшивку черви съели. По вечерам гуляли на площади Спянада и улице Кале д'Аква. Гречанки женщины скромные, глаза опускают, но, когда надо, все видят. На Корфу и в Триесте моряки наши и солдаты ведут себя достойно. Сие заслуга адмирала Федора Федоровича Ушакова, коего моряки наши любят. Воистину наш моряк, наш русский матрос знает цену добрым начальникам. И за их попечение и внимание он им благодарен. А благодарность и благородство, как я видел в сем плавании неоднократно, внутренняя и истинная суть русского моряка. Адмирал же приобретенную любовь направил на нужное дело. Потому итальянцы к нам

расположены хорошо, а греки общею верою и сходными обычаями тоже нам близки. Только надо быть начеку от злобных выходов Али-паши Янинского, что готов резать и грабить кого угодно, а при силе угодничать. В Триесте все говорят о славных победах Суворова. Милан взят! Сюда до Венецианского залива доносятся гром и канонада его пушек. Здесь, на юге Европы, где суша с морем сходится, сомкнулись победы флота нашего и славные победы суворовских воинов. А ведь сие тебе, батюшка, уже было ведомо, твой корабль рядом с Суворовым, сим славным полководцем, уже воевал. Но то было на землях российских.

А я честно скажу Вам измаялся и соскучился по родному дому, по запаху дыма, по близким людям и по Вам.

Неужели еще от Козодоевых никакого известия нету?

С почтением и уважением

Ваш сын всегда.

Июнь 1799 г.

Дорогой друг Петр!

В Триесте-городе, откуда я пишу, хоть кругом гремела война, жили весело. То ли деньги проживали, то ли жизнь прожигали, чего-то страшного ждали.

Поучаствовал и я в сем веселии, до сих пор голова трещит. Попали мы в один день на знатный машкарат. Изо всех улиц шло, пело и танцевало множество

людей разных. Каких только масок и действий там не было! На площадь выскакивали амуры, черти, паны со свирелями, на колесницах выезжали боги. Трезубцем потряхивал Нептун, весело танцевали русалки. Монахи ехали на ослах задом наперед, коров вели в упряжках вельможи разодетые, а в коляске сидела ободранная цыганка. Музыканты били в барабаны и играли на скрипках, на головы надели большие петушиные гребни, воткнули перья.

Веселье сие безскучное разгоралось. На каждой площади играют сценки. Кухмейстер варит варево, охотники подбрасывают вверх шапки, их и стреляют, лекари ставят клистиры, а алхимики – открывают в колбах камень философский. А пуще всех смешат Арлекины и Паяцы. Потеха, да и только! Я, поддавшись сему веселию, купил маску морского разбойника – пирата одноглазого, и с другом своим Заостровским пританцовывать пошел. У Оракула, за деньги гадающего, вытащил билетики с судьбой. У меня нарисован был мешок дырявый с монетами, оттуда сыплющимися. Сие, мне тогда казалось, был знак богатства найденного. Друг мой куда-то в танце пропал, а я, пробираясь сквозь толпу, попал на ленту одной женской маске, что вела уже за собой щеголя, лекаря, поэта, негоцианта и колдуна. В танце веселом притащила она нас на площадь, где актеры особу свою представляли, а всякие фокусники бросали вверх шары и ели огонь. Тут же танцевали собачий балет и пели по взмаху палочки ученые канарейки.

На балконах дамы аплодировали мужским маскам, а те бросали им цветы, горох и пели песни.

Моя же дама, покинув всех своих кавалеров, потянула меня в какую-то улочку, завела в трактир и показала на вино. Я, чтоб сколько-нибудь ободриться, купил его. Она налила сама в чаши, и когда мы выпили его, повлекла меня по лестнице вверх в комнату. Там бросилась мне на шею и стала целовать в уста. Сего я никак не ожидал. Я ведь не недотыка какой и вредный жар крови почувствовал. И пока соображал, что делать, дверь отворилась и ворвались в черных масках и костюмах греческих богов три мужика. Сии боги действовали, как лешии подмосковные. Недолго думая, стали колошматить меня дубинами. Я хоть сопротивлялся, но они били крепко, повалили наземь, скрутили руки и стали шарить по карманам, вытащили все мое двухмесячное жалование.

Вот так я и уразумел, что за мешок драный тот предсказатель мне показал.

Дама, моя любезная уличная подруга, егоза этакая, куда-то исчезла, как и мужики. А я, побитый и без маски, хотя оной и прикрыть синяки можно было, пошел на наш корабль. Да и карнавал затих. Вот уж поистине в чужом пиру похмелье тяжело бывает.

Извини, друг, мое многоречие и здоровья и добра сколько можешь пожелай себе от меня.

В искренней дружбе привязанный к тебе
Андрей.

Сентябрь 1800 г.

Любезный мой человек Варвара Александровна!

Пишу Вам с большой наугою и жаждою возвращения домой. Сказывают, наш весь флот домой собрался, а может, уже и покинул средиземноморские берега. Мы же по причине худости корабля нашего остаемся в Неаполе. Да и местная королевская власть об этом просила, и мы в составе отряда капитана Сорокина посему пребываем в сем красивом и божественном городе. А тут без русских моряков и солдат порядок не установить. В прошлом году отряд капитана-лейтенанта Белли с фрегата «Счастливый» десантировался на востоке Апеннин и прошел по всему югу Итальянскому до Неаполя и брал его. Пленных было много. Однако же по указанию английского адмирала Нельсона, что себя славой покрыл в морских сражениях, учинена была резня взятых в полон. Господи! По всем законам пленных не убивают. Сие только варвары и лишённые христианского чувства человеколюбия изверги допускают. И как же храбрость, мужество и изуверство в одном человеке уживаются? Французы, конечно, тут допустили немало погрешностей, но она королевская власть, что мы поддерживаем, не сладкая и темная для народа. Все стонут. У двора королевского роскошь со всеми ее отродиями: непомерная пышность, во всем мотовство, расточительство и необузданные поборы, а у бедных нищета, озлобление и разбойность.

Мы думали, что десантом своим оттеснили эти зла в теснейшие пределы, но оные только расцвели.

Когда король Фердинанд в город въезжал, вдоль дорог поставили детей, кричали: «Да здравствует король!» Но не всегда же устами младенцев глаголет бог. Ибо в стране разор. Лихоимство поднялось до такого градуса, что никто не хочет без денег ничего делать. Ни работать, ни воевать. Все, все идет на деньгах и запугивании. Люди тут такие ушлые: смотри в оба, чтобы не стибрили чего и не дали тягу.

Адмирал наш вперил в нас истинную ревность и усердие по службе, поэтому мы и думаем об этом меньше. Да и как говорит мой друг Заостровский: «Помни, что погибла птичка от своего язычка».

С английскими союзниками мы не сошлись от их надменности. Так у них любовь к отечеству проявляется в унижении. Французы у них – собаки, неаполитанцы – бродяги, турки – остолопы, мы – русские – медведи. А нам с ними делить нечего, мы здесь ничего не приобретали. Однако же моряки наши потянули их моряков в трактир, вместе пили, пели кто лучше, дрались на кулачки, но не до смерти, а до превозможения. А потом и мы, офицеры, с некоторыми подружились. Везде есть люди хорошие.

Итальянские неаполитанцы нас любят. Один почтенный житель, когда учинили кровавую резню в Неаполе сторонники короля, а наши солдаты спасали у себя в лагере бывших противников, громогласно сказал, что сие «срам Италии и слава России!», и продолжил: «Вы здесь преимуществ не ищете, желаете быть с другими равными. Вот всех и поразило, что победители

хотят быть равными». А сие и есть русская черта. Возвыситься мы не хотим.

Ну а что касается местных женщин, то их здесь много, красивых и живых, и память о них останется надолго.

Душа моя, попал я вновь в оказию. Совершал я прогулку по городу, и бросилась мне в ноги женщина. Умоляла она и просила спасти от преследования людей разбойного вида. Я их отогнал. А сия госпожа, отменно красивая, мне объяснила, что бандиты от ее требовали выкуп за мертвого уже мужа. «Как сие могло быть?» – вопрошал я. Муж ее, республиканец, был убит и тайно захоронен. Они же прознали о месте погребения и пригрозили вытряхнуть останки из гроба, если она не даст им денег, а она полностью разорена! Хоть и не богоугодное это дело – поощрять сих гробокопателей, но я чувствительнейшее благородство проявил к ней и вручил половину денег, что нам в сие плавание к итальянским берегам выдали. Она отказывалась, но потом согласилась и пригласила меня посетить ее дом. Зашли мы во двор, в котором было пустынно. И когда пошла она, чтобы еду приготовить, выскочили из дома еще какие-то мужики и стали руками махать. Я не сразу понял, что они меня обвинили, будто я их сестру оскорбил и должен или жениться на ней, или убит буду. Я же жениться и в мыслях не имел, хотя женщина сия, правда, была румяна и лицом ясна. Неужели тут везде такой стиль обманчивого двуличия? Братья оные ножи вытащили, а я шпагу. Вот что значит в Европе добро

совершить. Вдруг женщина сия выскочила, бросилась на колени между нами и молила братьев не трогать меня, с тем чтобы я их покинул. Я, конечно, сие и совершать стал. Но они меня догнали и потребовали отступного. Ну плуты! От чего же мне отступать, что я совершил подлого? Упрямство бы я их одолел, может быть, но снова стало мне жалко рыдающую женщину и перед ней, простертой на земле, остаток денег своих положил.

Человек – игралище Фортуны. Вчера я был богат, а сегодня беден.

И ныне похож здесь на местного разбойника – нищего лацароне. Мне же страху наводить не на кого, и жду я не дождусь окончания нашей экспедиции.

Пусть извинят меня дорогие мои родители, подарков я из дальних походов не везу, денег тоже нету.

Но все свои поступки несовершенные, незнание и легкомыслие я оными оплатил.

Приеду без денег, но с головой более понятливой, чем она у меня была. Сердце же мое в привязанностях прежних к Вам, и мир сей суетный для меня прелестен.

Пребываю с вечной дружбой и совершенным почтением.

Ваш Андрей.

НА ВОЗНЕСЕНСКОЙ РАЗВИЛКЕ

На шляху у вспыхнувшего и уже угасающего губернского Вознесенска стояла молодая женщина. Все лето стояла, и вот теперь осень пришла... стоит. Чуть в сторонке, рядом с заросшей дорогой на хутор Щербаня, прижался к земле невысокий длинный шалаш. У его входа лежала, положив морду на вытянутые лапы, большая серая собака.

– В жару, в спеку стояла и на дожди осталась, – тихо рассказывал возница ехавшим на ярмарку из Богоявленска мужикам и бабам.

– Где? А чого вона тут? – сразу заинтересовались закутаные в теплые шерстяные шали бабы.

– Может, сторожует? – пожал плечами возница.

– Э-э! Ты скажешь, – перебил его высокий, гренадерского роста старик, что подсел к ним на повозку недалеко от развилки. – Ждет она здесь казака с войны. Суженого своего ждет.

Телега проезжала мимо женщины, а она, склонившись над корзиной, перебирала травы, подносила их к лицу, вдыхала аромат и аккуратно перевязывала, часто взглядывая на дорогу. Бабы в телеге развернулись, всматриваясь в чудную, непонятную женщину, сокрушенно качали головами и спрашивали:

– А чого тут чекае?

Старик неторопливо отвечал, чувствовалось, что он говорил уже об этом не раз.

– Может, сговорились они тут или где рядом встретиться, когда он с похода вернется, а она от надзора родительского убежала.

– У, бесстыжая!

– А чего бесстыжая? Родители ее старoverы, только свою веру признают. А он ее от хвори смертельной спас. Хотел жениться, да вот те не пожелали. Не их веры.

– А деж воны зараз? Батьки та родные?

– Подались на Дунай на новые земли или еще куда дальше. А может, и поумирали давно.

– Чого ж она тут на шляху стоит?

– Да тут солдаты с войны идут, она их и спрашивает, не видели ли ее суженого.

– И не боится она?

– А вон, гляди, у нее волк прирученный лежит. Кто же посмеет обидеть.

– Ну а коханий-то ее знает, что она тут, в курене?

– Эх, кабы знал казак, на крыльях бы прилетел. Может, и головушку сложил в дальних краях.

И старик замолк, усердно высекая кресалом искры, чтобы закурить свою глиняную трубку. Бабы же еще долго глядели на одинокую фигурку, вздыхали, жалея себя и радуясь, что есть на белом свете такая сердечная любовь.

По дороге продолжали катиться кибитки, широкие каре-

ты, пароконные возки, медленно тащились чумацкие волы, прогарцевали гусары, загребая желтую пыль, шагали солдаты. А у небольшого шалаша, приложив руку ко лбу, стояла, вглядываясь во всех прохожих и проезжающих, зятая в темную одежду беловолосая женщина.

Как жила она? Чем питалась? Что согревало ее? Никто не знал. Да, может, и она сама не ответила бы, спроси ее об этом. Никуда не уходила от дороги ни в долгие летние дни, ни в короткие душные ночи. Никто не бывал и у нее. Лишь теплый ночной ветер, оббежав соседние рощи и буераки, залетал в ее шалаш, осушал ее одежды, шевелил ресницы, ласково прикасался к лицу, гладил кожу. А потом, прошептав что-то нежное и успокаивающее, выскальзывал с другой стороны, уже считая женщину частью этой степи, этих просторов и трав.

Но однажды прозрачным осенним вечером, когда стаи журавлей криками тревожили все вокруг, она суетливо засобиралась, прикрыла прошлогодним бодылем вход в шалаш, позвала собаку и зашагала в темноту по грунтовой дороге, ведущей к Щербаневой леваде.

Утром по Вознесенскому шляху снова запылили возки и телеги. Медленным ходом проходили с запада обозы возвращавшихся с недавней итало-швейцарской кампании войск. Несколько телег остановилось у покинутого шалаша.

– Вот тут подмажем свои колеса и передохнем трохи, – спрыгивая с нагруженного воза, сказал седоусый старый ка-

зак. Он осмотрелся, откинул бодылье и присвистнул: – Чисто, как в избе. Здесь мы, братцы, и поедим.

Казак неторопливо зашумели, расслабили сбрую у лошадей, освободили их от удил, привязали мешки с овсом, прихватили свою нехитрую снедь и полезли в шалаш. Молодой казак заприметил идущего по заросшей дороге странника и, неловко забрасывая левую ногу, пошел к нему навстречу.

– Здравствуй, диду! – поклонился идущему.

Тот кивнул головой и остановился, ожидая, что еще скажет молодой.

– Не были ли вы, шановний батько, на Щербаневой леваде, не бачили ли там кого-нибудь? – еще раз поклонился казак.

– Божий я странник, человекче! Бывал везде. А если недалеко, в ложине, усадьба разоренная Щербаневой зовется, то никто этого не знает. Ибо запустенье там и тишина. Я заночевать там хотел, но страх меня, грешного, обуял, и ушел я в темень, по тропе лесной. Слава богу, что сие совершил, ибо в полночь промчался мимо меня волк серый да тенью скользнула душа чья-то. Нечистое то место, парень. Тоска там и пустырь.

– Было бы чистое, коли б там жили, а разор, он всегда тоску нагоняет, – невесело сказал казак. – Ну значит, ни одной живой души не заметил, старый?

– Нет, нет, одно запустенье.

Казак заковылял к шалашу, а спустившись с гребня доро-

ги, обернулся и крикнул страннику:

– А поснедать с нами не хочешь, усердный человек?

Тот помахал головой и быстро зашагал, как будто пытался подалее уйти от этих мест.

– Ты что, Максим, такой печальный и замученный? – спросил казака седоусый, когда тот втиснулся в шалаш. – Чи твоя нога, может, оживает?

– Так вот, друже, моя нога, яка в Альпах осталась, знала, шо тут моя батькивщина, тут я жил и ушел отсюда в казаки.

– А кто же есть у тебя в сих местах?

– Да никого. Одна хата пустая, и та развалилась, каже странник.

– Ну тогда что ж, давай выпьем чарку в память нам людей дорогих.

Казаки, в большинстве своем пожилые ездовые, что служили раньше и в боевых войсках, выпили, помянули и павших, и всех, кто дал им жизнь и славу. Закусили. Один, самый старый и сморщенный, закурил трубку и, склонив голову, обронил слезу.

– А слыхивали вы, братцы, что наш батюшка, Александр Васильевич, помер?

– Слыхивали. Вона Максим наш одноногий уж песню спивает. Спой-ка нам, друже.

Донские, яицкие, кубанские казаки, что бывали во многих славных походах, а ныне были обозными ездовыми, закива-

ли головами. Максим не отнекивался, сходил за бандурой, сел удобно и тронул струны.

Свиты мисяченьку
И ты, ясна зоренько,
Освиты дороженьку, —

затянул он мягким, ненадрывным голосом. Начало было обычное, но затем казаки вздрогнули, когда Максим стал петь, как лежит «в гробу их батенько».

В головах горят
Золотые лампадоньки.
А з бокив горят
Свечки воску ярого.
А в ногах стоит молодой казак.

Казалось им, что уже побывал Максим на том печальном обряде, услышал перед тем последние слова боевого их командира, обращенные к русским солдатам и казакам:

Славни мои братики!
Вы не бойтесь холоду,
Не лякайтесь голоду.
Вы не бойтесь, братики,
Лиходеев капосных.

Вспоминались старым воинам их лихие атаки на Кин-

бурнской косе, рейды в тыл турок у Рымника, пешие переходы по горам Швейцарии и отцовские суворовские слова, после которых были готовы идти они и в огонь, и в воду, и на небеса.

Одну думу думали, —
Гнать любого врага,
И с тобою, батьку,
З врага мы тешились
И завжды то з радостью
Мы на всю Русь-матиньку
Славили Суворова.

Казаки кивали в такт головами, медленно, с продувом выпускали еще крепкий табачный дым из трубок, а Максим дернул с какой-то особой неистовой силой по струнам последний раз и уже вослед звуку закончил:

Вечно будут згадовать
Вороги заклятые
Воина хороброго
Нашего Суворова!

Песня ударилась в стенки шалаша и выпорхнула в горьковатые, дымчатые степные дали, теряясь там среди белых шелковых ковылей и пожухлых осенних трав, затухая в них, растворяясь в воздухе и входя в землю. Казаки долго молчали, а потом кто-то спросил:

– Ну а ты, Максим, здесь останешься или куда-то на сторону пойдешь?

– А чего здесь оставаться? Раны беречь. Была здесь у меня и дивчина красы невиданной. Да где же она, Анна моя? Забрали ее, увезли куда-то, одни ветры знают про то. – Он склонил голову, задумался и твердо закончил: – Нет, поеду я с вами, хлопцы, на Тамань, найду побратима Пархоменкова и буду жить там.

Все потихоньку задвигались, вылезли из шалаша, прошли к телегам, подтянули упряжь, отвязали мешки от лошадиных мурд и стали заскакивать на возы.

Максим оглянулся еще раз, пожалуй, последний, на эти степные просторы, где извечно жили его предки, где ловили они рыбу и пасли скот, где скрывались в лихолетье по балкам и ярам от напастей и зол всяческих, лечили раны и навсегда усыпали в приземистых могилах. Сшибались тут казаки с лютыми врагами своими, гонялись за насильниками и грабителями, уводившими в полон их братьев и сестер, жен и матерей. В последние годы, правда, изгнан отсюда их неприятель, прочно утвердился тут мир и спокойствие. Перестала литься в полях безвинная кровь. Его же душа была вся изранена, надорвана потерями, печалью, болью сердечной, что неотступно следовала за ним в дальних краях, походах на привалах. И когда отвернулся он от своей родной земли, чтобы никогда больше не возвращаться в эти края, перекинул бандуру через плечо, то вдруг пронесся над всем этим

осенним полем, над всем этим миром, где были люди, пронзительный, леденящий душу крик:

– Ма-а-ксим! Ма-а-ксим!

Кони остановились, седоки вздрогнули, а Максим, поворачиваясь, словно во сне, увидел, как от развилки дорог метнулась серая тень собаки, и там же на коленях протягивала вслед ему руки беловолосая, в темной одежде женщина.

– Максим! Максим! Соколик мой! – неслоь над степью...

ВОЗВРАЩЕНИЕ В НЕВЕДОМОЕ

*За храбрость и мужество, проявленные в
морских боях,*

утвердить орден Ушакова I и II степени.

*Из Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4
марта 1944 года*

Без сопутствующего ветра, нервными рывками шел русский флот вдоль румелийских островов к Одессе, Очакову, Севастополю. Эскадра шла безбоязненно, но не беззаботно. Ушаков и здесь не проявил снисхождения. Впереди и по флангам двигалось несколько крейсерских судов, которые то приближались к основной колонне, то отходили от нее в сторону, чтобы не быть застигнутыми противником. А противника и на тысячу миль не было. С турками были в мире и союзе, и оказалось, что союз сей при добром согласии может быть полезным и нужным. Англичане тоже вроде были союзники. Французы после Абукира и Корфу, считай, не средиземноморская держава. Пусть гордо реет русский морской флаг. Трепещите, голубые ленточки на белом полотне! Моряки Ушакова одержали самые славные победы в уходящем веке.

Селезнев глядел вперед, напрягая зрение. Ему первому хотелось увидеть родную землю. Он не знал, что ждало его

там. Всплывут ли его былые разговоры, принесут ли весть о его служении во французских войсках в губернаторские канцелярии, а может, императорская власть будет снисходительна. Ведь говорят, Павел все больше и больше недоволен коварством англичан и австрийцев. Ведь тут недолго и до союза с французами? Он же навидался всего. Увидел кровь и смерть. Познал измену и ложь. Он искал свободу и истину, а потерял Родину и любовь. Родина, может быть, примет его? Найдутся и единомышленники.

Он готов был последовать за Радищевым, да где тот? Любовь же его истаяла, погибла, сгорела. Он не признавался себе и никому другому ни в песках Египта, ни на волнах Средиземного моря, ни на каменистых греческих островах, что глубоко и безответно полюбил Милету. Да, конечно, она была красива, была умна, но не это только ослепило его, не это сдерживало слова, которые нередко хотел он ей сказать. Милета вся была наполнена обжигающим огнем ненависти к тирании и врагам свободы. Ее чувства были заняты борьбой и действием, и он думал, что был бы смешон и нелеп в ее глазах, предлагая сердце. Да, кроме того, она не раз говорила, что в будущем видит с собой рядом человека такого, как Мартинигос. Сильного, мужественного, преданного освобождению и равенству, преданного ее родине и свободе...

Уже в первые дни на островах Селезнев понял, что возвратится домой, нередко ходил к офицерам эскадры, подолгу

говорил с ними. Милета была какая-то грустная и растерянная. Он понимал, что рушились многие ее планы. Греция была под пятой османов, на островах было беспокойно, и вряд ли нобили допустят народ к власти. Не появлялся отец, был скрытен Мартинигос. Однажды она сказала Селезневу перед заговором: «Вы собираетесь покинуть нас, мой друг? Это будет нелегко пережить». Он вздрогнул тогда. Что это было? Искреннее сожаление? Вежливость? А может... может, мимолетное признание? Селезнев заволновался, но уже на следующий день произошли трагические события. Провалился заговор против нобилей. Не произошел взрыв в Сенате. На площади был арестован вожак популяров Циндон и вскоре по приговору местных органов расстрелян. Селезнев видел ту картину, когда на второй день Мартинигос стоял, опустив глаза, перед Милетой. Она положила ему руки на плечи и все хотела заглянуть в глаза.

– Что произошло? Почему вы не помогли Циндону? Кто предупредил Совет?

Мартинигос тяжело дышал, поднимал голову, смотрел дикими глазами на Милету и молчал.

– Скажите же! Скажите! Иначе я не знаю, что подумать!

Мартинигос со злостью оглянулся на Селезнева и прерывающимся от волнения голосом коротко сказал:

– Я не хочу быть отцеубийцей любимой женщины!

Милета вздрогнула, сделала шаг назад, обернулась к Селезневу и, как бы ища поддержки, обратилась к нему:

– Как? Это все из-за меня? Не может быть... не может быть...

Она сделала несколько шагов к двери и вдруг резко обернулась и крикнула в лицо Мартинигосу:

– Нет! Нет... Это вы их предали, вы их погубили!

С последним словом она рухнула на пол. Селезнев и Мартинигос кинулись к ней, подняли под руки и посадили на лавку.

– Срочно за врачом! – сразу стал решительным Селезнев. Мартинигос стремительно вышел.

Полгода Милета не приходила в себя, никого не узнавала и лишь Селезневу улыбалась какой-то извинительной улыбкой. Мартинигос больше не приходил. Отец появлялся редко, хотя отдал все распоряжения по уходу за больной и молча согласился с постоянным присутствием русского.

Месяц назад Милета открыла глаза, улыбнулась Селезневу и внятно сказала:

– Ну вот мы и дома. У нас все будет хорошо.

Затем нахмурилась, что-то долго вспоминала и, закрыв глаза, больше не открыла их.

Когда эскадра отплыла от Закинфа, высокий каменный крест у дома над скалой был виден долго. Еще дольше было видно оливковое дерево, протянувшее свои ветви к морю.

Павло Щербань сидел на палубе и ловко зашивал лопнувшие порты.

– Эвона, как ты, Паша, боцманские команды исполняешь.

– Ну так што ж, – не злобился Павло, – быстрее зробыли, та отдыхай.

– Ха, – не унимался Никола, – да он тебе еще десять работ даст, наш боцмоняра.

– Я и десять зроблю, – спокойно ответил Павло.

– Ну робы, робы. На таких только воду возить, – хмуро бросил Никола и лег на спину, вглядываясь в далекую синь черноморского неба.

Павло последний раз протянул нитку, откусил ее, как откусывают женщины, отодвинул от себя порты, полюбовался и неторопливо сказал:

– А то ж, Микола, ты все робишь як и я, тильки трохи злее да сноровистее.

– Ну так я же не скотина, чтоб только жвачку жмыкать. Я дело люблю делать, чтоб изба стояла гордовито, корабль был прочный и скорый, чтоб из простой доски деревянной можно узорочье, коньки разные для красоты избяной сделать.

Павло с удовлетворением кивал головой, потом увидел дырку в рукаве рубахи Николы и, улыбнувшись, сказал:

– Ось бачиш, братэ, и ты руками добре машешь. Давай зашью!

Никола без возражений снял рубаху, подставив свои худые плечи еще жаркому солнцу.

На корме в стороне возле шлюпок сидела и наблюдала за ними взятая в Бургесе на борт большая болгарская семья.

Командир корабля, заправляясь водой, не устоял перед плачем болгар, рассказавших о притеснениях местного паши, и разрешил ночью под покровом темноты и перед отходом корабля нескольким болгарам перебраться к ним в трюм, чтобы не заметили союзники.

Сейчас, когда солнце взошло, они потихоньку вышли на корму. Русская земля их не пугала, они уже знали, что многие их земляки живут там. И они знали, что болгарам эта земля сразу стала родной матерью. Все было для них близко и непротиву естества. Земли вначале они занимали пустынные, а через несколько лет превращали их в цветущие и прочные земледельческие усадьбы. Сии земли, говорили знатоки, – одно из самых утешительных в отечестве нашем зрелище.

Первые из них объявились в Новороссийском крае в 1752—1754 годах. Тогда и поселились они в Новомиргороде на реке Виси, и Ново-Архангельске, на Синюхином броде в селениях сербского гусарского полка на Синюхе.

Другая болгарская община вышла в Южную Россию между 1764 и 1769 годами и поселилась в Киеве, Чернигове, Нежине.

В 1773 году граф Румянцев-Задунайский от Силистрии препроводил по просьбе старшин болгарскую общину в четыреста человек под Елизаветград. Расселились они в селах Дмитриеве, Адапсеме, Диковше, а позднее на речке Синюхе под Ольвиополем в селе Ольшанка.

Во второй русско-турецкой войне болгары сражались в русских войсках стойко и героически, но не пришло еще время освободить их родину. Те, кто сражался, получили свободу и землю в новом российском наместничестве в селах Щербаневка и Дымное. Кое-кто повел торговлю, и неплохую, в городах Тирасполе, Ново-Дубоссарах, Григорисполе, Одессе.

Как писал Томара, многие тысячи болгар хотят переселиться, сбежать от разорения и отуречивания. Но Порта ныне была союзником, и принимали беглецов тайно, без огласки. А огласка все равно была. Искали защиты, покровительства и просто спасения от смерти новые и новые семьи единоговерного народа.

Мужчина средних лет в черном длинном жилете и высокой бараньей шапке встал и подошел к Николе и Павлу, мешая русские и болгарские слова, сказал:

– Братушки моряки, меня Ангел зовут. Мы нечаянно слышим, как вы ругаете тот край, куда мы едем. Может, и не то мы делаем?

Никола сурово на него посмотрел, а Павлу, видно, чтобы болгарин не отошел, не услышав правду, торопливо пояснил:

– Та шо вы, як же можно наш край не любить. Я по ночам бачу свою белоцветную Камышню на Полтавщине, а степи духмяные у Херсона, а Буг разливистый, а море ласковое, як дивчина, у Одессы. Ни, нема краще нашего края!

Болгарин покивал головой, подозвал других мужчин. Те

затолпились вокруг, протянули табак для закурки.

Никола, в редкой бороде которого пробивалась седина, сжал ее в кулаки, подержав, обратился к Ангелу:

– Вот у тебя такое божественное имя, а все ли хорошо в твоей жизни? Вот и у нас – край наш хорош, да порядки в нем разные. Помещик своих поселян порет, чин всякий городской взятку дерет, а унтер в морду бьет.

Насыпав крепкого табаку в трубку, Никола умял его большим пальцем, стал закуривать и, улыбнувшись, продолжал:

– Да вы не бойтесь. Люди у нас жалостливые, добрые и работающие. А вам ведь среди людей жить, а не среди господ.

Никола закашлялся:

– Ну чертов табак! Кхы-кхы. Вот так и в жизни сделаешь затыжку – горько, а потом, глядишь, голова просветлела. Я, братцы, в Польше бывал, а сейчас с кораблями Федора Федоровича в италийских землях, в Рагузе, на Корфу-острове в греческих землях, у турок, а меня домой тянет к себе, в Россию.

– Родна земля, – закивал болгарин.

– Да, земля родная, без нее и не жить мне. Где там она, земля русская? – Никола встал, натянул починенную Павлом рубаху и, приложив ладонь ко лбу, долго смотрел на север.

Болгары задумчиво пыхтели трубками.

Рассвет только тронул горизонт, а адмирал был уже на ногах.

Федор Федорович стоял на верхней палубе один. Да не один, собственно, а со своей неизменной подзорной трубой, которой скользил вдоль берега или устремлял с ее помощью взгляд в зеленоватые морские просторы Черного моря. Не появится ли вестовое судно с указом, призывающим эскадру двинуться к новым сражениям, не забелеет парус противника? Знал по опыту, как быстро в этом веке почитаемый недавно друг становится врагом, и наоборот. Но чувствовал и другое. Возвращается в ледяную пустыню. Нет, он не получил императорских «разносов», не был отстранен от командования, его даже не сменил в гражданском управлении посланник Италийский. Но он и не получил знаков одобрения. Не получил признания из Петербурга за свои действия. А непризнание – это уже опала. Понимал, что для дела, для державной политики надо думать пошире, согласно обстоятельствам местным, утверждать благоразумие и согласие между людьми. Все сделал, чтобы ввести Временный план, но нобили, Томара, султан оказались сильнее. Он уезжает побежденным, оклеветанным, с усталостью и без надежды добиться истины. Затаил в себе и обиду. Как можно не понять, что громкие победы на островах, а особенно взятие Корфу – подвиг великий? Сам не сомневался, что российские морские командиры возьмут его приемы на вооружение, в Морском шляхетском корпусе изучать будут. А награды за Корфу его славных воинов, да и его лично лишили. Не дали, не заметили. Убедился еще раз, что в Отечестве его

сие зависит не от истинных заслуг, а от связей, от нестроптивности природы, от благожелательности двора. Вон адмирал Мордвинов весь выходил в звездах и лентах, а спроси его, в каких битвах заслужил, засопит, покроется пятнами, скажет значительно: «За верное служение государю императору». А все служение-то состоит в усердном лизании... Тяжело вздохнул: «Ну, да бог с ними, с наградами. Потомки отметят, может быть».

Да, он покидал острова с горечью, но и удовлетворением. Корфская победа была замечательной. Понимал, что предлагал на островах путь к умиротворению и согласию. Французское своеволие не любил, но понимал, что заносчивость, необузданность и сребролюбие нобилей, да и любых богатеев, несносны и ведут к мятежу и беспорядкам. Чем его друзья Ричардопулусы, Мартинигос, Глезис, Палатинос хуже этих венецианских петухов? Тем, что нет у них родовых замков? Так и у него имения порядочного нет. Тем, что не общаются между собой по-итальянски? Да ведь и он не силен в иностранном, русским вполне обходится... Откуда эта гордыня и презрение к себе подобным? Он своих моряков всех знает в лицо, понимает, что без них корабли не стронутся, битвы не выиграешь, державу не прославишь. Вот вам и простой моряк. Да и тут чернь, простые землепашцы явили собой больше доблести и мужества, чем иные высокородные. Был бы волен – на тех, кто роскошничал и беспутствовал, наложил бы уздечку.

На островах провожали со слезами. Сенат преподнес ему золотую шпагу с алмазами. Закинфяне такую же шпагу, да еще щит расписной, Итака и Кефалония – золотую медаль. В ушах стояли приятные для слуха и сердца слова: «освободитель», «отец родной», «победитель», «защитник». Нет, нет! Он уезжает, но остается Республика семи островов, остается сердечная радость, остается скрепленная кровью дружба, остается слава о победах российских!

Была Россия Беломорская, Балтийская, Каспийская, Тихоокеанская, а ныне Черноморская и Средиземноморская. Твердо встала она на морских южных просторах. Распахнула окна в края полуденные. Азия рядом, Балканы, Африка, Италия с Испанией, Франция, морские пути, торговля, народы веры единой, долей близкие, к дружелюбию стремящиеся. Узнали ближе. Поняли больше.

Здесь, на юге России, родились новые люди – воины и строители, моряки и предприниматели, что умели делать дело безоплошно и споро, без оглядки и с размахом. Большое будущее могло быть у этого края. Да и морской флот давал знание: видели далекие страны, не верили чужеземным сказкам, но пели свои песни и учились побеждать врага, преодолевать препоны, узнавать соседа. Тут зрел зародыш новых великих дел, проявлялась неистощимая жизненность всей великой державы.

Конечно, его век уходил. Их, мужей и героев восемнадцатого, теснили новые фигуры, новые страсти, новые узы,

одежды, обычаи, слова. Но не могли не думать они, сыны Отечества, о его будущем. Что будет с Черноморским флотом? С этим новым краем Отчизны... Будет ли множиться ратная морская слава России, или сведется все к плац-парадам, прогулочным рейсам да охране от грядущей пугачевщины? Расцветут, обогатятся эти земли или уступят их, продадут какой-нибудь толстосумой державе? Раздумья, думы наполняли голову сурового уставшего адмирала.

...Было совсем рано. Утро еще только занималось. Казалось, небесные ангелы раздвинули темные тучи и сделали просвет для дневного светила. Окошко заалело, раскрасилось золотистой краской, обрамилось космами растрепанных, не прибранных со сна туч. Но, видно, злые демоны хотели закрыть солнце, затянуть небесную высь. Они громахали вдали, поблескивая саблями молний, хмурили небесное чело и, загромоздив все небо горами облаков, сталкивали их вниз, преграждая путь солнцевосходу. Но солнце пронзало своими лучами груды облачных преград, и только что казавшийся беспросветным Запад уже не был столь далеким и отчужденным.

Сердце у старого адмирала взволнованно застучало и успокоилось. Утро наступало. Впереди показалась родная земля.

